ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2

ФЕВРАЛЬ

1956

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Содержание

ПАВЛО ТЫЧИНА — Двадцатый съезд 3

ДЕЯТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ 5
КЛЕМЕНТ ГОТВАЛЬД 10

ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ — К. И. Галчинский 15
КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — Стихи 17
КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД — Нанинья и Джени *(Рассказ)* 26
АЛАН МАРШАЛЛ — Вот как жили люди в Спиво... *(Рассказ)* 30
МИТЧЕЛ УИЛСОН — Брат мой, враг мой *(Роман)* 34
ДОБРИЦА ЧОСИЧ — Солнце далеко *(Роман. Продолжение)* 85

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Из разговоров с Гейне 160
АРНОЛЬД ЦВЕЙГ — Столетие Генриха Гейне 172
ВАЛЬТЕР ВИКТОР — Наследие Генриха Гейне в ГДР 173

КРИТИКА

МАРТОН ХОРВАТ — Аттила Йожеф — поэт венгерского рабочего класса 175
Б. СУЧКОВ — Современность и история (заметки о творчестве Лиона Фейхтвангера) 181

РЕЦЕНЗИИ

Е. ЦЫБИНА — Писатели-революционеры 194
Е. ГАЛЬПЕРИНА — Весна во Вьетнаме 197
Н. РЫКОВА — „Христос остановился в Эболи" 201
А. ЧИЧЕРИН — „История английской литературы" . . . 204
И. ФРАДКИН — Арнольт Броннен дает показания . . . 209

2

1956

ФЕВРАЛЬ

ПУБЛИЦИСТИКА

ТЕД АЛЛАН и СИДНЕЙ ГОРДОН — Скальпель и меч
(Окончание) 213

ОБЗОРЫ И ДОКУМЕНТЫ

Б. СТЕЖЕНСКИЙ — Журнал немецких писателей . . . 230

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ — Выдающийся писатель, борец, друг мира (о Халлдоре Лакснессе) 235

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Датский карикатурист Херлуф Бидструп 239

СРЕДИ КНИГ 246
НАША ПОЧТА 256
ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника) 260
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

ДВАДЦАТЫЙ СЪЕЗД

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза! Когда думаешь об этом событии большого значения, тебя охватывает чувство торжественной приподнятости и взволнованности. Такое чувство возникает у строителя, когда он видит, как величественно и просто задуман зодчим весь план строения. Всех нас восхищает отчетливый адрес прекрасного будущего нашей страны!

Насколько же идеи партии должны быть близки и дороги народу, насколько ее политика должна отвечать кровным интересам народа, насколько должен советский человек беззаветно ей верить, если он считает ее — восьмимиллионную Коммунистическую партию Советского Союза — единственным достойным выразителем своих интересов и чаяний, мудрым и дальновидным руководителем великой советской страны!

Коммунистическая партия и народ наш неотделимы друг от друга. В этом основа основ всех наших успехов, залог несокрушимости наших исторических побед.

Съезд коммунистической партии отражает не только материальное, но и духовное могущество нашего народа. Наша социалистическая культура стала действенной силой, формирующей сознание советских людей. Велика общественно-преобразующая и воспитательная роль советской литературы. Никогда ее голос не звучал в мире так громко, с такой отчетливой ясностью, как в наши дни. Никогда советская литература не насчитывала так много сердечных друзей за пределами нашей Родины, как сейчас. По книгам советских писателей, выражающих в своем творчестве высокие идеи гуманизма и прогресса, миллионы и миллионы простых людей за рубежом узнают страну Советов. Книги эти учат жить, трудиться, понимать величие и красоту человека, бороться за высокие принципы прогресса и демократии.

В Советском Союзе труд литератора является органической частью всенародного дела. «Советская литература не только отражает новое, но и всемерно помогает его победе», — так заявляли мы, советские писатели, в обращении нашего Второго съезда к Центральному Комитету КПСС. Но отражать новое и помогать его победе может только тот литератор, кто, как сказал Владимир Ильич Ленин, в состоянии обогатить свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Творческое овладение этими богатствами, накопленными всеми народами мира, стало славной традицией деятелей советской литературы, стремящейся не только отразить новое, но и всемерно способствовать его победе.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза привлечет к себе внимание простых людей и в зарубежных странах. Да и может ли быть иначе, если это съезд партии мира и дружбы между народами? Если партия всей своей деятельностью каждодневно дает живые и убедительные доказательства неустанной борьбы за мир и счастье народа?

Нет необходимости перечислять здесь достижения нашей промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. Они — общеизвестны. Для каждого, кто искренно и честно хочет воочию убедиться в реальности этих достижений, открыты все двери. И если беспристрастный язык конкретных, неопровержимых фактов кому-либо за нашим порогом угодно называть «пропагандой» — что ж, это дело его совести. Мы же всегда будем реалистически отражать в своих произведениях все наши достижения, в конечном счете идущие на благо всего человечества, и считаем выполнение этого долга нужным и благородным делом!

Наши писатели вооружены таким замечательным инструментом правдивого, душевного и целеустремленного изображения жизни в ее развитии, движении, борьбе, со всем разнообразием светотеней, противоречий, конфликтов, как метод социалистического реализма. Этот метод становится достоянием писателей стран народной демократии, а также прогрессивных писателей капиталистических стран — мы имеем в виду писателей, посвятивших свой талант борьбе за преобразование общества, за мир и социальный прогресс. Социалистический реализм, как творческий метод — и об этом было сказано на Втором съезде советских писателей, — приносит плоды не только на почве социалистической действительности, но и в условиях капиталистического строя, поскольку и там идет непрерывная борьба нового со старым, передового с отживающим, добра со злом.

Многие зарубежные писатели учатся у нас, советских писателей. Немало полезного и мы, советские писатели, можем почерпнуть из творческого опыта, накопленного прогрессивными писателями других стран. Призыв выдающегося советского художника М. Шолохова к усилению творческого общения писателей всего мира нашел весьма широкий отклик. Советские писатели убеждены: чем шире будут международные связи, тем плодотворнее скажутся они на всех литературах мира. Истинное искусство доступно всем народам, оно не терпит никаких расовых ограничений или национальных перегородок. Руководствуясь, или, еще точнее, вдохновляясь этими принципами, советские литераторы готовы занять место за «круглым столом», чтобы ближе и лучше узнать и понять друг друга, содействовать взаимному ознакомлению с творчеством, найти общий язык в великом деле служения мирным устремлениям человека.

Укреплению интернациональных связей Советского Союза способствует также и перевод художественных произведений. О пользе переводов, об их большом значении в качестве одного из средств культурного обмена убедительно говорилось в выступлениях Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева во время их поездки в Индию, Бирму и Афганистан.

Партия придает огромное значение действенной силе правдивого и смелого писательского слова в борьбе за мир и дружбу между народами.

Все друзья мира обращают свои взоры к трибуне XX създа КПСС.

Решения съезда будут вдохновлять советского человека на новые трудовые подвиги и достижения. Они скажутся благотворно и на дальнейшем росте нашей литературы. Они вновь засвидетельствуют: руководимый Коммунистической партией, осененный знаменем Ленина весь наш народ уверенно продолжает свой победоносный путь вперед, к коммунизму!

Павло Тычина.

ДЕЯТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Мы публикуем высказывания по вопросам литературы и искусства, принадлежащие выдающимся деятелям международного коммунистического движения — Георгию Димитрову и Клементу Готвальду. Статьи, письма, обращения, которые мы печатаем целиком или в отрывках, написаны в разные годы и по разным поводам. Эти материалы представляют принципиальный интерес не только потому, что дополняют дорогой нам облик Г. Димитрова и К. Готвальда новыми чертами, но главным образом потому, что в них раскрывается забота зарубежных коммунистических партий о развитии подлинно народного искусства и литературы, утверждается ленинский принцип партийности художественного творчества.

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ

Я знаю некоторых писателей за рубежом; им, беднягам, не хочется писать так, как пишут буржуазные писатели,— только о любви, только о лирических, субъективных переживаниях. Им хочется помочь чем-нибудь революционному пролетарскому движению. И сидят эти злосчастные таланты и раздумывают, раздумывают и гадают, о чем бы им написать. А вот если бы они всмотрелись в живую борьбу миллионов, если бы увидели тысячи судебных процессов, стачек, демонстраций, столкновений рабочих с их классовым врагом, если бы поглубже вгляделись в материалы Лейпцигского процесса — они бы нашли темы для творчества. Множество отличных тем.

Из выступления в Доме советских писателей, март 1935 г.

* * *

Где в нашей художественной литературе найдете вы отображение героев пролетарского движения Германии, Австрии, Болгарии, Китая и других стран? Где те образцы, которым могли бы следовать миллионы? Дайте нам также и яркие отрицательные образы, показывайте людей из плоти и крови типа Ван дер Люббе, чтобы на живых примерах учить молодежь.

Литературе принадлежит огромная роль в деле воспитания революционного поколения. Помогайте нам, помогайте партии рабочего класса,

---

Из сборника „Георги Димитров за литературата, изкуството и науката", изд-во „Български писател", София, 1949.

дайте нам надежное оружие в борьбе — в виде художественных произведений, стихов, романов и новелл! Своим художественным творчеством помогайте воспитывать кадры революционеров!

В свое время буржуазия крепко воевала за дело своего класса всеми средствами, в том числе и художественной литературой. Что сделало посмешищем остатки рыцарства? «Дон Кихот» Сервантеса. «Дон Кихот» был сильнейшим оружием в руках буржуазии в ее борьбе против феодализма, против аристократии. Революционному пролетариату нужен свой, хотя бы маленький, Сервантес, который дал бы нам подобное оружие борьбы.

Я много читаю, когда представляется возможность. Но должен сказать: не всегда хватает у меня терпения читать нашу революционную литературу.

Революционный писатель не тот, который лишь твердит: «Да здравствует революция!» Революционным писателем может считаться лишь тот, кто содействует революционизированию рабочих масс, мобилизует их на борьбу против врага.

Там же.

* * *

Теперь, когда победоносно завершена освободительная война против фашистской Германии и начался мирный период, для творчества наших писателей открываются самые благоприятные возможности. Хочу верить, что болгарские писатели эти возможности полностью используют. Потому что нашему народу, как хлеб и воздух, нужна подлинно народная художественная литература, литература, которая глубокой правдивостью и высокой эмоциональностью достигнет культурного и идейного расцвета, которая будет воспитывать преданность и любовь к народу и родине, разжигать ненависть к фашизму и всем врагам народа, бичевать все гнилое, все разлагающее здоровый организм народа (паразитизм, вульгарный карьеризм, мелкое эгоистическое политиканство), которая очистит воздух Болгарии от миазмов великоболгарского шовинизма и всякого мракобесия, которая будет распространять любовь к подлинной науке, поощрять героические подвиги в области труда и культуры, в борьбе за защиту народной свободы и прав, будет воспитывать чувство единства славянских народов, международной солидарности и вечной дружбы с нашим освободителем — великим советским народом.

Изумительный героизм, проявленный нашими партизанами, партизанками и деятелями подполья в борьбе против фашизма, отважное участие болгарской армии в окончательном, победоносном разгроме фашистской Германии, мужественная работа в тылу для помощи фронту и народу — все это ждет художественного воплощения в творчестве подлинно народных писателей.

Письмо Союзу болгарских писателей, 14 мая 1945 г.

* * *

Дружба с Советским Союзом есть необходимое условие для подъема нашей культуры. Историческое, духовное и языковое родство болгарского и русского народов открывает перед нами блестящую возможность черпать в богатой сокровищнице советской культуры — светоче мирового прогресса.

Из статьи „Да пребудет наша дружба в веках", напечатанной в „Работническо дело" 21 ноября 1946 г.

* * *

...Отечественный фронт и его правительство рассматривают искусство как мощный духовный и культурный фактор в деле развертывания всех творческих сил нашего народа в интересах роста и расцвета нашей молодой Болгарской народной республики.

Велика и благодарна роль болгарских прогрессивных художников в этом отношении. Эта роль может быть успешно выполнена при соблюдении нескольких обязательных условий. Главными из них, несомненно, являются следующие: дружная работа художников, подчинение узкоиндивидуалистических стремлений и тенденций общим интересам народного искусства, свобода художественного творчества, здоровая творческая критика и самокритика, самое широкое поощрение талантливых деятелей искусства и — условие, разумеется, не последнее по важности — беспредельная преданность нашей родине.

Письмо Съезду Союза художников, 11 февраля 1947 г.

* * *

Как у меня лично, так и у нашего правительства совершенно особое отношение к искусству вообще и к художникам в частности. Оно глубоко отличается от отношения правительств, существовавших до 9 сентября. Мы полагаем, что в совокупности всех факторов и мероприятий, которые должны способствовать экономическому, культурному и военно-политическому подъему нашей страны, искусство во всех его разновидностях является серьезным и весьма важным фактором. Мы смотрим на искусство не только как на средство получения наивысшего наслаждения для человека. (Это, разумеется, необходимо, и мы этого не недооцениваем.) Мы смотрим на искусство во всех его видах прежде всего как на средство мобилизации моральных, духовных и физических сил нашего народа, нашей молодежи для творчества, неустанного труда, неугасимой любви к родине, для готовности преодолеть трудности, для закалки воли и веры в собственные силы.

Из беседы с членами правления Союза художников в 1947 г.

* * *

Следует понять, что тот, кто сам некультурен, не может быть носителем культуры среди населения. Тот, кто сам непросвещен, не может успешно просвещать других. Тот, кто сам не освободился от отсталости, не может быть пропагандистом идей и принципов передовой науки. Тот, кто сам находится на низком идейно-политическом уровне, не может успешно работать по правильному идейно-политическому воспитанию учащихся, а также трудящихся города и деревни.

Из письма Съезду Союза работников просвещения, 1947 г.

* * *

...А теперь я хочу рассказать вам о том, как я полюбил роман великого русского писателя Чернышевского «Что делать?» и его героев.

Особенно большое впечатление произвел на меня один из главных героев — Рахметов. Он хотел закалить себя против всех трудностей жизни, чтобы суметь вынести в борьбе самые тяжкие муки. И он стал ежедневно тренировать свою выносливость: обливался холодной водой,

в зимнее время полураздетым выбегал на мороз, бросался на снег, обтирался им и т. д. Он лишал себя наималейших жизненных радостей. Закалял таким образом свой характер, свою волю к борьбе. Дошел до того, что взял доску, набил в нее гвоздей и улегся прямо на гвозди. Потекла кровь, но он вытерпел. Он делал это, чтобы закалить свою волю, чтобы стала она железной, стальной, чтобы суметь вынести самую страшную пытку.

Этот роман и этот герой Чернышевского оказали на меня исключительно благотворное влияние. Я хотел стать таким, как Рахметов. Начал регулярно проделывать все то, что делал он. Месяцев шесть, если не больше, находился я под влиянием Рахметова. Одного только сделать не решился, счел это излишним,— доску с гвоздями, хотя доску я уж было приготовил. Все это оказало на меня свое воздействие и проявилось особенно во время Лейпцигского процесса, где мне пришлось вынести самые тяжкие страдания, и во время пребывания в моабитской тюрьме в Берлине.

Из беседы с группой пионеров 1 января 1948 г.

* * *

Есть у нас люди, которые говорят, что коммунисты хотят укрепить свою власть и потому стремятся привлечь к себе способных, одаренных людей. Дают им известные привилегии, осыпают почестями лишь для того, чтобы их использовать. Нет ничего более не соответствующего действительности, чем подобные взгляды и утверждения. Новая, народная власть по самой своей природе, как подлинно народная власть, заинтересована в том, чтобы сделать все в данный момент возможное для максимального развития искусства, театра и оперы в том числе. И мы делаем все, что в наших силах... Коммунисты и руководители народного государства, мы делаем это не потому, что хотим пребывать в окружении талантов. Так поступали Фердинанд, Борис и прочие. Однако они делали это не для того, чтобы создать необходимые условия для развития нашего народа, для расцвета его культуры. Они создавали себе такое окружение в корыстных, эксплуататорских целях. А мы помогаем людям искусства, поощряем их дарования в целях построения социализма в нашей стране. И мы будем это делать все шире и шире, потому что глубоко убеждены в необходимости этого; мы, вышедшие из народа, из низов, должны открыто сказать: мы лучше всех можем оценить, какое большое, неоценимое благо представляет для народа искусство.

Из речи на вечере в честь юбилея народной артистки Адрианы Будевской, июнь 1949 г.

* * *

Вы согласитесь, что ни искусство, ни огромная наша задача — построение социализма в нашей стране — не могут быть делом только правительства, ЦК партии и Национального совета Отечественного фронта. Тут необходимо сочетание партийного и государственного руководства, народных сил с инициативой, усилиями и непрестанной работой самих деятелей искусства.

Работники искусства, какими бы талантливыми они ни были, как бы мы ни ценили их, должны непрестанно, без устали работать над со-

бой, чтобы идти вперед, потому что, вы знаете, кто не идет вперед, отстает, а отставших бьют. Решающим фактором в этом отношении является та внутренняя сила, которой обладает каждый человек, та любовь к народу и родине, которая горит в душе и сердце художника, режиссера, артиста, писателя, всякого деятеля искусства и культуры.

Талант не падает с неба. Не каждый может стать таким артистом, как Адриана Будевская, как Крыстю Сарафов, Стефан Македонский и др. Но всякое дарование уже само по себе есть капитал. Если это дарование не развивается, если этот капитал не используется рационально, не будет никаких результатов. А вам известно, что десятки и сотни людей, если не больше, трудом добиваются развития своих дарований.

Позвольте мне, как человеку более пожилому, чем вы, сказать вам, что есть еще у нас люди со слабостью — артисты, артистки, писатели, художники и другие, — которые считают, что им море по колено и что коли есть у них какое-то дарование, то этого вполне достаточно. Их больше занимает, в какой их возведут ранг, какое они место займут, какую роль получат, чем совершенствование своего дарования, с тем чтобы занять то место, где они принесут всего более пользы как себе, так и всему народу. Самомнению не должно быть места. Самомнение есть гибель для человека искусства. Высокомерие — страшное бедствие. Нужно каждый день повышать свою квалификацию, давать себе оценку, исправлять свои недостатки и совершенствовать способности. Их может быть на 50 или 80%, но с помощью самокритики, преодолением недостатков, с помощью советов людей более знающих они могут вырасти до 90% и выше.

Там же.

* * *

...В области культуры, если говорить о таланте, нет малых и больших народов. Нет народов полноценных и неполноценных. Каждый народ, как бы мал он ни был, может обладать способностью внести в общую сокровищницу культуры и свой вклад. Наш народ мал, мы маленькая страна... Однако мы можем и должны похвастать, что у нас есть стремление к культуре, стремление создать высокохудожественные произведения искусства. Мы должны идти рука об руку — государственные деятели, партийные руководители, работники искусства, деятели науки и другие — и стремиться к тому, чтобы через несколько лет болгарский народ повсюду считался умелым, талантливым, культурным, подлинно социалистическим народом, принимающим активное участие в создании мировой социалистической культуры под руководством великого Советского Союза и вместе с нашими братьями из других стран народной демократии.

Там же.

* * *

Я замечаю нечто новое, радостное в нашей литературе: писатели уже поворачиваются лицом к новой жизни... Мы когда-то были сектантами... А теперь надо стремиться сработаться со всеми прогрессивными, подлинно талантливыми писателями, дружески их критиковать, помогать им, увлечь. Нужно мобилизовать всех, весь народ: для строительства новой жизни нужны все. Но одного забывать нельзя, никогда нельзя забывать, что мы самостоятельная партия, партия-авангард... Литературные произведения должны быть наполнены этим содержанием...

Приведено в статье Д. Полянова „Моя последняя встреча с тов. Георгием Димитровым", в газете „Литературен фронт" от 30 июля 1949 г.

КЛЕМЕНТ ГОТВАЛЬД

СТАНЬТЕ СТРОИТЕЛЯМИ СОЦИАЛИЗМА!

(Письмо от 5 марта 1949 года Съезду писателей Чехословакии)

Дорогие друзья и товарищи!

Сердечно благодарю за приветствия, переданные мне вашей делегацией, и еще раз желаю успеха.

Я придаю вашему съезду большое значение, так как считаю, что он является завершением первого периода послемайского и в особенности послефевральского * преобразования нашей литературы, да и всей культуры — периода поисков новых критериев, новых путей, новой ориентации. Это был период, когда окончательно выяснилось, что искусство, которое холодно к народным и национальным интересам или даже высокомерно от них отворачивается, искусство, замыкающееся в самом себе, короче говоря, так называемое чистое искусство всех видов и оттенков утратило в нашем новом обществе даже видимость прогрессивности и превратилось — как правильно сказано в новом уставе Союза писателей — в главный тормоз дальнейшего прогрессивного развития чехословацкой литературы. Ибо нежелание иметь что-либо общее с жизнью общества, в прошлом являвшееся, быть может, выражением некоторой, пусть неясной, оппозиции к капиталистическому строю, в наше время означает отказ от единения с родным народом, который поднялся на построение новой общественной системы, несущей свободу, радость творчества и счастье ранее угнетенным широким массам. Оно означает переход на сторону реакционных банкротов всех мастей, которые «не хотят иметь ничего общего» с нашей народной демократией, с построением социализма.

Теперь это совершенно ясно. Период выяснения этого обстоятельства закончился тем, что вы приступили к созданию новой, идейной организации литературных сил, считающей своей главной задачей активное, творческое участие в построении лучшего будущего нашей родины, в воспитании нового, социалистического человека.

Это великое дело, огромный шаг вперед на пути развития нашей литературы и культуры. Конечно, из этого вытекает еще более настойчивая необходимость выполнения второй части стоящей перед вами задачи. Наступило время начать в нашей литературе новую главу, озаглавленную «От слов к действиям». И мы ясно видим, что в этом направле-

---

Из книги «Klement Gottwald o kultuře a úkolech inteligence v budování socialismu», Praha, 1954.

* Имеется в виду май 1945 г. и февраль 1948 г.

нии сделаны уже первые шаги, уже забили первые ключи. Но нам необходим мощный поток, могучий прибой нового, идейно борющегося, вдохновляющего искусства. Наш народ прямо-таки жаждет такого искусства, которое мог бы назвать своим. В этом большое достижение нашей народной демократии. Ведь едва мы начали всерьез осуществлять лозунг «искусство принадлежит народу!» — и уже повсюду видим, как в нем пробуждается огромная жажда искусства. Спросите хотя бы специалистов, каково положение на нашем издательском рынке. А оно таково, что тиражи наших книг — как политической, так и художественной литературы — уже определяются не спросом, а производственной мощностью наших бумажных фабрик. Если до войны книги расходились тысячами, то теперь — десятками, даже сотнями тысяч. Можете ли вы пожелать что-нибудь лучшее, товарищи писатели? Что может быть лучше тысяч и тысяч внимательных, благодарных читателей? Нет, такого читателя нельзя игнорировать, к нему невозможно холодно относиться!

Поэтому желаю вам, чтобы ваш съезд закончился так же, как заканчиваются теперь съезды и совещания работников промышленности и сельского хозяйства, — лозунгом «За работу!» Оправдайте надежды, которые на вас возлагают: станьте инженерами душ нашего народа, глашатаями его чаяний, его любви и ненависти, станьте его социалистическими будителями!

Клемент Готвальд.

О МАКСИМЕ ГОРЬКОМ

(Письмо от 23 октября 1947 года работникам шахты «Рудиай-1» в Билине по случаю торжественного присвоения ей имени Максима Горького)

Дорогие друзья!

Искренне благодарю вас за приглашение на торжество присвоения шахте в Билине имени Максима Горького. Прошу извинить мое отсутствие, так как меня удерживают в Праге государственные дела. Поэтому посылаю всем участникам торжества, хотя бы в письме, свои сердечные поздравления и пожелания успеха.

Хочу также сказать вам, что мне очень понравилась мысль присвоить одной из наших шахт имя великого советского писателя Горького. Это имеет большое и притом двоякое значение. В первую очередь это является выражением вашего уважения и любви к братскому Советскому Союзу, который в ближайшие дни будет отмечать свое тридцатилетие. Во-вторых, я вижу в этом свидетельство вашего теплого отношения непосредственно к Горькому-художнику и считаю вполне уместным почтить его память именно таким образом. Ибо кто такой Горький? Это первый великий писатель, который правильно понял великую миссию рабочего класса в истории современности и как художник почувствовал, что только рабочий класс, став во главе всех слоев трудящихся, может вывести человечество из хаоса к светлому будущему. Горький — первый великий художник, прославивший рабочего человека как создателя лучшего будущего, первый великий художник социализма. Поэтому для него будет прекрасным памятником шахта, в которой свободным трудом добывают энергию, помогающую людям строить счастливую, прекрасную жизнь.

Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что этот акт является для работ-

ников шахты обязательством хорошо работать, чтобы быть достойными имени, данного их шахте.

Честь и слава тем усилиям, которые вы обязываетесь приложить!

Готвальд.

НАРОДНОМУ ХУДОЖНИКУ ИВАНУ ОЛЬБРАХТУ

(Письмо от 4 января 1947 года)

Дорогой товарищ!

Искренне жму твою руку в день твоего шестидесятилетия. Я думаю, что ты можешь с чистой совестью и с гордостью оглядываться на свое прошлое. Всю жизнь ты шел путем наших лучших мастеров культуры — отдавал все свои силы художника, публициста, передового человека борьбе нашего народа за лучшее будущее. Твое творчество стало важной вехой в истории нашей национальной культуры, оно ввело в чешскую литературу нового полноправного героя — рабочий класс, который борется за ведущее место в национальной жизни, за осуществление своих социалистических идеалов. Потому наши трудящиеся любят тебя и с полным основанием называют своим поэтом, потому гордится тобой наша коммунистическая партия.

Но тебе еще не нужно оглядываться назад. Свое шестидесятилетие ты отмечаешь в расцвете сил и деятельности на важном участке нашей политической и культурной жизни. А теперь, когда побеждают идеи, которым ты посвятил свое искусство и свою жизнь, перед нами открывается радостное будущее.

Поэтому, Иван Ольбрахт, под лозунгом «Анны-пролетарки» — «Вперед! Вперед!» — к строительству лучшей жизни для нашего народа, к расцвету нашей культуры!

Готвальд.

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ОРСАГА ГВЕЗДОСЛАВА

(Письмо от 31 января 1949 года, адресованное Словацкой Академии наук в Братиславе)

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую ваши торжества в честь столетия со дня рождения Павла Орсага Гвездослава, великого словацкого поэта, который в своем творчестве отразил не только красоту словацкой земли, но и братские чувства ее народа к чешскому народу. Мы можем теперь искренне и с гордостью вспоминать Гвездослава потому, что только наше время, наш народно-демократический строй осуществляет величайшие чаяния поэта и является полной победой словацкого народа.

Поэтому юбилей Гвездослава снова напоминает нам о величайшей задаче народной демократии и социализма в области культуры: сделать для широких масс словацкого народа доступным все лучшее, что было создано в прошлом словацкой литературой,— произведения, которые будут укреплять и стимулировать словацкий народ в деле построения лучшей, прекрасной жизни. И так же как словацкий народ с интересом ожидает теперь издания произведений чешского писателя Алоиса Ирасе-

ка, так, с другой стороны, массовое издание лучших произведений словацкой литературы способствовало бы ее популярности в чешских землях.

Я полагаю, что, успешно выполнив эту задачу, мы лучше всего почтим память поэта Гвездослава и других словацких писателей и просветителей.

Желаю вам большого успеха в этом деле.

Готвальд.

ДВЕ ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛИСТА

(Ответ на вопрос редакции еженедельника „Новинарж" 17 мая 1947 года)

В чем заключаются, с вашей точки зрения, две основные черты хорошего коммунистического журналиста?

Во-первых, для него всегда должно быть ясно, что́ он хочет написать, он должен хорошо знать вопрос, о котором пишет. Это является в то же время важнейшей предпосылкой второй необходимой черты коммунистического журналиста: писать так, чтобы народ понимал его. Таким образом, ясность, простота и правдивость в мышлении и ясность, простота и правдивость в выражении мыслей.

Готвальд

К СТОТРИДЦАТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОЖЕНЫ НЕМЦОВОЙ

(Письмо от 3 февраля 1950 года организаторам торжеств в честь юбилея Божены Немцовой)

Дорогие друзья!

Сердечно благодарю вас за прекрасный подарок и за сообщение о подготовке празднования сто тридцатой годовщины со дня рождения Божены Немцовой.

Полностью согласен с тем, что именно в наше время необходимо уделить особое внимание творчеству и личности Божены Немцовой. Ведь автор «Бабушки» принадлежит к числу наиболее прозорливых умов нашего народа, которые поняли, что судьба нашей нации теснейшим образом связана с судьбой широких народных масс. Ее творчество было горячим прославлением нашего народа, его гения, но одновременно оно было и страстным обвинением, призывом изменить положение бесправного, голодающего народа. Борьба, вся жизнь Божены Немцовой была особенно тяжела потому, что она не понимала, какие силы могут изменить несправедливый общественный строй и установить настоящее братство среди людей. С тем бо́льшим уважением вспоминаем ее мы, создатели нового, социалистического строя, тем дороже для нас ее заветы как проявление великого, правдивого искусства и мужественной борьбы. Божена Немцова наряду с Яном Нерудой и Алоисом Ирасеком была создателем тех величайших ценностей в чешском национальном литературном наследии, которые мы должны теперь передать в руки нашего народа.

Готвальд.

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛОИСА ИРАСЕКА

(Письмо от 22 августа 1951 года участникам торжественного вечера в Пражском Национальном театре)

Дорогие друзья и товарищи!

Примите мои поздравления по случаю торжественного вечера, посвященного столетию со дня рождения Алоиса Ирасека. Тем самым я присоединяюсь к чествованию нашего великого писателя.

Творчество Ирасека звучит в наше время мощным призывом к борьбе за независимость нашей страны, за построение лучшего будущего для нашего народа, за мир во всем мире и братское сосуществование народов; не менее мощно зовет оно к борьбе против всех врагов нашей родины и нашего мирного строительства, против зачинщиков новых крестовых походов, против предателей внутри страны, которые, находясь в услужении у чужеземцев, хотели бы снова потопить в крови нашу страну, снова установить в ней власть тьмы. Будем же стремиться к тому, чтобы и в будущем наш народ черпал в великих и прекрасных произведениях Ирасека новую силу, мужество и боевой энтузиазм для построения социализма в нашей стране, для борьбы за сохранение мира во всем мире, которую ведет наша гуситская страна плечом к плечу с прогрессивными силами всего мира под руководством великого Советского Союза!

Готвальд.

Виктор Ворошильский

Константы Ильдефонс Галчинский

За что его так любили? И как это случилось, что столько нашлось людей, которые вырывали друг у друга номера журналов с его новыми стихами, расхватывали в книжных магазинах его сборники, осаждали залы, где бывали его творческие вечера? Ведь нельзя утверждать, что современная поэзия находит в Польше столь же страстных почитателей, как роман или фильм. А тут за два года, истекших со дня смерти поэта, разошлись тиражи трех очередных изданий его избранных произведений, приступом брался театр, где проходил концерт, посвященный его памяти...

Неблагодарная это миссия — характеризовать красоту какого-либо искусства. И перед звучной, искрящейся разнообразными блестками, радужной поэзией К. И. Галчинского, которую я люблю, как и многие в моей стране, я останавливаюсь в смятении, чувствуя, что не сумею дать исчерпывающей формулы этой поэзии. Поэтому я хочу предупредить читателя, что мои суждения о творчестве Галчинского будут носить характер приблизительный и, быть может, слишком личный.

Итак, за что же его любили и любят?

Я думаю, что более всего за его доброжелательность к простому человеку, за его пристальное внимание к повседневности, за солидарность с невымышленными радостями и заботами современников, за его *демократизм.*

Лирика Галчинского радуется вместе с читателем свободной родине, вздымает кулак против войны, бросает презрение в лицо изменнику общего дела; при этом она никогда не становится на ходули, избегает даже тени ложного пафоса. Лирика эта вместе с читателем ездит в трамваях, на пролетке, на пригородном поезде, заглядывает в маленькое кино, в магазин, вдыхает ветер с Вислы, слушает соловьев и уличных музыкантов, беседует с солдатом, лодочником, студентом. Есть в ней и волнение любви, и близость к природе, и улыбка, и насмешливый прищур глаз, и грусть — все чувства цельного, подлинного, неущемленного человека. И есть большая доля яркой фантастики, что-то от веселой ярмарки с балаганом фокусника, с кукольным театриком, с каруселью, тиром...

Читателя поэзии Галчинского непрерывно сопровождает яркое ощущение своеобразной индивидуальности художника. В чем заключается своеобразие таланта? Конечно, не только в том, что один поэт любит писать ямбом, другой же предпочитает «свободный стих». Объективная действительность бесконечно богата, она содержит, помимо великих истин века, — без обладания которыми я не мыслю себе народного поэта, — еще и неисчерпаемое множество различного рода элементов мира, которые не могут все без исключения попасть в поле зрения одного поэта. Своеобразие таланта — это, как мне кажется, исключительная способность ощущения отдельных, определенных элементов, из которых поэт слагает присущий только ему поэтический образ мира. Так, у Галчинского-лирика мы замечаем особенную восприимчивость к музыке и свету, к художественному наследию античности и ренессанса, к известным деталям живой природы и городского пейзажа, к мастерству искусного ремесленника, наконец, — что, быть может, самое главное — к красоте будней с их простейшими предметами и занятиями, «прозу» которых он превращал в благородный металл поэзии.

У Галчинского-сатирика к этому добавляется резкая реакция на разные «национальные пороки» вроде шляхетской бравады и спеси, злоупотребления романтическим жестом, отсутствия политической трезвости. И, наконец, отметим специфическую черту видения Галчинского — его постоянную устремленность к гротеску и фантастике, как элементу реальной жизни, устремленность, не всегда отчетливо выраженную, но повсюду присутствующую «подкожно», позволяющую поэту в любую минуту рвануться от самого приземленного в необычный полет в страну сказки и, наоборот,— вернуться

из воздушных просторов к обыденнейшей реальности. Ограничимся же этими чертами поэтического своеобразия Галчинского. Может быть, такой их перечень поможет русскому читателю предощутить поэта, хотя, конечно, не заменит непосредственного впечатления от его стихов. Итак, адресуем читателя к самим стихам. Но перед этим — еще несколько слов о непростой биографии К. И. Галчинского.

Молодым поэтом он бунтовал против капиталистической действительности; это был, однако, бунт одиночки, анархиствующего интеллигента, бунт, заводивший в тупик. Едко клеймя правившую в старой Польше клику пилсудчиков, Галчинский не нашел тогда пути в революционный лагерь и связал себя с оппозиционной группировкой, жонглировавшей национальной и антикапиталистической фразеологией, но по существу крайне реакционной. Правда, это почти не нашло отражения в его творчестве, но имя поэта было использовано этой группой для своей пропаганды. Перелом наступил, когда разразилась война с гитлеризмом. Галчинский принял в ней прямое участие в качестве рядового солдата и потом на долгие годы попал в лагерь военнопленных. Именно там вызрел его убежденный антифашизм. Оказавшись после освобождения на Западе, поэт отверг предложение остаться в эмиграции и вернулся на родину, чтобы отдать свое перо Народной Польше, народу, строящему социализм. Он делал это в полную меру своего большого таланта, с пылом человека, который нашел правду и цель жизни. Лирика Галчинского протянула руку не одному соотечественнику, потерявшемуся в хаосе истории, и привела его на родину. Его сатира больно хлестала врагов Народной Польши. Иногда в ней звучали также и трагические ноты, к примеру тогда, когда он примечал маленького, одурманенного эмигранта, сбившегося с пути, настигнутого миноносцем империалистической цивилизации («Кафе-бар «Океан»). Из лирики и из сатиры одинаково проступал лучезарный облик нового мира, певцом которого хотел быть и был Константы Ильдефонс Галчинский.

Последнее произведение поэта — лирический цикл, озаглавленный «Песни». В цикле этом, самом простом и самом прекрасном из всего написанного Галчинским, нашла выражение его великая любовь к жизни во всех ее проявлениях, вера в глубокий смысл труда для народа, вместе с народом. Когда же через несколько недель после опубликования цикла, в декабре 1953 года, поэт умер, строки «Песен» прозвучали как волнующее завещание:

На то нам и песни эти,
Нашедшие отзвук в мире,
Чтоб день ото дня на свете
Быть зорям щедрей и шире;
Чтоб шли они через версты
По улицам беспредельным
Той Эос розовоперстой
С лицом работницы дельной.

Константы Ильдефонс Галчинский

Стихи

ОТЧИЗНА

Перевод с польского Д. Самойлова

ДОЧЕРИ

Много песен на свете
Из столетья в столетье,

Но мотив есть единый
В самой глуби глубинной;

Он от люльки до гроба
Провожает любого.

Звук ли, первая нота —
Узнаешь его, вот он,

Здесь, где солнечной ранью
Дремлют окна в герани,

Звезды, птица лесная —
Это он! Я уж знаю!

Листик падает в струйки,
Сердце радуют звуки,

Отзвук первой любови,
А что в сердце, то в слове,

В слове, в дедовской речи,
Что, как травы, лепечет

И приходит порою
Поговоркой, листвою,

То пригорком, то тучей,
То погодой плакучей,

Соловьиным коленом,
Первым снегом, Шопеном.

Вещих струн переборы
Время вяжут в узоры.

В сердце, словно в плавильне,
Смысл глубинный, всесильный;

Блик от этого сплава —
Над трудом и над славой,

Над работой кузнечной
Этот отблеск сердечный.

Вновь мерцает, как пена,
Ночь под лампой Шопена;

Скрипка в улочке крайней,
Месяц в гроздьях гераней,

И звезда над сосною,
И заря над весною.

Край мой! Красками радуг —
Мальвой, ландышем радуй!

Край угля и железа,
Трав звенящих и леса,

Мне земли твоей крошка —
Словно свечка в окошке.

Мой ты, снежный и знойный!
Тут отец мой покойный,

Дед мой спит под травою,
Под шумящей листвою.

Пусть нас флаги с порога
Провожают в дорогу;

Пусть могуч, изначален
Будет звон наковален,—

Чтоб рука не слабела,
Чтобы делалось дело

И в цеху, и на поле,
И на суше, и в море —

Чтобы свет по планете
Шел в иные столетья,

В славный век, златолистный.
Песня! Свет мой! Отчизна!

ПЕРЕД МАВЗОЛЕЕМ ЛЕНИНА

Перевод с польского Д. Самойлова

Я вижу снова и снова
Тот день. Он помнится ясно.

Дул ветер холодный в лицо,
Был снег на площади Красной.

Осветленный зарею ранней
Стоял Мавзолей тогда...

После суетных лет блужданий
Наконец я пришел сюда.

Нужно ль еще, чтобы трубы рыдали жестоко!
Да он умер,— и не избыть нам боли,—

Тот, кто сердце земли передвинул к востоку
Раменами * рабочей воли.

Присягаю сурово, строго!
Пусть перо мое станет огнем, и лучом, и каленьем.

Новый век предо мной! А всего два слога:
ЛЕНИН.

ПРОСТИТЕ МНЕ, ЛЮДИ...

Перевод с польского Д. Самойлова

Простите мне, люди, если
Я в песнях сказал вам мало,
Что пел лишь такие песни,
К которым сердце лежало;

Что лишние в них красоты,
Достойные осмеянья —
Прикрасы и позолота,
Луна, соловьи, сиянье.

Люблю этот блеск! Лучами
Я песни светить заставил,
И если бы мог — свечами
Весь мир в пятерик бы вправил.

На то нам и песни эти,
Нашедшие отзвук в мире,
Чтоб день ото дня на свете
Быть зорям щедрей и шире;

Чтоб шли они через версты
По улицам беспредельным
Той Эос розовоперстой
С лицом работницы дельной.

Еще мы в пути, в тревоге,
Еще мы в трудах, в боренье.
Хочу, чтоб мой след в дороге
Не стерся ветром забвенья.

---

* Рамена — плечи (**архаич.**).

МЕСЯЦ

Перевод с польского А. Голембы

Механизмом потаенным движим,
Я вплываю в сон дворцов и хижин;

Движусь неприкаянным снобродом
По отвесным плитам и по сводам.

Свет мой чешуей монет блестящих
Густо осыпает лица спящих.

Пущены пружиною зловещей,
Оживают мертвенные вещи.

Получают новые значенья
Образы, названья, измеренья.

И в часы, когда мой свет обилен,
Утихает вихрь, смолкает филин.

Удлиняются мосты и реки,
Парапеты, и смычки, и деки.

Мир окутан лунным беспорядком,
Диким виноградом город заткан.

На балконах и промеж балясин
Луч, как ребус, сбивчив и неясен.

Меркнет луч, туманом поглощенный,
Гаснет ребус, ночи возвращенный.

Возвращенный сумеречным тучам,
Зодчим позабытым и могучим.

И опять из каменной вселенной
Светом вырван контур переменный.

Полночь прихотливее художниц,
А лучи острей портняжных ножниц.

Камень стонет, жалуется, плачет,
Свет его грозит переиначить,

Превратить в светильники и лица,
А потом в иную форму влиться —

В яблоки, в бинокли, в балюстрады,
В темный ветер мокрой автострады.

Со стены на стену ночью синей
Свет несет изломы смутных линий.

Площадь перейти вам запрещает,
Лестницы и окна похищает.

У коней он похищает дуги,
Бубенцы бренчат в большом испуге!

Как твои звучанья вдохновенны,
Полночь, филармония Селены!

Входит свет мой — зелен и всесилен,
В закоулки мозговых извилин,

В хрупкое стекло ночной печали,
В зыби вод, что отблеск мой качали.

В очи птиц, собак и женщин пьяных,
В серебро стариннейших чеканок,

В фонарей полночных изумруды,
В хрустали сверкающей посуды!

И всему, на чем мой луч хлопочет,
Сдержанно желаю доброй ночи!

Кто же я? Зачем во мгле качаюсь?
Почему по-польски я прощаюсь?

Всем вещам я поклонюсь бесстрастно:
— Доброй ночи! Скоро я угасну.

Меркнет свет, как музыка над бездной:
Доброй ночи! Скоро я исчезну.

Но сперва обрушусь в зал концертный,
Чтоб не сгинуть в памяти бессмертной!

Прямо с неба рухну лунным ритмом,
Скрипачом застыну над пюпитром.

И, четыре вальса под сурдину
Разбросав, я в темный купол хлыну
Временем расцвета и ухода,

Чтобы слушатели присмирели,
Чтоб звучали дьявольские трели
Пляской четырех сезонов года!

Снег и зной, пушок плодов румяных,
Имена созвездий безымянных,
Заросли и мертвые пустыни,

Исполинским колесом вращаю
И неровно спицы освещаю
Бликами лимонно-золотыми!

Вот каков я, месяц яснолобый,
Не блистаю новизной особой,

Но в окне мерцаю над тобою
Среброглавой легкой сединою!

Там над крестовиною вишу я,
Светом раздвигая тьму большую —

Светом, сродным полуночным высям,
Перечеркиваю строки писем;

Лучик мой на прядях серебрится,
А тебе сентябрьский дождик снится,

И глаза твои — озера света,
Две любви, два счастья, два рассвета!

Я — хранитель ласковых сокровищ,
Ты лучам объятия раскроешь;

Нотной вязью, лунной канителью
Вышью полог над твоей постелью;

Там намечу Млечные пути я,
И пичуг, и башни крепостные!

Лик твой стал серебряною маской,
Сон твой стал немыслимою сказкой,—

А когда умру — не слезной грустью:
Месяцем к твоим глазам вернусь я,

Загляну тебе я прямо в очи:
Это я. Твой месяц. Сердце ночи.

КОНЕЦ ИНТЕЛЛИГЕНТА

(Житие святого)

Перевод с польского Ал. Ревича

Аполитичен. Вдрызг простужен.
Чужой на родине. К тому же —
Погибель, прозябанье.

Стремился. Жаждал. Мог бы, если б...
Глядит в окошко. Жмется в кресле.
Конь Блед? Нет, вьюга, пане!

Все, все не так. Все — под сомненье!
На небе ль, на земле виденья?
Простите! Где комета?

На днях писали про комету
Из Лондона нам по секрету.
Комета, да не эта!

Он загнан. Мысли — как в тумане.
Куда ни ткнешься — опозданья.
Во сне. На две минуты.

Он ждал — придут. А что в итоге?
Дорогу знал. И нет дороги.
Пришлось бедняге круто.

Продумал час, распятьем лежа,
И на голову стал. О боже!
Прощай, жена! И чада!

Он тиснул фельетон о бане.
В той бане было грязно, пане,
И все не так, как надо.

Что делать? Прошлое во прахе.
Куда еще идти? В монахи?
В политику? Все тленно.

Бредет в проулок тупиковый
Фигура польского святого
Под скорбный марш Шопена.

CAFÉ-BAR „OCÉAN“ *

Перевод с польского Ал. Ревича

1

Окраина Брюсселя.
Харчевня «Океан».
Здесь отдых и веселье
пропойц и шулеров.

Трактирщик — тусклый некто —
торчит, как тень, у бара,
какие-то субъекты
играют в карты яро:
— Merde.
— Pardon?
— Carreau **.

На потолке фигурки
амуров и окурки.
Гляди: горит на диво
амуров позолота,
их рой сквозь дым возник.

---

* Café-bar „Océan“ — кафе-бар „Океан“ (*франц.*).
** Merde — Pardon? — Carreau — Черт возьми. — Извините? — Бубны (*франц.*).

Тупые анекдоты,
скабрезные остроты.
Бродяги тянут пиво:
— Merde.
— Pardon?
— Pique *.

Стоит маньяк сутулый
с улыбкой покаянной.
Здесь многих затянуло
в пучину «Океана».

2

Здесь рукопись Моцарта
и динамит в продаже.
Достанет Запщикульский
тебе валюту даже.

(Живет он с итальянкой,
пять душ детей в придачу.)
Гляди: уселся с негром
за домино, судача.

3

Здесь девочек — о боже! —
как звезд в небесной ложе.
Под рокот телефона
глядит трактирщик сонно

на лица их и спины
в табачном сизом дыме,
на блеск ногтей карминных
над кружками пивными.

И что-то шепчут ноги,
ресницы, губы, плечи.
Колечки есть у многих,
у многих нет колечек.

Одни, как месяц в туче,
другие — птичьи тени,
как Баха многозвучье,
как виселиц скрипенье.

Здесь есть — как зелень сада,
и как листвы напев,
а многие... но рядом:
— Merde.
— Pardon?
— Trèfle **.

---

* Pique — пики (*франц.*).
** Trèfle — трефы (*франц.*).

4

Зимою здесь утратишь
остатки прежней веры.
Свистит безумный ветер
в проулке Мейербера.

Здесь Запщикульский, плача,
с надеждой на удачу
стихи о розах пишет
и ставит кляксы на нос.
Культура — выше, выше —
над бездной «Океана»
всплывает миной
между
обломками надежды
и над крушеньем вер.
— Чей ход?
— Прошу.
— Coeur *.

* Coeur — черви (*франц.*)

Катарина Сусанна Причард

Нанинья и Джени

РАССКАЗ

Перевод с английского Р. Райт

Две старые туземки брели по темной равнине к пересохшему руслу ручья. Они четко выделялись на дотлевающем вечернем небе.

Мэри Мойл знала обеих. И слепую старуху Нанинью и ее неизменную спутницу Джени — худую, сморщенную старушонку с обрубком вместо руки. Джим рассказывал, что ее в детстве укусила змея и какой-то добрый золотоискатель топором отхватил ей руку.

В те времена только начинали намывать золото по Скал-крику *. Этот ручей так назвали потому, что там попадалось много черепов — следы стычек туземцев с первыми золотоискателями.

Ручей выходил из гряды зубчатых гор на востоке и, разливаясь по заболоченной, бурой земле, терялся в песчаных дюнах на севере. Золото здесь находили главным образом в россыпях, поверху. И только через несколько лет после золотой лихорадки один из «старожилов», прочно осевший на своем участке, напал на богатую жилу и новые россыпи. Снова нахлынули старатели, и на старых и новых заявках выросло несколько приисков.

Джим Мойл и его зять освоили неплохой участок, и Мэри, погрузив троих ребятишек и весь свой скарб в почтовый грузовик в Какарре, приехала к Джиму, в домишко, который он сколотил для нее на тенистой вырубке в лесных зарослях.

Сначала ее пугали полуголые туземцы, которые выходили из лесу с копьями и деревянными щитами и шлялись по лагерю, когда ее муж уходил на участок. Но Джим объяснил ей, что это племя мирное, дружелюбное, давно занимается охотой, и Мэри перестала бояться, когда они обступали ее и смотрели, как она купает маленького или кормит его из бутылочки с резиновой соской. Они приводили к ней своих жен и ребят, и она привыкла шутить и болтать с ними или, топнув ногой, отгонять их прочь, когда они слишком ей докучали.

В поселке, выросшем вокруг приисков, скоро набралось сотни три золотоискателей. Многие отстроили себе дома, перевезли семьи. На месте водоема, которым пользовались туземцы, был вырыт колодец. В долгую летнюю засуху туземцам приходилось брать в поселке воду и еду. Пока было много золота — и в россыпях и в жилах, — их никто не гнал. За харч они делали всякую поденную работу. Но когда три прииска

* Scull — череп, creek — ручей *(англ.)*.

закрылись, жителям опустевшего поселка и самим приходилось с трудом раздобывать себе пропитание, а кормить орду голодных туземцев им стало не под силу.

Но Мэри никак не могла отказывать женщинам и детям и вечно совала им остатки хлеба и мяса. Тогда-то и появились две старухи и, задрав грязные лохмотья, выставили напоказ тощие ноги и ввалившиеся животы, глядя с такой мольбой на Мэри голодными глазами, что она в отчаянии подумала: «Нет, лучше самой поголодать, чем прогнать их без куска хлеба».

Это и были Нанинья и Джени.

Пошли дожди, воды стало больше, больше дичи — туземцы уже могли кормиться сами. Но Нанинья и Джени аккуратно, каждую неделю, приходили к Мэри. Как-то она им даже обрадовалась: ребята болели, да и сама она прихворнула,— не постирают ли старухи белье? Джени пришла в неописуемое волнение: сейчас она докажет, что одной рукой можно больше сделать, чем молодые делают двумя! И она с таким азартом терла и колотила грязное белье рабочих, что Мэри стала отдавать ей стирку каждую неделю. За это Джени получала два шиллинга и хлеба с мясом впридачу, и обе старухи уходили, задыхаясь от счастья.

Мэри очень к ним привыкла, ее забавляла и трогала их привязанность друг к другу. Хотя слепая Нанинья только и знала, что сидеть у поленницы, что-то напевая себе под нос, она явно руководила всей работой Джени, все время окликала ее, давала какие-то советы, а та смеялась и трещала без умолку, рассказывая слепой, как пышно взбилась мыльная пена, и подробно описывая каждую вещь, которую она вывешивала на веревку.

Обычно Джени выпрашивала у Мэри всякое старье, а иногда и щепотку табаку, но все это у нее отбирала Нанинья, хотя Мэри не сомневалась, что они, по туземному обычаю, обязательно делили заработок поровну.

Снова наступило лето, с засухой, пыльными буранами, невыносимой жарой, и снова туземцы сошли с гор в долину. Они разбили лагерь у ручья. С утра до вечера поселок кишмя кишел взрослыми и детьми. Но жителей в поселке осталось немного, они не могли прокормить такую ораву; туземцы обшаривали все закоулки, все помойки и мусорные кучи. Собаки динго тоже голодали. Они рыскали по ночам вокруг лагеря с унылым, жутким воем и только под утро, крадучись, уходили прочь.

Джим написал в управление по делам туземцев, прося обратить внимание на голодающих у Скал-крика, и настаивал, чтобы немедленно прислали продукты.

Вместо Наниньи и Джени к Мэри явилась хмурая молодая туземка с ребенком на руках и сказала, что она может постирать. Мэри спросила, куда девались Нанинья и Джени. Но женщина, насупившись, опустила голову и сделала вид, будто не понимает, о чем ее спрашивают. Мэри знала, что старухи живы. Она видела, как они ковыляли по задворкам вместе с другими туземцами: Нанинья еле волочила ноги, Джени ее поддерживала.

И вот сейчас Мэри с удивлением смотрела, как они обе медленно бредут в темноту, в дюны, уходя от костров лагеря у ручья туда, где нет надежды раздобыть воду и пищу.

Мэри смотрела им вслед в смутном беспокойстве.

— Нанинья! Джени! — закричала она.

Голос ее разнесся далеко по равнине. Старухи услышали его. Они остановились, слившись в одно темное пятно на меркнущем закатном небе. Потом заковыляли дальше.

— Куда ушли Нанинья и Джени? — спросила Мэри молодую туземку с ребенком, когда она пришла на следующий день.

— Они немного гуляй! — угрюмо буркнула та.

— Какие глупости — «гуляй»! — рассердилась Мэри.— Я видела их вчера вечером; они шли туда, где воды нет, бангарры * нет...

— Нанинья — он больной, он скоро-скоро кончай! — пробормотала женщина, и лицо ее потемнело и нахмурилось.

— Что ж, по-твоему, она помирать ушла. И Джени — с ней? — возмутилась Мэри.

В глазах женщины тоже вспыхнуло возмущение, но она сдержалась, отвернулась. Как объяснить этой белой, что случилось с Наниньей и Джени?

— Конечно, они старые. А у вас в лагере, должно быть, еды и для мужчин мало, и для таких толстых лентяек, как ты!— вскипела Мэри.— Вот вы их и прогнали — пусть подыхают с голоду!

— Его нет прогоняй! — бросила женщина.

«Значит, старухи ушли по собственной воле,— подумала Мэри,— не захотели вырывать кусок изо рта у других». Ей стало жутко; она представила себе, как старухи идут в сырые пески, где ручей уходит в бурую землю, исчезая под черными камнями, и дальше — в бесплодные горы, которые тянутся бесконечной волнистой грядой под белесым небом, до самого горизонта. Мэри с ужасом представила себе, как две старухи, измученные москитами и летучими муравьями, идут навстречу голодной смерти. Идут только для того, чтобы сберечь своему племени хоть немного еды.

Мэри знала, что, если бы не засуха, не голод, Нанинья ушла бы из лагеря, только почуяв, что смерть близко. Да и тогда она ушла бы недалеко. Она легла бы под дерево на берегу ручья, неподалеку от лагеря, чтобы на рассвете женщины могли оплакать ее, а мужчины — вырыть неглубокую могилу, отпугивая песнями и криками злых духов, которые только того и ждут, чтобы схватить ее душу, когда та покинет старое свое тело и полетит искать костры предков среди небесных звезд.

— Обычай у них такой, нельзя нарушать законы племени! — сказал Джим, когда Мэри передала ему свой разговор с молодой туземкой Ниндой.

— Может, у них и полагается, чтобы старухи, вроде Наниньи, в голодное время уходили от своих, потому что она слепая, никому не нужна,— горячо возразила Мэри.— Но ты забыл, что с ней ушла и Джени, а она-то совсем не такая старая, она еще может работать.

— Это верно,— сказал Джим.

— И все из-за нас! — Мэри не могла отделаться от чувства стыда и вины за то, что произошло с Наниньей и Джени. — Мы им жизнь испортили, этим туземцам: и золотоискатели, и другие белые! Раньше они хорошо жили, а мы пришли, отняли у них колодцы, распугали всю дичь. Вот теперь они и мрут с голоду; разве они могут жить на ту милостыню, что мы им подаем? А мы даже продукты от государства получить для них не сумели.

Джим не стал отрицать: она была права.

— Сегодня придет почта,— продолжала Мэри.— Я пошлю записку в полицейский участок в Какарре, напишу, что необходимо прислать для туземцев продукты. А сержанту Гиллигену напишу, пусть сейчас же вышлет отряд на поиски Наниньи и Джени. Может быть, хоть Джени жива. Страшно подумать, как она погибает там, в дюнах...

---

* Бангарра — съедобная ящерица.

— Я бы и сам пошел,— проворчал Джим,— да тут не обойтись без лошадей, без верблюдов. Кто их знает, куда они забрели, эти старухи...

В полдень затарахтел почтовый грузовик. Почтальон привез письма, газеты за позапрошлый месяц и сплетни со всей округи, но никаких продуктов для туземцев власти не прислали. Почтальону стало смешно — чего это миссис Мойл так беспокоится за двух старых туземок, но он все же согласился передать ее записку сержанту полиции в Какарре.

Только три дня спустя сержант Гиллиген с темнокожим проводником прибыл на верблюдах к Скал-крику. Он пригнал вьючных верблюдов с изрядным запасом воды и продуктов, но выразил явное неудовольствие по поводу того, что его гонят черт знает куда за двумя старыми туземками.

Когда Гиллиген выехал, Мэри занялась обычной своей работой по дому: сварила обед, убралась, поиграла, как всегда, с детьми. Но ее неотвязно преследовала мысль о двух старухах, бредущих по пустынной, безводной земле, под беспощадным солнцем, которое печет все сильней и сильней. Мэри представляла себе, как они терпеливо и безропотно будут дожидаться, пока палящий зной не выпьет их последнее дыхание. Неужели Гиллиген не успеет спасти их?

По нескольку раз в день Мэри всматривалась вдаль, где на выгоревшей синеве неба дрожали миражи, а глазам становилось больно от режущего блеска черной гальки на бурой земле. Мэри надеялась, что увидит издали, как возвращается сержант Гиллиген, а с ним хотя бы одна Джени. Но проходили дни, опалявшие жаром, словно дыхание раскаленной печи, и всякая надежда пропадала. В тоске и горе Мэри думала о том, что произошло со старухами. Нет, какая дикая нелепость — люди обречены на смерть из-за того, что на их родной земле нашли золото!

В сумерки, на шестой день после того вечера, когда Мэри в последний раз видела Нанинью и Джени, ковылявших по темной равнине, сержант Гиллиген со своим проводником и верблюдами подъехал к поселку у Скал-крика. Он проездил три дня. Верблюд опустился на землю, и сержант спрыгнул с него, как ни в чем не бывало, еще более веселый, чем перед отъездом.

Мэри вышла ему навстречу; он явно был рад вернуться к неприхотливому уюту приискового поселка после путешествия по опаленной солнцем равнине. У него был удовлетворенный вид человека, с честью выполнившего свой долг.

— Ну, хозяюшка,— сказал он с ухмылкой,— нашли мы ваших старушенций, да только динго добрались до них раньше нас!

Алан Маршалл

Вот как жили люди в Спиво...

РАССКАЗ

Перевод с английского В. Смирнова

Что вы мне рассказываете о Пекосе Билле, Колорадо Джеке и великане из лагеря лесорубов, который ковырял в зубах стволом ели! Герои американского фольклора просто мозгляки рядом с обитателями Спиво — мифической овцеводческой фермы в Австралии. Да вы знаете, что Скрюченный Мик из Спиво, который скорее отказался бы от еды, чем от потасовки, запустил однажды в ворон Айерской скалой! А он был не ахти какой великан по тамошним масштабам.

Нет, по мне, если уж говорить, так только о народных героях Австралии. Рассказами о них полна вся страна от Кейп-Йорка до Отуэя, от Брисбена до Брума. Встретятся ли друг с другом погонщики волов, сойдутся ли вместе гуртовщики, между ними тотчас же заходит разговор о Спиво, а на обратном пути к своим родным захолустьям они божатся встречным и поперечным, что дошли до его границ; иные даже утверждают, что работали там.

«Когда я работал в Спиво...» «Разве это грязь! Побывал бы ты в Спиво...» «Подумаешь, засуха! Вот в Спиво...»

Да, друзья, удивительные вещи случались в Спиво. Кенгуру там были высотой с гору, а эму клали такие яйца, что люди выдували их и поселялись в яичной скорлупе, как в доме.

Но где находится Спиво, не знает никто. На Дарлинге вам скажут, что это где-то за Бёрком; в Бёрке говорят, что Спиво на Западе; жители Запада кивают на Квинсленд, а там вас стараются убедить, что Спиво находится на плато Кимберли.

Том Ронан из Кэтерина, что в Северной Территории, писал мне:

«По-моему, сперва это было где-то чуть-чуть «подальше», «вон за той горной цепью», и скот там чуть подичее, лошади чуть поноровистей, а народ чуть потолковее, чем где бы то ни было. По мере того как в наших захолустьях рождались все новые и новые сказания, приметы Спиво приобретали все большую определенность: это уже страна быстрых потоков, тенистых рощ, сочных зеленых пастбищ,— обетованная земля овцеводов, куда переселяются после смерти все достойные люди — и не одни только достойные.

«В самом начале века старый гуртовщик по имени Джим Диллон обосновался на клочке земли к юго-западу от Уайндема, что на западе

Австралии, и назвал его Спиво, каковым оно и остается на карте по сей день, давая, таким образом, пищу для домыслов, действительно ли это то самое Спиво, о котором рассказывают столько чудес».

Как бы там ни было, легенды о Спиво все же дают некоторое представление об этой мифической ферме и некоторых людях, вершивших в ней дела. Все эти легенды — а их сотни — вполне согласуются между собой, когда речь заходит о размерах Спиво, но героями в них являются самые различные люди, хотя с двумя-тремя приходится сталкиваться почти в каждой легенде. Видимо, это как раз те, кто делал в Спиво погоду, тогда как остальные, которым так или иначе приходилось сталкиваться с ними, выступают в роли их славословов.

Первым идет Скрюченный Мик, который пытался удавиться на собственной бороде в Великую Засуху. Он был непревзойденный стригальщик: пятьсот овец в день было для него сущим пустяком. Однажды Босс, выведенный из себя его грубым обращением с баранами, пришел к нему в сарай для стрижки овец и рявкнул: «Уволен!» А Скрюченный Мик как раз гнал стрижку вовсю. Он работал с такой скоростью, что выстриг еще полтора десятка овечек, прежде чем смог разогнуть спину и повесить ножницы на крюк.

Последние годы его жизни омрачило случившееся с ним несчастье. Он мыл овец, как вдруг оступился и упал в котел с кипятком. Большой Билль, стоявший тут же, выхватил его из воды, сорвал с него одежду, затем словил двух баранов и перерезал им глотки. Содрав с них шкуры, он обернул ими — мездрой к телу — туловище и ноги Скрюченного Мика. Когда три недели спустя его доставили к врачу, тот лишь взглянул на него и сказал: «Вы сделали с ним чудо, ребята. Чтобы снять с него эти шкуры, понадобилась бы серьезная операция. Они прижились на нем».

Как рассказывал потом Большой Билль, они вернулись со Скрюченным Миком в Спиво и с тех пор ежегодно стригли его.

— Он давал двадцать два фунта шерсти,— говорил Большой Билль.— Недурно.

Большой Билль, который взялся возводить ограду из колючей проволоки вокруг Спиво, был там, по рассказам, самым сильным человеком. Свое состояние он нажил на кройдонских золотых приисках, продавая выработанные шахты как ямы под телеграфные столбы. Ему-то сперва и поручили обнести оградой Спиво, но после одного дня на копке ям под столбы Билль отказался от такого дела. Утром он оставил свой завтрак у первой ямы, а в полдень, решив подкрепиться, бросил лом и отправился в обратный путь. Но он накопал столько ям, что добрался до своего завтрака лишь в полночь. Это для него было уже слишком.

— Так недолго и ноги протянуть, если продолжать в том же духе,— пояснил он.

Был там еще дядюшка Гарри, который проехал через Уагга-Уаггу верхом на ломе, не натерев ему спины. Этот тихоня завез пять тонн оловянных свистулек в такие места, где еще и населения не было. Однажды, когда Билль расхвастался перед всеми своей силой, кто-то возьми и спроси дядюшку Гарри, приходилось ли ему поднимать большие тяжести.

— Нет,— скромно ответил он.— Какой я силач! Поднятие тяжестей — это не по моей части. Но все же как-то раз мне пришлось снести одну очень неудобную ношу с баржи, которую вел на буксире «Толарно». Это было у Тинтинналоджи, и, заметьте себе, груз был вовсе не тяжелый, а просто *неудобный*. Я нес — да к тому же в гору — двухлемешный плуг, несколько борон и восемь дынь без всякой упаковки. Нести было не то что тяжело, а неудобно, иначе я и говорить бы об этом не стал.

Плосконосый Джо работал в Спиво погонщиком волов. Упряжка у него была такой длины, что ему пришлось провести телефонную линию между передними волами и задними. Прежде чем осадить, он созванивался с негритенком, которого держал за форейтора, и приказывал ему остановиться, а через полчаса сам останавливал задних. Однажды его неверно соединили, и он убил целый день на перебранку с телефонисткой.

Упряжка его была из сильных сильная. Как-то раз Плосконосый Джо перевозил сарай с подсобной фермы, и его засосало в трясину на берегу реки Спиво. Здесь-то Плосконосый и задал настоящую работу своим волам. Они налегли на постромки с такой силой, что своротили берег и выгнули на реке излучину в две мили длиной, и при этом даже не запыхались!

Во многих рассказах о Спиво фигурирует Босс. Он имел зуб на какаду за то, что они клевали его посевы, и однажды вымазал птичьим клеем старое камедное дерево, чтобы сразу накрыть всю их стаю. Увидев, что они сели на дерево, Босс завопил: «Попались, голубчики!» — и все какаду дружно взяли с места. Они вырвали дерево с корнем, и только он его и видел — на высоте двух миль, держащим курс на юг.

Много людей работало в Спиво, так много, что горчицу на всех приходилось мешать лопатой с длинным черенком, а сластить чай повар с поваренком выезжали в лодке. Когда шла стрижка овец, Босс разъезжал по сараю на мотоцикле.

Угодья Спиво были размеров необыкновенных. Когда дядюшку Гарри посылали закрывать садовые ворота, он брал с собой харч на неделю, а один новичок, посланный согнать коров с конского выпаса, пропадал целых полгода. Чего только не было в Спиво: и горы, и солончаки, и густые леса с громадными деревьями. Скрюченный Мик, возвращаясь как-то домой с трехтысячным гуртом овец, внезапно оказался в кромешной тьме. Три дня и три ночи бедняга кулаками гнал овец все вперед и вперед, ничего перед собой не различая. И вдруг на него снова хлынул дневной свет. Скрюченный Мик оглянулся и увидел, что он прошел сквозь поваленный ствол дерева с прогнившей сердцевиной.

В Спиво попадались холмы такой крутизны, что, когда всадник спускался по их склонам, лошадиный хвост свисал ему через плечо на грудь, словно гладкая черная борода.

Каких только бед и напастей не знало Спиво! Кроликов там были миллионы. Они водились в таком количестве, что их приходилось вытаскивать из норы, прежде чем подсадить туда ловчего хорька, а любители капканной охоты просто-напросто разметали их в разные стороны, перед тем как поставить капкан. Даже из загонов эту тварь приходилось гнать скопом, чтобы освободить место для овец.

Другим бичом Спиво были какаду. Великая Засуха кончилась, пошли проливные дожди, а земля в Спиво попрежнему оставалась твердой, как сухарь, потому что первый же удар грома переполошил какаду, они взлетели в воздух, сбились над Спиво в плотную стаю, и до земли не долетело ни капли влаги. А потом часть стаи, шарахнувшись от ястреба к хижине Скрюченного Мика, подняла крыльями такой ветер, что оторвала ее от земли и отнесла на тридцать миль в сторону. Свой завтрак Мик кончал в облаках на высоте в двадцать тысяч футов, слыша, как птицы все еще молотят крыльями внизу под ним.

Кенгуру в Спиво были ростом со слона — и даже больше.

Рассказывают, будто Скрюченный Мик и Большой Билль, карабкаясь однажды по склону холма, поскользнулись на шелковистой травке и свалились в сумку кенгуру. Холм вскочил и был таков вместе со Скрюченным Миком и Большим Биллем, на лету обсуждавшими вопрос о том, как они будут выбираться наружу.

Шесть месяцев дружки сидели на одной кенгурятине и воде, которую доставали из скважины, пробуренной в песчаных отложениях на дне сумки. Наконец какой-то недотепа, вышедший поохотиться, подстрелил кенгуру на прыжке. Скрюченный Мик и Большой Билль, как раз ставшие за плуг в ту минуту, вылетели из сумки со скоростью метеоров. Их отбросило на пятьдесят миль от того места, а после падения с такой силой протащило по земле, что они пропахали русло Дарлингу.

В сказаниях о Спиво совсем нет женщин. Я слышал всего лишь один рассказ о женщине, якобы работавшей в Спиво, и я склонен думать, что это враки. Она была поварихой, и звали ее Нежная Энни.

Рассказывал мне о ней старик с выцветшими, водянистыми глазами, живший в лачуге на берегу Муррея; рассказывая, он то и дело опасливо оглядывался через плечо на свою лачугу, откуда доносилось громыхание горшков в кухне и сиплый голос женщины, что-то напевавшей.

Если верить этому старику, так выходило, что Спиво больше не существует, оно сгинуло, стерто с лица земли — и все из-за одной-единственной женщины, которая будто бы работала там.

У Нежной Энни, по его словам, руки и ноги были словно наши австралийские эвкалипты, а туловище — словно кухонная плита. Она любила петь, а когда она пела, погода всегда менялась к худшему. Она готовила пирожки с джемом длиной в сотню ярдов, а ее пудинги на нутряном сале загубили добрых два десятка стригальщиков.

Однажды на танцульке в сарае для стрижки овец Нежная Энни схватила за бороду Скрюченного Мика, с которым танцевала вальс в котильоне, и влепила своему оторопевшему партнеру поцелуй прямо туда, где под густыми усами прятался его рот.

Какой же это был поцелуй! Таких поцелуев свет не видывал ни до, ни после этого. Сарай заходил ходуном, а из места контакта вымахнул столб синего пламени и снес с крыши три листа кровельного железа. Оглушительный грохот прокатился над равнинами, и в воздухе запахло серой, динамитом, порохом и духами «Жокейский клуб».

Спиво вспыхнуло сразу в десяти местах, и рев огня был, как рев тысячи поездов, идущих по тысяче туннелей.

Три месяца люди боролись с огнем не смыкая глаз. Наконец им до смерти захотелось выпить чаю. Но лишь только они развели костер, чтобы вскипятить воды, как пламя пожара тотчас же слилось с ним.

Тогда Скрюченный Мик решился на отчаянный поступок. Он пустился бежать со скоростью шестидесяти миль в час впереди пожара, держа за спиной котелок, и бежал до тех пор, пока вода в нем не закипела. Чай, который он приготовил, спас людей, но не спас ферму.

И тут на выручку им подоспел Большой Билль верхом на таком диком коне, каких свет не видывал. Он набрал полную грудь воздуха, изо всей силы плюнул, и огонь с шипением погас.

— А что стало с Нежной Энни? — спросил я старика.

— Я женился на ней,— ответил он, опять бросив опасливый взгляд в сторону лачуги.

И тут я понял, что он все лгал. Среди тех, кто работал в Спиво, женатых не было: это считалось недостойным мужчины.

Вот как жили люди в Спиво, где высокие часы в доме Босса так долго стояли на одном месте, что тень от маятника в конце концов протерла дырку в задней крышке футляра.

Митчел Уилсон

Брат мой, враг мой

РОМАН

Перевод с английского Н. Треневой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Спустя много лет после событий, с которых начинается эта книга, представители авиационной компании, расследовавшие вместе с полицией штата причины катастрофы, осматривали вещи, незадолго перед тем разлетевшиеся по склону горы, и нашли старый любительский снимок в сумочке Марго. Эта яркокрасная сумочка, как и небольшой чемодан и прочие чудом уцелевшие дорогие безделушки, — они, очевидно, выпали из самолета еще до взрыва — поражали своей безмятежной жизнестойкостью, присущей предметам, сохранившимся после катастрофы. Сумочка Марго стоимостью в девяносто пять долларов лежала на столе экспертизы, безмолвно свидетельствуя о том, что вещи долговечнее людей, — то есть, о самой древней истине в короткой истории человечества.

Само собой, дамская сумочка ценою в девяносто пять долларов в любые времена неизбежно попадет под рубрику предметов роскоши. Катастрофа произошла в 1929 году, в самую веселую золотую пору процветания. Но даже и тогда красная сумочка казалась вещью необычной, могла принадлежать только очень богатой даме, и трудно было установить какую-либо связь между ее покойной владелицей и девушкой на любительском снимке, сделанном пять лет назад. В списке пассажиров Марго, разумеется, числилась под фамилией мужа, и эта фамилия сразу же объясняла, почему Марго могла покупать такие дорогие сумочки, но никому и в голову не пришло, что существует некая связь между женщиной, носящей эту фамилию, и выцветшей надписью «МЭЛЛОРИ» на вывеске гаража, под которой на снимке стояла юная троица.

«Братья Мэллори — Гараж» — гласила вывеска над двустворчатой дверью старого сарая, а у порога между двумя юношами стояла девушка лет двадцати с веселым и лукавым лицом. Все трое слегка щурились от солнца и улыбались. Фамильное сходство, вплоть до застенчивых улыбок, сразу бросалось в глаза, как на портретах юных Медичи, еще не достигших вершины своего могущества. Молодые люди, вернее долговязые мальчики высились рядом с Марго, оба в рубашках с открытым воротом, которые в наш век заменяют латы эпохи Возрождения. Кен скорчил величественно-надменную гримасу, а младший брат, самый высокий из всех, стоявший слева от Марго, неуклюже засунул руки в карманы; его глубоко сидящие глаза смотрят прямо в объектив с умной

настороженностью, но улыбка у него грустная и милая, какая бывает у некрасивых юношей.

Марго взяла братьев под руки, словно понуждая их идти вперед; казалось, она остановилась на минуту, чтобы сняться, но, как только щелкнет затвор, тут же повлечет их дальше, даже не оглянувшись на оставленный позади гараж. Она стремилась к цели, находившейся где-то далеко за горизонтом, — там начиналась золотая страна, в существование которой верило ее жаждущее сердце. Кен, сделав гримасу, все же выставил ногу вперед, словно решив идти за сестрой, куда бы она ни повела, но Дэви, самый высокий из них, упрямо стоял на месте. Казалось даже, будто он отстал от них, на самом же деле был чуть впереди.

В атмосфере внезапной смерти веселая отвага этой маленькой дешевой фотографии вызывала щемящее чувство. На ней были запечатлены три юных существа, полные надежд, молодого задора и высоких стремлений, а также все их скромное достояние — кроме самого главного. Тут был гараж, дававший им средства к существованию, одежда, которую они носили, ибо, кроме того, что было на них, они почти ничего не имели, и тут же виднелась передняя часть старенького двухместного «доджа» с вымпелом инженерного факультета на ветровом стекле.

Самого главного их достояния, которое не было запечатлено на фотографии, не видел еще никто, — оно пока что представляло собой лишь идею, созревшую в головах братьев, несколько чертежей да расчетов в записной книжке. Идея эта, однако, послужила для Марго мостом, по которому она меньше чем за пять лет пришла от жалкого гаража в среднезападном городишке к обладанию девяностопятидолларовой сумочкой и фамилией, знакомой всем, кто хоть иногда заглядывал в финансовую хронику, а потом — к бессмысленной смерти при аварии пассажирского самолета-люкс.

Если бы люди, расследовавшие катастрофу, и узнали об этой идее, то в те дни, в 1929 году, они ничего не смогли бы уразуметь, хотя двадцать лет спустя и для них и для всей страны плоды этой идеи стали делом настолько привычным и обыденным, хотя и непостижимым, что они с трудом припоминали время, когда ничего подобного еще не существовало.

Вместе с губной помадой, пудреницей, носовым платком, дамским портсигаром и пачкой банкнот на сумму в сто пятьдесят долларов — на дорожные расходы — непонятная старая фотография переходила из рук в руки, пока не дошла до регистратора страховой компании. Он занес ее в список и хотел было бросить на кучку вещей, но вдруг остановился, неизвестно почему обеспокоенный напряженной пытливостью взгляда Дэви, самого младшего и самого высокого из этой троицы. Но кто-то подтолкнул регистратора локтем, и маленький четырехугольник блестящей бумаги полетел на стол. Вещи сложили в большой пакет, надписали имя и фамилию погибшей пассажирки и запечатали, чтобы отослать мужу и братьям, которые ждали Марго, не зная, что ее уже нет в живых. Они ждали ее, чтобы вместе отпраздновать свершение самой заветной ее мечты.

И не только регистратор, но и многие другие задерживали взгляд на снимке, с которого глядел на них Дэви Мэллори, застенчивый двадцатилетний юнец, и невольно задумывались. Вот почему эта повесть, в сущности, является повестью о Дэви. И если Марго толкала и влекла братьев вперед, а Кен более чем охотно готов был следовать за нею, то Дэви видел гораздо дальше, чем брат и сестра. Он видел тот же горизонт, что и они, но за этим горизонтом ему открывались совсем другие дали, где не было солнечного света и не было места ни для любви,

ни для гордости; ибо, кроме неясного свершения надежд, переполнявших их сердца, ему виделось и многое другое.

И уже в те времена в глазах Дэви была тень предельной человеческой скорби. Встретясь с Дэви, вы потом не раз думали о нем, смутно понимая, что этот юноша предвидит все самое тяжкое, что ждет впереди не только его, но и вас, и каждого, кто живет в наше время и кто будет жить после нас. Но спрашивать, что он видит, как-то не хотелось.

Историю Дэви Мэллори, по справедливости, нужно начинать не с рассказа о нем самом или о его сестре Марго и даже не о его божестве — старшем брате Кене. Она начинается с появления в их жизни человека, встреча с которым определила их и его собственное будущее; так иногда путешественник во время долгих странствий проезжает через незнакомый город, с виду ничем не отличающийся от сотни других городов, мелькавших на его пути, а в этом городе взглянет на обсаженную деревьями улицу, ничем не отличающуюся от других улиц, и его не кольнет предчувствие, что когда-нибудь один из домов на этой улице в этом безымянном городе будет его пристанищем до самой смерти.

Этот день в конце 1925 года начался для Дугласа Волрата точно так же, как все предыдущие дни. Он проснулся рано, полежал, уставясь в потолок, потом одним рывком соскочил с кровати. Этот большой дом всего несколько недель назад был куплен для Волрата его секретарем заочно, по телефону. Указания были следующие: «Что-нибудь приличное, вот и все. Побольше комнат, хорошо оборудованная кухня и кладовые, не меньше трех ванных, уединенное местоположение, но не слишком далеко от города. Если из окон будет красивый вид, тем лучше, но в общем это не имеет значения». Для Волрата ничто не имело значения, кроме авиационного завода, который он недавно присоединил к своей коллекции промышленных предприятий.

Он встал, как обычно ощущая в душе какой-то осадок, словно от неизлитой накануне злости, и непонятное беспокойство, которое вынуждало его спешить, спешить, спешить, будто в состязании на скорость, не зная, что за приз он получит, если победит, и какая кара его ждет, если он проиграет. Он всегда просыпался с таким ощущением. Сколько он себя помнил, оно никогда не покидало его. Это был один из признаков, по которым Волрат, пробуждаясь, узнавал самого себя.

Его слуга Артур давно уже был на ногах. Волрат с вежливым безразличием бросил «доброе утро», потом быстро и безмолвно съел завтрак. Перед домом на длинной асфальтовой дорожке под солнцем чудесного утра блестел ожидавший его автомобиль. И, только сев за руль, Волрат начал испытывать некоторое умиротворение. На большом низком открытом «канингхэме» он развил слишком большую скорость для такой дороги, но все же держался того предела, после которого грузную машину стало бы бросать из стороны в сторону. Она летела вперед, как яркоголубая игла, пыль вилась за ней толстой бурой нитью. Волрат постепенно успокаивался, с удовольствием ощущая мягкие толчки шин, рокот мотора и хлещущий ветер. Надо было чем-то дубасить по всем своим пяти чувствам, чтобы утолить жадное нетерпение, в последние годы неизменно овладевавшее им каждый раз, когда он затевал какое-нибудь предприятие.

В течение нескольких недель со дня своего приезда Волрат позволил себе быть чем-то вроде ученика при инженерах, перешедших к нему по наследству от прежнего владельца. С нынешнего дня он намеревался

взять власть в свои руки. Он обладал гораздо большей уверенностью в себе и более твердым сознанием своего финансового могущества, как унаследованного, так и благоприобретенного, чем многие люди вдвое старше его. Но в это великолепное утро он чувствовал себя юным и знал, что таким останется на всю жизнь. Он неуязвим. Вот если сейчас, сию минуту он поддастся порыву и разобьет машину о придорожное дерево, то нет сомнения, что он выскочит из-под обломков без единой царапины и как ни в чем не бывало зашагает дальше.

Шоссе прямой серой полоской убегало на юг, то вздымаясь, то опускаясь между буйно зеленеющими холмами фермерских земель. Проезжая по самому центру страны и мысленно видя на тысячи миль в ту и другую сторону, Волрат чувствовал себя всемогущим. Справа под утренним солнцем лежали зеленеющие квадраты полей вперемежку с амбарами, силосными башнями; они тянулись к востоку, через сотни дымных городишек, подступали к мириадам мерцающих окон Нью-Йорка и перекатывались дальше, к тонущему в солнечной дымке побережью Ист-Хэмптона. Волрат знал каждый дюйм этих пространств. Слева до горизонта расстилались пастбища, за ними — две тысячи миль пшеничных полей, потом терриконы возле шахт и горы, горы до самого Сан-Франциско. И всюду вокруг, на всем континенте, Волрат чувствовал приглушенное кипение людской деятельности. Казалось, скрытая жизненная энергия страны заставляет трепетать прозрачный утренний воздух. Потребность спешить так жгла Волрата, что утренняя поездка в город была для него досадной потерей времени; скрашивало путь лишь ощущение плавной мощи машины.

Он вдруг понял, что любит свою машину; эта мысль, долго таившаяся где-то в подсознании, словно ожидая своего часа, озарила его, как вспышка магния. Волрат представил себе, как он говорит: «Знаете, были у меня когда-то «кадиллаки», «локомобили», «ролл-ройсы» и «изотты», но все они ничего не стоят по сравнению с этой малюткой».

И тут же на него нахлынуло мучительное юношеское смущение. Разумеется, так сказать мог только хвастливый пошляк, и в данном случае совершенно неважно то, что человек двадцати пяти лет от роду действительно имеет право говорить «когда-то». А, черт! Волрат терпеть не мог мальчишества, свойственного молодости.

Мимо промелькнул щит с надписью:

«Добро пожаловать в Уикершем. — Чудо-город. — Промышленность. — Культура. — Государственная деятельность. — Торговая палата столицы штата».

Машина легко взяла следующий подъем, и с холма перед Волратом вдруг открылся сверкавший на солнце игрушечный городок. Петляющий спуск, еще подъем, длинный, под углом в девяносто градусов, зигзаг — и городок бросил под колеса машины булыжную мостовую, потом двинул на Волрата справа трамвайную линию, делающую в этом месте поворот, чтобы преградить ему путь. Но Волрат охотно принял вызов и перехитрил городок.

Он выехал на трамвайную линию и помчался вдоль отливающих шелковым блеском стальных рельс.

Немного погодя он взглянул на щиток со счетчиками и циферблатами. Стрелка бензоуказателя приближалась к «Пусто». В конце неказистой улицы он заметил гараж с бензиновой колонкой и подрулил к нему.

Вывеска гласила: «Братья Мэллори — Гараж».

Это был старый амбар, давно некрашенный, заклеенный объявлениями и рекламными плакатами. Двустворчатая дверь была заперта на засов.

Волрат хотел было ехать дальше, но тут открылась небольшая бо-

ковая дверь, и на солнечный свет вышла девушка лет двадцати с небольшим. У нее было нежное, чуть заостренное книзу лицо, с немного выдающимися скулами. Из-под низко надвинутой зеленой шляпки («Ох, и тут «Зеленая шляпка»*», — подумал Волрат) виднелись светлокаштановые кудряшки и серые слегка раскошенные глаза со спокойным и терпеливо умным взглядом. Губы ее были изогнуты в легкой, как бы обращенной внутрь улыбке, — так улыбается пригревшаяся на солнце кошка, которую забавляет этот мир, не подозревающий о том, как он стар. Девушка была одета тщательно, но бедновато; неся в руках сумочку, она натягивала на ходу перчатки. «Хорошо держится, — снисходительно подумал Волрат, — даже слишком хорошо для девушки из рабочей среды». Он молча глядел на нее со своего низкого трона, ожидая, пока она его заметит.

Девушка замедлила шаг, взглянула на него, потом на машину и, не выказав никакого удивления, пошла дальше, будто такие машины ей приходилось видеть каждый день. Он знал, что это не так.

— А что механик — в гараже? — Голос его был тверд и подчеркнуто безразличен.

Девушка остановилась и, разглаживая пальцами надетую перчатку, подняла на него глаза, видимо, нисколько не удивляясь тому, что он заговорил с нею, как не удивилась и его появлению.

— Мальчики ушли на весь день в университет. Гараж закрыт. Тут есть другой, до него примерно с милю по той улице, что ведет к центру. — У нее был низкий ясный голос.

— А если у меня не хватит бензина на эту милю?

Девушка как бы взвесила издевку, скрывающуюся за его корректностью, но выражение ее лица не изменилось. Она бросила взгляд на ручные часики и быстро сдернула перчатки. Руки у нее были маленькие, но, видно, знакомые с черной работой.

— Ладно, — сказала она. — Сколько вам?

— Но, послушайте! У меня и в мыслях не было...

— Не беспокойтесь, пожалуйста. — Судя по добродушно шутливой настойчивости, с какой девушка произнесла эти слова, она знала, что у него мелькнула такая мысль: я ведь это часто делаю. Я, между прочим, привыкла управляться здесь одна.

Девушка небрежно положила сумочку и перчатки на блестящее крыло автомобиля, возле маленькой фары в форме пули. Волрат молчаливо снес это дерзкое прикосновение к его машине и сделал вид, будто ничего не замечает. Затем он откинулся на спинку сиденья, предоставив девушке обслуживать его. Должно быть, она легко согласится пообедать вместе или прокатиться в машине, сказал он себе, мстя ей за пренебрежение к его достоинству.

— Вы что же, одна из братьев Мэллори? — спросил он.

Девушка улыбнулась в ответ, и Волрат даже растерялся — так непосредственна была эта улыбка. Ему перестало казаться, что ее спокойная сдержанность была лишь средством привлечь его внимание.

— Я — сестра Мэллори, — засмеялась девушка, поворачивая рукоятку насоса. Ее тонкие пальцы ловко справлялись с работой. Нежное, заостренное книзу лицо порозовело от напряжения. — Я служу в городе. Здесь работают Дэви и Кен, когда у них нет лекций в университете. А сейчас они готовятся к выпускным экзаменам.

В этом неожиданно словоохотливом объяснении сквозила гордость за братьев, которая как бы совсем вытеснила Волрата из поля зрения девушки. Уязвленное самолюбие заставило его сказать: — Передайте им,

---

* «Зеленая шляпка» — роман Майкла Арлена, популярный в двадцатых годах.

когда закончат курс, пусть обратятся на новый завод Волрата. Мне, возможно, понадобятся инженеры.

Но в ту же секунду все его чувства яростно взбунтовались против этого плохо скрытого бахвальства, и вспышка злости сменилась краской стыда. Волрат взглянул на девушку, проверяя, догадалась ли она, что он чуть-чуть не выставил себя полным дураком. Глаза их встретились, и девушка отвернулась — не от смущения, а просто потому, что он не вызывал в ней никакого интереса.

Девушка наполнила бак бензином. Расплатившись, Волрат молча смотрел, как она тщательно вытирает руки тряпкой. Перчатки и сумочка все еще лежали на крыле машины. Да, девушка не торопилась, однако Волрат не мог подметить и следа рассчитанной дерзости в ее невнимании к нему.

— Давайте я подвезу вас в город. Мне ведь все равно проезжать через площадь.

— Нет, спасибо. — И опять ее лицо осветила непринужденная улыбка. — Трамвайная остановка совсем рядом.

Решительный отказ заставил его снова принять официально вежливый тон.

— Ну, как угодно, я хотел отплатить услугой за услугу.

— О, я понимаю, — сказала девушка. И Волрат окончательно убедился, что она смотрит как бы сквозь него.

— Спасибо за бензин, — бросил он, включил взревевший мотор и быстро отъехал от гаража. Сердито сжимая баранку, Волрат не оглядывался назад. Он знал — будь машина поменьше или победнее, девушка не отказалась бы поехать; он ясно представил себе, как она идет к трамвайной остановке, затаив усмешку в чуть раскошенных глазах и слегка приподняв уголки рта.

И не из-за того, что сказала она или он, а потому, что она заставила его почувствовать то, что ему было трудно выразить словами, он мысленно погрозил ей кулаком и пробормотал: — Ну, ты мне за это заплатишь, малютка!

2

Через два дня в девятом часу утра сверкающий «канингхэм» опять остановился на улице возле гаража Мэллори. Как и в прошлый раз, двери были заперты. Волрат, не раздумывая, нажал кнопку сигнала, настойчивым гудком требуя обслуживания — сегодня его просто распирала буйная энергия.

На заводе он с блестящим успехом добился того, чего хотел. Пришлось уволить всего двух человек, чтобы подавить ропот недовольства; и теперь он крепко держал власть в своих руках.

Девушка из гаража все еще не давала ему покоя, но он уверял себя, что она произвела на него впечатление только потому, что в то утро он был по-особому настроен. Надо еще раз взглянуть на нее — вот и все. Вероятно, она в конце концов окажется простенькой девицей из универсального магазина.

Не прошло и минуты, как Волрат потерял терпение. Он вышел из машины и зашагал к боковой двери, злясь на девушку, заставлявшую его ждать, но еще больше — на самого себя за то, что это его задевает.

Волрат толкнул дверь и очутился в тихой темноте, насыщенной разнообразными запахами: пахло машинным маслом, бензином и застоявшейся солодовой терпкостью сена и фуража, хранившегося здесь много лет назад. На рекламном плакате «Батареи Эксайд» внизу было написано от руки: «Накачка камер — 50 центов». Волрат слегка вытянул

шею: полуоткрытая дверь загораживала от него единственный источник света — лампочку, бросавшую тускло желтый конус света на шаткий стол, заваленный раскрытыми книжками, повидимому, — техническими учебниками.

Молодой человек, сидевший в полумраке у стола, приложив ко рту карандаш, поднял на него глаза. Механик оказался юношей лет двадцати, с глубоко сидящими голубыми глазами; на лице его было не то нарочито грубое, не то крайне озабоченное выражение. Волрат чуть было не спросил о девушке, но во-время спохватился, так что, по крайней мере, не оказался дураком в собственных глазах.

— Как насчет бензина? Я спешу.

Механик лениво бросил карандаш на стол и, как бы обдумывая ответ, проследил глазами за его падением.

— Если двери закрыты, значит мы не обслуживаем. — У него был приятный низкий голос, в котором слышалась терпеливая настойчивость, с какой старшие втолковывают что-нибудь младшим. — Мы откроемся через час.

— А, кроме вас, разве никого нет?

— Дежурю я один, начну работать через час. — Юноша неторопливо вскинул на Волрата голубые глаза.

Волрат смутно различил несколько полуразобранных для капитального ремонта машин. Вдоль одной стены стоял изрядно поцарапанный стол для инструментов, виднелись очертания двух станков — токарного и сверлильного. Сломанная рессора, прислоненная к столбику, напоминала ненатянутый лук, а фарфоровые запальные свечи, лежавшие на поддоне картера, отсвечивали мягкими белыми бликами. Дальше валялись собранные в кучу старые покрышки и бесформенные круги — ненакачанные камеры. На другом еле освещенном столе были в беспорядке навалены части радиоприемников, наушники и самодельные детали. Все, что Волрат тут видел, обонял или ощущал, казалось ему клейким, убогим и жалким.

— Да что вы за народ, — взорвался он. — Третьего дня я тут проезжал — у вас было закрыто. Сегодня — опять закрыто. Что за черт, разве вы не нуждаетесь в заработке?!

В тусклом свете лампочки механик устремил на него пристальный взгляд, потом негромко рассмеялся и встал с ленивой и своеобразной грацией высокого человека.

— Заработок — это единственное, о чем мы думаем, — сказал он с грустной усмешкой. — Ладно, бензин вы сейчас получите.

Снаружи, при ярком свете солнца, оказалось, что юноша на голову выше Волрата и что лицо у него тонкое, длинное и угловатое. В левой руке он, как игральные карты, держал раскрытую книжку. В углах его рта еще трепетала улыбка. Когда он увидел машину, улыбка исчезла, но во взгляде блеснуло критическое любопытство. Он подошел к переднему колесу, нагнулся и легонько провел рукой по шине и ободу. На лице его, попрежнему приветливом, мелькнуло такое выражение, будто он что-то сообразил, но делиться своей догадкой он, видимо, не собирался.

Волрату вдруг пришло в голову, что, при всей своей страстной любви к машине, он не слишком внимательно ухаживал за ней, и вот сейчас результаты его небрежности хладнокровно отмечены этим юношей.

— Сколько вам бензина? — спросил Дэви выпрямляясь.

— Полный бак. — Волрат счел за лучшее не замечать учиненного механиком осмотра.

Сунув книгу подмышку, Дэви приладил шланг, повернул кран

и, снова вытащив книгу, принялся читать, ловко перелистывая страницы. Волрат нетерпеливо шевельнулся.

— Насколько мне известно, в этом городе жил когда-то покойный Нортон Уоллис, — заметил он, припоминая изданную Торговой палатой брошюрку, которую он когда-то перелистал и бросил.

— Уоллис и сейчас тут живет, — сказал Дэви, продолжая читать. — Он, правда, очень стар, но далеко не покойник. Вон там, на холме, его дом. — Потемневшие глаза юноши вдруг оторвались от книги и взглянули прямо в лицо Волрату. — Он великий человек, — спокойно произнес Дэви, как бы желая утвердить свою позицию на случай разногласий.

— В прошлом, видимо, был великим, — сказал Волрат.

— И сейчас тоже. Люди треплют его имя, а чем он велик — даже не знают, да им и дела нет. Если бы не та работа, что он проделал сорок лет назад, вы бы сейчас не разъезжали в таком автомобиле, и вообще никаких автомобилей не было бы. Он опередил свое время, вот что. И наше время тоже, — добавил Дэви. Бросив взгляд на циферблат колонки, он снова уткнулся в книгу. Волрат немного выждал, потом опять обратился к нему:

— Значит, он и сейчас работает?

— Каждый божий день. — Книга не помешала Дэви ответить, а ответ не помешал чтению. Он перевернул еще одну страницу.

— У него бывает кто-нибудь?

— Я навещаю его каждый день. Либо я, либо мой брат. По утрам.

— Вы у него работаете?

— Я его навещаю, — повторил Дэви, взглянув на Волрата. — Мы с ним дружим.

И Дэви опять погрузился в чтение. Через несколько минут стрелка на циферблате остановилась, и юноша, как бы очнувшись, снова стал приветливым — так же внезапно, как тогда, в гараже, когда, негромко рассмеявшись, он моментально согнал с себя озабоченность.

— Моя сестра обратила внимание на вашу машину.

— Да что вы! — отозвался Волрат с почти неуловимой иронией.

— Она говорит, у вас переднее колесо разболталось.

— Вот как?

— Но это неверно. Я целый месяц наблюдаю за вами — вы часто проезжаете мимо. Просто неправильный развал колес. Их надо отрегулировать.

Волрат сел в машину: черта с два он даст мальчишке заработать.

— Как-нибудь в другой раз. У меня нет времени.

— У меня тоже, — ответил Дэви.

Прижав к себе книгу скрещенными на груди руками, он окинул машину оценивающим взглядом и вдруг улыбнулся с такой же непосредственностью, как улыбалась его сестра. В этой улыбке, придававшей его лицу немножко застенчивое выражение, была необычная для мужчины обезоруживающая прелесть.

— Что ж, действительно славная машина, — сказал он.

Волрат обернулся и взглянул на юношу, ибо, хотя в словах его не было ничего неожиданного, тон, каким они были произнесены, придавал им другой смысл.

— Вы сказали это так, будто собираетесь купить себе такую же.

Дэви порозовел, затем улыбнулся, словно довольный тем, что Волрат наконец-то кое-что понял.

— Это отчасти верно, — задумчиво сказал он. — По крайней мере собирается мой брат. Чего хочу я, мистер Волрат, я, кажется, еще и сам не знаю.

Услышав свое имя, Волрат невольно приоткрыл рот и молча по-

смотрел вслед долговязому юноше. Волрат был поражен, поняв, что этот механик все время знал, с кем говорит, — это обстоятельство придавало его словам совсем иную окраску. Одно дело, если человек сдержанно и независимо ведет себя с незнакомцем. И совсем иначе это выглядело в глазах Волрата, если человек, знавший его имя, как бы делал одолжение, продавая ему бензин, читал книжку в его присутствии, небрежно намекнул, чтобы он чинил свою машину где-нибудь в другом месте, и затем польстил, дав ему понять, что такая машина подошла бы любому механику из гаража, но недостаточно хороша для его брата.

Третьего дня Волрат имел все основания думать, что сдержанность сестры — напускная и нарочитая, но в ее брате — и сегодня он это сразу понял — не было ничего искусственного. Волрат, задумавшись, медленно поехал по улице. Некоторое время он сам не знал, о чем думает, но твердо сознавал одно: он испытывал бы мучительную неловкость, если бы этот мальчик работал у него. Никогда ни один человек не вызывал у него подобного ощущения, подобного протеста, продиктованного страхом; и на Волрата нахлынуло неясное смятение, словно он что-то проглядел в себе, что-то необычайно важное.

Слегка пригнувшись, чтоб пройти в дверь, Дэви вернулся в гараж, как всегда и не подозревая о произведенном им впечатлении. Он привык к тому, что люди оборачиваются вслед его старшему брату, и никогда не замечал людей, оглядывающихся на него. Что бы ни занимало его в данную минуту — человек, идея, или изобретение, которому, быть может, не суждено осуществиться, но детали которого Дэви тщательно разрабатывал в уме,— думы об этом поглощали его целиком, и он был глух, слеп и туп в отношении всего остального.

Дэви бросил учебник на кучу книг, беспорядочно наваленных на стол. Следующие полчаса предстояло посвятить ежедневному визиту — это был ритуал, установленный много лет назад. С недавнего времени Дэви стал побаиваться этого путешествия на холм, но, тем не менее, налил в бачок пять галлонов авиационного бензина и взял пятигаллоновую банку ацетона, которую накануне притащил из университета, заплатив за нее из своего кармана, хотя Нортон Уоллис без труда мог позволить себе этот незначительный расход. Впрочем, Дэви и в голову не приходило, что Уоллис у него в долгу.

Взяв обе банки, Дэви вышел на солнце. Ноша оттягивала ему худые плечи, но это было ничто по сравнению с тяжестью в сердце, которая возникала каждый раз, когда Дэви подымался на пологий холм, куда выходили задние дворы Прескотт-стрит.

3

Солнце расстелило лучи на пороге, у которого остановился Дэви, и светлыми квадратами лежало на заставленном всевозможными механизмами бетонном полу мастерской. Из окошек и застекленного отверстия в крыше лилось золотое сияние, оно отражалось в полированных металлических поверхностях и гранях, то тут, то там зажигая огненные точки. Солнце не разбиралось ни во времени, ни в моде. Оно заливало светом рукоятки и блоки нового фрезерного станка, удостоенного одобрения Кливлендской станкостроительной компании, и так же ярко горело на старом лэмпортском токарном станке, украшенном витиеватой надписью: «Хартфорд — 1873»,— ныне музейной редкости, с панталончиками из железных листьев на ножках, которые оканчивались массивными львиными лапами. Станок в свое время переделывался раз десять

в угоду изменчивой фантазии Уоллиса и до сих пор служил для обточки некоторых специальных деталей. Ни станок, ни его украшения не могли казаться старомодными человеку семидесяти восьми лет.

Когда Дэви показался на пороге, старик не поднял глаз от маленькой медной трубочки, которую он рассматривал сквозь увеличительное стекло. Даже сидя на табуретке, он казался высоким и как бы ссутулившимся под тяжестью своих широких плеч. Его большую розовую лысину окаймляла бахромка седых, давно нестриженных волос. Лицо у него было длинное, костлявое, мясистым был только большой нос с горбинкой. Он не видел дальше чем на несколько футов перед собой, но упрямо отказывался носить очки. Поднеся трубочку к самому носу, он медленно поворачивал ее в пальцах.

— Кен? — ласково спросил он. — Это ты, сынок?

— Нет, — с деланой шутливостью отозвался Дэви, втаскивая банки в мастерскую. — И вы отлично знаете, что это не Кен.

Уоллис обернулся, раздосадованный тем, что не удалось утолить свою мелочную злость, которая в последнее время часто вспыхивала в нем без особых причин. Он швырнул металлическую деталь на стол.

— Ты что, хочешь сказать, что Кен не дает себе труда навещать меня?

Дэви поставил банки на пол возле модели ракетного двигателя.

— Ничего подобного,— спокойно ответил он.— Кен приходит к вам, так же как и я. Как получилась насадка?

— А тебе что за дело? — огрызнулся Уоллис, поворачиваясь к нему спиной. — Прекрасно получилась.

— Конус пригнан хорошо?

— Прекрасно.

— Шнековый питатель работает?

— Прекрасно,— рявкнул Уоллис. — Говорю — прекрасно. Отвяжись.

Дэви, как ни в чем не бывало, принялся за работу; он знал, что старика сейчас мучит стыд. В Нортоне Уоллисе как будто уживались два совершенно различных существа. Внутри него живет строгий, скупой на слова человек, навсегда сохранивший ту юношескую живость ума, какою он обладал в тридцать лет, когда впервые начал самостоятельную работу над двигателем внутреннего сгорания. Снаружи — скрюченная ревматизмом оболочка, старик, подверженный вспышкам раздражения, жадно требующий любви и щедро отдающий свою любовь,— человек, девять лет назад пригревший трех голодных, убежавших из дому детей, которых он никогда бы не удостоил внимания в свои молодые годы. И этот второй человек настойчиво звал к себе из Милуоки осиротевшую родную внучку — девушку, с родителями которой другой Нортон Уоллис почти не знался за отсутствием времени.

Дэви обращался только к этому другому, молодому Уоллису, чем доводил старика до отчаяния, ибо сколько бы он ни хлопал руками по бедрам, с каким бы озлоблением ни срывался с места, ничто не могло прервать проникнутой полным взаимопониманием беседы, которая происходила между чужим, живущим в нем, человеком и этим длинным, костлявым, восторженно глядящим на него мальчишкой. Уоллис бросил через плечо:

— И не выливай из банок! Я сам это сделаю. Ты вечно все расплескиваешь.

Дэви отвинтил крышки и пошел по мастерской, наполняя один за другим бачки моторов. Уоллису было трудно поднимать тяжести, поэтому Дэви и Кен всегда находили предлог, чтобы сделать за него работу, требующую физической силы.

— Придется вылить, — сказал Дэви. — Банки я должен взять с собой.

— Так, по крайней мере, будь аккуратнее.

— Я всегда аккуратен.

Старик близоруко прищурился в том направлении, где булькал льющийся через воронку ацетон.

— Ты считаешь, что последнее слово всегда должно остаться за тобой? — сварливо спросил он.

— Нет, — сказал Дэви. — Уступаю его вам.

Уоллис только хрюкнул от злости, затем, сжав губы, снова принялся за работу.

Жидкость с громким бульканьем лилась из наклоненного бачка, в воздухе распространился холодный резкий запах ацетона. Дэви отступил назад, чтобы не дышать испарениями, и оперся рукой о токарный станок. И вдруг в памяти его всплыл рисунок, изображавший древнегреческий город. Слово «город» всегда вызывает представление о чем-то величественном, но эта кучка белых зданий могла бы свободно уместиться на Капитол-сквер в Уикершеме. На улицах виднелись человеческие фигурки в белых туниках, и Дэви когда-то всматривался в них с огромным любопытством: ведь это были люди, жившие три тысячи лет назад. Он сдвинул брови, не понимая, откуда вдруг взялось это воспоминание, и шевельнул рукой. Рука скользнула по токарному станку, и Дэви внезапно понял, что это прикосновение заставило его вспомнить о человеке по имени Глаукон, который изобрел токарный станок именно в ту эпоху и именно в таком городке.

Этот Глаукон изобрел также и якорь; и вот вскоре его сограждане стали заплывать в скалистые бухточки, где другие корабли не могли устоять на месте. А чтобы охранять богатства, которые его родной город нажил на торговле, Глаукон изобрел замок и ключ. Капитан океанского парохода, вошедшего в порт, слесарь на фабрике площадью в десять акров и хозяин дома, запирающий входную дверь, не знают имени изобретателя, да им и в голову не приходит поинтересоваться этим, но за их спиной стоит человек, живший тридцать веков назад; они, не оглядываясь назад, взяли из его рук то, что в этот момент им нужнее всего.

В ранней юности Дэви читал все без разбора и однажды задумался над возрастом мира по сравнению со сроком человеческой жизни. Он взял указанный в библии срок — три раза по двадцать лет и еще десять — и был глубоко поражен, обнаружив, что с доисторических времен, со времен тьмы, испещренной огненными искрами, прошло меньше сотни человеческих жизней.

— Не может быть,— возмущался он, охваченный первобытным страхом,— не может этого быть! Меньше ста человек! — Дэви всмотрелся в ночной мрак; мимо прогрохотал трамвай — цепочка освещенных окошек, буравящих черную темноту. На этом тряском островке, возникшем из тьмы в одном конце широкой улицы и пропавшем во тьме на другом ее конце, уместилась жалкая горстка людей, которой хватит, чтобы образовать цепь от нынешнего «сегодня» до далекого, туманного, первобытного «вчера», когда человек был диким затравленным существом с рассудком запуганного ребенка.

С тех пор как Дэви осознал это, у него появилось ощущение, что толща веков не так уж непроницаема. Ему уже не казалось, что мир создавался неторопливо, а прогресс двигался скачками и зигзагами по медленно катящимся столетиям. Ибо, когда человек впервые заставил землю работать на себя, невзирая на ее нравы и обычаи, тут-то и произошел ошеломительный взрыв — взрыв творческой энергии, которая

с тех пор бушует все сильнее и сильнее, растекаясь во все стороны с сумасшедшей скоростью.

Кен тоже иногда, играючи, вычислял временные промежутки, укорачивая или удлиняя их ради умственной гимнастики, но для Кена это всегда было только забавой. В успокаивающем присутствии Кена Дэви мог передохнуть от жуткого ощущения краткости человеческой жизни. Однако в отсутствие Кена и при Нортоне Уоллисе эти мрачные мысли возвращались снова, ибо жизнь Нортона Уоллиса, безусловно, входила в те немногочисленные десятки человеческих жизней, которые являются вехами на всем протяжении истории человечества, как редкие фонари вдоль пустынной улицы.

Маленький паровой двигатель, который Уоллис, служа в Милуоки в фирме «Моторы и котлы», смастерил в часы досуга, становился все больше по мере того, как он над ним работал. В 1892 году он приделал мотор к карете и обучил рабочего из Лансинга управлять им, но покупателей на второй такой экземпляр не нашлось. Пять лет спустя в городе Расине он вошел в компанию с бывшим кузнецом Картером. Они назвали свой автомобиль «дофином». За три года было продано семь таких сделанных вручную «дофинов», после чего компаньоны решили прикрыть дело. К тому же Уоллис начал понимать, что поршневой двигатель имеет существенные недостатки.

Если Уоллис в юности знавал старика, которому было столько лет, сколько Уоллису теперь, то этот старик, вероятно, слышал нестройные мушкетные выстрелы Революции, ссорился в тавернах из-за Томаса Джефферсона и своими глазами видел изрыгающее дым чудовище — первую паровую машину. А сейчас Нортон Уоллис сидит у окна, где светлее, и шлифует деталь для двигателя, который, быть может, когда Дэви станет стариком, помчит людей сквозь полночное безмолвие безвоздушного пространства к новой, еще неоткрытой планете.

Дэви отставил в сторону пустой бак из-под ацетона и заправил двигатель авиационным бензином.

— Сегодня я вам принес по пяти галлонов того и другого, — обратился он к спине Уоллиса. — Завтра мы весь день пробудем на Холме — у нас выпускной экзамен.

— И вы, конечно, уверены, что выдержите? — не оборачиваясь, спросил Уоллис. От холодной, беспричинной злости голос его стал язвительным и ломким.

— Ясно, выдержим. Мы с Кеном можем экзаменоваться хоть сейчас.

— Что ты мне рассказываешь про Кена! Кен никогда не поступил бы в колледж, если бы ты его не заставил. Все думают, что ты тянешься за Кеном, потому что он болтает, а ты помалкиваешь. Да, ты таскаешься за ним по пятам, но только чтобы убедиться, что он делает все так, как ты хочешь.

Дэви промолчал, смущенный далеким воспоминанием. Он старался не обращать внимания на зашевелившееся в нем сомнение, потом решительно отверг мысль о возможности заставить Кена поступать по чьей-нибудь воле. Кен — старший брат, вожак. Да, согласился Дэви, были случаи, когда он давал советы Кену, но не больше. Уже много лет Дэви не вспоминал о тех днях, когда он впервые понял, что может повернуть жизнь по-своему...

4

В маленькой, похожей на ящик хибарке, стоявшей у ручья, было темно и душно. Мальчик лихорадочно работал, согнувшись над мотором. Дверь была закрыта, потому что он прятался от чужих глаз — в четвер-

ти мили отсюда виднелись крохотные фигурки косцов, сгибавшиеся и разгибавшиеся в однообразном ритме.

Работая, мальчик порывисто подносил карманный фонарик то к генератору, то к грубой схеме, начерченной им на клочке бумаги. На полу мягко тикал помятый будильник, к которому зачем-то были присоединены электрические провода.

Нервы мальчика были так напряжены, что он в страхе отпрянул, когда его тень мелькнула на низком потолке, словно собираясь броситься на него. Он схватил с пола фонарик — тень исчезла, и мальчик с облегчением перевел дух.

Несмотря на высокий рост, мальчику не было еще двенадцати лет. Он побаивался этой пахнущей плесенью темноты, но еще больше пугала его собственная смелость, ибо если удастся тот план, который он сам придумал и собственноручно подготовил, то мир запляшет под его дудку. Ровно в семь часов вечера должно ожить огромное чудовище — оно либо раздавит его за дерзость, либо покорно подчинится его воле. В семь часов подача электроэнергии на ферму дяди прекратится сама собой по его приказу, отданному сейчас, в четыре часа дня.

Мальчик вышел наружу, на яркий дневной свет. Сердце его колотилось. Он прижался спиной к двери, его умные голубые глаза, настороженные, как у зверька, зорко всматривались, не заметил ли его кто-нибудь. Но лес, вырубка и поля вдали дремали в предвечерней тишине.

В ту весну 1916 года все росло и тянулось вверх с неудержимой силой, даже мальчики. Дэви догнал ростом своего брата, который был на полтора года старше его; ему казалось, что стать одного роста с тем, кто был его богом,— значит сделать еще шаг на пути уподобления божеству. Однако голубая заплатанная рубашка, сшитая на дядю, плечистого толстяка, висела на Дэви, как на вешалке. Рваные штаны были ему и вовсе широки, хотя сестра перекроила их так, что боковые карманы почти сошлись сзади. Место, где штаны сходятся в шагу, слишком узкое для дядиных толстых ляжек, болталось мешком у колен Дэви.

И все же, несмотря на смехотворную нелепость надетого на нем тряпья, на косматые волосы, на худобу мальчишечьих загорелых рук и ног, в нем была своеобразная грация. Пригнувшись, он помчался к окраине поля, гонимый демонами страха, притягиваемый призраком торжества.

Влетев в амбар, Дэви схватил оселок, за которым его послали, и, подтягивая спадавшие штаны, вприпрыжку побежал к косцам, работавшим на северном поле. Вдруг ему пришло в голову, что он совершил преступление куда серьезнее всего того, чем угрожал Кен. Дэви даже приостановился, но тут же побежал дальше, решив не говорить никому ни слова, пока сам не увидит, что из этого получится.

Запыхавшись, Дэви подбежал к косцам. На лице Кена было холодное, осуждающее выражение, он обиделся, что Дэви бросил его одного. Но Дэви ожесточенно поддернул штаны, схватил вилы и, вскарабкавшись на стог, стал рядом с братом.

Сегодня за Кеном было трудно угнаться, ибо каждый раз, втыкая вилы в сено, он мысленно пронзал старого жирного негодяя — дядю Джорджа. Конечно, подумал Дэви, если ты поклялся убить человека в следующий же раз, когда он хлестнет тебя ремнем, и если этот раз наступит через несколько часов, так лучше попрактиковаться заранее. Дядя Джордж тоже, наверное, практиковался. Он пообещал сегодня в семь часов спустить с Кена шкуру, а дядя Джордж, как известно, любит ко всему готовиться заранее. В крошечной частице сердца Дэви, которая не была отдана Кену, трепетала жгучая радость — слава богу, сегодня порка ему не грозит.

Наконец с севера потянуло прохладой, жара начала спадать, приближался вечер. Косцы распрямили уставшие спины, опустили занемевшие руки. Они взмокли от пота. Дядя Джордж промакнул рубашкой жирную вспотевшую грудь и бросил на Дэви взгляд, под которым мальчик всегда холодел от страха.

— Вечером останешься с братом,— монотонно сказал дядя Джордж.— Когда тебя посылают за оселком, надо бежать во весь дух туда и обратно. На этой ферме все обязаны работать. И ты, Дэвид, обязан, и ты, Кеннет, и сестре своей скажите, что она тоже обязана работать. — Дядя Джордж немного помолчал.— Вы сами между собой решите, кого пороть первым.

Лицо Дэви было так же бесстрастно, как лицо его дяди, но в животе у него что-то сжалось. Мальчики отстали от косцов. Кен крепко стиснул руку Дэви. Краешком глаза Дэви увидел его лицо; напряженное, тонкое, похорошевшее от отчаяния. Дэви знал, такое выражение появлялось у Кена, когда он до предела напрягал свои силы, чтобы выдержать какое-то тайное испытание, которому он подвергал себя. И Кен всегда выдерживал.

— Я буду первым, чтобы покончить с ним сразу, прошептал Кен.

— Неужели ты это сделаешь?

— Я же сказал, — Кен злился, словно поняв, что данное им обещание оказалось ловушкой, из которой теперь не выскочишь.— Раз сказал, значит сделаю. Помни, я первый.

За ужином в кухне все молчали, кроме дяди Джорджа. Марго едва исполнилось шестнадцать лет, но так как на нее была возложена вся стряпня, то она сидела в конце стола, как полагается взрослой женщине. Глаза ее смотрели сурово и злобно — из-за братьев, — и от этого она выглядела гораздо старше своих лет. Дядя Джордж восседал во главе стола на специально приспособленном для его громоздкой туши стуле с расширенным сиденьем и подпорками внизу. Дядин грохочущий голос, громкий и зычный, терзал взвинченные нервы Дэви, но мальчик не был способен ни заметить, ни понять, что дядя словно оправдывался перед кем-то, с горечью перечисляя неудачи, из которых состояла жизнь Джорджа Мэллори.

Дядя Джордж стиснул могучие кулаки и поглядел на детей с бессильным гневом. Все сидели молча. Кухонные часы показывали без пяти семь. И вдруг вечерняя тишина сменилась полным безмолвием. Пыхтенье двигателя стало таким привычным звуком на ферме, что внезапно наступившая тишина походила на возглас удивления.

— Генератор остановился,— сказала Марго.

Все внутри у Дэви запело от торжества. Он сделал нечто такое, на что никогда не осмелился бы Кен, и сделал это один, без посторонней помощи. В эту секунду его уже не тревожило, будет пороть их дядя Джордж или нет, ничто не могло нарушить его ликующей убежденности в том, что наконец-то из них двоих он стал главным.

Дядя Джордж обвел их взглядом, и Дэви увидел, какую ненависть вызывает у него их исступленная привязанность друг к другу. Он знаком велел им убраться прочь: починка генератора важнее, чем расправа с племянниками.

Мальчики помчались под косыми лучами солнца, стлавшимися по полю, как золотистый дым. Кен точно опьянел от облегчения. Он бежал, спотыкаясь, делая большие прыжки, хотя перепрыгивать было нечего.

— Вот повезло! — хохотал он. — Если б генератор не испортился, этот старый негодяй лежал бы сейчас мертвым, с вилами в брюхе!

Несколько часов назад эта угроза прозвучала бы, как приговор не-

умолимой судьбы. Сейчас в устах мальчика, который был не выше его ростом, она показалась Дэви попросту глупой.

— Везенье тут не причем, Кен. Это сделал я. Я устроил короткое замыкание.

— Ты? Что за черт, ты же все время был в кухне!

— В том-то и дело! Помнишь, мы видели в «Попьюлар мекэникс» схему, какую немцы применили для какой-то своей бомбы? Я приспособил наши старые часы и сделал так, что стрелки заземлили ток ровно в семь. Там только сгорел предохранитель. У нас еще уйма времени.

В хибарке Кен осмотрел часы и провода, а Дэви, даже не спросив позволения, вытащил из потайного места коробку, куда Кен припрятывал окурки, и закурил. Когда вспыхнула спичка, Кен искоса взглянул на брата, но ничего не сказал и снова нагнулся над будильником.

— Как это не пришло мне в голову? — негромко сказал Кен.— Теперь мы можем устраивать это в любое время, когда захотим. Давай расскажем Марго, что мы придумали!

Они ждали часа два, пока починят генератор, потом пошли домой. Дэви молчал, думая о том, насколько по-другому выглядят люди, когда ты становишься одного роста с ними.

Третий этаж каркасного дома так и не был достроен до конца. Дядя Джордж разделил помещение на две половины занавеской из белой марли. По одну сторону занавески находилась раскладушка Марго, по другую — матрац, где спали мальчики. Впрочем, эта перегородка была им совершенно не нужна: когда весь дом засыпал, дети в темноте сбивались в кучку, и Марго рассказывала братьям чудесные истории о том, как они будут жить втроем, сами по себе. Но если Марго, пока их не смаривала дремота, одинаково по-матерински относилась к обоим мальчикам, то ласковое «спокойной ночи» говорила напоследок только Кену.

Марго ждала братьев наверху, в синем сумраке, стоя на коленях у матраца, в вылинявшей нижней юбочке, которую она одевала на ночь. Выслушав мальчиков, она тихонько рассмеялась, порывисто привлекла к себе Дэви и с гордостью поцеловала, а он инстинктивно прижался к сестре, обхватив руками ее тоненькую талию.

— А почему бы нам не убежать отсюда? — сказал он. Это была любимая мечта Марго, и Дэви хотел сделать ей приятное. — Давайте как-нибудь ночью выключим генератор и сбежим. Ведь тут нам будет с каждым днем хуже.

— Не беспокойся, — резко сказал Кен, следя глазами за братом.— Вот я прикончу дядю Джорджа, и все будет хорошо.

— Да брось ты! — Дэви отодвинулся от Марго и руке его, лежащей на талии сестры, стало неловко, но он не мог заставить себя убрать ее.— Никогда ты его не убьешь, нечего и думать об этом.

— Я сказал — убью, значит убью.

— Прекрати, Кен,— вмешалась Марго.— Все это глупости — и больше ничего. Дэви прав. Если я набавлю себе год, то, может, найду какую-нибудь работу, и тогда вы сможете поступить в настоящую школу.

— В школу! — иронически протянул Дэви. — Мы все можем поступить на работу.

— Нет, вы пойдете в школу! — резко возразила Марго.— Оба пойдете. Вы думаете, можно выйти в люди и заниматься изобретениями без всякого образования? И в колледж вы тоже пойдете.

— Эдисон никогда не учился в колледже, — сказал Дэви.

Марго нетерпеливо передернула плечами, рука Дэви сама собой соскользнула с ее талии, и ему стало обидно — он почувствовал себя отстраненным. А ведь он вовсе не собирался с ней спорить.

— Мне-то все равно, что ни делать, — продолжала Марго.— Но вы, мальчики, должны стать большими людьми — больше, чем Эдисон!

— Мы можем починить ту старую калошу, что стоит в сарае,— порывисто воскликнул Дэви, стремясь заслужить ее прощение. Он начал придумывать план бегства во всех подробностях, сам не веря в его реальность, и был поражен, когда Марго сказала: — Давай так и сделаем, Дэви, давай!

Дэви открыл рот от удивления, поняв, что это он придумал план окончательного бунта против дяди Джорджа. Кен должен был сделать это, но Кен молчал. Дэви выждал, но Кен ничем не показал, что желает возглавить это предприятие; тогда Дэви придвинулся ближе к Марго. До поздней ночи они обсуждали план бегства и наконец улеглись спать. Но прежде чем Марго успела отвернуться, Дэви приподнялся на локте и дотронулся до ее обнаженной руки.

— Скажи и мне наконец «спокойной ночи», — взмолился он. — Ты всегда это говоришь только Кену.

— Эй, ты!..— вдруг прорвало Кена, словно его самолюбие могло вытерпеть любое предательство от брата и сестры, только не это.

— Замолчи, — бросила Марго через плечо. — Дэви прав. И, кроме того, он самый младший.

— Но не самый маленький,— не унимался Дэви.

— Хватит, ложись, — сказала она.

И снова Дэви обволокло ее тепло, он почувствовал дыхание сестры на своем лбу и прижался лицом к ее лицу.

«Как хорошо»,— подумал Дэви. Он ощутил глубокую тихую радость и порывисто поцеловал Марго в шею, надеясь, что Кен не заметит этого, а она не рассердится.

Марго, поднявшись, погладила его по щеке, и Дэви, глубоко переводя дыхание, повернулся на бок. В груди у него разливалось солнечное сияние.

Через месяц, в безветренный жаркий вечер, они были готовы к побегу. Дэви с точностью до одной минуты предвидел, что произойдет, и все-таки пугливо вздрогнул, когда свет внезапно погас. В кухне воцарилось недоуменное молчание, плотное, как окружающая темнота.

— Я принесу лампу, дядя Джордж,—торопливо сказал Дэви.—Марго, кажется, пошла в сарай.

— Мне наплевать, кто принесет лампу. Давай поживее, и исправь проклятый генератор. Да пошли сюда сестру. Нечего девушке шляться по вечерам.

Выйдя в сгущавшуюся вечернюю тьму, Дэви постарался поверить в то, что они действительно убегут от всех этих знакомых запахов, звуков и ветерков. Пройдет время, и дядя Джордж поймет, что хоть они и удрали от него, а все-таки были неплохими ребятами. Дэви на секунду даже стало жаль дядю, но он тут же вспомнил, что Марго сидит одна на дороге, в заплатанном «фордике», и ждет их.

До дороги оставалось ярдов пятьдесят, когда Дэви увидел впереди движущийся свет фонаря. Он остановился и тронул Кена за руку. Мальчики, согнувшись, юркнули в кусты, потом побежали в сторону. Сердце Дэви билось где-то в горле. Он смертельно боялся, что их поймают.

— Он ищет Марго, — прошептал Кен. — А все ты. Надо было тебе говорить, что она в сарае!

От страха Дэви разозлился.

— А ты чего ж молчал? Взял бы да придумал что-нибудь получше.

— Чего ради, ведь ты последнее время стал командовать всем, мистер? Подтяни штаны! Когда он войдет в сарай — бежим!

Издали слабо донесся сердитый голос дяди. Кен толкнул локтем

Дэви, и они помчались по равнине, как вдруг неподалеку снова мелькнул фонарь дяди Джорджа. Мальчики бросились на землю, не сводя глаз с раскачивающегося фонаря. Оба лежали неподвижно, сдерживая дыхание.

— Пошли в обход, по берегу ручья, — шепнул Кен. — Пока он дойдет до сарая, мы добежим к Марго.

Они поползли вдоль тропинки, подымавшейся на холм, добрались до вершины и бегом спустились с другой стороны к болоту, окруженному лиственницами. Здесь стояла черная, непроглядная ночь. Какой-то зверек прянул в сторону и поскакал в кусты. Ужас его передался мальчикам. Дэви остановился и поглядел вокруг, но Кен бежал дальше.

Вслепую Дэви бросился за ним, напрягая зрение в темноте и заслоняя руками лицо от хлещущих веток. Штаны съехали, пришлось подтягивать их на ходу. Споткнувшись о камень, он потерял равновесие и полетел куда-то вниз. Еще момент — и он очутился в воде. Всплеск отдался в его ушах грохотом; по глубине сомкнувшейся над ним темной воды он догадался, что попал в омут неподалеку от мельничного лотка.

Дэви придержал дыхание, стараясь выплыть на поверхность, но уперся макушкой во что-то твердое, и тело его медленно закружилось в водовороте. Он задерживал дыхание, и, казалось, вся его сила сосредоточилась между глаз, в переносице, а грудь готова была разорваться. Он попытался выплыть из-под нависшего над ним выступа скалы, но вода не пускала его.

И тут, словно до его сознания внезапно дошли сказанные кем-то слова, он понял, что через несколько секунд умрет.

Где-то, в крошечной клеточке мозга, которая начала жить прежде его первого вздоха при появлении на свет и которая умрет в нем последней, он уже оплакивал свою гибель.

В следующую секунду он, с алчностью изголодавшегося, вдыхал упоительный мягкий воздух — Кен вытащил Дэви и держал его голову над водой. Дэви понял, что спасен, и его глаза, затуманенные от слез и воды, с обожанием устремились на брата.

— Жив? — шепотом спросил Кен.

Дэви успел только поблагодарить его мокрыми глазами — его вырвало водой прямо в лицо Кену. И видя, как тот стоически выдержал это, Дэви почувствовал, что любит его еще сильнее. — Старший брат всегда остается старшим, — исступленно твердил он про себя, и Кен доказал это, спасши жизнь младшему братишке. Дэви поклялся посвятить всю свою жизнь тому, чтобы отблагодарить Кена и искупить бунт против него, казавшийся ему сейчас тяжким грехом.

5

И теперь, несколько лет спустя, Дэви постарался упрятать это воспоминание в самый дальний закоулок памяти, холодно сказав себе, что в те дни произошло только одно: он усвоил основной принцип технической религии, то есть поверил, что механизмы делают именно то, для чего они придуманы. И это не имело ничего общего с несправедливым утверждением Уоллиса, будто Кен — всего лишь тень Дэви. Нет, Кен — старший брат и все, что под этим подразумевается. Всегда был старшим и всегда будет.

Погрузившись в задумчивость, Дэви неосторожно опустил второй бачок на цементный пол, раздался резкий скрежет. Уоллис раздраженно обернулся, готовый взорваться, готовый бросить в смутно маячившее перед ним испуганное лицо все самые обидные, самые жестокие слова — все, кроме тех, которые выражали бы его искреннюю любовь. Вдруг он

остановился, заморгал, глаза его сразу прояснились, отчего он стал казаться гораздо моложе. Углубленный в свое дело инженер, составлявший часть его существа, закончил расчеты, пришел к какому-то решению и сбросил с себя сварливую придирчивость. Он заговорил совершенно иным тоном, задумчиво и деловито:

— Сегодня я успею собрать камеру сгорания. Значит, завтра мне понадобится перекись.

Дэви застыл на месте, не сводя глаз со старика. Потом с чувством огромного облегчения опустил руки. Эти внезапные переходы от мути к ясности свершались, как в страшном сне, когда на лице палача вдруг появляется улыбка, означающая, что приговор отменен.

— Но я ведь только что сказал, — произнес Дэви, — завтра у нас выпускной экзамен.

Уоллис с трудом припомнил это, и лицо его осветилось гордостью.

— Подойди поближе, сынок, а то мне тебя не видно. Ты стоишь в тени. Вот так, теперь хорошо. Значит, завтра у тебя большой день? Отлично. Но я все думаю, не разумнее ли было бы взять себе дело помельче, не такое грандиозное, как тот проект, о котором вы толкуете,— только для разбега, понимаешь?

Дэви замотал головой:

— Мы не можем. Нам ничто другое даже на ум не идет. Каждый месяц мы переживаем черт-те что, пока не просмотрим «Вестник патентов» и не убедимся, что нас пока никто не обскакал.

— Быть первым — далеко не самое главное, — сказал Уоллис.— Гораздо важнее быть лучшим. Ты и сам это знаешь.

— Но деньги получает тот, кто окажется первым.

— Брось, на деньги тебе совершенно наплевать,— сказал Уоллис.— Откуда ты взял, что они тебя интересуют?

Дэви метнул на него быстрый взгляд:

— Почему вы так думаете?

— Можешь ничего не объяснять. Я сам скажу. Ты работаешь, так как что-то внутри заставляет тебя работать. Даже если б изобретение не принесло тебе ни гроша, ты все равно продолжал бы работать. Откуда я знаю? Сужу по тому, о чем ты думаешь. То же самое происходит и с Кеном, только Кен всерьез думает, будто работает из-за денег. Но и получив деньги, он никогда не будет удовлетворен. Вот так-то.

Уоллис покачал головой. Он и впрямь был слишком стар, слишком опытен, чтобы долго тревожиться о чем-либо.

— Впрочем, если вы непременно желаете прошибить головой каменную стену, так лучше уж начать, покуда вы молоды... Кстати, когда я получу перекись?

— Сегодня же, — сказал Дэви. На свете не было ничего такого, чего бы он не сделал для этого Уоллиса. — Я выкрою время.

Уоллис приподнял голову, словно до него издали донесся повторный зов, к которому он до сих пор не прислушивался. — Постой, я чуть не забыл, сегодня днем приезжает эта девушка, моя внучка Виктория, ну, знаешь, которая мне пишет письма. Не привезешь ли ты заодно и ее? Поезд приходит в три десять.

— К тому времени вернется Кен. Кто-нибудь из нас ее встретит.

— А я не хочу, чтобы ее встречал Кен. Поезжай ты. Кен, чего доброго, еще вскружит ей голову, а я хочу, чтобы она добралась сюда целой и невредимой. Как она станет жить потом — ее дело, но хоть поначалу пусть все будет благополучно.

Дэви улыбнулся:

— Хорошо, я поеду.

Уоллис опять углубился в работу. В сердце Дэви промелькнул страх,

что вот сейчас ясность мысли у старика исчезнет так же внезапно, как она появилась, но голос Уоллиса звучал попрежнему уверенно и твердо:

— Ладно, Дэви,— бросил он через плечо.— Спасибо. Теперь проваливай. Нам обоим некогда.

Дэви вышел наружу, под лучи утреннего солнца. Когда у старика бывали такие просветы, Дэви всегда чувствовал, что ему улыбается истинное величие в самом высоком смысле этого слова. Глаза его потемнели от гордости, словно два несложных поручения, которые дал ему Уоллис, были двумя почетными орденами. И хотя полчаса назад у него не нашлось времени заработать несколько долларов на ремонте машины Дугласа Волрата, сейчас у него оказалось сколько угодно времени, чтобы побежать в университет и взять химикалии для старика.

Он был так счастлив, что ему даже в голову не пришло, что «взять» — чересчур мягкое выражение для его методов добывания нужных материалов. Дэви удивился бы и обиделся, если б кто-нибудь сказал ему об этом.

6

Дэви шагал по Университетскому холму, мимо красного административного здания, увенчанного башенкой. Огромная кирпичная крепость высилась над квадратной зеленой лужайкой в четверть мили длиной, которая спускалась по склону холма к Стейт-стрит. Широкая, обсаженная деревьями улица вела к находившемуся на расстоянии мили отсюда зданию, где помещались правительственные учреждения штата. Таким образом, выпускникам надо было лишь спуститься с Университетского холма, чтобы предложить свои услуги щедрому правительству, даровавшему им право на бесплатное образование. Насколько оно было бесплатно — остается только гадать. Право это было установлено законодательными властями 1872 года после громкого скандала, вызванного продажей лесных угодий на севере штата, которые лесопромышленные компании приобрели за бесценок. Однако, несмотря на это, члены законодательных органов к концу избирательного срока стали куда богаче, чем до его начала. Но все это не мешало университету развиваться своим путем и жить своей, особой жизнью.

Дэви торопливо шел к химическому складу, минуя коридоры, доски объявлений, лабораторий и аудиторий, знакомые, как собственный дом, и так же пропитанные воспоминаниями. Пять лет, с пятнадцатилетнего возраста, он бегал вверх и вниз по этим лестницам.

До июня прошлого года курс был рассчитан на четыре года, потом прибавили необязательный пятый год. Записалось только двое студентов — Кен и Дэви; они посвятили себя изучению катодных лучей. В университете, где самым солидным факультетом считался инженерный, а инженеры-старшекурсники являлись единственными людьми, которым разрешалось носить бороду — которые *обязаны* были носить бороду, — стать студентом пятого курса означало подняться на одну ступень выше богов.

Сознавая свое привилегированное положение и принимая его как должное, Дэви обратился к сидевшему у окошка выдачи студенту, который исполнял должность кладовщика.

— Чарли, дай мне галлон H_2O_2. Не обязательно патентованной.

— Побойся бога, Дэви, ацетон еще куда ни шло, но с перекисью у нас туго.

— Ну, а мне нужно.

— Зачем?

— Палец порезал, вот зачем.

Кладовщик заколебался, потом заглянул в прейскурант.

— Знаешь, сколько тебе это будет стоить?

— Четверть доллара.

— Нет, половину.

— Четверть.

— Ну ладно, провались ты пропадом! — Кладовщик вручил ему металлический баллончик, спрятал монету в карман и аккуратно записал в книге выдачи, под рубрикой «утруска и утечка» — «1 гал. H_2O_2 — пролит». Затем оба юноши, следуя обычаю, пробормотали «вырубка леса» — пароль, которым заканчивалась всякая сделка за счет государства.

Дэви было четырнадцать лет, когда он узнал, что может поступить в университет. Библиотекарю технической библиотеки надоело прогонять двух юных костлявых оборванцев, которые вечно околачивались в читальне. Мальчишки, правда, не шумели, а белобрысый, тот, у которого волосы походили на швабру, довольствовался учебниками и справочниками. Другой же, чернявый, который вечно подтягивал чересчур широкие сползавшие штаны, требовал книги с особых полок. Однажды библиотекарь остался с чернявым мальчуганом наедине.

— Слушай, сынок, ты уж лучше подожди, пока станешь студентом.

Дэви сидел не шевелясь. Затем, убедившись, что ему ничего не грозит, медленно сказал:

— Я никогда не смогу поступить в университет. Я ведь не хожу в школу.

Библиотекарь не желал сдаваться.

— По университетским правилам это не обязательно. Нужно только выдержать вступительный экзамен.

Дэви взглянул на лежавший перед ним учебник физики.

— А можно мне брать эти книги, чтоб готовиться к экзамену?

— Каждый, кто записывается на экзамен, получает временный абонемент в библиотеке. Ну, беги, сынок, мне некогда.

— Кто выдает эти абонементы?

— Я выдаю, — сказал библиотекарь.

— Ладно. Дайте мне абонемент.

— Да ведь ты же не учился в школе?

— Вы сказали, это необязательно.

— Конечно, необязательно, но латынь ты знаешь?

— Можете не сомневаться, — сказал Дэви. — Еще как!

— И, должно быть, говоришь на алгебраическом языке?

— А как же, — ответил Дэви, глядя ему прямо в глаза с полным презрением к расставленной ловушке. — Говорю.

Для Дэви заявление о желании поступить в университет было только средством получить доступ к книгам, но когда он, вернувшись в гараж, рассказал об этом Марго, та поставила на пол недочищенный карбюратор, сбросила замасленный комбинезон, надела свое единственное приличное платье и, велев Дэви следовать за ней, отправилась в библиотеку. Марго в это время было девятнадцать лет. Она обратилась к библиотекарю с просьбой объяснить, что нужно для того, чтобы ее младших братьев допустили к вступительным экзаменам. Дэви стоял рядом, поглядывал на сестру с высоты своего роста и благоговейно изумлялся ее храбрости: он знал, что она не понимает и половины тех формальностей, о которых толковал библиотекарь.

Кен сказал, что она сошла с ума; они с Дэви скоро изобретут что-нибудь такое, что принесет им уйму денег. Но Марго категорически заявила, что не для того она отдала им свою жизнь, чтобы из них

вышли простые механики. Они должны поступить в колледж и стать выдающимися людьми.

Марго тянула их полтора года. Она сидела вместе с ними над учебниками и не позволяла отвлекаться. Мальчики жили в чудовищном напряжении и почти все время были голодны. В июне они выдержали все экзамены, кроме латыни. Марго решила, что не стоит и пытаться сдать этот экзамен, и мальчиков приняли условно на год. К концу этого первого года оба оказались среди лучших студентов курса.

В тот же год Марго перестала работать в гараже. Шел первый послевоенный год; для тех, кто искал работу, времена были трудные. Зима выдалась суровая, в стране бастовали шахтеры, и Марго всюду наталкивалась на застывшие лица. Когда в воздухе повеяло влажной оттепелью, Марго наконец устроилась на службу в конторе местного филиала нью-йоркского универсального магазина.

Из-за работы в гараже мальчики почти не имели возможности ходить на лекции одновременно, но если почему-либо требовалось присутствие обоих, они всегда держались вместе. Когда они спускались со ступенек здания инженерного факультета, Кен неизменно шел впереди — он сбегал вниз с непринужденной грацией танцовщика. Его штаны, слишком широкие в шагу, хлопали по ногам, как бы приплясывая сами по себе. Он ходил с непокрытой головой, его длинные светлые волосы, разделенные прямым пробором, были гладко зачесаны назад. Он носил белые рубашки с галстуком-бабочкой и шерстяную клетчатую куртку с расстегнутым воротом, туго заправленную в брюки, чтобы она не топорщилась пузырем на спине. Дэви, шагавший позади, казался намного выше брата, хотя разница в их росте равнялась всего лишь трем дюймам. Кен был стройным, а Дэви — просто тощим. Дэви сбегал по ступенькам вприпрыжку, немного неуклюже. Он всегда смотрел себе под ноги, словно боясь споткнуться.

У Кена было худощавое, тонко очерченное лицо, серые большие, глубоко посаженные глаза, нос с маленькой горбинкой, с заостренным кончиком и треугольно вырезанными ноздрями. Губы у него были тонкие, прямые и длинные, внезапная улыбка поражала неожиданным обаянием. В первый год у Кена часто екало сердце — он боялся, что вот-вот кто-то хлопнет его по плечу и скажет: «Эй, малец, ты чего здесь околачиваешься, проваливай!» Но потом он и Дэви стали лучшими студентами курса и были обязаны этим только самим себе. Им почти простили то, что они попали в университет фуксом, а те, для кого это еще имело значение, могли убираться ко всем чертям. Если б на лице Кена не было написано откровенное довольство, окружающим он мог бы показаться заносчивым. Но его постоянная еле сдерживаемая улыбка, быстрые повороты высоко поднятой головы создавали впечатление, будто он готов раскрыть объятия всему миру.

Все черты Кена в преувеличенной форме повторялись в лице Дэви — смуглом, угловатом, с резкими впадинами и выступами. Голубые глаза Дэви были чуть приподняты к вискам, как у фавна, цвет и форма их еще больше подчеркивались глубокими темными впадинами. У него, как и у Марго, были длинные, красиво изогнутые губы. Волосы, почти черные, вьющиеся, Дэви стриг так коротко, что они казались плотно прилегающим волнистым шлемом.

В университете, где существует совместное обучение, где студенты, по укоренившейся традиции, пренебрегают студентками и предпочитают приглашать на балы и вечеринки посторонних девушек, где считается необходимым пить как можно больше крепких смесей или, по крайней мере, делать вид, что пьешь, где принято хвастаться похождениями с легкодоступными девицами, часто упоминая о «переходе всяких границ», хотя

на деле все сводилось к нескольким поцелуям и робкому ощупыванию, — Кен нарушал все правила и от этого чувствовал себя только счастливее. Дэви их не нарушал, потому что для него никаких правил не существовало.

Он дорожил только тем, что имело для него смысл. Он испытующе глядел на окружавший его мир и составлял обо всем собственные суждения, которые, однако, никогда не высказывал, если они расходились с мнением Кена. И никто — а в первую очередь сам Дэви — не понимал, что в нем развивалась особая внутренняя дисциплина, которая могла перерасти в хладнокровную жестокость.

В университетские годы братья общались только со своими сокурсницами, которые были ничуть не менее хорошенькими, чем посторонние девушки, и, по сути дела, являлись посторонними девушками для студентов университетов в Мэдисоне, Эни-Арборе и прочих местах. Кен выпивал только ради компании. И в то время как другие члены студенческого братства, слывшие бабниками, поднимали шум из-за каждой мимолетной связи, Кен помалкивал, хотя у него были романы почти с каждой девушкой, которую он приглашал провести вместе вечер. Если ему приходилось уверять девушку, что он любит ее одну навеки, то в тот момент это не было ложью. Он знал слишком много, чтобы разделять распространенное мнение о том, что если бросить девушку, то она пойдет по рукам и совсем свихнется. У него просто проходила влюбленность, а это может случиться со всяким.

Он был ласковым, добродушно насмешливым любовником, внимательным и деликатным. Он никогда не позволял себе даже намека на свои победы и глубоко обижался, если намекали другие. Он поверял свои сердечные тайны только Дэви, на которого мог положиться, но Дэви никогда не рассказывал о своих романах Кену. Ни одна душа, кроме возлюбленных Дэви, не знала, что происходит, когда он не бывает дома. Однако девушки Дэви, обычно более серьезные и приверженные к науке, чем возлюбленные Кена, были безмятежно довольны этими отношениями.

Дэви выбирал возлюбленных по-своему. Сначала он замечал девушку издали, потом приглядывался к ее улыбке, к ее движениям. Его лицо становилось задумчиво нежным. Он никогда не расспрашивал о ней других, ибо предпочитал сам выяснить то, что ему хотелось знать, а не слушать чужие мнения. Он любил делать первый шаг сам, поэтому даже не замечал других девушек, которые хотели бы привлечь его внимание. Он видел только то, что искал, поэтому часто расплачивался за роковую слепоту, свойственную самонадеянным людям.

День братьев был тщательно, до одной минуты, распределен между гаражом, занятиями и изредка, по вечерам, свиданьями с девушками; у них не было времени участвовать в обычных студенческих сборищах. Однако даже самые усердные занятия в библиотеке иногда прерывались, чтобы выкурить папироску на лестнице, где всегда толпились будущие инженеры, обсуждая проходивших мимо девушек, шансы на выигрыш той или иной команды или, чаще всего, то, сколько они будут зарабатывать лет через пять после окончания университета. Тут будущие инженеры становились сосредоточенно серьезными, а средняя цифра равнялась семи тысячам в год. В 1924 году никто в этом не сомневался.

— Ну а ты, Кен, что скажешь?

Кен улыбался:

— Мы с Дэви еще не подсчитывали.

— Рассказывай!

— Серьезно. Мы кое-что задумали, но дело это совсем новое. Впрочем, вот что я вам скажу: сколько бы мы ни зарабатывали через два

года или даже через восемь лет, но через десять лет мы с Дэви должны иметь по миллиону каждый. Верно, Дэви?

— Пожалуй, двенадцать лет будет точнее, — осторожно говорил Дэви.

Летом, когда занятия в университете кончались, Кен и Дэви по целым дням ремонтировали передачи, накачивали камеры и заправляли машины, но с наступлением сумерек, если их не одолевала усталость, они мылись, брились, надевали чистые рубашки и шли освежиться в Пейдж-парк. Это был большой четырехугольный парк, выходивший на озеро; на центральной его лужайке между двумя памятниками героям войны находилась круглая эстрада для оркестра, всегда освещенная по пятницам. Музыканты уикершемского городского оркестра были одеты в черные военные мундиры, с высокими воротниками и длинными фалдами, и белые парусиновые брюки, которые хранили изгиб согнутых колен, даже когда музыканты вставали кланяться. Оркестр играл «Роскошь и нищету», «Сказки Венского леса» и несколько маршей, вроде «Ура командиру». В последнее время к этому репертуару специально для молодежи было добавлено несколько фокстротов, но все они игрались в таком жестком и быстром маршевом ритме на две четверти, что некоторые шутники под гогот публики отбивали лихой чарльстон, а потом притворялись, будто валятся с ног от изнеможения.

Летние вечера всегда начинались одинаково — братья съедали мороженое, потом стояли, прислонясь к зубчатой решетке, огораживающей аллею. Немного погодя Дэви погружался в увлекательную беседу с каким-нибудь юношей, тоже в рубашке без пиджака. Юноша пускался в описание капризных свойств некоей бензопомпы, а Дэви слушал и кивал, отвечая краткими, скупыми жестами. Кен устремлялся следом за каким-нибудь светлым платьицем, а потом, вероятно, сидел с девушкой на скамье близ озера, в темном конце парка. Беседа о бензопомпе плюс обсуждение мотора «Стирнс-Найта» длились больше часа, после чего собеседник Дэви восклицал:

— Слушай, чего мы здесь торчим? Ты видишь что-нибудь интересное на горизонте?

Если в это время мимо не проходили девушки, так четко шагая в ногу, что их туго обтянутые прямыми платьями бедра вызывающе покачивались в такт, то собеседник принимался рассказывать про другие моторы, о которых ему довелось слышать, а затем, часов около одиннадцати, когда кончалась музыка, предлагал Дэви идти по домам.

— Я подожду Кена, — отвечал Дэви.

После ухода оркестрантов парк затихал. Почти все скамейки пустовали. Цепочки фонарей вдоль главной аллеи медленно тускнели, как на опустевшей сцене, с лужаек подымался влажный запах земли. Налетавший порой ветерок приносил с собой, как редкий и дорогой аромат, обрывки приглушенной музыки из загородного клуба, оттуда, где девушки, которых никогда не увидишь днем, наверное, изумительно прекрасны, а мужчины в черных смокингах и белых фланелевых брюках все как один элегантны, богаты и красивы.

Здесь, в затихшем парке, на пустой скамейке хорошо мечталось. И если знаешь наверняка, что самая чудесная твоя мечта непременно исполнится, что это только вопрос времени, то не так уж трудно набраться терпения.

Наконец появлялись посоловевшие, смущенные Кен и его девушка. Они шли медленно, и Кен говорил брату: — Я провожу ее домой, малыш. Пойдешь с нами?

— Нет, — отвечал Дэви. — Встретимся дома.

Когда Кен приходил домой, Дэви уже лежал на своей койке в комнатке позади гаража.

— Славная девочка, — говорил Кен. — А ты как провел время?

— Замечательно. — На лицо Дэви, обращенное к потолку, падала густая тень. — Просто замечательно.

Когда Дэви одиноко сидел на скамейке в парке, одурманенный далекой музыкой, или когда он вытягивался в бессонной темноте на своей койке, глядя в потолок, кроме мечтаний о самом хорошем, он задумывался о смысле и причинах явлений. Он неторопливо обдумывал возникшую в уме догадку, словно перебрасывая с руки на руку рыхлый ком, то и дело останавливаясь, чтобы стереть шероховатость ошибки, пока идея не распадалась на куски в его пальцах или, наоборот, не приобретала твердый блеск смысла. Но даже и в этом случае он мог преспокойно отшвырнуть ее в сторону, однако большей частью припрятывал где-то в уголке мозга, чтобы потом поделиться ею с Кеном.

Однажды ночью, в начале занятий на четвертом курсе, когда оба уже улеглись спать, Дэви вдруг сказал:

— Мы должны записаться на пятый курс, Кен.

— Что? — сонно спросил Кен в темноте, одинаково недовольный и тем, что ему не дают спать, и предложением Дэви. — Чего ради? Ведь никто не записывается.

Дэви не шевелился. Он просто выжидал, пока умолкнет Кен.

— Мы с тобой до сих пор толковали только об одном этом изобретении, будто ни до него, ни после него ничего не было и не будет. Но мы должны проложить дорогу и другим изобретениям.

— Ну что ж, конечно. Но при чем тут пятый курс? А, черт, — сердито сказал Кен, поворачиваясь на кровати. — Мне надоело нуждаться! Я не желаю всю жизнь быть ломовой лошадью. Хочу быть богатым. — Окончательно стряхнув с себя сон, Кен закурил папиросу, но ни чирканье, ни вспышка спички не заставили Дэви повернуть голову.

Кен явно не понимал его. Деньги интересовали Дэви меньше всего, но он не позволял себе разочаровываться в старшем брате. Он с восторгом думал о преемственности человеческой изобретательности, о том, что человек может зажечь огонек в уме другого, так что оглядываясь назад, можно увидеть цепь огней, уходящих в тьму прошлого. Эта мысль привела к сознанию, что маленькая искорка, мерцающая в них обоих, может, в свою очередь, зажечь яркое пламя в будущем. Ответ Кена поразил Дэви, и он решил изложить дело как можно яснее и прозаичнее.

— Суть вот в чем: когда люди говорят о радио, они представляют себе громкоговоритель на одном конце и микрофон на другом. Это чересчур упрощенный взгляд. Но, предположим, ты смотришь на это главным образом с точки зрения того, что происходит в электронной лампе. Знаешь, что тогда получится? — В темноте он поглядел в сторону брата. — Получится нечто похожее на часть человеческого мозга с нервами и клетками.

— Это же всего-навсего радиоустановка, — возразил Кен. Дэви понимал, брату не хотелось, чтобы его вытаскивали из мира, где новые перспективы можно высматривать из светлых окон. За пределами этого мира лежит другой, где срываются покровы с идей и устоявшихся понятий, где беспощадно обнажается их скрытое уродство, то есть лежащая в их основе фальшь, но в этом другом мире царят мрак и одиночество. — Почему ты все так дьявольски осложняешь, Дэви?

Но Дэви лежал неподвижно, думая о чем-то своем. Потом медленно произнес: — Ничего тут нет сложного, если вдуматься. До появления радио все изобретения, за исключением некоторых в области электриче-

ства, ставили себе целью заменить живые мускулы и выполнить их работу с гораздо большей мощностью. Когда-нибудь люди оглянутся назад и скажут, что радио явилось первым шагом вперед от машин и животной силы. А если так, то мы делаем второй крупный шаг, потому что наши электронные схемы повторяют деятельность еще одного участка центральной нервной системы.

Кен молчал. Дэви знал, что встревожил его.

— Я вот что хочу сказать, — продолжал Дэви немного погодя. — Рано или поздно, хотим мы этого или нет, но нам придется работать над подобным повторением деятельности то одного, то другого участка нервной системы, пока, наконец, мы не найдем такие электронные схемы, которые смогут запоминать и даже заучивать, но быстрее, чем человеческий мозг. Вот к чему должна привести электронная лампа. И если не мы, то кто-нибудь другой добьется этого.

— Ну и пусть. А мы будем думать о своей маленькой лампочке.

— Но наша маленькая лампочка обязана стать больше. Если применение электричества изменило весь мир меньше чем за столетие, несмотря на все войны и революции, то что же принесет нам развитие электроники? Вот почему я и говорю, давай поучимся еще год, давай узнаем все, что можно, в этой области, прежде чем примемся переворачивать мир вверх тормашками.

Кен долго попыхивал сигаретой; тусклый огонек освещал его лицо, тонкое и задумчивое.

— Дэви, — сказал он наконец. — Я хочу заключить с тобой условие. Сейчас меня интересует только то, что мы с тобой задумали. Это может принести нам немного денег, а займет не больше, чем год-два. Ты хочешь, чтобы мы, прежде чем начать, проучились бы год на пятом курсе? Ладно. Только вот мое условие: я буду поддерживать твои планы на далекое будущее, если ты доведешь до конца работу над тем, что мы задумали. И, пожалуйста, не соглашайся сразу. Это слишком важный вопрос.

— Конечно, я соглашусь сразу, — сказал Дэви. Он во второй раз повернул голову в сторону брата, но голос его уже не был задумчивым. В нем слышалось что-то похожее на предупреждение. — А что если маленький план разобьется о большой?

Кен потушил окурок в консервной банке, служившей пепельницей. И когда он заговорил, слова его прозвучали почти резко:

— Вот тогда и решим, как быть. — Он повернулся спиной к Дэви и плотно подоткнул под себя одеяло. — Спокойной ночи, малыш.

— Спокойной ночи, — отозвался Дэви, уставясь в потолок. — Он знал, что впереди их ожидает много бед. Но ведь Кен, старший брат, верил, что все будет благополучно, и в конце концов Дэви тоже поверил в это.

Так четырехгодичная подготовка к победе продлевалась еще на год. Но прошел и этот срок; еще один день — и пятый год будет закончен.

Пережитые лишения, жертвы и победы представлялись Дэви чем-то вроде лестницы, вроде этих мраморных ступенек здания инженерного факультета, с которых он сейчас сбегал, неся химикалий для Нортона Уоллиса.

Однако пребывание в стенах университета не прошло для него бесследно.

Фундаментом для этого безобразного здания послужили взяточничество и подкуп. С тех пор подобные нравы укоренились в нем и почти неуловимо проявлялись то здесь, то там, так что студенты, давая друг другу взятки, расхищали общественную собственность, даже не подозревая, что совершают преступление. Они скрепляли свои сделки словами

«вырубка леса», забыв их первоначальное значение, но бессознательно руководствуясь им в своих поступках. Однако наряду с этим студенты исповедовали некий идеализм, воплощенный в книгах, в картинах, украшавших стены аудиторий, — это была высокая традиция их ремесла; студенты гордились тем, что готовятся стать инженерами, творцами и хранителями материального мира.

Главными героями молодежи, наполнявшей это здание, были Фултон, Уитни и Эдисон, развивавшие американскую традицию изобретения практически полезных вещей. Но в то же время молодежь издали восхищалась трудами таких служителей чистой науки, как Ньютон, Фарадей и Эйнштейн. Интеллектуальный уровень людей, самых близких Дэви по духу, был не ниже уровня ученых, посвятивших себя отвлеченной науке, — разница заключалась лишь в темпераментах. Уоллис всегда говорил, что настоящим ученым владеет одно стремление — узнать нечто практически полезное, о чем до сих пор еще никому не было известно; а Дэви считал, что инженером-творцом движет желание создать нечто полезное, чего не существовало прежде.

Дэви, принимая материальное вознаграждение за труд ученого и инженера как нечто естественное, в душе знал, что нельзя измерить звонкой монетой преимущества, которые дает приручение пара, используемого в качестве первичного двигателя, или цену победы над вечной ночью, завоеванной при помощи маленького портативного солнца — лампы накаливания. Здесь, в этом здании, он научился по-хозяйски глядеть на мир, ибо здесь он воспринял одну из величайших традиций мира.

Традиция повелевала быть передовым, быть новатором, делать природу менее враждебной человеку, создавать и развивать изобретения, которые меняют если не людей, то повседневную жизнь. И если любое изобретение может послужить средством дальнейшего развращения человеческого общества, получившего его в дар, то это лишь доказывает, что такое общество порочно по своей сути, ибо дары эти всегда несут в себе семена свободы, — и это все, что может предложить миру инженер.

Дэви жадно поглощал научные книги, но его знакомство с художественной литературой ограничивалось лишь отрывками, обязательными для университетского курса, и в этих отрывках он нашел только одного близкого его сердцу героя — Прометея, добывателя огня. Прометеем для Дэви был Нортон Уоллис, как и каждый человек, чья деятельность вызывала в нем восхищение. Уже в двадцать лет Дэви чувствовал, что такая же судьба предназначена и ему самому. Но в двадцать лет кажется, что одинокая голая скала и хищные орлы еще неизмеримо далеко впереди.

И сейчас, выходя из факультетского здания, куда он чуть ли не в последний раз пришел в качестве студента, Дэви являлся воплощением всех традиций своего времени и своего университета, как самых лучших, так и дурных. Ни одну из них Дэви не подвергал сомнению. И много лет еще пройдет, прежде чем он в трагической растерянности оглянется наконец на избранный им путь, пытаясь решить, если еще не поздно, в чем же заключается та конечная цель, которую он искал за горизонтом.

Но сейчас он думал только о том, что выполнил первое из двух обещаний, данных Нортону Уоллису. Второе — и самое важное — еще предстояло исполнить, но Дэви так и не пришло в голову, что он забыл спросить Уоллиса, как выглядит его внучка или как она может быть одета. Он не сомневался, что узнает ее на вокзале с первого взгляда, даже среди тысячи других девушек, одетых так же, как она. Уже давно,

с тех пор как Дэви стало известно, что к Уоллису приедет внучка, он, сам не зная почему, носил в своем сердце ее образ. Однако логическое мышление было свойственно Дэви в гораздо большей мере, чем он думал, и где-то в его подсознании, за дымкой фантазии, жила мысль, что если Нортон Уоллис — его король, то эта девушка по имени Виктория должна быть принцессой. Поэтому он и отвел ей особое место среди прочих девушек; она казалась ему той единственной, чья улыбка, чья пылкая заинтересованность в нем превратит в действительность смутную мечту, в которую он всегда был влюблен. Дэви был уверен, что узнает ее по этим признакам и еще по одному, тоже чрезвычайно важному: было совершенно необходимо, чтобы она оказалась не похожей на всех тех девушек, которых когда-либо любил Кен.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В десять лет Вики Уоллис, хрупкая, похожая на эльфа девочка, больше всех других своих шапочек любила шерстяной берет из клетчатой шотландки цветов древнего рода Синклеров. Девичья фамилия ее матери была Синклер, и Вики часто приходилось слышать полушутливые уверения в том, что Синклеры принадлежат к роду графа Оркнейского и Кейтнесского, некоего шотландца, «что бился вместе с Уоллесом». Уоллес — это почти то же самое, что Уоллис. И Вики считала перстом судьбы то, что ее отец, очевидно потомок короля, женился на девушке из рода одного из своих знатнейших вельмож.

Когда эта мысль впервые пришла ей в голову, девочка была совершенно ошеломлена. Влетев в дом с улицы, окутанной ноябрьскими сумерками, Вики сдвинула кусачий шерстяной берет на затылок и застыла, широко раскрыв темные глаза: а что если она и в самом деле наследница королей? Но тайну эту она крепко держала про себя, потому что мальчишки, с которыми она играла на улице, не были склонны к романтическим гипотезам. Вики сидела с ними на обочине тротуара, прилаживая коньки к высоким зашнурованным ботинкам, а потом, до конца осеннего, пахнущего дымом дня, шумно носилась по Парамус-авеню, кричала, спорила, хохотала, пока холодный голубой воздух не начинал синеть и ее не звали домой. Но ей все время казалось, что под плотно застегнутым пальтишком на ней шотландская юбочка, какую носят горцы, плед, кожаный ремень и кольчуга — гроза саксов.

Мать одевала ее в изящные платьица с оборками и широкими кружевными воротниками и в длинные белые бумажные чулки, но когда Вики посылали с каким-нибудь поручением, она бежала четко и стремительно, как настоящий мальчишка. Во всем квартале Парамус-авеню, включающем шестисотые номера домов, не было ни одной девочки — сверстницы Вики.

У нее было тонкое овальное легко вспыхивающее личико. Когда в квартале появлялся новый мальчик, Вики затихала, а ее темные глаза смотрели выжидательно, словно она готовилась встретить неожиданную дерзость или обидную насмешку. Ибо, если ее друзья, по всей видимости, забывали, что Вики — девочка, сама она всегда помнила об этом и знала, что нового пришельца не проведешь.

Будучи в некотором смысле иноземкой в чужой стране, Вики очень привязалась к своим приятелям, хотя ей пришлось смириться в душе с неизбежным вероломством мальчишек; так девочка приобрела преждевременный жизненный опыт и рано познала предательство ветреных полудрузей.

Вики исполнилось десять лет. И для нее это явилось лишь еще одной годовщиной существования незыблемого мира на Парамус-авеню. Для ее отца, однако, этот день был концом целой эпохи. Отец Вики каждое утро уходил из дому в котелке, с чемоданчиком в руках; это был стройный, рыжеватый, голубоглазый человек среднего роста, с неизменно вежливыми манерами; впрочем, никто не решился бы подтолкнуть его локтем или заговорить с ним повышенным тоном, ибо в таких случаях глаза его мгновенно становились ледяными, выдавая скрытую в этом человеке немую жестокость.

Как сын Нортона Уоллиса, он был обречен расти без отца. В день рождения Питера Уоллиса, когда ему исполнилось одиннадцать лет, мать его, забрав обоих детей, уехала от мужа к брату в Кливленд. Четыре года спустя, в 1890 году, Питер Уоллис покинул Кливленд и поступил во флот Соединенных Штатов. Ему говорили, что это почетная служба, ибо Соединенные Штаты занимают всего лишь седьмое место среди морских держав — после Великобритании, Франции, Германии, России, Италии и Испании. Он служил на одном из последних кораблей типа «монитор», а потом — на одном из первых миноносцев.

Питер Уоллис был умным, способным, сдержанным юношей, в нем чувствовалось хорошее воспитание. И когда в Триесте он напился сильнее других моряков, отпущенных на берег и, не вернувшись во-время на судно, фактически подлежал суду за дезертирство, его охватила паника. Питер Уоллис так перетрусил, что вместо того, чтобы вернуться на судно, он воспользовался советом и кошельком одного благожелательного турецкого джентльмена и махнул в Стамбул, где принял фамилию Гордон и, получив турецкий чин, соответствующий лейтенанту, поступил на новый, только что построенный в Германии миноносец. Два года спустя ему предложили снять мундир и отправили в Грецию с паспортом на имя американского дельца Лейна. После трех лет успешной деятельности его разоблачила полиция Эпира и дала ему понять, что если он желает и впредь продолжать свою деятельность — не только данную, но и вообще любую, — он должен передавать ей некоторые сведения, не посвящая, разумеется, в эту маленькую тайну своих прежних хозяев.

Питер Уоллис еще два года поставлял сведения, удовлетворявшие турок, несмотря на то, что, как впоследствии обнаружило турецкое правительство, эти сведения были сплошной фальшивкой. Молодой американец вел сложную жизнь, но ему нравилось постоянное волнение, от которого где-то под ложечкой у него как бы трепетала туго натянутая струна.

Греческие хозяева заставили его расширить круг своей деятельности, и в результате турецкие принципалы послали его в центр итальянского кораблестроения — Таранто. Новое задание оказалось гораздо сложнее прежних. Однажды к нему явился итальянский полковник с предложением перестроить свои занятия и взять на себя третье обязательство — работать в пользу итальянского престола; тут приятный внутренний трепет стал казаться Питеру Уоллису чересчур уж напряженным.

Шпионы во всех странах редко предстают перед судом. Либо им дают возможность переметнуться на другую сторону, либо они погибают от несчастных случаев. Уоллис понимал, что в конце концов ему придется работать одновременно для двадцати различных государств Европы, — и все до одного будут иметь серьезные поводы к недовольству. Он поборол страх и согласился на это предложение, но итальянского полковника постигла неожиданная смерть, прежде чем он покинул дом Уоллиса. Уоллис же вышел на набережную и сел на корабль «Фиуме», ждавший прилива, чтобы отправиться в Рио-де-Жанейро.

В те времена паспорта не проверялись, а «Титаник» еще не создал радиопромышленности, доказав своей гибелью, что каждому судну, выходящему в море, необходимо иметь на борту радиоустановку мистера Маркони. Уоллис благополучно прибыл в Рио тридцати лет от роду, без гроша в кармане, без права называться собственным именем и с одной лишь возможностью — продать свою жизнь.

Он решил еще раз попытать счастья и вернуться на родину как ни в чем не бывало. За это время обвинение в дезертирстве приобрело восьмилетнюю давность, война окончилась, а флот Соединенных Штатов выдвинулся на шестое место, опередив Испанию. Итак, в 1905 году Питер Уоллис вернулся в Кливленд и стал бухгалтером. Дело сразу пошло на лад, потому что Уоллис за последние годы привык возиться с цифрами: ему столько раз приходилось вычислять калибры разнообразных орудий.

В том же году он женился на Кэтрин Синклер и переехал в Милуоки — город, облюбованный эмигрантами-немцами, ибо мало ли кто мог вдруг появиться на его горизонте, а в Германии, по крайней мере, он никогда не бывал.

С годами ощущение трепета под ложечкой и сухости в горле постепенно исчезло; но когда стало очевидным, что Соединенные Штаты вступят в войну, Уоллис понял, что в процессе регистрации военнообязанных могут всплыть старые грехи. Со времени обвинения Уоллиса в дезертирстве прошло двадцать лет, но он боялся, как бы не открылись куда более серьезные дела.

Несмотря на внешнее хладнокровие, он был наделен проклятым воображением, которое, однажды поддавшись панике, потом, как публичная девка, позволяло овладевать собой каждой мысли об опасности. Вернулись прежние страхи. Уоллис обожал свою шуструю дочурку, и когда он смотрел, как она резвится, его светлоголубые глаза заволакивались слезами. Перспектива расстаться с семьей и сесть в тюрьму вызывала у него почти физическую боль. Поэтому он перешел через границу в Канаде и вступил в батальон «Черной стражи» * — жест, значение которого поняла только его жена.

Вики разрывалась между отчаянием и гордостью. Некоторое время она и ее мать прожили в полном одиночестве среди Шредеров, Дитерлей и Вагнеров, населяющих Парамус-авеню. Впрочем, вскоре дружба с ними наладилась снова, но теперь Вики почти все время проводила с девочками из школы на Фармен-авеню.

Она безмерно восхищалась ими. Эти девочки были настолько красивее ее, что она была им благодарна уже за то, что они допускали ее в свое общество. Все же в душе Вики чувствовала себя одинокой и жалкой и вскоре опять стала водиться с мальчишками, пока постепенно, тайно поражаясь этому, не убедилась, что с каждым днем становится именно такой, какой ей хотелось быть, — словно кто-то мимоходом дотронулся волшебной палочкой до ее клетчатого берета.

Она вернулась к девочкам, безмолвно заклиная их заметить то новое, что появилось в ней, но для них она попрежнему была девчонкой с узкими прямыми плечами и гибкой мальчишеской походкой. Тем не менее Вики вдруг воспылала любовью к куклам и к соседским малышам и стала выпрашивать у матери сестренку или братишку — потом, когда отец вернется с войны; но отец погиб при Вайми-Ридже, и Вики долго не помнила себя от горя.

Способная к учению, она поступила в среднюю школу Стюбен годом раньше своих сверстниц. Однако заводить новых друзей ей было некогда.

---

* Название нескольких батальонов шотландских горцев.

После уроков приходилось торопиться домой: теперь на ее плечи легли почти все заботы по хозяйству, так как мать, всегда бледная, с непроницаемо спокойным лицом, поступила в магазин продавщицей. Но, несмотря ни на что, мальчики, по непонятной для Вики причине, были очень внимательны к ней.

Мать после долгих колебаний решила наконец, что разумнее всего для Вики будет поступить в школу ремесел в Милуоки и приобрести полезную профессию. Вики и в этой большой школе сохранила ту же невинную способность доводить мальчиков определенного типа до мучительного отчаяния. Мальчики, которых привлекала Вики, не были ни членами спортивных команд, ни лучшими танцорами, зато они шли первыми по самым трудным предметам и умели разговаривать о серьезном.

Но в тот период своей жизни Вики меньше всего интересовало серьезное, и в ней подымался смутный протест против мальчиков, которые глядели на нее виноватыми глазами: она словно угадывала в них свое будущее, которого всеми силами старалась избежать. Мир Парамусавеню разлетелся вдребезги, а к реальной жизни, простиравшейся за пределами этого мирка, Вики еще не была готова. Поэтому она искала более веселых мирков, где бы все были молоды и, подобно ей, ненавидели серую скучную жестокость, подстерегавшую их снаружи. Она шагала по жизни стройная, прямая и одинокая, одурманенная мечтой, которая меньше всего соответствовала ее внутренней сущности.

Мать ее умерла во время эпидемии инфлюэнцы в 1923 году. Вики в это время было семнадцать лет и она уже поступила на работу. Соседка, миссис Шредер, взяла на себя продажу дома и написала кливлендским Синклерам и уикершемским Уоллисам. Быстрее всех откликнулся Нортон Уоллис; письма его, проникнутые нежностью уставшего от одиночества человека, пришли как раз во-время: Вики испытывала такую тоску, какая ей еще не встречалась ни в одной книге и ни в одной кинокартине. Привязанность незнакомого старика обещала ей возможность заново начать жизнь в новом мире, где все ее утраты будут забыты, где ее недостатки никто не станет замечать, ибо, когда она выйдет из вагона, она непременно будет элегантной, спокойной, а главное — ослепительно красивой.

2

Дэви,-тщательно умытый и выскобленный, ждал на вокзале поезда. Ясное утро сменилось проливным дождем, который только что прекратился. Под желтым клеенчатым топорщившимся плащом на Дэви была свежевыглаженная куртка в черную с красным клетку, распахнутая на груди, и широкие темносиние брюки, собственно даже не брюки, а матросские штаны. Голова его была непокрыта, а после езды в машине старательно приглаженные волосы опять разлохматились. Длинное слегка скуластое лицо казалось незаурядным только потому, что чувствовалось, как оно может преображаться, но одеждой Дэви нисколько не отличался от любого другого студента в университете.

Он не отличался бы от других студентов в университетском городке, но здесь, среди студентов, ожидавших поезда, бедность его костюма бросалась в глаза. Сегодня должен был состояться «последний бал», ежегодно устраиваемый четырьмя самыми фешенебельными студенческими братствами, и не меньше сорока молодых людей в своих лучших дневных костюмах толпились группами на вокзале, ожидая того же поезда. Одни из них нервничали, другие держались уверенно, а третьи ожидали приезда своих подруг с явно скучающим видом. Все были

в макинтошах, и в каждой группе тайком переходили из рук в руки флажки.

Поезд из Милуоки, исполосованный косыми струями дождя, прибыл минута в минуту. Девушки посыпались из вагонов толпами, выжидательно оглядываясь по сторонам, и казалось, будто платформу затопил поток ярких цветов.

Дэви беспомощно смотрел, как студенты находят своих девушек в цветисто-пестрой сутолоке и расходятся парами: он несет ее чемоданчик, а она оживленно щебечет или машет рукой подружке, которую уводят в другую сторону. Глядя поверх голов, Дэви разыскивал глазами девушку, оставшуюся в одиночестве, но стоило ему завидеть такую, как она с облегчением улыбалась, устремляясь навстречу студенту, который проталкивался к ней сквозь толчею.

Толпа девушек становилась все меньше и меньше, как хризантема, с которой опадают лепестки, пока не остается один стебель. Наконец Дэви увидел девушку, к которой никто не подошел: она стояла между двумя чемоданами, словно прикованными к ее щиколоткам, стройная, прямая и одинокая. Девушка была в зеленом костюме — жакет она небрежно перебросила через руку вместе с плащом, а в другой руке медленно вертела шляпку. У девушки была очень белая кожа, короткие каштановые волосы, развевавшиеся по ветру, овальное лицо, тонкий носик и темные вопрошающие глаза. Она растерялась в суматохе, но по легкой грусти, окружавшей ее, как ореол, Дэви догадался, что сейчас перед ее глазами развертывается совсем неизвестная ей жизнь.

Потом, то ли стали невесомыми цепи, которые, казалось, приковывали ее ноги к чемоданам, то ли девушка вообще обладала способностью без труда освобождаться от всего, что ей хоть сколько-нибудь мешало, но она вдруг легко шагнула вперед. Когда девушка наконец заметила подходившего Дэви, грусть исчезла с ее лица и взгляд ее стал сдержанно серьезным.

— Скажите, вы не Виктория Уоллис?

— Да, — не сразу ответила она.

— Я — Дэвид Мэллори. Ваш дедушка просил меня встретить и привезти к нему. Это ваши вещи?

Девушка быстро вскинула на него глаза, в которых мелькнула тревога и настороженность.

— Он нездоров?

— Совершенно здоров. — Дэви заколебался, почуяв в девушке способность сквозь все уловки видеть правду. — Просто он занят в мастерской.

Ее «а-а» прозвучало очень тихо; она взглянула в сторону зала ожидания, словно все еще надеялась увидеть почтенного старого джентльмена, спешащего ей навстречу с протянутыми руками, ласковыми приветствиями и извинениями. Очевидно девушка понятия не имела о том, что за человек ее дед, и она казалась Дэви тем более беззащитной, потому что была наделена быстрой проницательностью.

— Такая же у него работа, — пояснил Дэви. — Это ведь не просто ради заработка.

Она снова обернулась к нему:

— Вы у него служите?

— Нет, я кончаю инженерный факультет. Но мы бываем у него каждый день.

— Мы? — спросила она с мимолетным любопытством, которое тотчас же угасло: Дэви нисколько не интересовал ее. Вики опять взглянула в сторону зала ожидания.

— Мой брат, сестра и я. Ваш дедушка сделал нам столько добра,

когда мы были детьми и убежали с фермы. Знаете что, давайте поедем. Можно проехать по университетскому городку. Хотите?

— Мне все равно.

Маленькая тоненькая нарядная девушка с ярко накрашенным ртом и острыми черными глазками вприпрыжку подбежала к Вики и сунула ей в руки небольшой чемоданчик. Бусы и браслеты позвякивали при каждом ее движении.

— Держите, — захлебываясь, проговорила девушка, — это, верно, ваш. Я нечаянно перепутала. Извините, ради бога! — Ее маленькая ручка стиснула запястье Вики. — Слушайте, вы такая душенька! Что бы я без вас делала! Обо мне не беспокойтесь. Все очень хорошо. Он обещал, понимаете.

— Очень рада, — спокойно сказала Вики. Она глядела на девушку сочувственно и приветливо, но Дэви подметил мелькнувшую в ее глазах грусть, как будто Вики смотрела из полумрака театральной галерки на представление, вызывавшее в ней тоску по неизведанным чувствам, хотя в то же время ее забавляли эти бутафорские страсти.—Спасибо за чемодан, — добавила она. — Мне было бы жаль его потерять. Там вещи моей покойной матери.

Маленькая девушка еще раз сверкнула алой улыбкой и засеменила на высоких каблучках к юноше, который, стоя поодаль, неловко переминался с ноги на ногу.

Вики посмотрела ей вслед, и снова легкая грусть затуманила ее лицо. И внезапно Дэви отчетливо представил себе, какая она, эта девушка. Ее будто озарил невероятно яркий свет контраста с мелкой женской сущностью ее собеседницы, озарил и просветил насквозь. И взор Дэви глубоко проник в душу, исполненную печальной романтичности, которая уживалась с иронией над собственными грезами. Дэви видел так же ясно изнутри, как и снаружи, эту высокую спокойную девушку, с узкими запястьями без всяких побрякушек и легкой статью мальчика, приготовившегося к уроку фехтования.

— Мы сидели рядом в поезде, и она думала, что я тоже еду на бал, — сказала Вики, не отрывая взгляда от маленькой девушки. — У нее и сомнения не было на этот счет. Она боялась, что ее кавалер сегодня напьется. По ее словам, он ей даже не очень нравится, просто она и думать не может о том, чтобы пропустить бал. Это и вправду так замечательно?

— Не знаю. Никогда не бывал на балах.

— Неужели? — Вики взглянула на него с внезапным любопытством. — Ну вот, а эта девушка считает, что лучше ничего на свете нет, и когда я сказала, что еду не на танцы, что я не студентка и никогда не училась в колледже, ей сразу захотелось пить, и она убежала. Но она не догадывалась об этом, пока я сама не сказала, — добавила Вики, как бы удивляясь про себя тому, что внешность ее оказалась настолько обманчивой. — Должно быть, она не очень-то умна, — сказала Вики и тихонько рассмеялась, не над девушкой, а над собой.

Но прежде чем Дэви успел сказать что-нибудь, что положило бы начало задушевному разговору, Вики подхватила один чемодан, оставив ему другой; заметив, как согнулись под тяжестью ее хрупкие плечи, Дэви вдруг снова увидел в ней только слабую, беззащитную девушку.

— Куда идти? — спросила Вики.

Дэви шагал рядом, украдкой рассматривая ее. Он жалел, что не успел схватить оба чемодана и доказать ей, что тяжесть, которую она так мужественно несла, для него сущий пустяк. Ему стало не по себе, ибо он угадывал ранимость и скрытое страдание в непринужденной грации ее движений, в гордой посадке кудрявой головы, в открытом

взгляде ее темных глаз. Дэви шел рядом с ней, плечом касаясь ее плеча, но им овладело безнадежное ощущение, что она, едва успев войти в его жизнь, уже прошла мимо, даже не оглянувшись.

Спортивный «додж», собранный из сотни разрозненных частей, стоял у тротуара, сияя свежей краской, и издали казался даже элегантным благодаря желтым ободьям колес. Но Дэви, привязывая чемоданы к багажнику, болезненно сознавал никудышность машины и почти злился за это на девушку. Она ступила на подножку; ее короткие локоны трепетали на ветру, а юбка лениво билась о колени. Дэви отвел глаза — слишком уж хороша была Вики в эту минуту.

— Да, — кисло протянул он, включая мотор, — «канингхэм» — вот это машина. Вы когда-нибудь ездили на «канингхэме»?

— Это он и есть?

Дэви повернулся и пристально поглядел на нее.

— Вы что, смеетесь надо мной?

— И не думаю,— сказала Вики, удивленная тем, что ее заподозрили в неискренности. — Я ничего не понимаю в машинах. И, по-моему, это замечательный автомобиль. Разве нет?

— Нет, — отрезал Дэви. — Впрочем, тут сойдет и такой, ведь, должно быть, наш городишко кажется ничтожным по сравнению с тем, откуда вы приехали. — Он опять взглянул на нее краешком глаза. — А вы не разыгрываете меня насчет машины?

— Да нет же, — спокойно ответила Вики; но это подтверждение обошлось ему дорогой ценой — ее внимание отвлеклось, а это было для него так же ощутимо, как если бы она убрала свою руку из его руки.

Он повел машину по Арлингтон-авеню, чтобы все увидели его с этой девушкой. Всякий раз, когда он переключал скорость, его плечо легонько прикасалось к ней. Это получалось нечаянно, но Дэви остро чувствовал каждое прикосновение. А Вики, казалось, вовсе не думала о сидящем рядом с ней юноше.

— Этот бал будет где-то здесь? — спросила она.

— А вам, видно, очень хочется пойти?

— Не знаю. Дело не в танцах, а скорее в том, что с этим связано.

Дэви покачал головой:

— Я давно уже старался представить себе, какая вы, — сказал он. — Изысканная барышня или деловая особа, а может, ни то, ни другое. Я думал об этом с тех пор, как узнал, что вы приедете.

Вики удивленно повернула к нему лицо:

— Вы обо мне думали?

— А почему бы нет?

— Ну, не знаю почему, — призналась она, подумав. — Вам рассказывал обо мне дедушка?

— А разве обязательно, чтобы кто-то рассказывал?

— Но ведь вы меня совсем не знали.

— Вы же писали письма.

Вики придержала развевавшиеся у висков кудряшки.

— А вы их читали?

— Да, — сознался Дэви. — Он мне показывал, не все, но некоторые. А что, мне нельзя было их читать?

— Не в этом дело, — медленно сказала Вики. — Я писала только ему, вот и все. И его письма значили для меня очень много. Вы... вы их тоже читали?

— О нет! — с жаром сказал Дэви, искренне радуясь, что ему не приходится кривить душой: он понимал, что этой девушке нужно говорить только правду.

— Это были чудесные письма, — продолжала она, словно и не слыша его ответа. — Он будто знал, что именно мне нужно написать.

— Должен вам сказать, что в нем живут как бы два разных человека. Один не нуждается ни в ком и ни в чем. Другой, как мне кажется, очень одинок, и именно этот другой человек подобрал в свое время нас, детишек, и писал вам письма. Но никогда нельзя знать наперед, какой человек возьмет в нем сегодня верх.

— Вы хотите сказать, что сегодня неудачный день и поэтому он меня не встретил? — спросила Вики.

— Не совсем. — Дэви, снова отметив про себя ее проницательность, постарался смягчить ответ. — Он действительно занят. Разве вам никогда не приходилось встречаться с изобретателями?

— Нет. — Она улыбнулась нелепости этого вопроса. — Никогда. А вы — изобретатель?

— Я? — спросил Дэви с неискренним удивлением, но втайне польщенный. — С чего вы взяли?

— Вы как-то особенно произнесли это слово.

— Может, потому что, по правде говоря, я хотел бы стать изобретателем, — признался Дэви. — Мы с братом давно уже решили кем быть, когда станем взрослыми. Даже не помню, с чего это началось. Наверное с чтения — мы читали все, что попадалось под руку. Помню, как мы вычитали, что здесь когда-то были сплошные ледники, а потом узнали, что каждые пятьдесят тысяч лет наступает ледниковый период...

— Неужели это правда? — На этот раз Вики действительно взглянула прямо на него.

— Так было в прошлом — ледниковый период наступал каждые пятьдесят тысяч лет, — и, повидимому, так будет всегда. Это происходит благодаря смещению земной оси, и мы решили, что первым нашим великим изобретением будет способ удержать ось на месте.

Дэви чувствовал на себе взгляд ее широко открытых глаз, но не знал, поражена ли она тем, что когда-то двое мальчишек вознамерились изменить мир, или просто считает, что он шутит над нею.

— Конечно, это звучит смешно, — сказал Дэви. — Но мы в самом деле ломали над этим голову. Даже придумали, как собрать деньги, заставив каждую страну внести свою долю...

— Ну и что же?

— Ну и ничего. Следующий ледниковый период придет своим чередом, а мы больше не занимались этим, потому что в то время задумали удрать из дому.

— С той фермы? — По тому, как Вики посмотрела на него, будто видя его впервые, Дэви почувствовал, что для нее мысль о побеге из дому так же непостижима, как и очередное наступление ледникового периода. Она колебалась, борясь с желанием задать прямой вопрос. Но когда она все-таки его задала, Дэви понял — девушка смотрела на него, не видя. — А как же ваши родители?

— У нас не было родителей. Мы убежали от дяди.

— И вам не было страшно?

— Видите ли, на этой ферме мы не оставили ничего хорошего.

— Понятно, — кивнула Вики и снова отвернулась, глядя на магазины. — И вам никогда не приходилось жалеть об этом?

— Жалеть? — удивленно переспросил Дэви. — О чем же нам жалеть? Мы добились всего, чего хотели.

— Да, ведь вы учились в университете, — согласилась она.

— Ну да, и это тоже. А вы в детстве мечтали стать кем-нибудь?

— Нет, — задумчиво сказала она. — Ни о чем определенном не меч-

тала. О, конечно, мне казалось, что со мной непременно произойдет что-то необыкновенное...

— В каком роде? — допытывался Дэви. И словно рука, опустившаяся на ее плечо, голос Дэви заставил ее обернуться и взглянуть ему в лицо. Но в свой внутренний мир она все-таки его не впустила.

— Даже не знаю точно. Я много читала. Воображала себя героиней каждой книги. Что случалось с ними, то случалось и со мной. — Вики опять отвела взгляд в сторону. — Это все — студенческие общежития?

— Да, — ответил Дэви. Он вел машину по Фратернити-роуд очень медленно, чтобы со стороны казалось, будто они с девушкой увлечены разговором. — Но разве вы не представляли себе, чем вы хотите быть?

Вики покачала головой.

— Я была всем, чем мне хотелось, — сказала она не сразу. — И мне казалось, что я так всегда и буду жить на Парамус-авеню, в доме номер 654, играть все в те же игры и читать те же книги всю свою жизнь. И в этой жизни никогда не было войны, никто не слышал об эпидемиях инфлюэнцы, а родители никогда не умирали, — разве только в книгах.

Когда-то Вики мечтала о златокудром юноше, который подведет ее к собравшимся в круг юношам и девушкам, всегда вызывавшим у нее восхищение. Их объединял таинственный заговор, паролем у них служили напеваемые без слов мотивы песенок и фразы из анекдотов, их улыбки предназначались только друг для друга, а к непосвященным, неуклюжим и робким чужакам они относились с холодным презрением. Вики смотрела на них, как завороженная, с жадной тоской. Юноша, которого она ждала, проведет ее в самый центр волшебного круга. Она взглянула на Дэвида Мэллори, сидевшего за рулем рядом с нею. Увидев его на вокзале, она в первую же секунду убедилась, что он принадлежит к совсем иному типу молодых людей, и ей захотелось убежать, прежде чем он успеет заявить на нее какие-либо права. Но она осталась на месте и ускользнула от него другим способом. Она отгородила его от себя, а себя от него холодным безразличием, которое в случае его настойчивости могло превратиться в гнев.

Вики глядела на старинные особняки — каждый был украшен гербом или щитом с греческими буквами. Если она когда-либо лелеяла в своем воображении образ человека, которого могла бы полюбить, то он должен был жить именно на такой улице. Но в эту минуту, проезжая по главной улице своих грез, она почему-то чувствовала себя бесконечно несчастной, и уже ни о чем не могла думать. Точно Золушка, которая поехала на бал и вдруг обнаружила, что фея-крестная попросту посмеялась над нею и направила по длинной петлящей дороге, приведшей к двери все той же кухни.

Миновав запущенные особняки, они поехали по улице, где было много магазинов и где кишели толпы студентов, потом свернули на аллею, обсаженную старыми ивами. Теперь они подымались на длинный отлогий холм с лужайками по обе стороны дороги; здесь дорога кончалась. Даже в такой непогожий день на траве виднелись пары; их желтые дождевики казались гигантскими лютиками на зеленом фоне травы.

— Вон в том здании помещается инженерный факультет, ближе к нему подъехать нельзя, — сказал Дэви, выходя из машины. Мне придется оставить вас на минутку — надо узнать, есть ли свободная комната для экзамена. Ничего, что вам придется подождать?

— О, ради бога, — еле заметно улыбнулась Вики.

Дэви облокотился на дверцу машины, в его глубоких глазах мелькнуло сочувствие.

— Не беспокойтесь, вам будет здесь хорошо. У меня бездна работы, но если я могу быть хоть чем-то полезен, я забегу вечером ненадолго. Вы думали о вашем дедушке, правда?

— Отчасти, — сказала она.

— Только отчасти?

— Да, только.

— А о чем же в основном?

— В основном? — повторила она и на секунду задумалась. — В основном, кажется, я старалась припомнить, о чем же я когда-то мечтала. Примерно так.

Однако, хоть ей и казалось невозможным свести туманные мечты к одной яркой точке, которая выражала бы их сущность, для Дэви это было бы легко. Ибо если бы в тот момент, пока Дэви стоял на подножке машины, Вики, глядя вниз, на озеро, рассказала бы ему, пусть даже в самых общих и уклончивых выражениях, о своей смутной, меняющей оттенки и формы мечте, он все равно узнал бы в ней хорошо знакомый образ и, скрывая боль за бесстрастным выражением лица, совсем просто сказал бы:

— Вы говорите о моем брате, Кене.

3

Сосредоточенно насупив брови, Кен работал в гараже среди едкого голубого дыма, под завывание мотора грузовой машины. Рылоподобный капот большого «мака» был задран вверх, и весь грузовик напоминал дракона с разинутой пастью, который как бы кричал застывшим в дремоте машинам-калекам, что нет смерти для тех, кто не хочет умирать. Сидя в кабине грузовика — в мозгу дракона — Кен убрал ногу с педали. Завывание перешло в невнятный ропот, потом в виноватое покашливание, но Кен снова дал газ, и мотор издал самый вульгарный ослиный рев. Кен, подобно королевскому врачу, прислушивался к реву высочайшей особы с чисто профессиональным интересом — вот опять заело впускной клапан, а Кен уже минут десять возился, стараясь его наладить.

Кен сидел неподвижно, напряженно глядел прямо перед собой и, казалось, забыл обо всем на свете. Его тонкие светлые волосы свесились на лоб двумя гладкими крылышками, доходившими до уголков глаз. Вдруг он резко откинул голову, волосы отлетели назад, и от этого лицо его сразу стало ясным, юным и вдохновенным. На самом же деле он просто насторожился, напрягая все чувства, кроме зрения. Уши его пытались уловить недостающий стук, нога сквозь толстую подошву ощущала паузу между подачей и искрой, ноздри обоняли запах невоспламененного бензина, а в дрожи, сотрясавшей машину, он различал синкопированную неровность: вместо четырех — три биения и пауза.

Чуткие пальцы Кена уже знали на ощупь разные части механизма; мотор представлялся ему как бы близким другом, просившим помощи, и он непременно поможет ему справиться с бедой. Ржавый блок цилиндров был словно прозрачной оболочкой, сквозь которую Кен видел происходящую внутри четкую работу. Кен умел и любил работать руками; в этом смысле его одинаково увлекали мотор грузовика или сложнейший прибор для научного исследования. Быть инженером для Кена означало — сооружать. Пусть теоретики вроде Дэви занимаются всякими догмами и доктринами науки, Кена интересовало лишь то, что можно подержать в руках: только осязаемые результаты научного труда имели для него смысл. В такой работе, слава богу, не было соперничества, ничто не заставляло Кена в тысячный раз доказывать, что он — самый

ловкий, самый проворный и самый сильный, и не приходилось лезть вон из кожи, чтобы выполнять опрометчивые обещания, срывавшиеся с его языка прежде, чем благоразумие успевало сомкнуть ему рот.

Только среди людей он становился пленником своего слова, и каждый раз, когда это случалось, он переживал тайные муки, скрывая их под внешним спокойствием.

В таких случаях бывало похоже, будто он, спасаясь от преследования, бежит вверх по лестнице в высокой башне, останавливается на каждой площадке, чтобы захлопнуть и запереть за собою дверь, а, добежав до верха, неизменно оказывается в ловушке, и уже ничего не остается, как промчаться через верхнюю комнату башни к балкону, прокричать оттуда последние вызывающие слова и броситься вниз, не зная, упадет ли он на копну сена или на груду камней.

Однако Кен всегда бывал вознагражден за пережитые мучения. Когда, пробыв под водой намного дольше других мальчишек, он выныривал на поверхность пруда, восхищение в глазах окружающих действовало на его готовое выпрыгнуть из груди сердце как успокаивающее лекарство. Когда, играя в бейсбол, Кен в последнем пробеге тяжелой битой отбивал мяч, он сознавал, что Дэви и другие игроки команды всецело полагаются на него. Он был тем, от кого ждали чуда; и за это доверие, за эту сердечность Кен в подобные моменты так любил своих товарищей, что готов был умереть ради них.

В бейсбол удавалось играть редко, плавать — тоже редко, ибо на ферме у мальчиков было по горло работы, но, что бы ни делал Кен, во всем участвовал Дэви, его неизменный спутник и компаньон. Так хотелось Дэви, да и Кену было спокойнее, когда он знал, что малыш где-то рядом, что он тащится за ним по пятам, подгоняя его и подбадривая напоминаниями о свершенных прежде чудесах. — Давай, давай, Кен! — и Кену дышалось легче под этот пронзительный крик, в котором звучала несокрушимая вера в него.

Человек, пользующийся всеобщей любовью, как Кен, должен очень любить людей, но Кен никогда не задумывался над тем, за что, собственно, его любят, — он принимал это как должное. Впрочем, часто он не знал, как избавиться от прилипчивого внимания людей, принявших простую вежливость за проявление особой симпатии. Так бывало с очередной девушкой, которая неизбежно становилась для Кена обузой, или с парнем, навязывающим свою ненужную дружбу, ибо Кен не нуждался ни в каких друзьях, кроме Марго и Дэви. Остальные были нужны ему лишь для развлечения, и только от него зависело прекратить любое развлечение, когда оно теряло в его глазах интерес.

Когда Кена чересчур одолевали люди, он бросался к любимой работе, к ее освежающему бесстрастию и с головой погружался в прохладные глубины, где царило мирное спокойствие. Но потом наступал момент, когда Кеном овладевало беспокойство; тогда он бросал инструменты, шел на пляж и, отирая брызги с лица, выжидательно улыбался навстречу юношам и девушкам, стараясь определить, кто приветствует его громче и радостнее других, ибо тот, кто больше всех ему радовался, мог заполучить его — на время, конечно.

Ощутив еле уловимое изменение в ритмичном постукивании мотора, Кен облегченно вздохнул: наконец заработал и четвертый цилиндр. Он как раз собирался выключить зажигание, когда Дэви въехал в гараж. Дэви всегда ездил очень быстро, когда бывал один; легкая низкая машина молниеносно описала узкий полукруг по булыжной мостовой и, аккуратно вкатившись в открытые двери, остановилась в нескольких футах от грузовика.

Не поворачивая головы, Кен спросил:
— Ну, и что она собой представляет?
— Кто?
Кен пристально взглянул на брата сверху вниз.
— Уоллисовская внучка.
— Да так, [redacted] себе, — небрежно бросил Дэви.
Кен отвернул[redacted]ва принявшись за работу.
— Хорошеньк[redacted]
— Она почти [redacted]ренок. Слушай, Кен, тебе еще много осталось? К вечеру кончишь?
— Какой черт к вечеру! Я уже кончил. — Кен выключил зажигание и ловко спрыгнул вниз. — Я привел в порядок «бьюик», андерсоновский «гудзон» и вот это.
— Не может быть!
— Вот, представь себе! — засмеялся Кен. — Дело в том, что вечером у меня свиданье с Алисой.
— С Алисой? Я думал, у тебя с ней все кончено. А как же завтрашний экзамен?
— А что? Если мы знаем недостаточно, чтобы выдержать хоть сейчас, значит нам уж ничто не поможет. Да ведь ты и не собирался заниматься.
— Именно собирался.
— Ты же говорил, что будешь возиться со своим радио до полодиннадцатого.
— Я думал, ты раньше не кончишь работу.
— Да не все ли равно? Я поскорее отделаюсь от Алисы и к этому времени буду дома.
— Так я тебе и поверил! Ей-богу, ты ведешь себя, как набитый дурак. Ты же знаешь, что от этого экзамена зависит не только получение степени, а в сто раз более важные вещи. Да разве у тебя есть сейчас время бегать на свиданья?
— Времени, может, и нет, но куда мне девать свою энергию? Все утро я протирал штаны в библиотеке и случайно откопал новое решение теоремы Пойнтинга. А что касается Алисы, так это я из-за тебя должен тратить на нее время. Ты ушел — и некому было подойти к телефону.
— Нечего сваливать на меня! Каждый раз, когда ты бросаешь девушку, она пристает ко мне, чтобы я вернул ей тебя. Как-нибудь сам справляйся со своими красотками, я же не навязываю тебе своих. Позвони ей и скажи, что будешь занят.
— Нет, — упрямо сказал Кен. — Чего ради? Из-за экзамена? Он пролетит, как дым, — мы и не заметим. Вот что я добыл тебе в подарок. — Кен вытащил из кармана два посеребренных стеклянных баллончика и протянул Дэви. — Лампы с экранирующей сеткой. Одна для работы, другая про запас. Работают, как черти. Я сегодня читал их описание.
Дэви поглядел на блестящие электронные лампы, наслаждаясь ощущением шелковистой поверхности стекла, согревавшегося в его ладони.
— А ну тебя, делай, что хочешь. Только я считаю, что именно в нынешний вечер...
Кен схватил Дэви за плечо, скрывая за шуткой досаду.
— Слушай, — сказал он, глядя Дэви в лицо. — Я твой старший брат или нет?
— Ну?
— А кто должен подавать пример, старший брат или младший?
— Если ты называешь это...
— Подавать пример должен старший брат, — твердо сказал Кен. — А что ты сказал, когда уезжал встречать уоллисовскую внучку?

— Я сказал...

— Ты сказал: «Вернусь через двадцать минут». Двадцать минут?! А прошлялся два часа.

— Я...

— Два часа. И что же, разве я устроил тебе [redacted]хлобучку? Разве я допытывался, где тебя носило? Разве я сказал х[redacted]во про завтрашний экзамен? Сказал я хоть одно слово? Нет, [redacted]ошении твоих дел я вел себя, что называется, с деликатной сдерж[redacted]тью. Я только позволил себе спросить, хорошенькая ли она. Вот [redacted]кой пример я подал тебе, как старший брат. Теперь изволь поступать так же по отношению ко мне. И еще вот что. Вечером мне понадобятся эти брюки, так ты их сними, пусть пока отвисятся. Ну, марш отсюда.

— Иди к черту, — сказал Дэви, невольно улыбаясь.

4

Беспечная уверенность Кена в том, что все обойдется благополучно, перестала действовать на Дэви, как только Кен, поужинав, вывел машину из гаража. Дэви прислушался к затихающему вдали шуму мотора. Кен уехал, и Дэви остался наедине со своими мрачными предчувствиями, и только преданность старшему брату мешала ему признаться себе, что он просто возмущен поведением Кена.

Марго не пришла домой к ужину, наверное задержалась в магазине. Она-то ни за что не позволила бы Кену уехать. «Черт возьми, — подумал Дэви, — она хорошо понимает значение этого экзамена». Со следующей недели они начнут добывать деньги для своей работы — по плану Дэви они пойдут прямо в банк и попросят финансовой поддержки. И если экзамен сойдет благополучно, то Дэви и Кен явятся туда уже не как мальчишки из местного гаража, одержимые сумасшедшей идеей, а как инженеры с университетским образованием, с ученой степенью, доказывающей, что они знают, о чем говорят. С этой точки зрения завтрашние экзамены означают деньги, ту сумму денег, от которой зависит все их будущее. То, что Кен стремглав помчался к девчонке, нельзя даже объяснить как жест азартного игрока. Насколько Дэви знал, в данном случае игра не стоила свеч и никак не могла возместить Кену возможные потери. Игрок, по крайней мере, хоть учитывает свои шансы.

— К черту, — вдруг вспылил Дэви, — я действительно зол на Кена — вот и все. Он не должен был уходить. И, по всей вероятности, вернется бог знает когда.

Признавшись самому себе, что он сердится на Кена, Дэви почувствовал некоторое облегчение, ибо теперь мог перенести злость на себя за то, что он никогда не отчитывал Кена, как делала это Марго. Кен вовсе не нуждается в его покровительстве. Когда он бывает прав, он по-настоящему прав, но, боже мой, иногда он бывает чудовищно неправ, и тогда надо ему говорить об этом прямо. Дэви решил дождаться Кена, когда бы тот ни вернулся, и повторить вместе с ним весь материал, пусть даже им придется сидеть всю ночь.

Он достал конспекты, но в глазах его стояли две блестящие лампы, принесенные Кеном. Дэви рывком выдвинул ящик, в нем тихонько звякнули два маленьких шарика. Он взял в руки один из них, хрупкий, как скорлупка, и стал рассматривать его — но это был лишь предлог, чтобы дотронуться до стекла. Дэви лениво боролся с всегдашним искушением раздавить стекло, чтобы увидеть — глазами увидеть внутренность лампы и оценить изобретательность ее конструкции. Это вовсе не было

бессмысленным варварством, скорее тягой заглянуть в другой мир, который так хорошо рисовало ему воображение.

Стекло резко звякнуло о край стола; Дэви аккуратно смахнул осколки и впился глазами в тоненький штифт из проволоки и металла, снова и снова поворачивая в пальцах цоколь. Потом он взял другую лампу и вставил ее в пустую ламповую панель испытуемой электронной схемы.

Радиолампа тускло поблескивала в полутьме, похожая на елочный серебряный шарик. На ее стеклянной поверхности дрожал слабый блик — отсвет единственной электрической лампочки, находившейся на расстоянии нескольких футов. Дэви уселся под светом, полуотвернувшись от электронной лампы; однако он мысленно видел на несколько метров перед собой, а его пальцы, знающие каждую кнопку управления на распределительной доске, осторожно зондировали крошечную вселенную, атмосфера которой была разрежена, как в межзвездном пространстве.

Он повернул маленький переключатель, и серебряный шарик загорелся вишневым огоньком — в самом его центре короткий прямой проволочный волосок накалился от тока. Но Дэви чутьем угадывал многое другое. Он представлял себе, как от накаленной поверхности хрупкой проволочки исходит невидимый поток электронов, образуя мельчайший электрический туман. Возле волоска туман сгущался, потому что поток окружала электрическая стена. Для электронов эта стена была непроницаемо плотной, хотя человеческий глаз различил бы только крохотный цилиндрик из тончайшей металлической ткани. Эта сетка действовала, подобно крохотной плотине с электрическими шлюзами, которые открывались и закрывались миллион раз в секунду, пропуская потоки электронов, так что постоянный ток, который сначала давал волосок, сейчас пульсировал с такой же скоростью, с какой открывались и закрывались шлюзы.

В любой электронной лампе не происходит ничего, кроме такого быстро изменяющегося пролета электронов сквозь сетку. Но Дэви все это казалось похожим на непрерывный процесс, какой происходит со сталью, когда расплавленным потоком она выливается из мартеновской печи в изложницу, а потом стальная болванка попадает под многотонный молот, проходит между дымящимися зубцами фрезера, затем обрабатывается, формуется, режется и, наконец, попадает в зажимный патрон токарного станка для окончательной обработки. Все, что эти массивные машины делали с металлом, одна маленькая электронная лампа делала с электричеством. По мнению Дэви, благодаря существованию электронной лампы природное электричество приобрело податливость и стало играть роль посредника для бесконечной творческой деятельности человека. Уразумев функцию электронной лампы, Дэви с первого же момента был потрясен и захвачен ее возможностями; так человек, которому много лет не дают покоя гармония и пронзительная красота мимолетных звуков окружающего мира, вдруг обнаруживает, что существует такая вещь, как музыка.

К этой невидимой силе, которой Дэви мог управлять по своему желанию, он испытывал безмолвную страсть, пылкую и всепоглощающую, и поэтому любая обыденная работа превращалась для него в научный опыт, заставлявший забывать обо всем на свете.

Дэви был так увлечен, что не услышал стука в дверь, пока он не повторился.

На пороге стояла Вики; голова ее была непокрыта, руки засунуты в карманы, прямые плечи приподняты. Дэви встретил ее взгляд, пытливый и грустный; девушка как бы желала убедиться, что он — тот самый

человек, которого она видела днем. Но Дэви почувствовал в ее взгляде и нечто другое. Ему трудно было определить сразу, что именно, но это вселило в него смутное беспокойство.

— Вы, должно быть, забыли, что обещали зайти, — сказала Вики.

Дэви в глубоком смятении приоткрыл рот: он действительно забыл об этом и, хуже того, только сейчас понял, что днем, обещая ей зайти, он забыл о завтрашнем экзамене. А между тем он весь вечер про себя ругал Кена за то же самое.

— Входите, — виновато заговорил Дэви. — Я, наверное, совсем спятил. Ради бога простите. Завтра у нас выпускной экзамен.

Вики заколебалась, и ему вдруг остро захотелось протянуть к ней руки, дотронуться до нее, взять ее за плечи. Нерешительность придала ей трогательно беспомощный вид; такой Дэви еще ее не видел, и опять почувствовал, что в этой девушке есть что-то, ускользавшее от его понимания.

— Если вы заняты... — начала она.

— О, входите же, — повторил Дэви. — Я просто пробую новую лампу.

— Ну, хорошо, на одну минутку, — согласилась Вики. Она опустила глаза, проходя мимо него через узкую дверь. Дэви, стоя у порога, ощутил легкое движение воздуха, когда девушка прошла мимо, и следил за ней глазами, пока она не подошла к рабочему столу. Ее присутствие заставило Дэви впервые заметить убогое безобразие окружавшей его обстановки.

— Через секунду я кончу, — сказал он, — и буду к вашим услугам.

Вики уселась на высокую табуретку у стола, наблюдая за Дэви, но он тут же забыл о ней: им завладела электронная схема. Для Дэви каждая придуманная им схема была новой вселенной, которую создавал он сам, и во время работы он жил только в этой вселенной — будь то даже самая простая цепь вроде той, которую он сейчас испытывал.

Примолкшая Вики видела перед собой юношу с резкими чертами лица, устремившего угрюмо сосредоточенный взгляд на посеребренный стеклянный баллончик, окруженный хаосом проводов и металлических пластинок; но Дэви видел особый мир — такой, какой он представлялся электронам, послушным его воле: испещренную звездами тьму, сквозь которую они должны промчаться по насыщенной электричеством дороге, круто спускающейся вниз. Иногда это падение превращалось в хаотический водоворот, иногда — в огромный медленный вихрь, который широкими плавными дугами неуклонно увлекал электроны в самый центр потока, откуда снова начиналось движение вниз. Только когда провода отводили электроны назад к батареям, их снова выбрасывало вперед, и в недвижно застывшей жидкости аккумуляторного элемента Дэви видел парящий полет к наэлектризованным вершинам, похожий на перевернутый водопад звезд. Все помехи на пути тока устранялись, и он плавно тек обратно в электронную лампу, где сетка отметит его появление и заставит пульсировать в каком-то новом ритме.

Эта пульсация передавалась по воздуху из источника, находящегося за тысячу миль отсюда; его уловила проволока, натянутая в небе, и передала сетке. Цепь, по которой устремлялся ток, включала пару наушников, надетых на голову Дэви, и сейчас он слышал дребезжащие звуки — отрывки из «Травиаты». Но музыка сама по себе не занимала Дэви, он видел в ней лишь бурлящую поверхность потока звезд, падающих в направлении, которое он сам придумал и установил с помощью кусочков простой проволоки.

Но все время где-то в подсознании у него шевелилась неотвязная мысль о странном выражении в глазах девушки, и вдруг мир электри-

чества, мир холодной красоты и сверхчеловеческого совершенства поблек и растворился в знакомой обстановке гаража, который озарился сейчас новым, теплым и живым светом, ибо Дэви неожиданно для себя понял, что девушка, недавно переступившая этот порог, была подавлена разочарованием. Дэви откинулся назад и повернул выключатель приемника.

— Ну, как там дела? — мягко спросил он.

Вики потянулась к разбитой лампе и потрогала ее.

— Вы хотите сказать — у дедушки?

— Да.

— Мы оба чувствовали себя как-то неловко, вот и все. — Она осторожно взяла со стола осколок стекла и вдруг вскинула на Дэви глаза, молившие сказать ей правду и словно обещавшие, что впредь она никогда не попросит о такой огромной услуге. — Он в самом деле ждал меня?

— Что вы хотите сказать?

— Он даже не приготовил мне комнату. Говорит — забыл, но если он мог забыть...

— Он знает, что вы пошли сюда?

— Должно быть, знает. После ужина он сказал, что ему надо поработать. Я не знала, чем заняться, вышла на веранду и стала ждать вас. Потом пошла в мастерскую и спросила, как пройти в ваш гараж. Он даже не поинтересовался, зачем мне это. — Голос Вики упал. — Он просто объяснил мне дорогу.

Вики огляделась вокруг, точно недоумевая, как жизнь могла забросить ее в такое место. Дэви в отчаянии следил за нею взглядом.

— Но ведь вы сами сказали, — торопливо заговорил он, — что все в конце концов образуется.

— Да, сказала. Вопрос в том, верю ли я в это.

— Верьте! — настойчиво произнес Дэви. — И все будет хорошо. Я провожу вас на холм. Мы посидим на веранде — у меня есть немножко времени.

— Нет, — поспешно отказалась Вики. — Мне сейчас не хочется возвращаться туда.

— Вам не понравилось у дедушки?

— Нет, — сказала она таким тоном, будто вопиющая неуместность этого вопроса вызвала у нее лишь жалость к Дэви. — Все это так непохоже на то, чего я ждала. Я даже не знаю, как вам объяснить, что я думала тут найти.

— Наверное, своего рода семью.

— Да, конечно. — Ее темные глаза взглянули на него вызывающе. Дэви подумал, что она сейчас похожа на мальчишку, задирающего взрослого мужчину. — А что тут плохого?

— Ничего плохого. Но знаете, ведь никогда ничего не бывает так, как предполагаешь заранее. И вы оказались не такою, как я вас себе представлял.

Ей следовало спросить: — А какой вы меня представляли? — но она промолчала. Дэви заметил — каждый раз, когда он наводил разговор на то, что он о ней думает, Вики становилась безучастной и отгораживалась стеной, сквозь которую не донесся бы даже его крик.

Вики медленно покачала головой.

— Я, вероятно, утром уеду. И, собственно говоря, я пришла попрощаться с вами.

— Неправда! — вырвалось у Дэви. — Вы только что это придумали!

Вики негромко засмеялась.

— Когда я шла сюда, я еще не знала, что уеду, но теперь я твердо

знаю. — Она протянула ему руку. — Вы были очень добры ко мне. А домой я дойду одна.

Дэви сделал вид, что не замечает ее руки, словно это могло заставить ее хоть немного задержаться. У него мелькнула мысль плюнуть на подготовку к завтрашнему экзамену и, если надо, всю ночь провести с нею, бродить по пустынным улицам и говорить, говорить, чтобы голос его прошиб наконец эту стену безразличия. Но как же ее убедить, если у него нет иного довода, кроме того, что ему просто хотелось, чтобы она осталась здесь?

Дверь открылась и вошел Кен. Он увидел их, только пройдя несколько шагов. Остановившись, он взглянул на Вики, потом на Дэви. Глаза у него были такие ясные, будто в них еще отражался мерцающий свет звезд. Он еще раз посмотрел на Вики — на этот раз более внимательно, и на лице его появилась улыбка, в которой сквозило легкое любопытство.

— Здравствуйте, — сказал он с вопросительной интонацией в голосе.

— Вот хорошо, что ты пришел, Кен! Это — Виктория Уоллис.

— А! Очень рад. — Кен опять взглянул на девушку, потом, улыбаясь, повернулся к Дэви. — Ты, наверно, не ждал меня до самой ночи?

— Да, — ответил Дэви, — не ждал.

— Так я и думал. И ты меня обзывал подлым разгильдяем, лодырем, гулякой и так далее, который удрал, бросив тебя на произвол судьбы. — Кен расхохотался. — А видишь, я пришел на сорок минут раньше. — Он потер руки, изображая нетерпение. — Ну, где там наши книги и конспекты? Марго дома?

— Нет.

Кен нахмурился.

— С кем она, не знаешь?

— С какой-нибудь девушкой из магазина.

— Ты уверен, что с девушкой?

— Почем я знаю? Слушай, Кен, объясни, пожалуйста, Виктории насчет старика, убеди ее, что он иногда бывает так захвачен работой, что для него больше ничего не существует.

— Нет, прошу вас... — начала Вики.

— Тебе следовало предупредить ее, малыш, — сказал Кен. — Надо было пойти туда вместе с ней. — Кен повернулся к Вики. — Представляю себе, какое все это произвело на вас впечатление. Но уверяю вас, глупо огорчаться из-за настроений вашего деда. — Он чуть-чуть улыбнулся. — Такая девушка, как вы, — да вы здесь будете чудесно проводить время. И вы сами это знаете, не правда ли?

Вместо того чтобы, как ожидал Дэви, обидеться на этот развязный комплимент, Вики засмеялась, но ответила с горечью и, к удивлению Дэви, смущенно:

— Боюсь, что я этого не знаю.

— Вы с ума сошли! — небрежно бросил Кен. — Все наши университетские ребята будут в лепешку расшибаться ради вас. Взять хотя бы Дэви. Ведь малый собирался так усердно заниматься! — Он перевел взгляд на брата. — Ну, так как же? Ты готов? Начнем?

— Как только скажешь.

— Тогда я лучше пойду, — сказала Вики. — Я ведь зашла на минутку.

— И ни о чем не беспокойтесь, — сказал Кен, открывая перед нею дверь. Но Дэви не спешил посторониться, чтобы дать Вики пройти; ему казалось, что она уходит ни с чем.

— Я покажу ей дорогу, — сказал Дэви. — Через минуту вернусь.

— Не надо. — Вики прошла мимо Кена; ее лицо мягко вырисовывалось в полутьме.

— Но мне хочется, — настаивал Дэви. — Это же недолго.

Вики перевела взгляд с него на Кена, будто за эти несколько минут убедилась, что все зависит от старшего брата.

— Ладно. — Кен, отвернувшись, пожал плечами. — Только не задерживайся.

В холодном лунном свете Вики и Дэви шли вверх по плотно утоптанной извилистой тропинке. Половину пути оба молчали.

— Не будь у Кена так забита голова, — как бы оправдываясь, сказал Дэви, — он был бы внимательнее.

— Он намного старше вас?

— Всего на полтора года.

— Я думала, он гораздо старше.

Дэви резко обернулся к ней.

— Вы ведь не уедете, правда?

Она не ответила.

— Вы не уедете? — не отставал Дэви. — Скажите, Виктория?

Она шла рядом, слегка касаясь его локтем, и вдруг, почти не сознавая, что делает, Дэви обхватил ее плечи и повернул к себе. При свете луны ее удивленно приоткрывшийся рот казался совсем детским. Руки Дэви упали; в ладонях еще сохранилось ощущение ее тела сквозь ткань платья.

— Хоть подождите, пока мы кончим экзамены, — настаивал Дэви. — Тогда Кен, Марго и я...

— Хорошо, — сказала Вики. Она казалась немного растерянной. — В конце концов это же только первый день. Дальше не ходите. Я сама найду дорогу. Желаю вам выдержать экзамены. И не называйте меня Викторией — лучше просто Вики.

Дэви повернулся и пошел вниз по тропинке, зная, что она смотрит ему вслед. Пройдя ярдов десять, он услышал ее голос:

— И передайте брату, что я и ему желаю успеха.

Дэви быстро оглянулся, но она пошла дальше, и теперь уже Дэви стоял один в пустой темноте и глядел ей вслед.

5

В день экзамена Марго, встав утром с постели, первым делом затопила плиту; к тому времени, когда девушка была одета и совсем готова идти на работу, в залитой солнцем кухоньке уютно потрескивали и пылали разгоревшиеся дрова. Повинуясь какому-то безотчетному чувству, Марго сегодня оделась с особой тщательностью: на ней было новое шелковое белье и новое серое платье; когда она пришла в магазин, подруга-продавщица воскликнула, что у нее страшно шикарный вид.

Сегодня Марго просто изнемогала от тщетного желания хоть чем-нибудь практически помочь Кену и Дэви. Давно прошли те годы, когда она работала вместе с ними. И хотя ее обычно совсем не огорчало, что она отстала от братьев, в такие ответственные дни, как сегодня, ее мучила собственная беспомощность. Неужели же ей только и остается, что готовить им завтрак?

Наконец ее высокие каблучки простучали по стертому, но чисто вымытому линолеуму кухни и остановились у двери в комнату братьев. Марго открыла ее, не постучав; мальчики спали на раскладушках, стоявших вдоль противоположных стен узкой, выбеленной известкой комнаты. Неужели наступит такое время, когда они будут казаться ей взрослыми мужчинами, подумала Марго. В ее глазах они остались та-

кими же мальчишками, какими были на ферме,— полудикими, неспособными понять, как плохо сложилась их жизнь, и представить себе иное счастье, кроме как удрать от дяди Джорджа.

Они слушались сестру только потому, что любили ее, и любовь двух мальчиков была для нее единственной опорой. Никакое чувство, меньшее, чем любовь, не удовлетворило бы ее, не помогло бы ей преодолевать раздражение, которое в последнее время иногда вызывали в ней братья. Но будь она одна на свете, она могла бы поступать, как ей вздумается. Будь она одна, она снова стала бы девочкой в белом платьице из шелковой чесучи, в белых чулочках и туфельках и в белой соломенной шляпе с черной ленточкой. Это было одно из самых приятных воспоминаний детства: она, маленькая, прелестно одетая девочка, блаженствует на зеленом плюшевом диване пульмановского купе.

Это было также самое яркое воспоминание о родителях. Отец был высокий, румяный и черноусый, с очень ровными зубами; он улыбался Марго такой любящей улыбкой, что ей не нужно было никаких слов для подтверждения этой любви. Марго помнила, как она поглаживала пальцами собачью головку — набалдашник отцовской палки, а отец ей говорил, что скоро у нее будут новые платья, пони с тележкой, куклы и все, чего ее душа пожелает, потому что он кое-чего добился в жизни. Да, сэр, отныне он будет поставлять железной дороге вот этот самый зеленый плюш, на котором сидит Марго. А мама тоже улыбалась, ее милая, дорогая красивая мамочка в переливчатом зеленом платье с двумя рядами блестящих черных пуговиц на груди.

Если у Марго была самая заветная мечта, то она сводилась к возвращению той любви, того чувства защищенности и того до боли радостного предвкушения самых чудесных вещей, которые воплощались в этом воспоминании. Марго страстно верила, что рано или поздно она снова очутится в таком поезде, в такой же атмосфере любви и комфорта. И незабываемая поездка, прерванная на многие годы, возобновится опять, и поезд прибудет к месту назначения.

Тайное раздражение Марго против братьев отчасти было вызвано тем, что они даже не понимали ее рассказов о жизни, так непохожей на ту, которую они знали. Мальчики считали, что Марго просто сочиняет. А она, чтобы сделать из них выдающихся людей, тянула их вперед, разжигала в них честолюбие рассказами о своих мечтах и стремлениях отца. Мальчики выполняли все ее требования, потому что любили ее. И за одну эту любовь они заслуживали право на длинный путь туда, к пульмановскому купе поезда, который мчался к счастью, ибо для счастья были необходимы три условия — любовь, обеспеченность и уверенность в будущем, — а братья давали ей первое из этих условий. Так улыбающиеся родители и счастливая маленькая девочка в купе спального вагона без труда уступила место красивой женщине с двумя красивыми братьями, окруженными ореолом славы и успеха.

Мальчишки превратились в молодых людей и в это утро перед последним экзаменом, который, в сущности, знаменовал собою лишь начало долгожданного пути, спали крепким сном, а она смотрела на них с гордостью, нежностью и непоколебимой верой.

— Вставайте, ребятки, — сказала она.— Вставайте живо! Мне пора идти.

Кен проснулся сразу, приподнялся на локте и окинул Марго взглядом, в котором она, как всегда, почувствовала одобрение. Она присела на край его раскладушки, легонько погладила по шершавой, небритой щеке и, улыбаясь, спросила:

— Тут кто-нибудь нервничает?

— Никто, кроме двух птенцов, — сказал Кен и потерся щекой о ее

руку. Марго обрадовалась нежности, светившейся в его глазах, но по лицу его поняла, что Кен провел беспокойную ночь. Он всегда волновался перед экзаменами, хотя ни за что не хотел сознаться в этом.— Который час?

— Пора вставать, — сказала Марго. Дэви глядел в потолок, положив под голову руки.

— Известно ли тебе, что наш юный друг вчера весь вечер развлекал некую девицу? — обратился Кен к Марго.— И заметь — накануне экзамена!

— Внучку Уоллиса? — спросила Марго.— Что она собой представляет.

Дэви не ответил; он попрежнему глядел в потолок, но навострил уши.

— Довольно хорошенькая девушка,— сказал Кен, решив, что Марго обращается к нему. — Представь себе. Но не в моем вкусе.

— И, вероятно, ты тоже не в ее вкусе ,— отозвался Дэви и, повернувшись на бок, взглянул на сестру. Дэви тоже был небрит, но отросшая щетина делала его лицо еще более юным. — Ух, какая ты нарядная, — заметил он.

— Я надела это платье на счастье,— сказала Марго.

Дэви понимающе улыбнулся.

— Правильно. Подмога нам нужна.

— Ничего подобного, — сказал Кен и украдкой подмигнул Марго, которая поднялась с кровати. — Экзамен пролетит, как дым, мы его и не заметим!

Марго улыбнулась ему и покачала головой.— Ты всегда так говоришь. Дэви, ты уж последи за этим большим дуралеем!

— Как дым! — упрямо повторил Кен.

Смуглое лицо Дэви глядело на нее с подушки. В его умных глазах блеснула усмешка. Марго всегда заботилась прежде всего о Кене, к нему первому обращалась, его первого старалась приласкать, думала о нем больше и, вероятно, больше любила. Зато между ней и Дэви существовала более глубокая внутренняя связь — они понимали друг друга почти без слов.

— Ну, иди, — сказал Дэви.— И не волнуйся.

Июньское утро сверкало. Зелень, глубокая синева, черные тени — все цвета казались резкими и вместе с тем зыбкими. В недвижном воздухе, напоенном терпкой свежестью, уже чувствовалось дыхание зноя, смягченное легкой сыростью, которой веяло с росистых полей. Даже маленькие, невзрачные домишки сегодня казались попригляднее, словно их облезлая красота была рассчитана именно на такой денек. С вечера поперек улицы было протянуто извещавшее о приезде цирка полотнище, и его яркие, кричащие краски как бы окончательно утверждали наступление лета.

Выйдя через боковую дверь, Марго заперла ее за собой и пошла по улице к трамвайной остановке. На остановке не было ни души. Но едва Марго ступила с тротуара на мостовую, как блестящая машина, словно дожидавшаяся ее поодаль, двинулась ей навстречу. Вглядевшись, Марго узнала машину и с деланным равнодушием отвернулась, но по лицу ее скользнула еле заметная улыбка.

Машина остановилась прямо перед нею, и Дуглас Волрат, нагнувшись, открыл дверцу. Вид у него был солидный, самоуверенный, и, несмотря на это, в нем чувствовался задор человека, решившегося идти напролом.

— И что вы здесь зря околачиваетесь, не понимаю,— сказал он.— Садитесь. Сейчас я представляю уикершемский трест неисправностей городского транспорта. Трамваи сегодня не ходят, поэтому компания выслала за пассажирами частные машины.

— Спасибо, — ответила Марго,— но я все-таки подожду.

— Если вы не поедете со мной, я потеряю работу. А мне нужно обеспечить мою вдову и сироток. Не будьте жестоки к беззащитным созданьям!

Марго негромко рассмеялась. В конце концов она достаточно долго выдерживала характер.

— Хорошо, — сказала она, — я не буду к ним жестокой.

Марго села рядом с ним. Роскошь, с какой была оборудована машина внутри, поразила ее настолько, что она чуть не вскрикнула от восторга.

Машина скользила по улице с необычайной плавностью. Марго никогда еще не испытывала ничего подобного.

— Меня зовут Волрат, Дуглас Волрат, — сказал он.

— Я знаю,— спокойно ответила Марго. — А меня — Марго Мэллори. Я живу позади гаража с двумя братьями.

Волрат засмеялся.

— Ладно, ладно. Вы хотите сказать, что нам не нужно начинать с начала. Может, заодно согласимся сразу, что сегодня прекрасная погода?

— Да, — сказала Марго. Ей нравились и голос Волрата, и его непринужденность.— Я согласна, что погода хорошая.

Она свободно откинулась на мягкую спинку сиденья, и что-то подсказало ей, что Волрат нашел это легкое движение очаровательным. Сейчас она кажется Волрату красивой, эта мысль наполнила ее радостным ликованием, и она и в самом деле почувствовала себя красивой.

— Мне все еще не верится, что вы соблаговолили сесть в машину,— сказал Волрат. — Что случилось? Чему я обязан этим — приезду цирка или какому-нибудь другому необычайному событию?

— Да, сегодня у меня событие куда важнее, чем цирк. Мальчики держат выпускной экзамен. Мы так долго ждали этого дня, даже страшно вспомнить. Но вот он наступил, и все кончится благополучно. Я знаю.

— А я-то надеялся, что это хоть отчасти из-за меня.

— О нет. Вы тут ни при чем. Вы просто попали в такой момент. Хотя, знаете, что я вам скажу, — шутливо сказала она, решив пойти на уступку, потому что в голосе его слышалось неподдельное огорчение.— Сегодня я в хорошем настроении, потому что у меня особенный день, а вы действительно просто попали в такой момент. Но, если хотите, будем считать, что это отчасти из-за вас.

— Спасибо.— Волрат произнес это слово небрежным тоном. И Марго, поняв, что ему пришлось снизойти до притворства, снова втайне обрадовалась. Что он за человек, Марго не знала, но, во всяком случае, какая-то часть его существа была трогательно юной, очень уязвимой и вместе с тем, — опасливо припомнила Марго, — властно настойчивой.

Ветер бился в переднее стекло машины и пролетал над головой Марго, не касаясь ее, и она неожиданно для себя подумала, как было бы хорошо, если бы эта поездка длилась бесконечно, если бы машина промчалась через весь городишко, не останавливаясь, и вылетела на шоссе, ведущее в какой-то чудесный город со сверкающими шпилями.

И вдруг с глухим смятением в душе, словно от сознания, что совершает вероломство, Марго поймала себя на мысли, что в такой машине куда лучше, чем в пульмановском вагоне, мчаться к прекрасным городам, предназначенным ей судьбой. Она быстро взглянула на Волра-

та — человека, который, должно быть, всю свою жизнь провел в таких городах, — и поняла, что никогда еще не встречала так хорошо одетого мужчину. И еще одна мысль пришла ей в голову: если бы ей было суждено сегодня же уехать из Уикершема навсегда, она выбрала бы именно то платье, которое сейчас на ней. Марго опять обернулась к Волрату, и внезапно ее пронзило ощущение, будто он привлек ее к себе и целует, а она, охваченная внезапно пробудившимся желанием, не в силах сопротивляться ему. Марго опустила глаза, рассматривая свои руки, и всю остальную дорогу сидела смущенная, присмиревшая и задумчивая.

6

До последнего момента Кен в душе надеялся, что экзамен не состоится. Эти несколько часов решали так много, что Кен старался не думать о них: он не был уверен, сможет ли перенести провал.

Экзамен должен был происходить в кабинете профессора Бизли. И когда Кен, шагая впереди Дэви, вошел в комнату, он был неприятно разочарован при виде двух аккуратных стопочек бумаги, лежавших на столе. Хорошо, что он не рассказал о своей тайной надежде Дэви, малыш посмотрел бы на него исподлобья тем полунасмешливым, понимающим и ласковым взглядом, под которым Кену почему-то всегда хотелось оправдываться. И все же он считал, что если бы не Бизли, то можно было рассчитывать на отмену экзамена.

Бизли, самому молодому профессору на электротехническом факультете, было тридцать шесть лет. Он сидел за столом, худощавый, черноволосый, очень подобранный человек, которым, казалось, владело желание поджаться еще больше, чтобы избежать какого бы то ни было соприкосновения с окружающим.

Дэви утверждал, что раскусить его нетрудно — все дело в том, что он мнит себя человеком огромной выдержки, редкого ума и особого, горделивого обаяния. Коллеги же и студенты видели в нем чопорное, тщеславное и по-детски обидчивое существо. Однако в своей области — в области передачи электрической энергии — Бизли был более чем способным инженером. Стрелы стальных башен по всему континенту несли ток высокого напряжения на изоляторах Бизли. Он гордился тем, что достиг известности, будучи еще совсем молодым. Работа, которую братья Мэллори проделали за последний год, возбудила в нем подозрение, что они могут выдвинуться еще более молодыми, и это явно злило его, будто тем самым снижались его собственные успехи.

Сидя за столом, Бизли молча поднял на братьев глаза и словно обдал их тоненькой струйкой неприязни.

— Я взял на себя ответственность экзаменовать вас, помимо экзаменационной комиссии, — сказал он ледяным тоном, быстро и отчетливо выговаривая слова. — Первый раздел, в который входит десять вопросов ,— это обычная программа, предлагаемая экзаменационной комиссией. Второй раздел я добавил сам; он состоит всего из одной задачи, решение которой требует, однако, самостоятельного мышления. Вам удалось тем или иным путем создать себе в университете репутацию выдающихся студентов. Что до меня, то эта репутация еще нуждается в подтверждении. Сейчас девять тридцать. Вы располагаете временем до пяти. Разумеется, было бы оскорблением напоминать вам, что я полагаюсь на вашу честность.

Бизли быстро встал и с высоко поднятой головой крупными шагами вышел из комнаты, как бы ожидая, что они проводят его благоговейным

взглядом и восхищенно прошепчут: — Вот человек, за которого можно отдать жизнь.

— Вот сукин сын! — сказал Дэви.

Кен поглядел на дверь и промолчал. Явная неприязнь Бизли обескураживала его. Он злился, но в то же время втайне боялся этого человека, как боятся противника, который надежно защищен от единственного имеющегося против него оружия. Кена одолевало тоскливое ощущение, что он заранее обречен на провал, но как ни в чем не бывало он снял галстук и пиджак, засучил рукава и, прежде чем взглянуть на список вопросов, закурил сигарету. Он всей душой надеялся, что Бизли подсматривает в щелочку. С вызывающим видом он пробежал глазами первый вопрос первого раздела и принялся быстро писать. Дэви с чуть заметной улыбкой наблюдал за ним через стол.

— Когда же ты прочтешь задачу? Главный козырь Бизли!

— Когда дойду до нее.

Голос Дэви был кроток.

— Я догадаюсь по твоему воплю.

Кен поднял глаза, скрывая за улыбкой тайную тревогу.

— Так страшно?

Дэви кивнул, хотя сам тоже начал с первого вопроса. — Убийство,— сказал он.

Они были достаточно хорошо подготовлены, поэтому благополучно справлялись с первой частью экзаменов, хотя сердце Кена не переставало сжиматься от тревоги. Поглядывая на младшего брата, он старался угадать, в таком же Дэви отчаянии, как и он, или все-таки на что-то надеется. Но Дэви низко склонился над бумагой с непроницаемым, сосредоточенным лицом, и только легкая складка у рта говорила о напряжении.

Внешнее спокойствие Дэви усугубило отчаяние Кена. Знакомы ли Дэви эти ужасные моменты внутренней пустоты и беспомощности, которые переживал Кен, вспоминая, что они всего-навсего самоучки? Спрашивал ли себя Дэви, понимает ли он по-настоящему все эти функции и уравнения, или просто вызубрил за этот долгий, мучительный год подготовки? «Нет, вряд ли,— думал Кен.— Дэви знает. Дэви понимает. Дэви уверен».

Только в минуты подобной слабости Кен начинал понимать, как мало он знает о том, что творится в голове Дэви. Обычно он, как нечто само собой разумеющееся, считал, что Дэви — неотъемлемая часть его головы, половина его мозга и вторая пара его собственных рук, но сейчас, когда Кен был предоставлен самому себе и мог рассчитывать только на свои силы, он задавался тревожным вопросом, кто же он, в сущности, такой,— кто и каковы его возможности. Но размышлять об этом было некогда, и Кен снова принялся за работу.

Быстро пролетело теплое июньское утро, и воздух в кабинете посинел от табачного дыма. Братья обращались друг к другу, только чтобы попросить спички, логарифмическую линейку и таблицы функций и интегралов, которыми было разрешено пользоваться на экзаменах. К двум часам оба кончили первый раздел и, жуя приготовленные Марго сэндвичи, прочли добавление Бизли: всего один вопрос, но касающийся классической теории электромагнетизма, которая не входила в курс.

— Вот дьявол! — сказал Кен. — Комиссия этого ни за что не пропустит!

— Может, все-таки попробуем? — спросил Дэви.— Он наш официальный руководитель, и это дает ему право делать с нами, что угодно. Спокойно, Кен! Ты отлично справишься.

Оба уставились на листок бумаги с отпечатанным на машинке во-

просом, и долго молчали, собираясь с мыслями. Они шагали по комнате, каждый отдельно, стараясь не пересекать дорогу друг другу. Дэви первый сел за стол и начал писать. Кен с тоскливой завистью смотрел на младшего брата: Дэви всегда был силен в теории, намного сильнее его. Но вскоре Кен тоже сел и принялся составлять ответ, стараясь дышать как можно ровнее. Если бы вместо пера он держал в руках славные теплые инструменты, насколько легче было бы решить задачу! Но в теории он хромает, хромает на обе ноги.

Больше двух часов оба усердно строчили, иногда зачеркивая целые страницы, чтобы исправить ошибку, но когда Кен, наконец, отбросил перо и стал массировать одеревеневшую кисть руки, он встретился глазами с Дэви, который смотрел на него глубоким взглядом, с выражением твердой решимости на лице.

Кен улыбнулся жалкой улыбкой. — Кажется, я одолел эту штуку.

Темносиний взгляд Дэви скользнул по его лицу.

— Дай-ка посмотреть, — сказал он задумчиво.

Кен заколебался и глянул на дверь — за нею стояла тишина. Но Кен не пошевелился.

— А у тебя-то что-нибудь получается? — спросил он.

— Я уже кончил. Давай твое решение, Кен. Я хочу убедиться, что никто из нас не напорол глупостей.

— Самая большая глупость будет, если нас застукает Бизли. Он нас погубит, малыш. Бога ради не надо, ведь с той недели мы начнем работать самостоятельно, и мне самому придется идти в банк за деньгами. Нельзя давать этому сукину сыну возможность отнять у нас степень!

— Вот и я так думаю, поэтому покажи мне, как ты решил, — спокойно приказал Дэви. Протянув руку, он взял листки из влажных пальцев Кена. Одновременно он пододвинул свои бумаги Кену, который боязливо взял их. Сердце Кена стучало, но он жадно впился глазами в листки, ища подтверждения правильности своей работы.

Как обычно, Дэви приступил к решению задачи с позиций чистой теории. Кен позавидовал тому, как была использована математика для построения логического пути от первоначальной предпосылки к желаемому результату. Кен же подошел к решению, придумав опыт и доказав, к какому результату он должен привести. Глаза его нервно перебегали с двери на листки, которые он держал в руках, и на лицо Дэви, углубленно изучавшего работу старшего брата.

— Ну? — не выдержав, спросил Кен.

Дэви рассеянно протянул ему листки и взял свои.

— Не знаю, — сказал он.— Просто не знаю. Мы сделали это совсем по-разному. Остается только одно.

Гибким движением он поднялся, быстро подошел к книжному шкафу и провел пальцем по корешкам, читая заглавия.

Кен, вздрогнув, вскочил с места.

— Не смей! — Кен говорил шепотом. — Он может войти с минуты на минуту!

— Но ведь еще не вошел,— ответил Дэви. Он был спокоен. — Рискнем — вдруг он на несколько минут задержится.

Но Кен подбежал к Дэви и дернул его за руку.

— Дурак чертов! Когда я пробую рисковать, ты меня ругаешь на все корки, а разве я хоть когда-нибудь позволил себе такое?

Дэви, не оборачиваясь, высвободил руку и взял книгу Джинса.

— Тут игра стоит свеч. Сейчас нельзя не рискнуть. Слушай,— с неожиданной горячностью сказал он, обернувшись к брату, — неужели ты хочешь довериться надутому задаваке Бизли? Пошел он к черту! Сте-

пень значит для нас слишком много, что ж, мы позволим выкинуть нашу работу на помойку и даже не попытаемся спасти ее?

— Если я не могу выдержать этот паршивый экзамен, как положено, то к черту степень!

— Балда! — сказал Дэви. Глаза у него стали блестящие и злые. Он глядел на старшего брата с высоты своего роста, исполненный холодной силы, упорства и отваги. — Возьми себя в руки! Ты же сам знаешь, что ты — хороший инженер. Тебе вовсе не нужно прыгать через обруч, чтобы доказать это Бизли. Раз он поступает, как последняя сволочь, то и с ним надо поступать, как с последней сволочью.

Кен в смятении отошел в другой конец комнаты. При каждом звуке в коридоре сердце его замирало, а Дэви, превосходно владея собой, листал толстую книгу, пока не нашел то, что нужно. Он внимательно прочел четыре страницы, перечитал еще раз, потом захлопнул книгу и поставил на место.

— Мы оба правы, — спокойно заявил он.— Давай собираться.

Кен бессильно упал в кресло у стола, и страх сразу растворился в огромном облегчении и обуявшей его дикой радости.

— Ах, нахал ты эдакий! — восхищенно воскликнул он. — С тех пор как мы удрали от дяди Джорджа, ты еще не выкидывал такой штуки!

Дэви складывал исписанные листки. Он взглянул на Кена, и глаза его казались темными, как лесной пруд среди ночи, тот самый пруд, покрытый тускло поблескивающей рябью, из которого двое промокших до нитки мальчишек ощупью выкарабкивались на берег.— Ты бы умер от страха, если б я не проверил ответ,— сказал Дэви; и, несмотря на шутливый тон, он в эту минуту как бы выполнял клятву, данную девять лет назад. — Я просто спас тебе жизнь, дурачина!

(Продолжение следует)

Добрица Чосич

Солнце далеко

РОМАН

Перевод с сербо-хорватского Т. Поповой и А. Романенко

13

Полночь давно миновала. Стоял жестокий мороз. Никто в отряде не спал. Около двух больших костров собрались все бойцы. Стараясь согреться, партизаны кутались в трофейные немецкие шинели и плащпалатки и рылись в немецких вещевых мешках и ранцах. Возбуждение улеглось, и они вели обычные, будничные разговоры. Кое-кто задремал.

— Как ты думаешь, Сима-служивый, зачем немцам столько одеколону? — говорит Джурдже, копаясь в трофейном немецком ранце из телячьей кожи.

— Гигиена, парень! Они без нее не могут, как Ефта без водки. Уж так у них повелось! Это их национальное свойство.

— Ну раз так, я предпочитаю нашу сербскую гигиену, сливянку. Она действует и снаружи и внутрь.

— Нет, служивый, они моют руки одеколоном и перед обедом и после обеда... — продолжал настаивать Сима. Приятели пытались шутить, но, не встретив поддержки у окружающих, замолчали.

Стоя поодаль, Вук и Гвозден тихо вели разговор совсем на другие темы.

— Что с тобой, Гвозден? У тебя, видно, не все благополучно, — говорил Вук, зная, что словоохотливый Гвозден не станет молчать без причины. — Тебя как будто даже не радует, что сегодня ночью мы так угостили немцев?

— Да, что говорить, дело наше было бы дрянь, если б мы их не поколотили! Молодец Уча, молодец! Если бы не он...

— Ну, а Павле?

— Павле тоже молодец, только все больше хитрит да увертывается. Покуда мы его слушали, мы только и делали, что отступали.

— Вот как, а на днях что было? Ты забыл, как нас посрамили немцы? А чья была эта работа? Учи! Он упрям. Нельзя, брат, воевать, как бог на душу положит. Тут нужны и хитрость и ум. Мне все равно, что Павле, что Уча, но надо смотреть на вещи политически. Павле умен, вот он и кажется тебе хитрой лисой.

— Ну ладно, «политически»! Хорошо тебе говорить. А я между двух огней. Тяжело мне, право тяжело!

— А мне разве легко? Ты заместитель командира отряда, а я командир роты. У тебя ответственности больше, но мне тоже трудно. Разве меня не касается то, что они затеяли? Ничего хорошего из этого все

Продолжение. См. начало в № 1.

равно не выйдет. Я жду не дождусь, когда придет Йован и все станет ясно. А что если он не придет и Уча не образумится? Быть беде, вот увидишь!

— Как это образумится? Образумиться должен Павле. Быть комиссаром — еще не значит быть самым умным, он не может быть всегда прав. У меня тоже голова на плечах! Я беспокоюсь потому, что нет Йована. Вот он придет, тогда все сразу станет ясно. Окружной комитет и сам секретарь Брка придерживаются другого мнения, чем вы, так и знайте!

— Почему же ты сердишься? Я ведь тоже еще соображаю. Брка может говорить все, что ему угодно. Он в тылу и, значит, не способен оценить обстановку так, как Павле. Павле — коммунист с довоенным стажем, и он очень способный человек.

— Уча тоже коммунист с довоенным стажем. И я тоже, если желаешь знать. Можешь говорить все, что угодно, но знай, дело серьезное. Мы никогда еще не были в таком положении. А комитет этот... Целую неделю не может восстановить с нами связь! Спроси партизан, что они думают!

— Что они думают — это неважно. Партизаны могут думать все, что угодно, решают дело не они. Они обязаны слушать приказания штаба, вот и все. Ведь мы — армия!

— Нет, Вук, мы не обычная армия. И вопрос идет о нашей жизни и смерти. Значит, тут надо подумать обо всем. Партизаны тоже люди, не овцы!

И Гвозден замолчал, не желая говорить о том, что его мучило.

Сидя у костра, партизаны рассматривали фотографии, найденные у немцев.

Вдруг перед ними появились Вуксан и Йован. Их сопровождало несколько мужчин в рабочих куртках и гражданской одежде.

— Йован!

— Йован!

— Куда же ты пропал? Вот здорово! — удивленно и радостно восклицали партизаны.

— Ну, теперь все наладится, — тихо сказал Гвоздену Вук.

— Ты почему, заяц, не пришел во-время? — строго крикнул Йовану Джурдже.

— Ну как, товарищи? Вы никогда еще не были так рады мне? Я всегда поспеваю к концу боя, — весело заговорил Йован, высокий молодец в щегольской крестьянской одежде. Хохолок непослушных волос топорщился из-под его пилотки, лихо надетой набекрень. Лицо Йована так и смеялось: смеялись и живые черные глаза, и курносый покрасневший нос, и полные щеки, и большой рот с красивыми зубами. Веселое настроение никогда не покидало этого здоровяка-гимназиста.

— Здорово, партизанщина! Вам хорошо! А вот мы, связные, несчастный мы народ! Вы только и знаете, что укорять нас: и молоко-то мы в деревнях пьем как змеи, и девушки дарят нам чулки из приданого. И вы-то, бедняги, мучаетесь, а мы наслаждаемся жизнью за счет вашей славы! Что, правда ведь? — говорил он, обходя сидящих у костра и здороваясь с каждым по очереди.

Действительно, что касается «женской части», то Йовану в отряде даже завидовали. Ему это льстило, и он не слишком старался разуверить товарищей в своих победах. «Главное — доставить и передать почту и не обнаружить связь. Остальное — мое дело!» — говорил он в ответ на упреки, уснащая свои рассказы самыми соблазнительными подробностями.

О Йоване шла слава как о лучшем связном. Говорили, что он пролезет в карман к немцу, но задание выполнит. И штаб великодушно смотрел сквозь пальцы на его успехи у расинских девушек.

— Не бойся, не бойся! Ты во-время поспел к черту на свадьбу! Жаль, не знал, а то задержался бы еще на день-другой! — сказал Джурдже, грозно качая головой.

— Ты, что же, думаешь, я раскаиваюсь? Я ведь на всех свадьбах заводила. Такой уж я уродился.

— Эх ты, горе-воевода. Плохо же ты о себе думаешь! А знаешь ли, что ты такое?

— Что? — Перец в свадебной похлебке, только-то и всего!

— Лучше бы ты, воевода, приходил во-время, а не когда тебе вздумается, — Гвозден сердился на Йована, но не хотел показывать этого в присутствии посторонних. — Скажи мне, кто эти товарищи, что пришли с тобой, и беги, передай Павле письмо, — добавил Гвозден и посмотрел на пришедших, смущенно разглядывавших партизан. Как и все горожане, знавшие о партизанах только по рассказам, они, конечно, представляли их себе совсем другими.

— Не надо формальностей, товарищ Гвозден. Посмотри только, каких пролетариев привел я тебе. Все как один годятся в пулеметчики. Немцы в последнее время так потрепали отряд, что, не приведи я пополнения, ты, как заместитель командира, командовал бы к весне только над Ефтой да неудачником Станко. У Ефты нос уже стал, как блин, он только и делает, что вдавливает его в землю, а неудачником Станко и пуля брезгует! Давайте я вас познакомлю. Вот этот — заместитель командира отряда, товарищ Гвозден; вот этот, возле него — командир роты Вук, самый большой наш брюзга. А это — наши новые товарищи; они пришли к нам в отряд. С остальными знакомьтесь сами — весело говорил Йован и направился к другому костру передать письмо Павле.

Не называя своих имен, согласно правилам конспирации, новички здоровались с партизанами и с недоумением поглядывали на их кургузые намецкие куртки.

— Ну как, товарищи? — спросил самый разговорчивый из прибывших, усаживаясь рядом с Джурдже. На нем были кепка и рабочая куртка, которую он, очевидно, не успел сменить перед уходом в отряд.

— Прекрасно, товарищ! Трудновато только первые три года. А как привыкнешь к ястребацкой воде и к горному воздуху, там уж легко. Смотри только, как бы война раньше не кончилась, — полушутя-полусерьезно ответил Джурдже.

Партизаны не обращали внимания на шутки Джурдже. Они знали, что Йован доставил директивы от окружного комитета партии, и тревожно перешептывались. Пришедшие смущенно улыбались.

Как бы желая сгладить неловкость, человек в кепке попытался поддержать разговор.

— Мы, верно, встречались или, может быть, ты...

— Да мы же родственники. Ихний плетень нашему тыну троюродный брат.

Послышался громкий смех. Но Сима, которому было неприятно смущение новичка, сказал:

— Не сердись на него, товарищ, у него дурной характер. Он скверно склепан, зато сердце у него хорошее, — и Сима покачал головой, делая знак Джурдже, чтобы тот замолчал.

— Да, Сима-служивый прав. Меня и впрямь недоделали, когда клепали. Ну, давайте познакомимся, как полагается воспитанным людям. Мое имя Джурдже — это меня командир отряда так окрестил в память какого-то своего дядюшки. В книге у попа меня записали, как и требовал

мой крестный, покойный кузнец Тозе, Владимиром. Значит, Джурдже, двадцати лет отроду, по профессии столяр, проживавший в старом городе, теперь боец — иногда и храбрец, смотря по обстоятельствам, — во взводе служивого Николы, который, если прикинуть на мой, на столярный, аршин, скоро будет капитаном, — Джурдже взял за руку еще не оправившегося от смущения новичка. — Ну, добро пожаловать! Ты, видно, не трус, раз пришел к нам теперь! Как же назвать тебя, чтобы ты не был в обиде на крестного?

— Как хочешь, мне все равно.

— Ладно, будешь Гаравко *. Вы, из депо, всегда чумазые, словно вами печи чистят. Хочешь?

— Хочу. Согласен! — ответил тот и добродушно усмехнулся.

Но Гаравко нисколько не был похож на чумазого кочегара. Это был длинноногий человек с большим горбатым носом и с русыми волосами.

— Гвозден, нельзя ли его ко мне в отделение, а то корпус Николы уменьшился на одну десятую часть.

— Ладно. Только, пожалуйста, будь посерьезнее, — строго сказал Гвозден, направляясь вместе с Вуком к Павле, чтобы узнать, какие директивы доставил Йован.

— Порядок! Винтовку, Гаравко, получишь сразу! Гренадеры оставили ее для тебя. Жаль, что здесь нет сейчас нашего капрала Николы. У него этой ночью были тяжелые потери.

— Да ну тебя, брось, оставь человека в покое! Вот кабы ты так стрелял, как языком работаешь! Им тогда и приходить к нам было бы незачем, — промолвил Станко, которого раздражала назойливость Джурдже.

— Так вот почему ты меня всегда своим ружьем защищаешь! Жаль только, что оно патроны зря жрет. Ты как поднимешь шум, я и думаю: господи боже, сколько же трофеев мы соберем! А как все кончится, глядишь — шиш!

— Я шел на войну не затем, чтобы тебя защищать!

— Товарищ Гаравко, я забыл представить тебе: Станко, по прозвищу Баксуз **. Он пулеметчик, а пулеметы — артиллерия нашего корпуса. Вообще, как ты видишь, характер у него кроткий, словно у святого Чирика.

Станко сделал вид, будто ничего не слышит, и промолчал. Он не любил болтунов и презрительно называл их помелом. Сам он представлял собой полную противоположность Джурдже. Голос его раздавался только в бою, когда Станко выкрикивал ругательства по адресу врага. Никола говорил, что Станко разговаривает только там, где никто уж не станет ему перечить. О себе Станко вообще не рассказывал. Кроме того, что он рабочий-электрик, в отряде, за исключением, может быть, комиссара, о нем ничего не знали. Он бежал из района, занятого усташами, и, хотя всегда молчал, товарищи догадывались, что с его семьей произошло большое несчастье. А Ефта еще предполагал, что он незаконнорожденный и стыдится говорить о своем происхождении. И поэтому все с удивлением посмотрели на Станко, когда он вдруг ввязался в ссору с Джурдже.

— Ты прав, Станко! А ты чего пристал к ним, как банный лист, — сказал, подходя, Йован, и ткнул Джурдже в бок.

— Есть, товарищ связной! Я всегда уважал твои заячьи ноги и твой заячий ум! — вызывающе ответил Джурдже, наклонив голову и прижав правую руку к сердцу. — А вы, товарищи, простите, если я сказал что-

---

* Гарав (*сербск.*) — чумазый, закопченный.

** Неудачник, приносящий несчастье.

нибудь лишнее. На войне нельзя не смеяться и не балагурить. Совсем сердце зайдется от страха. Боеприпасы, шутка и полное брюхо — вот что для нас главное. Тогда нам и пуля не страшна, — серьезно сказал Джурдже и, отойдя в сторону, замолчал.

Окружающие тоже молчали. Вернулся Гвозден и сел у костра. Лицо его было хмурым и сердитым. Партизаны переглянулись, стараясь угадать, какие вести принес Йован. Неужто дурные? Гвозден расспрашивал у вновь прибывших, что нового в городе и на фронте. Новички наперебой, дополняя друг друга, рассказывали о сводках с Восточного фронта, о провалах, которые быстро и неудержимо, как пожар, опустошили партийную организацию. Они говорили о них с чувством вины и стыда. Попутно упомянули и о расстреле заложников.

— А я вам вот что скажу: это последняя зима для немцев. Сталинград для них то же, чем для Наполеона была Москва. Когда я слышу о том, что русские наступают, меня совершенно не беспокоит, что будет с нами, — торжественно произнес Душко-гимназист, самый высокий человек в отряде.

— Но если их так разгромили в России, откуда же они привели к нам такую армию? — с сомнением произнес один из партизан.

— Вот в этом-то все и дело! Сейчас, когда на Восточном фронте у них земля горит под ногами, им непременно надо, чтобы тут было тихо, — ответил Душко, продолжая вместе с остальными решать сложные стратегические задачи.

— Да, без рабочего класса ничего не выходит! Сам видишь, какая это сила. Ну кто из крестьян пришел бы сейчас в отряд? — самодовольно шепнул Сима Гвоздену, явно желая его уколоть. Тот сумрачно поглядел на него и ничего не сказал.

Вдруг все замолчали. Под горой послышалась частая глухая стрельба. Партизаны, насторожившись, вопросительно смотрели в том направлении, откуда доносилась стрельба. Никто не выразил тревоги вслух. Гвозден встал, пошел глубже в лес и остановился, напряженно прислушиваясь.

14

В то утро все было мирно в деревне под горой. Только короткое и приглушенное пение петухов раздавалось там в предрассветной тьме.

— Пора идти. Мне нужно больше часа, чтобы пробраться через заграждения,— сказал Ефта, обращаясь к крестьянину, к которому он спустился за продуктами для раненых.

— Поторопись! Вечером сильно стреляли наверху,— озабоченно заметил крестьянин.

— Должно быть, мои! Здорово же они зацепили немцев! Гремело целых полчаса, как по нотам, ей-богу! — добавил Ефта хвастливо и не скрывая своей радости. Все разговоры с крестьянами он всегда начинал словами «мои». В этом звучала и отцовская гордость и желание дать понять, что и он, Ефта, тоже кое-что значит.

Но не успел Ефта подвесить с помощью хозяина к ремню третью фляжку с молоком, как по всей деревне, чуть не в каждом дворе, затрещали винтовки и пулеметы. Оба оцепенели. Фляжка с молоком упала и глухо стукнулась о земляной пол. Сквозь грохот выстрелов послышался лай собак, крики и стоны. Во дворе заскрипели, загрохотали ворота, рванулся на цепи пес.

Хозяйка, укладывавшая в мешок Ефты хлеб и солонину, в испуге погасила керосиновую лампу. Хозяин бросился к двери, выглянул и, быстро захлопнув ее, в ужасе проговорил:

— Немцы! Беги! Беги куда глаза глядят!

— Да куда же я денусь?

— Ох, беда, дом мой, дети мои! — запричитала хозяйка, словно безумная, мечась по комнате.

— Беги, Ефта-а! Беги! Сожгут дом! Сгорит все!..

От страха Ефта так и прирос к земле, выбивая зубами дробь.

— А к-как же я? К-как же?

Он хотел подойти к двери, но в этот миг послышался топот солдатских башмаков и стук щеколды. Ефта быстро схватил мешок с продуктами, фляжку, упавшую на пол, и, залезши под кровать, забился в сырой угол.

— Горе мне, дети мои,— взвизгнула хозяйка, наваливаясь всем телом на спящих детей. Под кроватью Ефта, совсем потеряв рассудок, дрожал и прижимался к стене. Кровать заскрипела. Дети, тотчас же проснувшись, закричали.

— Hinaus! * — злобно кричали немцы, добавляя еще какие-то незнакомые слова. Луч карманного фонарика метался по комнате. Ефта видит, как белая струя света достала до его ног. Он еще больше подтянул их и зажмурился: «Все!»

Не решаясь уходить, хозяин стоял, поворачиваясь во все стороны и словно чего-то ища. Немцы кричали, один из них толкнул его прикладом и ударил ногой. Крестьянин застонал и упал.

Дети заплакали еще громче. Жена вскочила с кровати и бросилась на помощь своему кормильцу.

— Куда вы его тащите?.. Не надо! Не убивайте его!.. — молила она, стеная и крича под градом сыпавшихся на нее ударов.

— Убейте меня, о-ой!

— Замолчи! Пусти меня... Я пойду...— говорил крестьянин, стараясь вырваться из ее рук.

Немцы вытолкнули его вон из горницы. За ним, громко взывая о помощи, метнулась и жена.

Двое маленьких мальчиков, плача и зовя родителей, бросились вслед за ними в открытую дверь, в которую, клубясь, врывался густой холодный январский воздух.

Крики во дворе становились все громче. Послышался шум борьбы.

— Баба скажет им, что я здесь... скажет, наверняка скажет. Баба... Всё...— бормотал шепотом Ефта, не зная, оставаться на месте или попытаться бежать. Может быть, ему еще удастся спастись? Тут его непременно схватят. Ефта протянул руку к винтовке, но пальцы его не слушались. Снаружи, возле дома, раздались два выстрела, один за другим. Дети заплакали. Ефта дернулся, словно желая подпрыгнуть, стукнулся головой о кровать и пригнулся. Придя в себя, он прислушался. В деревне попрежнему раздавалась стрельба, лай собак, крики мужчин и женщин. Со двора доносился только захлебывающийся плач детей.

В то самое утро немецко-болгарские оккупанты, мстя за пятьдесят солдат, убитых партизанами ночью на Ястребце, ворвались в деревни, расположенные в предгорье, и стали хватать заложников. Но Ефта не знал, что произошло. Он был убежден, что немцы ищут именно его. Слыша стрельбу, он удивлялся, что немцы не обыскали дом и не заглянули под кровать; видно, просто забыли в суматохе. Зато теперь они начнут пытать хозяина и хозяйку, чтобы узнать, куда он спрятался. В дверь уйти было нельзя, выпрыгнуть в окно он не решался, боясь, что его увидят. Хозяин дома ничего не скажет, но жена выдаст его, Ефту, непременно. Ей дороже муж, дети и дом. А он, Ефта, кто он ей? Почему

---

* Выходи! *(нем.)*

бы ей и не сказать? Обязательно скажет. Они сейчас придут, если только еще не пришли. Во двор, скорее! А потом куда? Стреляют... Светает... Уже рассвело! Они увидят его, когда он будет выходить. Зачем только он заболтался? Выйди он на полчаса раньше, ничего не было бы. Видно, совсем из ума выжил... Только бы успеть выйти из дому... Кричат, значит идут назад! Зачем он так долго раздумывает? Ведь он мог бы еще убежать. Струсил! Так ему и надо! Вот они идут... это ее голос. Бесстыдница, трусиха! Вредная баба! Будь она проклята! Вот превратиться бы в мышь, в маленькую мышь и забраться в эту щель в стене. Вот они! Входят! Надо стрелять и отомстить за себя. Почему же они не входят? Ушли куда-то! Конечно, окружают дом... Ставят засады... Вот что они делают, а он лежит под кроватью и ждет, пока его схватят за шиворот и выволокут... Да, он погиб! Вот она, смерть! Но почему же стреляют по всей деревне? Они хотят, чтобы он потерял голову от страха и сдался живым! Живым? Нет, живым он не дастся! Нет! Они хотят пытать его и выведать, где находится госпиталь? Они хотят перебить раненых? А потом мертвых повесить и согнать весь народ смотреть! Что же тогда скажет Павле? «Я знал, что он трус, старый пьянчужка, самый подлый изменник! Где была у меня голова, когда я доверил ему такое важное дело? Разве нельзя было найти другого? Он никогда не был настоящим человеком. Он скотина! Позор! Пусть извергнет его земля!» Нет, он не выдаст госпиталь, пускай его хоть на кол сажают! Будьте спокойны! Он не изменник. Но почему же немцы не входят? Не смеют, трусы! Он уложит их враз на пороге, как снопы. Но почему же они все-таки не входят? Может быть, они думают, что он бежал, и ищут его в деревне? А крестьяне испугались и пустились бежать, а они думают, что это он, и стреляют им вслед. Надо воспользоваться замешательством и добраться до гор. Но что делать с мешком? Как он вернется без хлеба? У раненых уже два дня маковой росинки во рту не было. Никто не поверит, что он попал в беду. Его назовут трусом. Не посмел, скажут, и приблизиться к деревне! Просидел ночь в сугробе, а теперь выдумал эту историю и возвратился. Нет! Он должен взять и мешок, и молоко! Пусть он погибнет, но уж вместе с мешком!

Ефта решился наконец выйти. Кое-как он привязал к ремню третью фляжку, взял мешок и винтовку и выбрался из-под кровати. В комнате было пусто.

Стрельба и вопли в деревне не прекращались. Сквозь серые мутные окна чуть брезжил рассвет. Глядя в окно и прислушиваясь, Ефта все еще колебался, не решаясь бежать. Наконец он взвалил мешок на спину, взял винтовку и бросился в открытую дверь. Пригнувшись, быстро перебежал двор, и только хотел перепрыгнуть через изгородь, как вдруг перед ним появилось несколько немцев. Ефта опустился на землю, подполз к свиному хлеву и притулился у стены.

Неподалеку беззвучно плакали дети. Он обернулся и увидел хозяйских ребятишек, которые в отчаянии тащили за руку кого-то, лежавшего на снегу. Убили! Кого? Ее?.. Ефта забыл об опасности и пополз к ним, подтягиваясь на локтях. Мертвая мать лежала лицом к небу. Босые ребятишки, захлебываясь от слез, тащили ее. Тяжелое, окаменевшее тело крестьянки было неподвижно, только вдруг дернулась ее мертвая голова и снова застыла. Дети упорно пытались поднять мать и отнести в дом. В отчаянии они то хватали, то выпускали ее руки и, замирая, прятали вихрастые головенки у нее на груди.

— Ох, сиротинки мои, цыплята мои...— шептал Ефта, с трудом сдерживая слезы и не зная, как им помочь. У него едва хватило сил вернуться к хлеву.

Побросавши дома, крестьяне пытались бежать через сады и дворы,

но немецкие солдаты стреляли по ним из винтовок и пулеметов. Люди, как подкошенные, падали на обледенелый снег. Многих пули настигали в тот момент, когда они прыгали через изгородь, и беглецы замирали, перевесившись через плетень. Раненые на четвереньках ползли по снегу вдоль плетней и забирались в закутки, словно хотели умереть в укромном месте в тишине. Некоторые падали около яблонь и слив. Они пытались подняться, обнимая стволы, но тут же медленно опускались, зарываясь головой и руками в снег.

Стараясь ничего не видеть, Ефта забрался в темный закоулок возле хлева. В отчаянии он бормотал что-то невразумительное. В десяти шагах от него промелькнули немцы, преследуя кого-то. Ефта вздрогнул, сжался, и вдруг ему стало ясно: немцы хватают крестьян в отместку за свое поражение. Нет, нужно бежать отсюда. Нельзя ждать до вечера.

Рассвело, но туман становился все гуще. В тумане он сможет добраться до горы. У него мелькнула мысль закопать винтовку в снег и бежать с одним мешком: так легче выбраться. Но, если он вернется в госпиталь без винтовки, начнутся укоры, насмешки, как бывало в отряде. Пожалуй, дойдет еще и до Павле, что он бросил винтовку и удрал, как заяц. Эта мысль положила конец его колебаниям. Он еще раз посмотрел на несчастных детей, на их мертвую мать, застонал, постоял немного, потом взял винтовку и продукты и перелез через изгородь. Обессилев от страха, утопая со своим грузом в снегу, старик пытался бежать. Но он еле держался на ногах и часто падал.

Наконец, миновав один сад, он перелез в соседний двор, но остановился, как вкопанный, и еле успел спрятаться между сараем и кучей кирпичей.

Во дворе, куда он попал, возле дома две женщины и старик отчаянно боролись с напавшими на них немцами и звали на помощь. Старик был в одном нижнем белье, видно, его только что вытащили из постели. Немцы колотили их, куда попало, орали и стреляли наугад. Борьба продолжалась долго. Наконец солдатам удалось одолеть крестьян. Прицелившись, они разрядили в них ружья в упор и пошли дальше. Старик вдруг поднялся и изо всех сил закричал:

— Помо-ги!.. — Не закончив, он рухнул на снег.

— Ох, господи, что только с людьми делают! — громко простонал Ефта и бросился бежать дальше, пробираясь вдоль плетней.

Все двери и ворота были распахнуты. Слышались протяжные причитания женщин, оплакивающих своих мужей, убитых или уведенных немцами. Громко кричали дети. Дома стояли пустые и безмолвные, без признаков жизни, словно жизнь испугалась и поспешно убежала, забыв прикрыть за собой ворота.

Наткнувшись снова на солдат, Ефта шмыгнул в чей-то хлев.

Он поглядел в щель над дверью.

Он увидел, как фашисты направили винтовки на детей, прижавшихся к стене так, словно они хотели врасти в нее. «Да неужто у изверга подымается рука на детей»? — в ужасе подумал Ефта.

Солдат сделал несколько шагов, нагнулся и вонзил штык в ребенка. Ребенок вскрикнул и беспомощным комочком упал возле стены.

Вдруг, словно вынырнув из-под земли, на солдат бросились мужчина и женщина с поднятыми топорами. Ошеломленные солдаты не успели и повернуться, как крестьяне обрушили на них топоры. Солдаты свалились в снег, а мужчина и женщина, крича, как безумные, продолжали в исступлении бить по ним топорами. Мягкие, глухие удары становились все резче, трещали кости. Третий фашист успел отскочить в сторону и открыл огонь. Мужчина рухнул на мертвого солдата, а жен-

щина, обезумев и не обращая внимания на выстрелы, продолжала все так же настойчиво и равномерно взмахивать топором.

Ефта не мог больше вынести этого зрелища. Сорвав с плеча винтовку, он открыл дверь и, не целясь, наугад выстрелил в солдата, метившегося в женщину. Фашист уронил винтовку, свалился и замер. Ефта всадил в него еще одну пулю.

— Больше не будешь, палач!

— А вот тебе!.. А!.. А!.. — восклицала женщина, все еще колотя топором по убийцам своего ребенка.

Почти теряя сознание, Ефта бросился бежать. Он бежал без оглядки, сам не зная куда. Он мчался под гору, мимо убитых и раненых, ронял винтовку, падал, катился и полз. Он попадал во дворы, где были немцы, возвращался, менял направление и снова бежал, преследуемый выстрелами из винтовок и пулеметов. Его несла какая-то неведомая, невесть откуда взявшаяся сила. Им управляла одна-единственная мысль: бежать отсюда! Бежать как можно дальше! Он не видел и не слышал, как какой-то человек, конвоируемый немцами, на которых он чуть не наскочил, крикнул ему:

— Вниз! Беги вниз!.. Спасайтесь люди, пока целы!

И, испуганный выстрелом, он свернул к ручью и, словно во сне, бросился бежать по берегу, провожаемый пулями.

Было уже светло, когда обессиленный Ефта, почти без сознания, вбежал в какой-то двор и, заметавшись между постройками, не имея сил перепрыгнуть через высокий забор, свалился около стогов сена и осоки. Глухие, далекие выстрелы, доносившиеся словно из-под земли, заставили Ефту прийти в себя и вспомнить о своем положении. Он понимал, что где-то лежит, что его могут найти. Но, несмотря на все усилия, никак не мог поднять головы, оглядеться и встать. И только когда ему показалось, что он слышит поблизости голоса, Ефта вздрогнул и вскочил на ноги.

Вдруг он прикоснулся рукой к своей одежде и почувствовал что-то мокрое.

— Кровь! Кровь...— сказал он громко и испуганно.

Но это было только молоко.

«Как оно пролилось? Видно, когда я бежал»,— подумал Ефта и схватился за фляжки. Две фляжки были полны, третья пуста и пробита пулей насквозь. «Как плохо они стреляли, могли попасть в ногу и взять меня живьем»,— пришло ему в голову. «Где же это я, господи...— простонал он и поглядел сквозь забор.— Как раз посреди деревни! Вот и общинное управление! Что мне делать? Я, кажется, совсем рехнулся... Погляди-ка, сколько народу!»

Сквозь оголенные деревья сада, на перекрестке, метрах в трехстах, он увидел толпу крестьян, окруженную солдатами. Крестьяне были раздеты, разуты. Они стояли босые, в одних рубахах и длинных льняных цитанах. Видно, их схватили прямо с постели или когда они пытались бежать. Толпа, окруженная солдатами, походила на темный пруд, обсаженный вербами, сухие ветки которых торчат в сторону воды.

Медленно двигаясь, толпа колебалась, разливалась, меняя очертания. Вокруг, в дворах и проулках, кучами собирались женщины и дети, они протяжно и надрывно причитали и плакали.

Немцы пригнали еще несколько схваченных ими крестьян. Послышался мерный звук шагов, и к колонне приблизился взвод. Раздалась резкая команда; солдаты, охранявшие заложников, держа ружья наперевес, отошли в сторону.

«Сейчас расстреляют»,— подумал Ефта. Женщины, не спускавшие глаз с толпы, вскрикнули и заголосили.

По толпе заложников прошло движение. Один из пленных попытался бежать, но солдаты догнали его. Раздалось несколько выстрелов.

Офицер снова подал команду. Толпа крестьян дрогнула и раздалась, образуя нечто вроде строя в две шеренги. Однако построить их по правилам не удавалось. Офицер что-то кричал, кто-то переводил его слова, но крестьяне в ужасе снова ломали ряды. Это повторялось до тех пор, пока немцы не начали сами ставить их, как кукол, одного за другим. Дело шло очень медленно. Чувствуя приближение смерти, люди пытались продлить каждое мгновение. Наконец их построили. Офицер, идя вдоль строя, стал пересчитывать пальцем стоявших в первом ряду. Дойдя до конца, он остановился и задумался ровно настолько, сколько нужно, чтобы умножить в уме двухзначное число на два. Потом офицер обернулся к солдатам и что-то им приказал. Человек двадцать быстрым шагом направились к домам.

Вскоре послышались еще более громкие вопли. Это кричали женщины, которых сгоняли сюда, чтобы пополнить число заложников, предназначенных для казни. Перед смертью женщины больше, чем мужчины, думали о тех, кого они оставляют. Вырываясь из рук своих палачей, они вопили, отталкивали их и никак не хотели становиться в строй. Солдаты, потеряв терпение, согнали всех в кучу и, оцепив со всех сторон, погнали к стене общинного управления.

Здесь, на площади, немцы спешно установили несколько пулеметов и по команде открыли огонь.

Ефта зарылся головой в осоку и заткнул уши руками.

— Эх, свобода, свобода! Неужто мы все погибнем за тебя? Поливаешь ты кровью и сады и виноградники! Все посохнет от этой крови! Партизаны, дети мои! Что же будет с людьми? За кого же мы боремся? Дорого, ох, дорого обходится наша борьба! Я не, буду... Я больше не могу... Уйду! Совсем уйду! Не могу я больше... — И Ефта плакал громко, как ребенок. Старики всегда плачут, как дети...

15

Рано поутру в лагерь донеслись звуки стрельбы. Гвозден, лежавший у костра, встал и, встревоженный, направился в лес. Он переходил от дерева к дереву, останавливался, слушал подолгу, делал несколько шагов и снова останавливался, тревожно и настороженно прислушиваясь. У подножья горы, где, как море, клубился туман, загремели длинные очереди и частые залпы. Гвозден задрожал, не в силах подавить страх и тяжелые предчувствия. Убивают народ!.. Жгут деревни! Да, так и есть! Стреляют в той стороне, где его село. У него там дети, жена, дом. Кровь, пот и труд всей его жизни. Немцы знают, что он заместитель командира отряда. Его семью первую... Дом сожгут, всех убьют.

Гвозден еле брел по снегу...

Неожиданно он наткнулся на Николу, который ножом вырезал какие-то слова на гладком стволе бука. Гвозден хотел было незаметно обойти его, но Никола обернулся, посмотрел на него, словно желая о чем-то спросить, потом смутился и промолчал. Гвозден сам подошел к нему.

— Что это ты делаешь?

— Да вот, нашел его растерзанного в орешнике, внизу, у ручья. Заплатил, бедняга, жизнью за нашу победу. Пусть лесорубы и пастухи прочтут про него:

«Здесь в борьбе с двумя дрессированными немцами геройски погиб партизан Молния в январе...» — прочитал Гвозден. Надпись и тронула его и рассердила.

— Собаке памятник! Сколько народу гибнет!.. Уходи лучше! Ишь, расчувствовался, сапожник!

— Да тебе это чем мешает? Чего злишься?

Но Гвозден не успел ответить, его окликнул подошедший Павле.

— Ты куда? Почему ты один? Почему такой бледный? Уж не заболел ли ты?

— Нет, я не болен.

— Так в чем же дело? Почему ты молчишь? Ну-ка пойдем со мной!

— Нечего мне говорить. Не знаю, что со мною...

— Нам надо решить, как быть с отрядом. Думаю, что сегодня мы придем к соглашению. Тратить время на раздоры больше нельзя. Нынче вечером мы выступаем. Мы с тобой пойдем с ротой Вука. У нее самый тяжелый маршрут. А Уча пойдет со второй ротой. Мы прорвемся! Увидишь! Почему ты молчишь, Гвозден?

— Ты слышал стрельбу... Там, внизу?

— Слышал. Удивительно, что стреляют так сильно.

— Это, наверное, за вчерашний бой.

— Мстят, думаешь?

— Не сомневаюсь!

— Нет, не думаю. В теперешних условиях они не осмелятся этого сделать. Ведь тогда все деревни ушли бы в горы.

— Мы в тисках. Вот они и решили запугать народ и наказать его за то, что он помогает нам.

Павле принялся разубеждать Гвоздена. Но в глубине души он был тоже уверен, что там, под горой, немцы стреляют в крестьян, убивают их, как обычно,— сто за одного... И кто знает, что будет с отрядом.

Они подошли к отряду, когда он уже готовился к выступлению. Павле и Уча решили немедленно двинуться в Соколовицу*. Дозоры сообщили, что фашистские части и летичевцы несколькими колоннами приближаются к лагерю. Большинство партизан было одето в немецкие шинели и ботинки, некоторые взяли и каски. Затянутые, с автоматами, они походили на немцев, но им было неловко в чужой одежде. Смеясь и дразня друг друга, они перебрасывались немецкими ругательствами, которые знали все, даже крестьянские дети.

Уча стоял перед строем, усталый, бледный, с застывшей улыбкой на лице. Его раненая рука висела на красном платке. Надеть шинель он не мог.

— Производишь смотр гренадерам, Уча? — крикнул, стоя в строю, Джурдже, ничего не хотевший брать из трофеев, кроме ботинок и боеприпасов. Партизаны рассмеялись. Только стоявший немного поодаль Гвозден нахмурился.

— Ну-ка, гренадер, встань смирно и молчи в строю!.. Вчера вы повесили носы. А теперь мы могли бы разбить целый полк,— хвастливо говорил Уча.

— Все в порядке. Вот только брюхо! Если бы снег стал сахаром...— произнес кто-то в строю.

— Да халвы бы из него наделать... Молчи! Когда это мы были сыты? Мы — голодная армия! Ну, довольно! Сейчас некогда анекдоты рассказывать. Вы знаете, что на нас двинулись немцы. Мы должны быстро развернуться в цепь и сделать несколько кругов по лесу, чтобы запутать следы. А потом мы спустимся в Соколовицу. Только без шума! Шагом марш! — скомандовал Уча и пошел впереди.

Развернувшись в цепь, отряд двинулся лесом. Гвозден шел на правом фланге. Его злили эти дурацкие команды и разговоры. Он думал

---

* Село у подножья Ястребца.

о Павле, об Уче, обо всех этих бездомных, не знавших забот о семье. Поэтому они и о народе не думают... А если и думают, какой в этом толк!.. Но кто же знал, что так будет!

Уходя в партизаны, Гвозден решил идти до конца. Он был не из тех, кто останавливается на полпути. У него в жизни было только две цели. Первая — поднять и сколотить крепкое хозяйство. Он рано остался без родителей, всего на четырех гектарах земли. В 1918 году он женился, и у него родилось четверо детей. За несколько лет, владея маленькой усадьбой, которую он все время увеличивал и улучшал, Гвозден стал одним из самых образцовых и крепких хозяев в деревне. Во всем их уезде только у него одного были высшие сорта винограда, яблок и груш. Он стал известен как садовод; крестьяне со всех сторон приходили к нему за саженцами. Гвозден обрабатывал и растил свой виноградник и сад по советам уездного агронома и на сельскохозяйственной выставке получил первую премию за персик весом в 722 грамма. В сельскохозяйственном журнале появилась его фотография.

Но после 1938 года с ним произошла перемена. Он всегда любил читать. И теперь в долгие зимние месяцы, когда у крестьян мало работы, он взялся за книги Пелагича *. Эти книги изменили его жизнь. Мало-помалу он забросил хозяйство и ушел в политику. Она стала его первой заботой и его страстью. В ней он увидел новую цель, пусть не ясную, но большую, и посвятил ей себя целиком. На весенних выборах Гвозден боролся против правительственной партии. С тех пор он быстро и легко шел по своему пути все дальше и дальше. Гораздо легче и быстрее, чем тогда, когда поднимал хозяйство. На выборах он познакомился с уездным врачом, который еще в 1920 году был кандидатом от коммунистической партии в Скупщину. Гвозден сошелся с ним и сам стал коммунистом. Крестьяне подсмеивались над его новыми идеями, которые он громко проповедовал повсюду. Но они уважали его за рвение, с которым он отдался своему новому делу. Весь 1940 год Гвозден провел в военных лагерях, готовясь к войне, которая так и не состоялась. Преданная фашистскими генералами югославская королевская армия была разбита немецкими войсками в течение двенадцати дней.

Избежав интернирования в Германию, Гвозден в своей округе начал вести подготовку к новой войне, к той войне, которая только должна была начаться. И действительно, как только немцы вторглись в Россию, Гвозден, получив от партии задание, поджег несколько общинных управлений и в июле с десятком крестьян оказался в горах; здесь он стал заместителем командира партизанского отряда. Народ верил в скорую встречу с Красной Армией, и отряд стремительно рос. Но позднее, когда стало ясно, что революция — это не только восстание, но и длительная война, отряд стал меньше и в нем остались только люди, полные решимости идти до конца. Это было в дни, когда для поверженной Сербии победа была лишь далекой надеждой.

Среди этих людей был и Гвозден. Но его часто лишало покоя сознание безмерной цены, которой народ платит за эту войну. Эта цена обязывала выдержать до конца. Последнее наступление немцев он считал самым тяжелым из всего, что им уже пришлось пережить. Он был уверен, что оно определит судьбу их дальнейшей борьбы. Гвозден сам пугался своей тревоги, но она все больше овладевала им.

Обледенелая корка снега трещала и ломалась под ногами. Отряд быстро спускался с горы.

Павле пытался завязать разговор, но Гвоздену было не до него. Он продолжал молча и торопливо шагать.

---

* Васа Пелагич (1838—1899) — один из первых социалистов-утопистов в Сербии.

Они шли уже целый час. Вдруг где-то совсем близко разорвалась мина. Все остановились и прислушались. И почти сразу же, чуть правее, раздалось еще два взрыва. Прокатилось и замерло эхо, и наступила тишина. С веток, шурша, посыпался снег. Внизу, в сосняке, раздались голоса.

— Слышишь, Павле?

— Слышу. Это не солдаты?

— Нет, это крестьяне. Они убежали сегодня утром, когда стреляли по деревням.

— Может быть. Кажется, их много. Нехорошо, что они совсем рядом с нами. Если дело дойдет до стычки, они могут пострадать.

— Торопись! — передали по строю. И отряд двинулся. Вскоре он вошел в густой молодой сосняк. Пробираться было трудно. Партизаны шли, поднимая ветки, нагибаясь под соснами. Наконец они перешли ручей и остановились на Тонкой Косе, самом крутом и большом отроге, изогнувшемся, словно сабля, посреди склонов, холмов, полян и ручьев.

— Пойдем посмотрим, — сказал Гвозден Павле, направляясь в ту сторону, откуда недавно доносились голоса.

Часто останавливаясь и подолгу прислушиваясь, Гвозден перешел ручеек, журчавший под снегом и льдом, и поднялся по отлогому склону. Вдруг он услышал протяжный жалобный крик, но не мог понять, кто кричит. Так кричит заяц в зубах у лисицы. А быть может, это плачет ребенок? Но откуда здесь взяться ребенку? Ведь не побежали же они с малыми детьми! Гвозден пошел быстрей в ту сторону, откуда раздался крик, но скоро снова остановился. Наступила долгая тишина. Вдруг снова раздался тот же звук. Это ребенок... точно, ребенок. А вот слышатся и другие голоса.

Гвозден бежал, не обращая внимания на снег и ветки, хлеставшие его по лицу. Вскоре он очутился возле толпы беженцев.

В молодом сосновом бору, вперемежку с орешником и березами, на небольшой поляне, где лежали вырванные снарядами из земли деревья, расположились уцелевшие жители нескольких селений. Спасаясь от пуль и фашистских штыков, они разбежались в разные стороны, но страх снова согнал их всех вместе. Тут было человек сто — мужчины, женщины, дети,— две коровы и самые неожиданные предметы обихода, которые могли показаться нужными только очень испуганному человеку. Гвозденну не хотелось выходить. Спрятавшись за кустами орешника, он стоял, прислушиваясь к их разговорам, жалобам, ссорам и плачу детей. Ему хотелось узнать, кто они и откуда.

Почти все эти люди были полуодеты. Женщины укутывали испуганных и заходившихся от плача детей в одеяла, которые успели схватить с теплых постелей. Лица, ручки и ножки детей покраснели от мороза, как молодая кора вишни. Женщины рыдали и причитали вполголоса. Некоторые рвали на себе, как безумные, волосы, били себя кулаками в грудь. Бросались в снег и извивались в судорогах; колотились головой о землю, убиваясь по пропавшим и убитым детям, по угнанным и мертвым братьям и мужьям. Из всех несчастных самые несчастные всегда женщины.

Мужчины были в носках. Некоторые обмотали ноги тряпками или рукавами, оторванными от пиджаков. Многие были в одном исподнем — без курток, без шапок. Лица их онемели и застыли от горя. Это были люди, которые потеряли все и уже не знают, кого и за что жалеть. Старик с непокрытой головой, обросшей желтоватой щетиной, держал на веревке тощую корову и беззвучно плакал.

Кто захватил с собой топор, кто котел, кто машину для опрыскивания винограда, которую немцы обычно отбирают, потому что она сделана

из меди. У одного через плечо висела сбруя, у другого в ногах лежала солонина, третий держал банку свиного сала. Юноша захватил с собой аккуратно сложенную шумадийскую одежду из хорошего светлого сукна и щегольскую шляпу. Большая грудастая старуха держала мотки шерсти. Девушка захватила свое приданое: рубашки, чулки, передники. Бездетные женщины спасали свои сковороды, пестрые тарелки, жестяные кружки с нарисованными на них желтыми грушами.

Грудной младенец, завернутый в кофту, которую сняла с себя мать, молодая красивая крестьянка, заплакал у нее на руках.

— Люди, если есть у вас сердце, разложите костер,— с отчаянием умоляла она окружающих.— У меня из всей семьи он один остался... Разожгите костер, я согрею его, не то умрет.

— Да ты, баба, с ума, видно, сошла! На горе полным-полно палачей! Ведь они увидят дым! — кричала высохшая, сгорбленная женщина с грудой вещей.

— Да застынет он... ради бога, сестра! О, я несчастная!.. Разожгите, люди, братья! Ради бога, разожгите!

— Молчи, не кричи! Или хочешь, чтобы из-за тебя все погибли?

— У вас тоже дети!

— Дай ей дерюгу завернуть ребенка.

— Не дам! Ты дай!

— Что ж, я юбку сниму, что ли? Бессовестная!

Женщины подняли крик.

Потрясенный до глубины души этой картиной, Гвозден встал, весь дрожа, и вышел на поляну. От волнения он едва выговорил приветствие. Ему почти никто не ответил.

Увидев человека с винтовкой, женщины взвизгнули и бросились бежать.

— Это партизан! Гвозден. Не бойтесь! — крикнул кто-то им вслед. Плача в голос, они вернулись.

Гвозден и беглецы молча смотрели друг на друга. Гвозден дрожал. Ему казалось, что само горе кричит и в крестьянах и в нем. Он никого здесь не видел — он видел только горе. Мучительно молчать, мучительно говорить. Да и нечего говорить! И Гвоздену казалось, что это безмолвие вот-вот взорвется.

— Это мы из-за вас так маемся, товарищи,— с тихим укором заговорил старичок, державший корову.

Все удивленно и испуганно посмотрели на него.

Крестьяне были из чужой деревни, но большинство из них знало Гвоздена. Почти у каждого он ночевал или ужинал, почти с каждым вел долгие разговоры о крестьянских делах, об урожае, скотине.

— Не из-за нас, дедушка Васа, а за свободу,— едва выговорил Гвозден, которому стало как-то легче от слов старика.

— Вы дайте свободу живым, а не мертвым. Мертвые и без вас свободны! — крикнул кто-то со злобой.

— Ночью у нас перебили больше полсела... Может, и сожгли. Да и другие деревни тоже. И под горой стреляли, верно, и те деревни сгорели. Вот все, кто остался! Эти вот дети да раздетые женщины. И те перемрут на морозе.

— Вы убили вчера вечером сотню швабов, а теперь они весь уезд уничтожают! — прервал старика крестьянин в куртке, в белых домотканных штанах, в носках и без шапки.

Гвоздену казалось, что все, что он здесь слышит, доносится откуда-то издалека.

— Зачем же так, сынок? Почему вы нисколько не думаете о бедном народе? — продолжал старик.— Эх, Гвозден, злосчастный, да помнишь

ли ты о боге? У тебя ведь тоже и дом есть и дети. Как ты с нами сделал, так с тобой господь сделает! — Старик захлебнулся и замолчал.— Ты видишь ребенка. Вот он дрожит на снегу! — продолжал он, указывая рукой на мальчика лет четырех-пяти, одетого в куртку, полы которой волочились по снегу. Тонкие детские руки утонули в широких и длинных рукавах. Очевидно, мальчика голым подняли с постели, а потом уже кто-то напялил на него свою куртку.

— Всех у него убили. Отца застрелили, когда он бежал... Он один остался из всей семьи. Мы взяли его с собой. Видишь?

Гвозден поглядел на мальчика. Это был толстощекий и смуглый мальчуган. Глаза ребенка налились слезами, когда он услышал слова старика и вспомнил человека с винтовкой. Гвозден не мог выдержать его взгляда. Что-то сдавило и обожгло ему горло... Он хотел было спросить про свою деревню и семью, но удержался.

— Наше семя погибнет...— продолжал старик,— все живое убьют. Без народа останется Сербия! — И в отчаянии он разразился проклятиями.

— Вот и живи тогда! Правь на свободе, будь она проклята! — вставила старуха.

— Верно! Васа прав! Сто сербов за одного немца! Ну скажи, разве так когда-нибудь воевали? — поддержал разгневанного старика крестьянин помоложе, без шапки, с девочкой на руках, завернутой в толстое одеяло, из которого виднелась только прядка густых нечесаных волос.

— Сгинь с наших глаз, горе ты наше! — крикнула растрепанная женщина с выпученными, словно мертвыми глазами и бросилась к Гвоздену.

Гвозден дрожал все сильней.

Крики, плач, жалобы и укоры — все смешалось и перепуталось. Лес с беглецами закачался... Гвоздену тоже хотелось кричать, возражать, но у него не было голоса. Он схватился за ветку сосны, на него упал комок снега. Гвозден опомнился. Он попытался сказать им что-то утешительное, но слова его потонули в общем шуме.

— Чего ты орешь, бешеная? — кричала, гнусавя, женщина постарше, держа в руках сверток с какими-то платьями.— Привязала мужа к своей юбке, а Гвозден с моим сыном проливают свою кровь в Ястребце за тебя и твоих детей. Они больше терпят мучений, чем мы. Если бы твой Живан не бежал с войны да не бросил винтовку, ничего бы этого не было! Не гибли бы в горах партизаны!

— За меня воевать нечего! Пускай за тебя воюют! Почему же они не убивают немцев в городе, а только тут, у нас? — выкрикнула из толпы другая женщина.

— Постыдилась бы, гадина! Они, босые и голые, пошли в Ястребац да еще у тебя же должны просить кусок хлеба. Гвозден, сынок! Бейте фашистов где только можно! Видно, пришла наша погибель! Раз уж столько народу муку приняло — значит, больше деваться некуда, — закончила женщина и плюнула в снег.

— Что верно, то верно. Под самый корень нас подрубили! Мне теперь все равно. Пусть все пропадет пропадом,— медленно говорил кто-то позади Гвоздена.

Брань, плач детей и вопли женщин становились все громче. Люди метались, точно осы в потревоженном гнезде. Гвозден беспомощно и растерянно слушал, но ему стало легче оттого, что они ссорятся между собой и его оставили в покое.

— Тише, тише! Горы кишмя кишат фашистами! Они услышат! — сказал, внезапно появляясь из лесу, Павле.— Чего вы раскричались? Руганью тут ничему не поможешь.

Его строгий голос и решительный вид заставили всех замолчать. Женщины успокоились. Даже дети перестали плакать. Все смотрели на него обиженно и враждебно. Гвоздену было неприятно, что Павле застал его таким беспомощным. Он виновато опустил голову.

— Ну-ка давайте сначала разложим костер и согреем детей! — строго приказал Павле.

— Какой костер? Что же будет тогда с нами?

— Увидят дым.

— Убирайся, откуда пришел!

— Обойдемся и без тебя!

— Не шуметь! Что такое? — прервал их Павле и продолжал еще тише и спокойней: — Дыма не увидят, мы найдем сухое дерево. Если на вас нападут, отряд здесь поблизости, он защитит вас. Не бойтесь ничего. Давайте теперь собирать хворост! А ты, товарищ,— обратился он строгим голосом к юноше с суконной одеждой и шляпой,— иди прямо туда. Когда наткнешься на партизан, скажи командиру отряда Уче, пусть он даст тебе несколько плащ-палаток и шинелей — надо завернуть детей. Учу знаешь?

— Знаю.

— Ну, все в порядке. Попроси еще сахару для маленьких.

Женщины с детьми удивленно смотрели на него, бормоча что-то про себя.

— Так, комиссар! Нам нужна твердая команда, — одобрительно заметил крестьянин, который во время ссоры стоял за партизан. — Теперь мы квиты!

— Что было, того не воротишь. Нас совсем разорили, Павле, знай это! — сказал одноглазый крестьянин с тем разумным спокойствием, которое он приобрел в многочисленных бедах.

Гвозден тоже пошел собирать дрова. Ему было легче просто слушать, что говорят другие, и он невольно старался отвлечься каким-нибудь делом.

Костер с трудом разгорался и дымил, как на зло людям. Крестьяне махали шапками, разгоняя дым и подталкивая поближе к огню женщин и детей, которые, переругиваясь и толкаясь, толпились вокруг костра.

Наконец костер разгорелся. Крестьяне разложили еще два костра и, собравшись вокруг них, грелись молча. Партизаны принесли плащ-палатки и шинели. Сначала укутали детей. Все, что осталось, роздали тем, у кого ничего не было. Павле и Гвозден уселись рядом. Гвозден в нескольких словах, тихо, так, чтобы не слышали другие, рассказал, что случилось утром в деревнях.

Павле завел разговор с крестьянами. Он не утешал их. Он говорил им о цели, ради которой так страдают и мучатся люди. Он говорил, сочувствуя им, но не давал снова свести разговор на то, что случилось утром. Он говорил о подлой мести врагов и требовал, чтобы крестьяне еще активней боролись с оккупантами. Крестьяне часто прерывали его речь злобными выкриками. Они не хотели такой войны.

Слушая Павле, Гвозден хмурился и в душе возмущался. Ему казалось, что Павле не понимает ни крестьян, ни их несчастья. Он чувствовал, что во многом стоит на стороне крестьян, и ему было стыдно перед ними, когда Павле говорил им о счастливом будущем.

А Павле разошелся и все ярче рассказывал о том, какая жизнь будет после войны. Он никогда не мог говорить об этом спокойно и равнодушно и сейчас говорил с воодушевлением. Он так увлекался мечтами о будущей жизни и новом государстве, что вера его всегда заражала слушателей. Но сейчас эти обездоленные крестьяне слушали его с чувством обиды и отчужденности.

Вдруг на горе, над ними, затрещали пулеметы. Высоко над головами засвистели пули. Неподалеку взорвалось несколько мин.

Дети взвизгнули, женщины закричали. Все заметались, не зная куда бежать...

— Тихо! Не кричать! Отряд здесь, он защитит вас,— успокаивали их Гвозден и Павле, сами не понимая, откуда на них напали.

Подбежал партизан.

— Фашисты! Они увидали костер и подошли! Да и дети громко кричали,— сказал он, задыхаясь от бега.

— Скажи Уче, надо немедленно напасть на них. Беги скорей! Слушайте, люди...— Павле не договорил и инстинктивно бросился в снег.

На поляне взорвалась мина. Стоны и крики испуганных и раненых людей смешались с эхом от взрыва. Гвозден встал и попытался отыскать малыша в куртке. Но он не видел его. Крестьяне разбежались по лесу. Гвозден бросился вслед за Павле. Послышались крики и брань фашистов. Они приближались, стреляя в женщин и детей, бежавших по лесу.

Услышав в сосняке плач детей и вопли женщин, фашисты тут же бросились в наступление, но партизаны устремились им наперерез. Не колеблясь ни минуты, Уча скомандовал в атаку, и партизаны, стреляя на ходу, обрушились на этих солдат, одетых в коричневую форму. Гвозден, выхватив у кого-то из рук пулемет, бежал впереди и с ожесточением косил ряды врагов, сразу же обратившихся в бегство. Пробегая мимо убитых и стреляя в тех, кто еще не успел убежать за гребень, Гвозден наткнулся на раненого фашиста, тот внезапно вскочил и бросился на него со штыком. Гвозден едва успел увернуться. Штык прорвал его куртку. Фашист хотел повалить его, но Гвозден, удержавшись на ногах, вскрикнул, как бешеный, дал короткую очередь и, еще более разъяренный, побежал дальше.

Бой был коротким. Фашисты понесли значительные потери. Наголову разбитые, они бежали по лесу, чтобы собраться на горе, подальше от места боя. Опасаясь преследований, они долго и без передышки обстреливали сосняк из минометов и тяжелых пулеметов. Когда сражение окончилось, партизаны собрали трофеи и углубились в лес, на новую позицию. Вместе с ними ушла и часть беглецов. Несколько крестьян попросили винтовки и вступили в отряд.

— Идти нам больше некуда, а в деревню возвращаться незачем!

Партизаны окружили их, утешая и сочувствуя в несчастье. Гвозден вышел из боя последним. Он подошел к крестьянам и стал расспрашивать о мальчике в куртке. Ничего не узнав, он отправился искать его в лесу. Здесь повсюду лежали тела мужчин и женщин. Гвозден подходил к каждому и заглядывал в лицо. Малыша не было нигде. Гвозден пошел на место крестьянского лагеря, туда, где упала мина. Здесь он увидел несколько изуродованных трупов.

Снег был весь залит кровью. Женщине, которая утром так набросилась на Гвоздена, осколок гранаты пробил грудь. Убило и старика вместе с его коровой. Вытянув морду, корова неподвижными мутными глазами смотрела в лес, занесенный снегом.

Гвозден задрожал. Безнадежно, с ужасом в глазах смотрел он на еще теплые трупы.

Позади коровы зашевелилось что-то маленькое и черное. Кто-то прятался за ней. Гвозден подошел ближе. Это был малыш в куртке. Он старался забиться головой под мертвое животное.

— Сынок мой, не бойся...— со стоном сказал Гвозден. Ребенок молчал, еще больше зарывшись в снег и изо всех сил стараясь спрятаться за корову. Гвозден подошел к нему:

— Не бойся, маленький... не бойся, сынок...

Ребенок поднял голову и посмотрел на него.

— Дядя, дядя, не надо,— проговорил он и забился, как пойманная синица. Он уже не мог плакать. В его расширенных зрачках стоял ужас.

— Не бойся... дядя — партизан...— Гвозден взял его на руки и заплакал, целуя личико и голую ножку, с которой спустился чулок. Ребенок испуганно смотрел на него и молчал. Гвозден завернул его в куртку и понес в отряд.

«Это погибель... Все напрасно... Зачем же бороться? Уничтожили народ: из-за меня. Так больше нельзя. Не буду! Не буду! Бессердечные! Не чувствуют, не думают... разве это... разве я... я все им скажу!» — Беспросветное, тяжелое отчаяние сжимало ему сердце и мозг... Он еле дышал.

С ребенком на руках Гвозден дошел до партизан, отыскал Павле и, приблизившись к нему, прохрипел:

— Вот... Видишь?.. На вот теперь и воюй! Вот...

Он хотел сказать еще что-то, но у него не хватило сил. Вместе с ребенком он опустился на снег.

16

Страдание и возмущение бурей клокотали в душе у Гвоздена. Не помня себя, выкрикивал он страшные свои обвинения. Боясь, что Гвоздена могут услышать партизаны, Павле силком тащил его за собой, в кусты можжевельника, приговаривая какие-то слова утешения.

Наконец они очутились наедине, и сразу же воцарилось гнетущее молчание.

Павле внимательно наблюдал за Гвозденом и ждал, пока тот успокоится.

Поступок заместителя командира потряс его и заставил задуматься над судьбой отряда. Он и не подозревал, что кризис так близок. Столкновения в штабе, раскол в ячейке, деморализация отдельных бойцов были не только следствием разногласий по вопросам тактики. Он чувствовал, что назревает опасность для всех бойцов. Неожиданное поведение Гвоздена — старого партизана, человека храброго и решительного, который до сих пор никогда, ни при каких обстоятельствах не обнаруживал ни колебаний, ни страха,— свидетельствовало о том, что кризис этот наступил. Павле понимал, что от дальнейшего поведения Гвоздена зависит судьба отряда. И сейчас он больше думал о том, что сказать Гвоздену, как убедить его, что его поведение опасно для партизан, чем о причинах и поводах, которые довели заместителя командира до такого взрыва. Он понимал, что теперь все решают минуты и все должно определиться еще до ночи. Павле знал, что Уча находится на стороне Гвоздена, и это приводило его в отчаяние. Комиссар пытался успокоиться, сосредоточиться, привести свои мысли в порядок. Отвернувшись от Гвоздена, он смотрел в темную зелень хвои. Болезненная задумчивость все больше овладевала им.

Гвозден сидел, опустив голову; неясные, неопределенные мысли бродили у него в голове. Крестьяне, крестьянки, мальчик в куртке, фашист со штыком, стрельба, мертвые глаза коровы, вопль женщины, бескрайний, все поглощающий пожар — все эти картины, словно бредовые видения, вертелись и мелькали перед ним. Как бы стараясь отогнать их, он невольно встряхивал головой, но они назойливо возникали снова.

Наконец он очнулся, и им овладело чувство вины перед отрядом. Он вспомнил разыгравшуюся сцену и понял, почему молчит комиссар и как на допросе ждет его оправданий. Но тут же он понял, что его поступок вызвала его собственная совесть и что он должен принять сейчас окончательное и бесповоротное решение.

— Уйди! Я хочу остаться один! — неожиданно крикнул он, не глядя на Павле.

Но тот только повернул к нему голову и продолжал сидеть все так же неподвижно. Это молчание еще больше вывело Гвоздена из себя. В чем его вина? В том, что он нашел ребенка под мертвой коровой и принес его сюда? Скольких детей убили сегодня утром!.. Гвоздену вдруг захотелось рассказать комиссару обо всем, что он только что узнал. Но, поглядев на Павле, он вздрогнул и продолжал молчать.

Все видели, как он принес ребенка, все слышали его слова. Что собирается сказать Павле по этому поводу? Пусть говорит, что хочет! Он, Гвозден, будет поступать так, как ему подсказывает совесть.

Чем больше размышлял Гвозден, тем больше крепло в нем убеждение, что ни предложения Павле, ни план Учи не могут помочь отряду. Только временное его расформирование может спасти местное население и партизан от полного уничтожения. Но он все еще боролся с этой мыслью, которая преследовала его с утра.

Прошло больше получаса с того времени, как они вместе очутились в лесу. Наконец Гвозден заговорил, торопливо, резко, о необходимости как можно скорей, в эту же ночь, расформировать отряд.

Павле слушал его, пораженный, не перебивая. Только с трудом оправившись от неожиданности, комиссар заговорил интимным, товарищеским тоном:

— Неужели ты думаешь, что мне легко? Мне тоже очень трудно.— Павле вспомнил прошлую ночь и едва удержался, чтобы не поделиться с Гвозденом своими сомнениями.— Давай поговорим с тобой по-дружески, как товарищи. Что тебя мучит? Ты совсем изменился. Да, мы переживаем сейчас страшное испытание. Но мы с тобой обязаны выдержать все до конца. Стоит только поддаться своим чувствам — и все пропало!

— Какие там чувства! — воскликнул, прерывая его, Гвозден.—Ты видишь, какое несчастье постигло народ! Ты — коммунист? Ты думаешь о народе? Ты — комиссар? Партия не может действовать так, как действуем мы. Это не линия партии! Это уничтожение народа! — Он вдруг перестал кричать, помолчал и уже тише добавил: — Нам надо сберечь и отряд!

— Хорошо, Гвозден, но скажи, что было бы с нашей борьбой и с социализмом, если бы мы стали вести такую политику, какую ты предлагаешь? Мы не имеем права думать о жертвах. Если бы мы, коммунисты, не решили этого вопроса для себя окончательно, революция погибла бы. Подумай, что будет, если мы разгоним сейчас отряд? Начнется общая деморализация — и борьба угаснет. Нет, никогда, ни за что не позволю я расформировать отряд,— твердо сказал Павле. Голос его вздрагивал.

— Я не деморализован! Я не стою за прекращение борьбы! — с возмущением и злобой крикнул Гвозден.

— Сегодня нет. Но если ты и дальше позволишь, чтобы тобой владели такие настроения, ты дойдешь и до этого. А ты — заместитель командира отряда! Ты видный политический деятель в этом районе! Я тебе откровенно говорю: расформирование отряда означало бы твое полное крушение. Ты не должен допускать этого. Как товарищ и друг, говорю тебе: я не допущу никаких разговоров на эту тему, потому что считаю, что это ведет к измене и к гибели отряда. Ты сейчас расстроен, ты не в силах принять разумное решение. И это совершенно понятно. Поэтому я и хочу, чтобы ты послушался моего совета.

— Какого совета?

— Пойми же наконец, у нас есть только один выход — покинуть

Ястребац и оставаться на новом месте до тех пор, пока немцы не уйдут отсюда. Мы должны сделать это сегодня же ночью.

— Я не согласен с этим! Я считаю, что это вовсе не выход. Наоборот, именно это полный разгром и уничтожение отряда.

Павле с изумлением смотрел на него. Он не ожидал, что Гвозден будет так упрямо отстаивать свое мнение. Что же еще испробовать, чтобы переубедить его? Может быть, лучше оставить его в покое. Но вдруг он выступит перед отрядом? Ведь это опасно!

Павле снова начал подробно разъяснять Гвоздену всю пагубность его позиции.

— Прошу тебя, Гвозден, подумай серьезно. Не забывай о своих обязанностях и о своей роли в отряде. Еще раз повторяю, от твоего поведения зависит судьба отряда. У тебя есть несколько часов, взвесь все хорошенько. Я все равно осуществлю то, что решил. Это мой долг. Больше мне нечего тебе сказать.

— Не к чему мне больше раздумывать! Подумай-ка лучше ты! Нельзя нам принять твой план. Нельзя — и все тут!

Павле встал и ушел, даже не обернувшись.

«Что он может сделать со мной? Все равно все погибло. Пусть и он от меня отвернется... Пусть сменит, пусть накажет... Пусть делает все, что ему угодно. Я не заслужил, чтобы со мной так поступали... Я отдал борьбе больше, чем он. Я ей отдал все... Он собирается выставить меня изменником... Изменник! Я! Почему же? А отряд!.. Я заместитель командира. Партизаны всё видели. Они всё слышали... Ну и пусть!» — В Гвоздене накипало отчаяние.

17

У Павле было одно-единственное желание: только бы немцы не напали до сумерек! После утреннего боя большие колонны неприятеля уже перешли гору и, как сообщали дозоры, окружили Соколовический сосняк. Три-четыре часа, которые еще оставались до конца дня, должны были решить судьбу отряда.

По лесу разлилась сероватая тишина, полная страха и предчувствия беды. Небо, как серая шубара, опустилось на гору. Павле казалось, что все здесь — и горы, и небо, и снежная белизна, и черные тени вечнозеленого леса,— все... это лишь ужасающая, зияющая пустота. Бор, где находится отряд, темные кучи облаков, он, Павле,— все повисло над бездонной, бескрайней тишиной. И теперь, онемев от страха, ждет, что из бездны вырвется мрак и поглотит гору, на которой он стоит.

Павле поднес часы к уху, но ему показалось, что это не часы, а само время, кузнец-великан: молотом, огромным, как земля, он неустанно и неумолчно ударяет по тишине и кует секунды, секунды складывает в минуты, а минуты уже сами собираются и строятся в часы.

Каждый час дозоры сообщали, что у леса собирается все больше и больше немцев; они движутся полукругом, явно намереваясь окружить отряд.

Павле боялся, что неприятель нападет на них еще до ночи, и поэтому все больше думал о Гвоздене и о своем разговоре с ним. Он считал, что именно эта новая, внезапно возникшая опасность была сейчас самой грозной из всех. Что будет с ними, если Гвозден выступит перед бойцами? Его мнение, наверняка, найдет поддержку у местных партизан. Это может привести к деморализации и дезертирству. Необходимо как-то обезоружить Гвоздена! Но Павле и сам не знал, как именно. Если бы еще Уча придерживался другого мнения!.. Павле понимал, что он стоит перед такой тяжелой задачей, с какой никогда еще не сталкивался в своей партийной, политической работе. Это сознание мешало ему ду-

мать и принять решение. Все его мысли вертелись только вокруг того, что ночь уже близка, словно именно ночь сможет решить все.

В это время к нему подошел Уча, чтобы договориться о дальнейшем маршруте.

— А ты знаешь, почему Гвозден настаивает на том, чтобы мы остались на Ястребце? — прервал его Павле, решив во что бы то ни стало склонить его на свою сторону.

— Почему? Разумеется, из тех же соображений, что и я.

— Ошибаешься!

— Тогда почему же?

— Неужели тебе показалось его поведение совершенно обычным, когда, обезумев и потеряв голову, он принес ребенка и сказал нам: «Вот теперь и воюй!» Неужели это не навело тебя на размышления?

— Нет... Просто человек был страшно потрясен всем, что увидел... Он сам отец, надо понять его. Эти беженцы действительно страшное зрелище, — не вполне уверенно проговорил Уча.

«Неужели Уча действительно так думает? А может быть, он тоже... Но в чем причина? Почему же и он?» — думал с сомнением Павле. У комиссара была особая манера слушать и рассматривать людей; он как бы всем существом старался проникнуть в смысл их слов, разгадать, что кроется за их улыбками и жестами. И теперь он внимательно, словно изучая, вглядывался в командира.

— Дорогой мой Уча, только что у нас с ним был большой разговор. Гвозден деморализован! — и Павле намеренно сделал паузу, чтобы проверить впечатление, произведенное его словами. Уча смотрел на него недоверчиво.

— Да, да! — продолжал Павле.— И вряд ли это малодушие или временный кризис.

— Перейди к делу! — нетерпеливо прервал его Уча.

— А дело вот в чем: он сломился, узнав о расстреле заложников. Кроме того, он уверен, что его семья стала жертвой мести оккупантов. Он просто убежден в этом, хотя доподлинно ему ничего не известно. Но в том настроении, в каком он находился, факты играли очень маленькую роль. Их заменяет воображение. Гвозден предлагает распустить отряд до тех пор, пока обстановка не улучшится. Вот почему, Уча, он не хочет уходить с Ястребца. Значит, речь здесь идет вовсе не о разногласиях в тактике, а о чем-то гораздо более важном.

— Черт побери! Да неужто он именно так думает? — сказал потрясенный Уча, хватаясь за голову.

Павле помедлил немного и продолжал:

— Его крестьянская душа сейчас разрывается на части между домом и детьми, то есть своими кровными интересами, и интересами борьбы и отряда. Это извечная драма крестьян в революции. Настроения Гвозденa совершенно ясны, здесь не может быть никакого сомнения. Все, что он сейчас сказал, только подтверждает мое мнение.

Павле замолчал. Уче казалось, что Павле говорит не только о Гвозденe, но метит и в него. Но ведь причины, по которым он, Уча, не хочет оставлять Ястребац, прямо противоположны мотивам Гвоздена.

— Послушай, Павле! Если ты намекаешь на меня — это оскорбительно! Ты хорошо знаешь, чего я хочу,— сказал он с укором.

Павле почувствовал, что наконец-то он может заставить Учу убедиться в своей правоте.

— Твои личные чувства и намерения не имеют никакого значения, но объективно твоя позиция ведет к разгрому отряда. Для дела совершенно неважно, что ты вовсе этого не хочешь. Но я предотвращу нашу

гибель! Я использую все средства и все права, какие только есть в моем распоряжении! И я решил тебе это сказать,— твердо закончил Павле.

Он намеренно не стал развивать свою точку зрения дальше. Он ясно чувствовал тайную нерешительность Учи, а также свое превосходство над ним. Он видел, что этот разговор встревожил командира и заставил его поколебаться. И Павле решил как можно скорее сломить его сопротивление и покончить с ненормальным положением и в отряде, и в штабе. И поэтому, не спрашивая Учу, он вызвал Гвоздена и сказал им обоим, что, в связи с переходом в новый район, надо заново распределить людей по ротам.

Гвозден немедленно и решительно воспротивился этому приказу. Он, видимо, решил любой ценой настоять на своем.

Уча внимательно слушал Гвоздена, словно стараясь проникнуть в его душу и проверить слова Павле.

Осторожно, скрывая волнение, Уча сказал, что он, лично как командир отряда, из чисто военных соображений остается при своем мнении. Но что мотивы, по которым действует Гвозден, ему не известны.

— Не смейте так разговаривать со мной! Вы хотите выставить меня изменником! Позор! Как вам не стыдно! Я не дам погубить отряд. Я несу за него ответственность наравне с вами. Больше половины здешних партизан — крестьяне, которых я сам мобилизовал! — вне себя кричал Гвозден, глядя с одинаковой ненавистью и на Павле и на Учу, и со всей резкостью продолжал настаивать на необходимости временно распустить отряд.

— Спокойнее! Не кричи так,— хладнокровно и тихо прервал его Павле.— Я сейчас созову партийное собрание. Мы освободим тебя от должности заместителя командира отряда,— добавил он и пошел созывать коммунистов.

— Не ты меня назначил, не тебе меня и снимать! — крикнул вдогонку ему Гвозден.

Уча и Гвозден остались одни. Уча не знал, что теперь делать. Если он и дальше станет настаивать на своем мнении, это будет означать, что он с Гвозденом заодно. Нет, Павле прав. Гвозден деморализован. Как же теперь быть? Павле упорный, он не отступит от своего плана. Если и дальше продолжать противоречить ему, это приведет к расколу и к гибели отряда. Но согласиться с планом Павле Уча тоже не мог. Он был убежден, что это приведет к поражению. Как же следует им поступить?

— Гвозден, да что это с тобой? Почему ты так себя ведешь? Подтянись! Нельзя так распускаться. Скажи, пожалуйста, что заставляет тебя настаивать на своем решении? — заговорил, обращаясь к Гвоздену, Уча.

Гвозден упорно молчал и задумчиво поглаживал пальцем блестящий шарик на рукоятке затвора.

И Уча почувствовал, что необходимо пересмотреть все, во что он сам непоколебимо верил еще полчаса назад. Самоуверенность и авторитет Павле как бы опрокинули все его доводы.

Наконец собрались члены партии. Павле в нескольких словах изложил им свое мнение о необходимости сегодня же ночью прорвать блокаду и перейти в новый район. Он потребовал от командиров полного одобрения своего плана. Затем он сообщил им, что Гвозден деморализован и что его надо немедленно снять с должности заместителя командира отряда. Услышав это, партизаны с удивлением переглянулись.

— Неправда, товарищи! — крикнул Гвозден.— Вы меня знаете! Разве я трус? Пусть кто-нибудь скажет, поколебался ли я хоть раз за эти полтора года? Проявил ли я когда-нибудь страх?

— До сих пор этого не было. Но теперь, во время вражеского наступления ты полностью деморализовался,— перебил его Павле.

Коммунисты толпой окружили их и стояли в недоумении, перешептываясь.

— Вы ведь согласны со мной, товарищи? — сказал Павле, обращаясь к окружающим.

Наступила секундная тишина. Затем несколько человек, в том числе Никола, Вуксан и Вук, выступили вперед и сказали, что они полностью согласны с комиссаром.

— Ладно! — промолвил Гвозден. Он был оскорблен и зол.

Почувствовав, что большинство на его стороне, Павле намеренно не стал ставить вопрос на голосование и подробно обсуждать план предстоящей операции. Он только сказал, что Мирко и Вуку поручается провести переформирование рот, и потребовал сохранения полной тайны. Он запретил сообщать что-либо отряду впредь до его распоряжения.

— С освобождением Гвоздена от должности я согласен. Что касается ухода с Ястребца, то это решение кажется мне опасным. Я его не понимаю, я с ним не согласен. И все тут! — взволнованно заявил Уча.

— Никаких разговоров больше! — сразу же звонким голосом оборвал его Павле.

Решительность Павле обезоруживала Учу и смущала противников комиссара. Зато его сторонники оказали ему горячую поддержку.

Без лишних слов, быстро и энергично Павле взялся за осуществление своего плана. Глядя на него, можно было подумать, что он ни секунды не сомневается в правильности своих решений и действий. Однако это только казалось. Если бы существовал прибор, который мог бы графически изобразить на листе белой бумаги путь, который описала мысль комиссара за последние два дня, он вычертил бы бесконечно изломанную и много раз перечерченную кривую. Но об этом знал только сам комиссар.

Уча напряженно следил за Павле. Ему было страшно тяжело. Он хотел громко орать, возражать; мысленно он так и делал. Но челюсти его были судорожно сжаты, он не мог произнести ни слова. Наконец отчаяние его сменилось каким-то равнодушием, смешанным с удивлением и завистью. И он ушел. Он брел, сам не зная куда, не замечая ни снега, ни леса, ни все сгущавшихся сумерек, переходивших в темноту, ни вопросительных взглядов партизан, мимо которых он проходил.

Приближалась ночь. Павле был спокоен и ощущал даже радость. Сегодня наконец-то осуществится его замысел; впервые он избавится от гнетущего страха перед нападением немцев. Пытаясь согреть замерзшие ноги, он топтался на месте, обдумывая предстоящий ночной переход Моравы и предстоящие бои. Он был совершенно твердо уверен в успехе своей операции. Отставку Гвоздена он воспринимал как неприятную, но неизбежную необходимость. Правда, ему было немного жаль Гвоздена, но гораздо больше тревожила его мысль о том, как воспримет это отряд, особенно партизаны из местных жителей, которые любили Гвоздена. Павле считал, что крестьяне всегда сочувствуют и жалеют друг друга, что все они связаны кровными узами.

Наступила темнота. Отряд построился на узкой, изогнутой полянке. Павле и Уча встали рядом. Гвозден стоял поодаль и остановившимся взглядом смотрел в лес. Уча в шинели внакидку, держа руку на перевязи, выпрямился и резко, но не громко скомандовал:

— Отряд, смирно!

Вяло и нехотя, вовсе не по-солдатски, партизаны встали смирно, опустив винтовки к ноге.

— Станко, разве так держат пулемет по команде смирно? — сердито прикрикнул Уча.

Станко безучастно поправил пулемет.

— Говори! — обратился Уча к Павле.

Тот, надвинув на лоб пилотку, смотрел на партизан. Ему казалось, что они уже знают о решении, которое он собирается им сообщить. Он постоял, как бы размышляя с чего начать, и сделал два шага навстречу шеренге.

— Товарищи! Сегодня вечером мы оставляем Ястребац. Мы разделимся на две группы и направимся в двух противоположных направлениях. Уйдя в новые районы, мы ускользнем от немцев. За все время существования отряда перед нами еще не стояло такой трудной задачи,— так начал Павле, обводя взглядом бойцов и следя за тем, какое впечатление производит на них его речь. Он увидел сомнение на некоторых лицах и решил во что бы то ни стало его побороть. Он подробно охарактеризовал все трудности, которые их ожидают, но выразил полную уверенность в конечной, несомненной победе отряда. Только трусы и люди, которые, как кошки, привыкли к своим домам, могут боятьея предстоящей нам операции! — При этих словах ему послышалось, что Гвозден кашлянул. Гул негодования пронесся по строю.

— Я убежден, товарищи, что, кроме одного человека — человека, в котором мы никогда раньше не сомневались, — в нашем отряде нет трусов! — уверенно заключил Павле.

Партизаны с удивлением смотрели друг на друга. Павле сделал паузу, выжидая, не раздастся ли какого-либо возражения или замечания.

— Разве могут быть трусы среди партизан?! Если есть здесь такие, которые пришли в отряд, чтобы воевать только на своих полях и в своих садах и бросить винтовку при первом же затруднении, ну что ж, пусть выходят вперед, сдают оружие и отправляются по домам! Ну, кто здесь трус? Кто не хочет бороться? Вперед! Без них мы сильнее! — Павле остановился в ожидании.

В строю послышался громкий ропот.

— Да что это такое, товарищ комиссар? Ты про кого это говоришь? — спросил пораженный Джурдже.

— Есть среди нас такой трус! — произнес Павле со злобой и ненавистью в голосе.— Это Гвозден, товарищи! Он требует, чтобы мы распустили отряд. Он утратил веру в нашу борьбу. Он испугался наступления и мести немцев. Я должен сообщить вам, что за это он снят с должности заместителя командира отряда.

На мгновение наступила тишина, потом по поляне прокатился гул приглушенных голосов; до Павле донеслись возгласы негодования. Он хотел было говорить дальше, но Гвозден перебил его.

— Он говорит неправду! Не в этом дело! — крикнул Гвозден, сделав несколько шагов по направлению к Павле, который не ожидал от него такого отпора.

— Павле называет меня трусом и паникером, — продолжал, запинаясь от волнения, Гвозден. — Но ведь Уча тоже не согласен с его планом!..

— Говори за себя! Не вмешивай меня в свои дела,— прервал его Уча.

Партизаны были еще больше поражены.

— Хорошо! — презрительно сказал Гвозден, посмотрев на Учу. Повернувшись к строю, он продолжал:

— Павле ведет нас на гибель. В такое время он тянет нас в самое гнездо четников. Здесь нас поддерживает весь народ, там нас разобьют и уничтожат. Мы докатимся до полного поражения.

— В борьбе за свободу нет поражений! Не так ли, товарищи? — прервал его Павле.

Партизаны не ответили.

— Павле действует самовольно! Окружной комитет не давал такой директивы,— продолжал Гвозден.

— Неправда! Не самовольно! Мы согласны с ним! — выкрикнули одновременно Никола и Вуксан.

Павле почувствовал, как дрожь пробежала у него по телу. Он не знал, куда деть руки, и от волнения переступал с ноги на ногу. Выступление Гвоздена застало его врасплох. С лихорадочной поспешностью искал он выхода из создавшегося положения. Больше всего он боялся, что среди партизан возникнут разногласия — и тогда отряд расколется.

Он вопросительно смотрел то на Учу, то на Вука, то на партизан. Но те в свою очередь ждали, что он им скажет. Только в одном был Павле совершенно уверен: надо скорее предпринять что-то, немедленно и решительно. Но что? И как? Мысли вихрем проносились у него в голове. В это время слово взяли Никола и Вуксан, и Павле вздохнул с облегчением. Он сможет выиграть время, прежде чем принять окончательное решение.

— Ты оппортунист!.. Паникер!.. Ты просто маскировался до последнего мгновения. А теперь ты полностью проявил себя,— ожесточенно напал на Гвоздена Вуксан.

Гвозден сделал несколько шагов вперед и крикнул: — Не пойду никуда из Ястребца! У нас сожгли дома, перебили детей, столько народу уничтожили!.. Я не хочу воевать за голую землю! — он показал рукой в сторону деревни.

— Товарищи, все, кто из этих мест, у кого сегодня утром разрушили дома, за мной! Я поведу вас! За мной, товарищи! — обезумев, кричал Гвозден. Голос его дрожал, лицо налилось кровью.

— Стой! Замолчи! — крикнул Павле и направился к нему.

Наступила напряженная тишина. Отбросив колебания, Павле крикнул громовым голосом:

— Вук, разоружи его!

Вук в нерешительности не трогался с места.

— Чего ждешь? Приказываю!

— Ты мне не комиссар! Я себя сам вооружил! Не дам оружия! — кричал Гвозден.

К нему подошел Вук и направил на него винтовку.

— Бросай оружие!

— Товарищи партизаны, вы видите? Чего же вы смотрите?.. Бабы вы! — в отчаянии обратился к бойцам Гвозден.

— А может, все-таки без стрельбы обойдется? Павле, что же это такое? — вмешался Джурдже и вышел из строя.

— Ты чего лезешь? Молчи! — прикрикнул на него Никола и, схватив за рукав, втащил его снова в строй.

Джурдже, оскорбленный, вырвал руку, сплюнул и замолчал.

— Последний раз говорю: давай оружие!

Гвозден уступил без сопротивления. Вук взял у него и револьвер.

— Чего вы хотите от меня?! Я — коммунист. Я могу бороться с вами и без оружия! — Гвозден резко и гордо выпрямился.

— Он больше не коммунист! — обратился Павле к отряду, не глядя на Гвоздена.— Его будет судить военный суд! Он отвечает за попытку расколоть отряд, а это измена! — Голос Павле дрожал.— Товарищи, в состав военного суда я предлагаю товарищей Учу, Вука и Николу... Остальных предлагайте вы! — добавил он, понимая, что будет лучше, если партизаны сами выберут состав суда.

— Вуксана! — выкрикнул кто-то.

— Согласны? — спросил Павле.

Послышались голоса одобрения.

— Нужен еще один,— сказал Павле, заметив на лицах окружающих страх и недоумение.

Партизаны переглядывались. Такого еще не случалось. Никогда! С тех пор как существует отряд! Уча стоял, опустив голову, и смотрел прямо перед собой.

— Я пойду! — сказал Аца и вышел вперед.

Все удивленно посмотрели на него.

«Почему же он? Он — критикан, не годится! Может быть... Нет, не следует возражать. Быстрей! Надо решать быстрей!» — проносилось в голове у Павле.

— Вы согласны?

И опять всего только несколько человек ответили, что согласны.

«Почему остальные молчат? Не согласны?.. Сомневаются... Все сомневаются?..» — думал Павле, собирая лоб в морщины. Его била лихорадка. Он чувствовал, что сейчас решается судьба всего отряда. Но не мог уже отступить. Будь что будет! Он должен идти до конца. И, собрав последние силы, он снова приобрел власть над собой.

— Идите в лес. Там все решите! — сказал он каким-то чужим глухим голосом.

Судьи направились в сосняк. Уча шел последним.

Небо было тяжелым, сумрачным, и этот сумрак неслышно опускался на землю. Далеко в лесу завыли голодные волки, точно на перекличке перед наступлением ночи. Павле задрожал еще сильнее, стараясь подавить зловещее предчувствие. Партизаны застыли, словно обледенелые деревья. Не слышно было ни слова, ни шороха. Гвозден стоял неподвижно, глядя поверх партизан, и внимательно прислушивался к завыванию волков.

— Мирко! Прочитай список переформированных рот! — приказал Павле, чтобы чем-нибудь нарушить эту ужасную тишину и направить мысли людей в другую сторону.

Мирко начал читать. Зачисленные в первую роту делали шаг вперед. В таких случаях партизаны обычно шумят, протестуют, поддразнивают друг друга, перебрасываются шутками. Ведь рота — это та же семья. Люди привыкают друг к другу. Жизнь каждого товарища, его достоинства и недостатки известны всем до мелочей. Все уже успели сродниться. Партизаны не любят перемещений, когда их словно вырывают из живого организма роты, в который они вросли. У каждой роты свой особый характер, своя мораль, свои тайны, свои привычки — и в лагере и в бою,— свои песни и шутки, свое честолюбие и гордость. Но на этот раз партизанам было все равно, в какую роту их зачислят.

Не успел Мирко закончить чтение списка, как Уча, Вук и другие члены суда возвратились на поляну. Они ступали медленно и тяжело, словно таща кандалы на ногах. Взоры всего отряда устремились на них. Выражение их лиц не оставляло никакого сомнения в ответе на мучивший всех вопрос.

Один только Гвозден оставался попрежнему неподвижным и безучастным, словно он все еще прислушивался к вою голодных волков.

— Вук, огласи приговор! — приказал, прерывая молчание, Уча. Павле быстро обежал взглядом строй.

Бойцы замерли и затаили дыхание.

Вук нахмурился, откашлялся и вздрагивающим голосом произнес:

— Военный суд приговорил Гвоздена к смерти...

В строю кто-то охнул, несколько человек глубоко вздохнули, Вук остановился, как будто ожидая чьих-то возражений, и продолжал: — ...за то, что в труднейшие минуты нашей борьбы Гвозден попытался расколоть отряд и тем, так сказать, оказался повинным в тягчайшей измене. Он стал предателем!.. И мы решили!.. Единогласно! — выкрикнул он внезапно, словно стыдясь своей корявой речи.

В строю послышалось всеобщее движение, вздохи и шепот. Этот шепот пронесся, как ветер, в сухих стеблях кукурузы.

Гвозден вдруг встрепенулся и вздрогнул всем телом. Повернув голову, он посмотрел на Вука и снова замер. Только руки его судорожно вцепились в края гуня. Кровь разом отхлынула от его лица, оно вдруг посерело; таким серым и немым оно и осталось до самого конца.

Смертный приговор поразил даже Павле. Сердце его судорожно забилось, голова налилась свинцом.

«Да, но так должно быть! Это необходимо! Этого я и хотел. Правильно! Но что же теперь делать? Расстрелять его?.. Сразу... Да нужно ли? Это, может быть, вовсе и не нужно?.. Нет! Нужно! Нужно и необходимо!» — кричал в нем какой-то голос. Павле чувствовал, что весь отряд смотрит на него. И, словно прислушиваясь к этому внутреннему голосу, он поднял голову.

«Мне жаль товарища Гвоздена»,— хотелось сказать Павле, но вместо этого он с ожесточением и ненавистью стал красноречиво и убедительно обосновывать правильность решения суда.

— Хватит!.. Не срами меня! — голос Гвоздена прозвучал, как сломанная сабля. Он шагнул вперед, выпрямился, зло и упрямо поднял голову, хлестнул взглядом по строю и напряженным, вздрагивающим голосом сказал:

— У вас нет сейчас времени рассуждать о справедливости. Вы торопитесь. Не теряйте из-за меня времени! — Он хотел сказать еще что-то, но вдруг, словно опомнившись, вздрогнул и деловито добавил:

— Вот, товарищи, у кого нет одежды, пусть возьмет мой гунь!

Гвозден размашистым движением расстегнул гунь и, бросив его на землю перед строем, остался в поношенном черном свитере.

Павле била лихорадка. Дрожал и весь отряд. Всех охватило чувство сострадания и ужаса, кажется, слышно было, как стремительно стучит кровь в сердцах у людей. Казалось, достаточно одного слова — и весь отряд, даже те, кто был против Гвоздена, бросятся к нему на помощь и вырвут у смерти. И Павле понимал это. Это была его самая сильная, единственно сознательная мысль. «И тогда... Что будет с нами тогда? Нет! Нет!» Он напряг все свои силы и резко, словно команду, произнес:

— Вук! Возьми еще одного человека. Приведи приговор в исполнение!

— Не нужно второго! Пошли! Прощайте, товарищи! — сказал Гвозден и пошел впереди Вука.

Единственный человек, на которого Гвозден взглянул уходя, был Уча. И Уча ответил ему пустым, бессмысленным взглядом.

Люди в строю переглянулись. Гвозден и Вук вошли в лес.

Подняв винтовку, Вук шел следом за Гвозденом. Вук ни одной секунды не сомневался в справедливости приговора, но ему было страшно тяжело. Он пытался понять, как все это произошло; старался припомнить все свои разговоры с Гвозденом. И он вспомнил сомнения и страхи Гвоздена прошлой ночью, все его слова.

— Вот здесь можно,— спокойно сказал Гвозден и остановился на берегу ручья.

Вук задрожал. Он нерешительно поднял винтовку, глядя в темневшее в сумерках лицо. Оно было попрежнему спокойно.

— Вук! Вытащи из ствола тряпку, разорвет ствол! — напомнил Гвозден.

— Да почему же ты, Гвозден? Что с тобой случилось? — вырвалось у Вука, и судорога исказила его лицо.

— Стреляй в голову, только сразу!.. Чего ждешь? Давай!..

Вук нажал на спуск.

Когда Вук шел назад, он едва держался на ногах. Ему казалось, что он сейчас упадет.

...Вскоре две небольшие колонны двинулись по лесу в разных направлениях. Они покидали Соколовицу, окутанную вечерним январским туманом.

18

Есть люди, которые надолго остаются в памяти окружающих. Необыкновенная смерть делает необыкновенной даже самую маленькую, обыкновенную жизнь. Героев помнят чаще всего по их необычной смерти.

Такой казалась Уче смерть Гвоздена. Героическое поведение партизана перед казнью потрясло командира. Его не переставало мучить чувство собственной вины и ответственности. Вообще Уче несвойственно было раскаиваться в своих поступках. Он не старался критиковать свои ошибки, не копался в себе. Именно его самоуверенность и давала ему превосходство над окружающими, даже над теми, кто считал его недалеким. Но вся эта история с Гвозденом, разговор с Павле, собрание, выступления перед строем, а особенно его собственное участие в вынесении смертного приговора — все это лишало его покоя и заставляло страдать.

Шагая за дозором впереди колонны, которая змеей извивалась по темному лесу, осторожно обходя немецкие засады, он совсем забыл об опасности, все думал о Гвоздене и о себе.

«Гвозден, и умирая, остался верен своим убеждениям. Его выступление таило страшную опасность для отряда. Если бы Павле не проявил такой решительности, кто знает, чем бы все это кончилось. Но как он держался перед смертью!.. Какое превосходство прозвучало в его голосе, когда он сказал: «У вас нет времени». Каковы бы ни были причины его поступка, он проявил замечательное мужество. Только исключительно сильные люди способны так поступать. Но много ли их, этих людей. Вот и он, командир, заколебался!

Почему он сдался, раз он уверен в своей правоте? Он заставил себя отказаться от собственного мнения, для того чтобы сохранить единство, да, ради единства отряда и партийной дисциплины. И пошел на авантюру, которая, несомненно, приведет к гибели весь отряд. К чему же тогда его совесть, воля, готовность отдать свою жизнь борьбе?! Почему он прямо не выступил против Гвоздена и не стал в то же время защищать своей собственной точки зрения? Неужели пустое, чисто формальное единство важнее, чем судьба отряда?.. Неужели он должен действовать вопреки здравому смыслу. Если нет веры у командира, значит, нет веры и у бойцов. Они инстинктивно чувствуют, что он колеблется. Нет, бой проигран заранее! И куда они пойдут? Сейчас вот, ночью? А завтра? А потом? И чем все это кончится?

Вот Павле, тот никогда не колеблется в выборе средств. Он ни перед чем не остановится, чтобы осуществить свой план. Но, может быть, он тоже сомневается?.. Ведь мы беспощаднее всего боремся как раз с теми слабостями в других, которые свойственны нам самим». Мысль эта тотчас же показалась ему низкой и несправедливой. Но, помимо воли, она все на-

стойчивее завладевала его сознанием, вытесняя все остальное, и чем больше противилось этому его дружеское чувство к Павле, тем навязчивее эта мысль к нему возвращалась.

Тем временем немцы обнаружили движение колонны и осыпали ее пулеметным огнем. Уча почти обрадовался этой неожиданной опасности, которая прервала его тяжелые размышления. В лесу гремели выстрелы, но командиру казалось, что они как-то не имеют отношения к встрече с врагом, что стреляют, сражаются сейчас не люди, а лес и ночь. Однако отсутствие видимого противника делало стрельбу еще более опасной, и внезапно Учей овладел необъяснимый страх.

Колонна быстро вышла из-под огня. Все стихло. После стрельбы густой сумрак как бы ожил, замелькали причудливые тени, и Уче казалось, что вот-вот в этой тьме за деревьями раздастся страшный взрыв. Он весь превратился в ожидание, напрягая зрение и слух. Мало-помалу напряжение прошло. Кругом снова были просто лес и ночь, безмолвные, безжизненные, словно нарочно созданные служить укрытием для партизан. И вдруг он весь затрепетал от волнения. Чья-то рука махнула ему. Вроде даже кто-то улыбнулся ему. Мягкая теплая рука, как тень, взметнулась над тесным строем. И снова потонула в лесу и во тьме. И Уча почувствовал дрожь, томительную, печальную и радостную. Он посмотрел на платок, на котором висела его раненая рука. Девушку, верно, обрадовал бы этот взгляд. Вернется ли то, что было?.. И что тогда будет? А если никогда не вернется?

Но мысль о Бояне мелькнула и тут же исчезла. Нахлынули прежние думы, и Уча забыл о своей мимолетной грусти и радости.

Отряд наконец поднялся на гребень горы. Отсюда он должен был спуститься вниз и обойти деревни. Мирко предложил сделать привал. Уча приказал остановиться. Команду быстро передали по колонне. Отойдя в сторону, Мирко и Уча остались вдвоем. Кратко проинформировав Мирко о дальнейшем движении отряда, Уча сразу заговорил о том, что мучило его весь этот вечер.

— Сегодняшний день — самый тяжелый в моей жизни.

— Да, тяжко.

— Интересно, что думают бойцы? Ты что-нибудь слышал?

— Нет, все молчат. Но я вижу, как они потрясены. Вот только, когда я шел вдоль колонны, я услышал один разговор. В темноте, правда, я не мог узнать, кто это говорит. Один говорил: «Молодец он, герой». А другой с ним не соглашался: «Нет, это не геройство, геройство — другое».

— А ты как думаешь, Мирко? Герой он или нет?

— По-моему, нет.

— А мне кажется, что герой. Я весь вечер только об этом и думаю. Ну, скажи, кто бы мог так держаться? Ты слышал, что он сказал перед смертью Вуку?

— Слышал. Но все это бессмысленно и бесцельно. Нет героизма вне цели. Только в зависимости от цели мы называем поведение людей героизмом или трусостью,— говорил Мирко готовыми фразами, придуманными специально для дневника, куда он собирался занести этот случай.— До войны я прочел где-то такую фразу: «Нет героизма в борьбе против отечества»,— значит, и против свободы. Когда я пошел в партизаны, я записал эти слова как эпиграф к своему дневнику. Мне они очень понравились.

Молодой полиграфист и сейчас еще вел беседу, как студент.

— Может быть, то, что ты говоришь, мудро, но я не согласен с тобой. Когда человек, пусть даже из гордости, умеет владеть собой так, как Гвозден, по-моему, это героизм.

— А я уверен, что он держался так из упрямства. Он хотел отомстить нам, заложить мину в отряд.

— Нет! Он вел себя так только из гордости. Я никогда не думал, что у крестьянина может быть столько достоинства. И знаешь ли, Мирко, без гордости нет героизма. Самый прекрасный и самый редкий героизм тот, в основе которого лежат гордость и честь. Я не оправдываю позиции Гвоздена по отношению к отряду и к нашей борьбе, я считаю ее предательством. Поэтому я и голосовал за расстрел. Но я удивляюсь стойкости и храбрости, которую он проявил после приговора. Ты видел, какое действие это произвело на людей? Я убежден, что, если бы Павле не поступил так быстро и так решительно, весь отряд встал бы на защиту Гвоздена, хотя большинство его осуждало и презирало.

Но Мирко, видимо, не хотел продолжать этот разговор. Он упорно молчал. Уча решил, что партизан не только не согласен с ним, но явно придерживается противоположного мнения. Командир разозлился. Ему очень хотелось сказать Мирко прямо в лицо, что он просто глупый и никчемный парень, который прочел несколько книг, ничего ровным счетом в них не понял, а теперь лезет в интеллигенты да еще других собирается уму-разуму учить. Но вместо этого он только строго-настрого велел Мирко следить в пути за арьергардом.

Склон был покрыт глубоким снегом. Но с горы колонна спускалась уже быстрей. Уча то и дело поторапливал бойцов и разрешал делать только короткие и редкие привалы. Он спешил до зари выйти из гор и провести колонну мимо деревни, где был расположен вражеский гарнизон. Стоял лютый мороз, и у него ныла рана. Чем ближе они были к селам в предгорье, где отряд мог столкнуться с немцами, тем больше возрастали страх и сомнения Учи в успехе операции. Он все сильнее ощущал разлад между партийным долгом и собственной совестью и был близок к отчаянию. Несколько раз хотел остановить отряд и приказать ему двигаться в противоположном направлении. И все же он чувствовал, что у него не хватит сил сделать это; что-то тащило его вперед, словно лодку, увлекаемую стремниной в ворота плотины.

В эту ночь и военное счастье изменило ему. На заре, когда они уже кончали спускаться, рота наскочила на немецкую засаду. Вряд ли кто-нибудь мог сказать, как это произошло: то ли просто по неосторожности, то ли они неправильно оценили обстановку или еще по какой-нибудь причине.

Немцы пропустили дозор и голову колонны и, подождав, пока вся рота попадет под перекрестный обстрел, по команде, разом, открыли убийственный огонь. Застигнутые врасплох, партизаны растерялись и бросились в беспорядочное бегство. Большинство, не открывая огня, бежало по редкому мелкому лесу назад, в горы.

— Не бежать! Не бежать! Ложись! Бей! Товарищи, огонь!— кричал Уча, опускаясь на колено и стреляя в немцев, видневшихся в утреннем тумане.

В ярости и отчаянии он продолжал командовать и стрелять, твердо решившись не отступать, хотя прямо по нему били два немецких пулемета. Лишь спустя много времени на горе затрещали партизанские пулеметы и послышались винтовочные выстрелы.

Светало. Он вынужден был вернуться в горы. Правда, густой туман скрывал его от немцев, но зато в тумане легко было наскочить и на неприятеля. Считая себя самым несчастным человеком на свете, Уча стал медленно отходить. Отступая, он натолкнулся на комиссара роты — Мирко. Очередь прошила Мирко голову, прежде чем он успел снять винтовку. Стоя возле убитого, Уча несколько минут неподвижно смотрел на него. Вдруг он вспомнил о дневнике и снял с Мирко сумку. Он находился в такой ярости и таком отчаянии, что у него не хватало сил для жалости. С чувством страшного ожесточения он повернулся и пошел

в гору. Стрельба продолжалась, но она становилась все слабее. Партизаны теперь тоже вели огонь, стреляя наугад в туман. Уча наткнулся еще на несколько трупов, но уже не стал останавливаться возле них. Его отчаяние стало переходить в апатию. Когда Уча догнал наконец партизан, ему захотелось выругаться, но не было сил.

— Займите укрытия, и чтобы ни одна живая душа не двинулась с места! Застрелю!.. Не стреляйте на ветер!— Это было все, что он произнес. Он сел около куста молодого можжевельника и стал вглядываться в туман. Неотрывно смотрел Уча в ту сторону, откуда могли появиться немцы.

«Я неудачник, я несчастный и дурак! Так мне и надо. Я сам во всем виноват. Что теперь делать? Куда я денусь с потрепанной ротой? Я даже не знаю, сколько человек погибло. Да разве теперь это важно! Я открыл немцам наше направление, они подтянут силы и будут ждать, когда мы подойдем на выстрел. Да если бы мы и пробились, они станут преследовать нас и загонят на Копаоник. Дурацкая тактика!..— думал Уча, беспомощно качая головой.— Что же делать? Отказаться от намеченного маршрута и вернуться в горы? Нет, это неправильно, это значит нарушить решение штаба и партии. На войне нельзя поступать, как кому заблагорассудится. Подчинение — первый закон войны, и если есть в отряде человек, который должен отвечать за дисциплину и повиновение, так это именно он. Неужели же он, командир, нарушит теперь дисциплину? Ведь именно не желая подчиниться дисциплине и приказу, погиб Гвозден. Почему же он, Уча, не отстаивал тогда своего мнения? Почему тогда он согласился с тем, во что совсем не верил? А теперь, когда он остался один, когда ему никто не противоречит, когда комиссар роты погиб, он станет менять решение штаба? Нет! Но он убежден, что это решение неправильно и ведет к разгрому отряда. И ведь именно командир, и никто другой, призван решать военные дела отряда. Обязанность командира поступать так, как он считает наиболее полезным. Действовать иначе — это значит предать борьбу».

Уча ломал голову, не зная, на что решиться. Посоветоваться было не с кем. Может быть, следует поговорить со своим заместителем? Но партизаны сообщили, что заместитель исчез сегодня утром, вероятно, погиб.

— Сколько людей мы потеряли?— спросил Уча. Было уже около полудня, когда он вспомнил об этом.

Вуксан, считавший теперь себя вторым лицом после Учи, подошел к нему, грустный и виноватый.

— Погибло одиннадцать товарищей... Раненых мы не сумели вынести. Немцы, конечно, добили их.

— Одиннадцать!.. Кто вам разрешил отступать? Вы слышали мою команду?

— Почему ты кричишь на меня, товарищ Уча? Я дрался, ты ведь слышал пулемет! Что же я могу еще сделать? Я и оглянуться не успел, как все уже убежали.

— Да что там твой пулемет! Какой толк, что ты дрался! Созови роту! На вершине пусть останется автоматчик!

Вуксан ушел, обиженный и мрачный.

Молчаливые, нахмуренные, измученные ночным маршем и боем, партизаны собирались молча. Они озябли и совсем пали духом.

— Кто вам приказал отступать? Вы кто — партизаны или четники? Вы воевать хотите или бежать? Мы — не банда разбойников, мы — армия коммунистов! Вы понимаете это? Вы чем думаете? Ну чего вы уставились на меня?! Немцы потому перебили у нас столько народу, что вы бежали, как козы! Позор! Надо было всех вас, как скот, перебить!— кричал Уча, трясясь от ярости.— Если кто-нибудь хоть раз еще попробует бежать от

немцев, я убью его как изменника! Вы обязаны слушать мою команду. Смерть — так смерть! Вот и все! По местам!

Партизаны стояли и переглядывались. Они хорошо знали вспыльчивый характер Учи, его привычку кричать. Его часто критиковали за это на собраниях. Но никогда еще он не вел себя так, как сегодня. Оскорбленные поведением своего командира, партизаны молча разошлись.

Весь дрожа от волнения, Уча снова опустился на можжевельник. Он взваливал всю вину за утреннее поражение на партизан, проклинал их трусливость и продолжал про себя ругаться. В гневе Уча на некоторое время совсем забыл о том, что его терзало и мучило.

К полудню туман рассеялся, показалось голубое небо и на слабом зимнем солнце засверкал снег. Внизу, в кустарнике, глухо прокричал дрозд. Над видневшимся вдалеке селом светлой пряжей потянулся к небу дым.

Вскоре немцы, расположившиеся на другом гребне, заметили партизан и открыли огонь из пулемета. Но эта стрельба опасности не представляла. Уча приказал партизанам не отвечать. Сидя на корточках, лежа за кустами можжевельника, они слушали привычный свист пуль на излете.

Уча ходил от куста к кусту, наблюдая за бойцами.

Односторонний огонь продолжался почти до ночи. Когда в темной синеве неба появилась ясная и дрожащая первая звезда, рота двинулась в путь.

19

В эту ночь роте Павле удалось без единого выстрела выбраться из окружения. Отряду предстояло выйти к Западной Мораве, тайком переправиться через реку, а затем двинуться на Левач и Шумадию. Людей, которые должны были обеспечить лодки для переправы, знал только связной Йован.

На день рота расположилась в двух крайних домах селения, и Павле послал Йована установить связь за Моравой. Йован должен был перебраться ночью через реку и на другой день вечером в условленном месте ждать с лодками партизан.

Йован, в новой крестьянской одежде, с револьвером и гранатами, без всякой помехи прошел по деревне и вышел на дорогу, спеша до темноты добраться до первой явки. Там его должны были перебросить на другой берег. Но крестьянина, до которого он добрался вечером, арестовали два дня назад. Жена крестьянина сообщила, что немцы потопили на Мораве все лодки и паромы, оставив только несколько для собственного пользования, но их охраняли недичевские жандармы. Известие это, конечно, встревожило Йована. Очевидно, немцы нащупали направление, по которому двигались партизаны, и решили, что отряд будет искать переправу.

Йован не стал терять времени. Он решил, не колеблясь, перейти реку и любой ценой выполнить задание. Но ему не удалось в деревне найти людей, которые согласились бы перевезти его на ту сторону, и он отправился искать лодку сам. Йован рассчитывал, что даже под угрозой смертной казни крестьяне, как всегда, обошли приказ немецкого командования, и поэтому надеялся все-таки перебраться где-нибудь возле мельницы.

Но в эту ночь на мельницах, где в любую погоду кто-нибудь да ночевал, не оказалось ни мельников, ни лодок у плотин. Ночь была ясная, лунная. Йован брел по берегу Моравы и, увидев мельницу, принимался стучать в двери, кричал, грозил и уговаривал. Но мельницы были пусты. Прикрепленные к берегу стальными тросами, они, скрипя, качались на воде. Время шло, беспокойство и нетерпение все сильней охватывали Йована. Однако он не терял надежды отыскать лодку. Он продолжал бродить взад и вперед, спускался в заливы, шарил в кустах и упорно искал

лодку даже там, где заведомо ее не могло быть. Потеряв всякое представление о времени, он все ходил и ходил. И только рассвет и усталость напомнили ему о поджидающей его опасности.

Заря застала его неподалеку от одной из мельниц. Из трубы валил густой дым. Йован спрятался в ивняке и решил подождать, пока наступит день, чтобы хорошенько все осмотреть. Он надеялся здесь найти лодку и переправиться.

Морава с шумом вертела мельничное колесо. Слышался тихий, усыпляющий шорох жернова. Мороз, как крапива, обжигал лицо, пробирался сквозь одежду. Йована клонило ко сну. Боясь заснуть, он руками открывал веки, но сон все-таки победил. И как птица, уткнув голову в грудь, он заснул в кустах.

Его разбудил чей-то свист. Йован вздрогнул и вскочил, сердясь на себя. Ему казалось, что он спал долго. От холода у него стучали зубы, но он не смел и пошевелиться. Почти рядом были двое крестьян. Засунув в рот пальцы, они громким свистом вызывали мельника.

Около мельницы, расположенной на другом берегу, стояли сани с какими-то мешками. Покрытые дерюгой волы смотрели на холодную воду. У столба чернела привязанная лодка, волны с плеском качали и подбрасывали ее. На пустынном белом поле грустно чернели деревья, растрепанные кусты торчали на межах. Вода причудливо обтачивала ледяные кромки вдоль берегов, от нее на морозе шел пар, как от кипятка.

Наконец на свист вышли два мельника, сели в лодку и начали грести к берегу. Йован обрадовался, но решил переждать, пока перевезут крестьян. Когда они высадились, он вышел из кустов и, засунув в рот пальцы, несколько раз свистнул. Ждать пришлось недолго. Лодка скоро вернулась. Йован поздоровался и, внимательно осматриваясь, спустился в лодку. Ничего подозрительного как будто бы не было. Его удивило только, что его ни о чем не спросили, это было непохоже на крестьян. Перевозчики, как обычно все мельники, были осыпаны мукой. Белая пыль осела на их усах и ресницах. Йован сидел, слушая, как прозрачная зеленоватая вода размеренно плещется о нос лодки, наискось рассекающей течение. Несмотря на сильный мороз, в плеске воды, в тумане, поднимавшемся над рекой, было что-то сонное и теплое. Забыв об опасности, Йован весь отдался движению. Ему хотелось бы так плыть целый день. «Ляжешь в лодку, и пусть плывет, куда хочет. Несет ее, течение вертит, а ты глядишь на кусты, на маленькие облака в небе и дремлешь. Так и уснешь. Вот кончится война, так я и сделаю! Достану лодку, запасусь едой на несколько дней, возьму удочки и отправлюсь по Мораве до самого Джердапула». Лодка ударилась носом о мельницу, подалась назад и закачалась. Мельник постарше, стоявший на коленях у руля и державшийся одной рукой за стальную проволоку, перекинутую через реку, схватился за борт и обернулся к Йовану.

— Теперь плати, а потом иди вон по тому бревну и через мельницу на берег!

Йовану не понравился его резкий, грубый голос. Он собрался было ответить дерзостью, но сдержался. Заплатив, Йован поднялся на бревно и, держась рукой за шест, прошел мимо колеса, лопасти которого равномерно и лениво то поднимались, то опускались в воду, роняя дождь прозрачных капель. Не подозревая об опасности, Йован отворил скрипучую дверь мельницы. Там сидели недичевцы...

Йован резко остановился, отпрянул, словно собираясь убежать, и оцепенел... У него мелькнула мысль прыгнуть в Мораву, и он потянулся рукой к револьверу, но в ту же секунду робким голосом произнес:

— Доброе утро...

Жандармы пристально поглядели на него, потом схватились за оружие и вместо приветствия крикнули:

— Документ! Покажи документ!

— Потише, потише, зачем же винтовки? Можно бы и повежливей...— заговорил Йован, только чтобы выиграть время. «Граната!.. Прыгнуть в Мораву... Граната!..» — мелькнуло у него в голове.

— Показывай документ, чего ждешь!— заорал жандарм с красным, как обожженный кирпич, лицом и приставил к груди Йована винтовку.

Времени для раздумий уже не было. Ствол винтовки упирался ему в грудь, прямо в сердце, стучавшее часто-часто. Йован засунул руку в карман и достал удостоверение. Краснорожий унтер-офицер так и вырвал его, остальные жандармы с винтовками наизготове окружили Йована. Пока недичевец читал фальшивое удостоверение — это заняло у него довольно много времени,— Йован успел сочинить целый рассказ. Работа связного научила его быстро соображать.

— Нехорошо так обращаться со мной. Вы знаете приказ...— начал он, но договорить ему не дали.

— А ты хотел, чтобы мы тебя чаем с вареньем угощали? Приказ тебя не касается! Что за приказ?

— Да приказ, который вы получили из штаба о нас, о связных.

— Тебя не спрашивают! Покажи разрешение на переход в другой уезд!— крикнул жандарм, внимательно и недоверчиво разглядывая печать.

— Что мне разрешение! Нет у меня никакого разрешения!— вызывающе ответил Йован.

— А кто вы такой, что ходите без разрешения, скажите, пожалуйста?!— громко сказал унтер-офицер, сверкая крохотными птичьими глазками. И не успел Йован ответить, как он заорал:

— Руки вверх! Я вижу, что ты за птица!

Йован медлил. В голове его, словно искры, мелькали отрывочные мысли.

— Руки вверх, приказываю! Убью!— заревел унтер-офицер, и толстые, как ремни, жилы вздулись у него на висках.

— Да что с вами? Погодите, давайте договоримся! Я не...—Но Йован не кончил. По знаку начальника жандармы накинулись на него. Он извивался, вырывался, бил их ногами, но они справились с ним. Двое жандармов держали его и связывали ему руки, третий обыскивал карманы и, нащупав у него револьвер, крикнул:

— А-а! Вот какое твое разрешение!— и вытащил парабеллум.

— Граната! — воскликнул четвертый, доставая из кармана резную «крагуевчанку» *.

— Еще одна!— добавил державший Йована и извлек из его кармана гранату без запала.

«Что теперь делать? Неужели все-таки я попался?» — думал Йован, скрипя зубами от боли.

— Так ты коммунист? Мать твою...— с угрозой сдавленным голосом выругался унтер-офицер.

— Думай, прежде чем говорить! Я связной Кесеровича **. Вы меня еще попомните!— кричал Йован. Жандармы все сильнее закручивали ему руки.— Поплывете вы завтра по Мораве, как Тоза из Куклина!— при-

---

* В городе Крагуеваце находятся крупнейший в Югославии военный завод и арсенал.

** Кесерович — командир Расинского четнического корпуса. В 1945 году расстрелян по приговору военного суда Народно-освободительной армии Югославии в Белграде.

бавил он, намекая на жандарма, которого четники убили и бросили в Мораву за то, что он их ослушался.

— Ты хочешь нас поддеть, а? Только больно ты мелок. У меня в руках и покрупней звери бывали! Говори, из какого отряда и куда идешь?— продолжал допрашивать краснолицый.

— Никакой я не зверь! Слышишь ты! Я связной Кесеровича! Как вы смеете! Вы дорого мне за это заплатите! Только погодите!— кричал Йован.— Забились в города! Как сыр в масле катаетесь, а мы мерзнем в горах!

Жандармы вопросительно уставились друг на друга. Державшие Йована за руки несколько отодвинулись.

— А к кому ты идешь? Где твой пункт? — Унтер-офицер и не думал снижать тона.

— В Левач!

— К кому, спрашиваю?

Йован, как назло, не знал ни одного командира четников в Леваче. Не теряясь, он сразу ответил:

— Тебя это не касается!

— А раз меня не касается, вяжите его! — разозлившись, скомандовал унтер.

— Вяжи, кто посмеет! Я его запомню!

— Жандармы быстро и ловко связали его и крепко скрутили ему цепью руки за спиной.

— Последний раз говорю: пустите меня! Мне нужно во-время добраться до места назначения. Пустите, а то завтра ночью ваши жены будут искать вас в Мораве.

— Грози лучше своему папаше, что смастерил такого дурака!— сказал в ответ унтер-офицер и изо всей силы ударил его по лицу. У Йована пошли круги перед глазами.

— И за это заплатишь!— сказал он, опамятовавшись.— Я требую, чтобы вы немедленно провели меня к вашему командиру.

— Не шуми! Если ты действительно тот, за кого выдаешь себя, никто и пальцем тебя не тронет. А если врешь, тогда простись со своей головой, — прибавил другой жандарм, смущенный дерзостью и упорством Йована.

— Ну-ка, вы, двое, проводите его в уездное управление да захватите его оружие... на всякий случай,— уже спокойнее сказал унтер.

Йован, конвоируемый жандармами, шел по занесенной снегом дороге и раздумывал, нельзя ли как-нибудь сбежать или уговорить конвойных отпустить его. Если они доставят его в уезд, ему трудно будет вырваться. Его могут там опознать, ведь перед войной он частенько ездил туда. Они легко установят, что он не связной четников, а тогда — гестапо и конец!.. Повесят!.. Рота не сможет переправиться через Мораву. Ее обнаружат на равнине и уничтожат, и в этом будет повинен только он. Как он мог быть так неосторожен и растеряться! Надо было швырнуть гранату и броситься в Мораву. Ничего бы они с ним не сделали. А теперь, со связанными руками, не убежишь. Его тут же убьют при попытке к бегству. Что же делать? Связной Кесеровича — а почты при нем нет. Идет к командиру — а имени его не знает; в штабе четников тоже никого не знает. А ведь в уездном управлении у него, конечно, станут спрашивать имена. Что же он наделал? Как это все случилось? Испугался и влип глупейшим образом. Нет, он должен вырваться!

Капли холодного пота, подобные мелким рисовым зернышкам, показались у него на лбу. Одна едкая, соленая капля покатилась вниз, обожгла ему глаз. Оттопырив нижнюю губу, Йован стал дуть вверх, стараясь разогнать эти назойливые капли, повисшие у него на ресницах.

Морозный плотный воздух обжигал лицо. Скрипел под ногами снег. По дороге ехали крестьяне в санях, нагруженных хлебом, свиными тушами, бочками вина — немцы отбирали все. Сани скрипели и трещали на поворотах. От вспотевших волов валил пар. Озябшие крестьяне суетились возле саней, покрикивая на волов, то и дело подтыкая рогожу, они боялись, как бы чего не обронить. По заснеженной дороге с котомками, корзинками и узлами, согнувшись, плелись крестьянки, закутанные в теплые шали. Когда Йован с жандармами обгонял женщин, они громко, стараясь, чтобы и он слышал, начинали причитать, словно на поминках.

— Чем же прогневил господа бога этот несчастный? За что они его связали?.. Молоденький еще, вот матушка его горемычная!

Йована коробило от этой жалости, он ускорял шаг и каждый раз твердо решал бежать на следующем повороте. Будь что будет!

Жандармы молчали, время от времени кто-нибудь из них щелкал ремнем, забрасывая винтовку за спину. Они шли на положенном расстоянии от пленного. Видно, это были опытные солдаты, их нелегко будет провести. Йован пристально глядел вперед, и каждый раз ему казалось, что на том вот крутом повороте или возле этой вот рощицы он сможет убежать. Но, дойдя до намеченного места, он каждый раз убеждался, что ничего из этого не выйдет. Куда кинуться? Где спрятаться? Кругом открытое поле. Его застрелят на месте. Быть может, это все-таки лучше, чем попасть в гестапо! Нет, необходимо что-то предпринять. Вот он, словно мелкий деревенский воришка, идет в жандармерию, где его, вероятно, убьют. И рота напрасно будет ждать вечером у переправы. Без него бойцы не сумеют перейти реку. Куда им тогда деваться? Из-за его трусости пострадает целая рота!.. Нет, уж лучше погибнуть!..

Он окончательно пал духом и готов был заплакать от злости и сознания собственного бессилия. Надежды на побег больше не было. Он решил прощупать жандармов.

— Ну и мороз! Мать его...— заговорил он, впервые за всю дорогу.— Что это мужики бросились в город, словно овцы на соль...

Жандармы молчали.

«Хитрая сволочь! Погодите-ка, я с другой стороны к вам подъеду!»— подумал Йован и продолжал:

— Один английский майор неделю назад спустился в наш штаб на парашюте, так он говорил, что зима у нас холоднее, чем в Англии. Обещал передать по радио, чтобы нам прислали меховые сапоги. А Старик ему и говорит: «Не нужны нам сапоги, мы привыкли к опанкам. Вы нам пушек подбросьте и тяжелое оружие, а с обувью мы сами обойдемся».

— А подбрасывают они вам?— спросил, не удержавшись, жандарм.

— Как не подбрасывать! Каждую неделю прилетает два транспортных самолета. Получили мы взрывчатку, чтобы действовать на железных дорогах, противотанковые ружья, бесшумные револьверы для покушений, боеприпасы, канадскую муку, белую, как снег, обмундирование, рубашки, в общем всякую всячину. А когда был у нас майор, они сбросили несколько мешков шоколада и сахара.

— Значит, жизнь у вас неплохая?

— Неплохая. Живем лучше, чем до войны. Об этом все офицеры открыто говорят. Только нам вот, связным, достается от ходьбы, да на дорогах всякое случается.

— Что поделаешь, служба есть служба! — прервал его конвоир.— Станешь офицером, не будешь болтаться пешком. А нам разве легко? Чуть что — в бой с партизанами. А с ними не просто. Налетают, как бешеные. Ни пуль, ни штыка не боятся. Чудной народ!

— Да и у нас в последнее время неспокойно. Несколько дней назад потрепали у нас Топличскую бригаду,— и Йован начал пространно рас-

сказывать о партизанах, об их смелости и энергии. Он добавил, что в последнее время в деревнях появилось много сторонников партизан и Кесерович приказал уничтожать не только их, но и их семьи.

— А вы слышали, что весной англичане дадут нам еще оружия и мы с вами объединимся в одну армию под командованием Драже Михайловича?

— Да поговаривают. Только, видно, время для этого еще не пришло, — серьезно ответил жандарм.

Разговаривая так, они поднялись на возвышенность, с которой был хорошо виден уездный центр...

— Послушай, брат, отпустите вы меня,— сказал Йован, обращаясь к жандарму постарше.— Зачем мне таскаться попусту по уезду! Завтра ночью я должен быть в Калениче, там меня ждет связной от самого Дражи. Никак не пойму, что это с вами сегодня утром случилось. Ведь все посты полевого охранения получили приказ встречать связных и провожать через свои районы. Мне ничего не будет, но я боюсь повстречаться с гестаповцами. Если они меня узнают, мне трудно будет выпутаться. Да и вам как бы не попасть в беду.

Жандармы о чем-то пошептались между собой.

— Мы бы отпустили тебя, кабы смели. Повстречайся ты нам одним, мы и задерживать бы тебя не стали. А теперь нам нельзя. Унтер-офицер со свету сживет. Состряпает рапорт, нас за решетку и упекут.

— Ну что там унтер-офицер! Я запишу ваши имена и доложу нашему начальнику штаба. Он все устроит, не бойтесь!

— Нет, нельзя, никак нельзя! Мы обязаны тебя отвести. А ты не бойся. Только расскажи все по-хорошему поручику и не груби. Он из благородных, академию кончал.

Они уже подходили к городку. Йован замолчал, обдумывая новый план, строя различные комбинации. Смелость и присутствие духа не изменили ему. Но, проходя мимо низких домов и магазинов с черепичными крышами, он все же почувствовал, что его пробрала дрожь. Для партизана город олицетворяет собой оккупацию, порабощение, фашистские казармы. Йовану казалось, что у него дрожат даже плечи, но он старался овладеть собой. «Если только я попаду к этому поручику — я пропал. Он немедленно изобличит меня». Йован опустил голову и шел, стараясь не поднимать глаз, он боялся повстречаться с кем-нибудь из знакомых или со школьными товарищами. Среди них могли быть всякие люди! Ему показалось, что теперь у него дрожит даже челюсть. Он стиснул зубы и, стараясь казаться как можно спокойней, стал придумывать самые разные вопросы, которые могли ему задать, и мысленно тут же на них отвечал.

Они шли по мостовой. Время от времени слышался стук сапог по тротуару, и Йован, не поднимая головы, старался разглядеть прохожих. Уверенно шагали немного расширенные кверху сапоги немецких пехотинцев. Жандармы шли почти рядом с ним. Навстречу попались какие-то девушки. Он успел рассмотреть только зеленые носки да красные от мороза коленки. Ему ясно припомнилась девушка из этого городка, с которой он познакомился как-то у товарища. Сначала она ему не очень понравилась. Но потом, когда он ушел в партизаны, почувствовал, что вроде влюблен в нее. Он даже написал ей однажды. Она ответила ему стишками из альбома. Она была довольно красивая, но глупая. Воспоминание о ней сейчас было неприятно Йовану. Он снова погрузился в мысли о Павле, о роте...

Недичевский поручик не пожелал допрашивать Йована. Его даже не ввели в канцелярию. Поручик приказал отвести пленного к уездному начальнику полиции, и Йована препроводили в самое большое здание города, выкрашенное в грязножелтый цвет. На балконе, с которого когда-то

произносились речи на предвыборных собраниях, развевался немецкий флаг со свастикой. Йован глядел на него с ненавистью. Они поднялись по грязной лестнице со стертыми ступенями и вошли в большую, почти пустую комнату. Прежде чем ввести Йована к начальнику, один из конвоиров отворил дверь, обитую зеленым сукном, исчез за ней, вероятно для доклада. Йован с нетерпением и страхом ждал, когда его позовут.

Наконец высунулось важное, озабоченное лицо жандарма. Он кивнул Йовану головой.

Кабинетом уездному начальнику служила просторная светлая комната с зеленым ковром и зеленоватыми узорами на стенах. Стол, за которым сидел начальник, был покрыт тоже зеленым сукном, потертым и порванным по краям. Посреди стола виднелось большое красное чернильное пятно. Начальник нервно вертел между пальцев металлическое пресспапье. У стола стояли два обычных канцелярских стула, в углу находилась кафельная печь, которая напомнила Йовану школу.

Вслед за ними в кабинет вошел служитель с охапкой дров. На нем были суконные брюки, поношенные опанки на резиновой подметке и засаленное, застегнутое на все три пуговицы городское пальто. Служитель был кривым, лицо его выражало лицемерное послушание и наглое любопытство. Йован брезгливо взглянул на него и повернулся к начальнику, который читал какую-то бумагу, не обращая никакого внимания на вошедших. Над столом начальника висела фотография премьер-министра Недича, а правее в позолоченной раме виднелся портрет королевской четы. У начальника был низкий лоб, жесткие, как щетина, черные, уже седеющие косматые брови и бугристые красные уши. Поздней, когда он поднял глаза и встал, оказалось, что это очень высокий, здоровый человек с живыми, беспокойными глазами. Он был в крахмальном воротничке и небрежно повязанном галстуке. Глаза их встретились, Йован поклонился. Начальник испытующе посмотрел на него.

— Откуда идешь?— строго, но не громко спросил он.

— Из штаба Кесеровича.

— Фамилия?

Йован назвал фамилию, стоявшую в его удостоверении.

— Куда идешь?

— В Каленич.

— К кому?

— К настоятелю монастыря.

— Покажи почту! Развяжите его! — Обратился он к жандарму.

Йована развязали, руки у него затекли и онемели. Но он все стоял, не двигаясь, стараясь собраться с мыслями.

— Почты нет. Я должен передать устно,— начал он...

— Что передать? Сообщи пароль.

— Я солдат, господин начальник. Я не имею права сказать пароль.

— Не имеешь права?— начальник отодвинулся от стола, все еще держа в руке пресспапье. — А почему я должен тебе верить? Потому что у тебя молоко на губах не обсохло, что ли?

— Но ведь вы же знаете, господин начальник... — Йован почувствовал, что, отказавшись назвать пароль, он сделал свое вранье более убедительным. — Ведь это военная тайна. Я могу поплатиться головой. Вы знаете, как у нас строго...

— Ну, довольно ломаться! Если ты человек честный и говоришь правду, ничего с твоей головой не случится. А если врешь, все равно можешь проститься с ней. Так выкручиваться может и связной коммунистов. Я никому не верю на слово.

Йован молчал. Лицо его изображало грустное раздумье.

— Ну, говори! Я не могу долго возиться с тобой, у меня другие дела. Ты у меня не один.

Йован помедлил. Ему было ясно, что таким путем он ничего не добьется. И виноватым тихим голосом он произнес заранее придуманную фразу:

— Я должен сказать игумену «Привет тебе от Дяди с Юга».

— Как, как?— переспросил начальник и, выдвинув ящик стола, взял карандаш и блокнот.— Повтори еще раз!

Йован повторил.

— Проверю. А пока отведите его в тюрьму.

Йован отошел от стола. В дверях он словно вспомнил что-то и, быстро обернувшись, сказал:

— Только, пожалуйста, как можно скорее: я должен явиться в штаб не позже чем через три дня.

Начальник ничего не ответил. Те же жандармы повели его в тюрьму, обращаясь с ним, как и раньше, по-свойски.

Грязь и вонь в уездных тюрьмах могут ошеломить даже самого закоренелого преступника.

Когда Йован, угнетаемый черными мыслями по поводу своего все более безнадежного положения, вошел в сложенное из необтесанного камня длинное приземистое здание с черепичной крышей, его охватило чувство непреодолимого отвращения. Проходя сквозь маленькую дверцу, проделанную в тюремной, высотой в три метра, ограде, опутанной колючей проволокой, Йован старался наметить самое удобное место для побега. Но, когда он вошел в узкий темный коридор, а оттуда в камеру, он забыл обо всем на свете. Ему казалось, что от вони и духоты он вот-вот потеряет сознание.

Грязносерый свет едва проникал сквозь решетчатое оконце, проделанное под самым потолком.

На неровном полу можно было различить несколько лежащих фигур. Они чуть шевельнулись при появлении Йована. Очевидно уже успели здесь утратить любопытство, столь свойственное заключенным.

Йован опустился было на пол в углу, но тотчас вскочил и, провожаемый злорадным смехом арестантов, бросился на середину камеры, отдавив при этом ногу какому-то старику. Старик пробормотал ругательство. Йовану хотелось наброситься на обидчиков, смять их и растоптать. Дрожа от ярости, он несколько минут стоял неподвижно, стараясь привыкнуть к свету.

— Господину не нравится, видимо, в нашем отеле... Ему мешает парфюмерия... Ничего, привыкнет!— бросил арестант в зимнем пальто и в шляпе с франтовато загнутыми полями.

— Молчи, негодяй!— крикнул Йован и сжал кулаки, готовый кинуться в драку.

— Молодчик, да ты злой, как старый хрен! Ну, не волнуйся только, я из тебя котлету сделаю...— издевательски и вызывающе повторил арестант и засмеялся еще громче. Симпатии обитателей камеры разделились. Одни стали на сторону старого арестанта и принялись высмеивать и задирать Йована. Другие, напротив, защищали его и ссорились с его обидчиками. Наконец, истощив все ругательства, арестанты затихли.

Йован молча присматривался к окружающим.

Двое заключенных лениво перебрасывались грязными, засаленными картами. «Берешь?» — «Нет!» — «Берешь?» — «Нет!» — приговаривали они. Остальные дремали от нечего делать.

«Куда я попал! Вчера еще я был в отряде, с товарищами, а сегодня — здесь... С этим жульем... Унизительно... Страшно!»— думал Йован, усаживаясь возле старика-крестьянина. Ему почему-то казалось, что этот старик лучше остальных обитателей камеры, внушавших ему отвращение. Он ре-

шил разузнать у старика, какая здесь обстановка и возможен ли побег. В камере было жарко. Йован мельком слыхал, что комендант тюрьмы — хороший человек, не жалеет дров.

Думая сейчас обо всем, что случилось, Йован окончательно решил, что на мельнице он просто растерялся и струсил. Он позволил арестовать себя и кому! Недичевцам, известным своей трусостью! Почему он не пытался бежать? Ведь это было возможно и даже несколько раз. Он мог бы бежать, когда его вели в тюрьму. Мог! Ему даже рук тогда не связали. Вечером его будет ждать рота. Павле подумает о нем бог знает что! И будет прав!.. Как теперь отсюда выбраться? Начальник скоро откроет его обман. Тогда все кончено!.. Он не столько боялся за свою жизнь, сколько злился на себя.

Старик заметил, что Йован озабочен, и потянул его за ногу.

— Я вижу, тебя что-то грызет... Не бойся! Ты еще молодой, все забудешь! Наверное, первый раз сидишь? Да это все ничего, и в тюрьме люди. На, возьми хлеб и солонину. Небось голодный? Ну, чего вылупил на меня глаза?

Йован поблагодарил, но отказался.

— Ладно!.. Только ведь на сытый желудок жить веселее. У голодного забот вдвое больше... А вот скажи мне, ты верно грамотный?! Видишь, что это там вырезано на камне? Непутевые эти все навыворот читают.

Йован взглянул на стену.

На камне под окошком были нацарапаны какие-то слова. Он подошел поближе и прочел: «Я сизый сокол Милич Янкович молод и зелен, безвинно загнал меня кмет * (здесь следовало сочное крестьянское ругательство) на три года в каторгу».

— Бедняга! Все они такие, кметы эти,— сказал словно про себя старик.

Йован улыбнулся при виде этой необычной надписи. Но она не надолго заняла его мысли. Если бы этот отчаянный, оставшийся на камне вопль случайно прочел тот гимназист седьмого класса, каким был до войны Йован, он думал бы о нем неотступно днем и ночью и переписал бы его себе в тетрадь. Может быть, он даже написал бы сентиментальный рассказик об этой надписи и прочел его на собрании школьного кружка. Но сейчас у партизанского связного, выдавшего себя в тюрьме за связного командира корпуса четников, эта строка не вызвала ничего, кроме короткой, мимолетной усмешки.

— Дядя, а ты почему попал в тюрьму?— обратился к старику Йован.

— Да все из-за властей, парень! Никогда не уважал я никаких властей, не захотел уважать и этих: да они и хуже всех. Налог я и до войны не платил: так они сами у меня скот заберут, на рынке продадут, а меня каждый год по месяцу в тюрьме держат. А этим, кроме налога, все еще и еще подавай. А я не дал. Да им скоро надоест меня держать, они и выпустят. А ты за что, украл что-нибудь?

— Да нет, не украл. Поссорился там с одним из-за девушки и разбил ему голову,— солгал Йован, стараясь перевести разговор на тюремную жизнь.

Под вечер в решетчатом квадрате, вырезанном в двери, показалось лицо жандарма. Заключенные заволновались: игроки отложили карты, бурча себе под нос, что идет комендант. Услыхав, как отпирают висячий замок, все встали навытяжку, согласно тюремным правилам. Вошел жандарм, лет сорока, с черными подстриженными усами и сказал не особенно строго:

— Давайте-ка сюда новичка, которого привели нынче утром!

---

* Кмет — деревенский староста.

Йована как кольнуло, сердце застучало. «Неужели так скоро? По телефону?.. Что делать? Бежать немедленно».

Но, очутившись в коридоре и идя за сутуловатым капралом, который приказал ему следовать за собой в канцелярию, он успокоился. Жандарм обращался с ним дружелюбно и, очевидно, вел не на допрос.

В комнатенке у коменданта гудела затопленная печь. Здесь была аккуратно заправленная солдатская койка и стоял простой стол, накрытый газетами, на котором выстроились бутылки с вином и водкой.

— Садись, парень!— обратился капрал к изумленному Йовану и предложил ему стул.— Бери бутылку, это старая комовица *. Стакана у меня нет, да солдату он и не нужен.— Йован поднес бутылку к губам, затянулся и, делая вид, что жадно пьет, сказал с видом знатока:

— Хороша! Настоящая жуплянка **.

— Да! Я слышал, ты оттуда, от верхов. Ты, значит, должен знать Васу. Он до войны был капралом, как и я, а теперь, слышно, уже фельдфебель и командует ротой. У вас его зовут Босняком.

— Как не знать Дядю Босняка! Строгий командир. Я из каждой поездки ему что-нибудь привожу. Это он подарил мне на память свой парабеллум, вот который ваши отобрали у меня сегодня утром.

— Смотри ты! А ведь мы с ним вместе стояли в Косове ***, когда были албанские бунты. Потом нас перевели на станцию возле Чачака ****. Там мы провели четыре года. Винтовки рядом ставили, и койки наши рядом стояли. Значит, говоришь, он фельдфебель и получил роту? Ну и молодчина! Умный человек. Уж он-то никогда не терялся. Когда мы были в Косове, так он у одного албанского бега забрал малость дукатов. Говорят, он из-за денег зарезал и дочку этого бега. Только кто знает, правда ли это, нет ли? Сам он никогда в этом не признавался. Однако же дом в Чачаке построил. На одно солдатское жалованье дом не построишь! Я вот жил хуже собаки, каждый грош берег, а на дом скопить не сумел. Так, говоришь, командир роты! Умный человек! А я вот — еще капрал. Офицеры, мать их... жуликов, после каждой стычки с партизанами получают новые чины. А мы вот все сидим, как я. Я ничего уже не жду... Правда, стоит появиться коммунистам, как офицеры обещают нам чины и прибавку жалованья... — продолжал болтать жандарм.

— А у Босняка теперь и вестовой есть! И коня горячего вороного получил лично от Дяди. Он у нас сила. Последнее время все ходит с английским майором, его выделили в сопровождающие,— врал дальше Йован.

— Да что ты говоришь?! И вестовой есть?! Люблю я Васу! Только он всегда был ловкач, как и все, впрочем. Сейчас, брат, каждый сам о себе заботится... Умные-то люди понимают... Если уж он с англичанином, так тот, наверное, фунты ему дает. Вам там легко! А у нас в команде одно жулье, перебежчики и немецкие шпионы. Я вот в тридцать шестом произведен, а так и останусь капралом, пока партизаны котелок мне не прошибут...— говорил с обидой жандарм, изо всех сил завинчивая флягу.

— Да тебе-то уйти ничего не стоит! Айда со мной! Васа тебя знает, больших боев у нас сейчас нет, за свою голову бояться тебе нечего. Чего тебе торчать в этом свинарнике вместе с жульем?

— Нет, до весны я не уйду. Нам по секрету сообщили, что мы войдем в состав Дражиной армии и ударим вместе весной. А если этого не будет — только меня здесь и видели!

---

* Комовица — водка из выжимок.

** Жуплянка — вино из района Жупы.

*** Косово и Метохия — районы, населенные албанцами. При королевском режиме албанцы неоднократно выступали против великосербского шовинизма.

**** Чачак — город в Сербии на Западной Мораве, к западу от Крушеваца.

Йован изо всех сил стал убеждать коменданта уйти сегодня же вечером, но все его уговоры не имели никакого успеха.

— Да, не бойся ты, братец, ничего,— уговаривал его в свою очередь капрал.— Начальник завтра же получит о тебе ответ. Завтра днем и уйдешь. Мы еще и солдата дадим проводить тебя.

— Нет, не верю я начальнику! — настаивал Йован.— Я слышал, что он работает на немцев...

— Неправда! Он — старый волк. Он только притворяется, что за немцев.

Йован так долго и упорно уговаривал коменданта бежать, что в конце концов вызвал подозрение даже у этого крайне доверчивого и доброжелательного к нему жандарма. Комендант строго приказал ему вернуться к себе в камеру.

В темноте, спотыкаясь о лежащих на полу людей, среди матерной брани, восклицаний «доносчик», обещаний переломить ему все ребра, Йован кое-как нашел свободное место и лег, свернувшись калачиком, у стены.

— Все пропало... Как же мне вырваться отсюда? Нет, кончу я на виселице!

Наконец все поплыло и закружилось у него перед глазами: Гвозден, расстрел, гестапо, какая-то комната со стальными стенами, виселица и он сам... Стоит под ней и кричит что-то страшное... Мать... Отряд ждет на берегу Моравы... Они бранят его и грозятся...

И тут он заснул

20

Прекрасна ночь в долине Моравы, когда лунный свет заливает снежные просторы. Дремлют усталые равнины. В тени ясеней и вязов темнеют безмолвные села. Ночь склоняет свою грудь к горам, вздрагивает от прикосновения острых их краев, сверкает мерцающими бусами.

Луна плывет вниз по Мораве, заглядывается на тополя, до самой зари полощет в реке свои белые руки. Морава шумит, злится на плотины, на мельничные запруды, бежит всю ночь по отмелям, смеется над месяцем. На юге Ястребац злобно поднимает свою синюю бровь. Гоч, сгорбившись, приближается к реке с севера.

В такую ночь рота засела в тополях, дожидаясь переправы.

Река гудит и скребет берег обломками льда, но эти звуки не нарушают тишины.

Только иногда вороны в тополях вдруг закаркают и захлопают спросонья крыльями да сорока закричит в ивняке. То удаляясь, то приближаясь, скрипят по снегу шаги.

Дожидаясь условного свиста Йована, Павле расхаживает по берегу Моравы. Это родные его места. Жестокий мороз сделал еще строже и чище красоту этой ночи. Беспокойную душу комиссара охватил радостный трепет. Словно он сбросил в Мораву бремя тяжелых мыслей. Все — и волнения, и страхи, и мучительная ответственность за отряд, за исход борьбы — все поглотил этот лунный, сияющий свет. Павле весь отдался воспоминаниям детства...

...Здесь когда-то — сколько с тех пор утекло в Мораве воды,— здесь когда-то шлепал он вместе с другими мальчишками вот по этим мелям. Разбивая в кровь пальцы и коленки о чистые круглые камешки кварца, они прыгали с ивы в зеленый омут и, зажав нос пальцами, ныряли, как лягушата, состязаясь, кто дольше пробудет под водой.

Устав от купанья, мальчишки бежали на берег, ложились на спину и засыпали песком свои загорелые, вздувшиеся от фасоли, животишки.

Вода струйками стекает по волосам, сползает в песок. Они лежат, зажмурив глаза, горячее солнце обжигает им щеки. Проголодавшись, ребятишки бегут обедать в тополя. Овцы стоят, сбившись в кучу, тяжело дышат от жары и прячут свои морды друг другу под брюхо. Мальчишки садятся возле овец и складывают в кучу на траве котомки из овечьей шерсти. Вытаскивают маленькие заструги * с сыром и жадно грызут черствый кукурузный хлеб, заедая его сыром и по очереди откусывая от головки лука.

А потом они снова купаются, катаются на лодке. Павле, как самый искусный, выкрадывал ее у мельников; мельники не раз ловили его и немилосердно стегали прутом, гоняя по мелям и ивняку.

Когда солнце садилось, мальчишки выгоняли овец пастись.

Вот было счастье, если вдруг хлынет дождь, ветер подымет брызги на реке, а овцы мирно спрячутся под деревья.

А наступит ночь, рыба заиграет, подпрыгивая на воде. Ребята ходили с бреднем, ловили пескарей и вьюнов. Пескарики, говорят, обладают чудесной силой: от их писка можно оглохнуть. Во время ловли мальчишки молчали, насупившиеся и серьезные, потому что ведь рыбы все слышат. А самые сильные отнимали рыбу у слабых и били их, если те сопротивлялись...

Павле громко рассмеялся. Ему припомнился один случай в тополях — на другом берегу. Он был уже в четвертом классе начальной школы. Однажды весной он вместе с товарищами вынимал яйца из вороньих гнезд. Взбираясь по стволу молодого тополя, он неосторожно наступил на тонкую, хрупкую ветку и упал. Расшиб колено о кусок кварца, разорвал ухо и потерял сознание. Он скоро очнулся, но пролежал еще несколько часов, испытывая такую страшную боль в груди, что, казалось, вот-вот умрет. Когда же наступила темнота, он насилу поднялся, приказал перепуганным товарищам никому ничего не говорить и еле дотащился домой. Он не стал ужинать, тайком залез в кровать и стал уже засыпать, как подошел отец, поднял одеяло и, ни слова не говоря, как следует выдрал его. Он не стал плакать — назло. Тогда отец рассвирепел и избил его еще безжалостнее.

И, вспомнив все это, Павле пощупал левое ухо. На нем все еще был рубец, оставшийся после падения с тополя. Павле грустно улыбнулся далекому воспоминанию и, прижимая ладонью замерзшее ухо, нежно погладил рубец, словно лаская свое детство.

— Конечно, ушедшее всегда кажется прекрасным, — подумал Павле, — особенно на войне.

У ног его подо льдом бурлила вода. И хотя он не чувствовал жажды, ему захотелось разбить лед, зачерпнуть горстью воды, плеснуть себе в лицо и напиться. Но желание это показалось ему ребячеством. И он подумал, что, пожалуй, не так еще он стар, чтобы жить впечатлениями детства... Впрочем, нет! Он уже не молод. На войне люди быстро старятся, должно быть от близости смерти. И как быстро прошла его молодость!

А ведь ему нужна не одна, а пять жизней, чтобы достичь всего, что он хочет! Какая страшная несправедливость, если он умрет в самом начале. Он слишком мало жил! Слишком мало! Да! И жизнь началась так обычно...

Вот здесь, за рекой, на этих полях и тропинках, лет десять-пятнадцать назад бегал пастушок, делал ножом узоры на тыквах, пас коров и ждал, пока они наедятся до отвала.

Мир его простирался до Крушеваца — они с отцом были там несколько раз на ярмарке, — а что там, за Крушевацем, этого он не знал. Ведь и небо кончалось где-то неподалеку. Пастушок мечтал о желтых башма-

---

* Заструга — деревянный сосуд с крышкой.

ках, таких, как у сына учителя. Ему казалось, что, если десять раз подряд повторить без ошибки какой-нибудь стишок из песенника, который ему дали по окончании первого класса за отличную учебу и примерное поведение,— вот тогда, откуда ни возьмись, на его босых ногах окажутся желтые башмаки. И, повторив десятый раз длинное стихотворение, пастушок сломя голову бросался бежать по дороге, через поле, словно он был уже в башмаках. И с разбега он сшибал своим прутом тростники — один, другой, третий, все подряд, и ему казалось, что они живые. Он сразу уничтожал целое поле, он так хлестал своим прутом, словно хотел сравнять с землей и село с деревьями, и горы за Моравой — все, что видел перед собой.

После Видов дана *, идя за стадом, он нес подмышкой, и так, чтобы все видели, полученную им книгу.

Летом мальчик боялся, как бы град не побил виноградники. Он слушал жалобы отца и деда, и ему хотелось, чтобы каждую ночь шел дождь и поливал кукурузу и огород и чтобы мать по вечерам не стонала у плиты и не жаловалась, что она ободрала себе все руки о котлы.

После «славы» ** он хвастался перед мальчишками, что к нему приходил Андра — жандарм, который после обеда оставляет в тарелке два динара, и показывал пакетик «шелковых» конфет от него.

Турок он представлял себе как высоких худощавых людей, с острыми усами и длиннющими кривыми саблями, и был убежден, что они вечные и единственные враги его народа.

А швабы — о них он почти и не думал, ведь о них ничего не говорилось в песеннике.

Мальчик не боялся ни темноты, ни ведьм, которые в ночное время вскакивают на людей, ни чертей, что на пнях возле Моравы дуют в волынки, а в руках держат свадебные фляги с вином.

Когда он окончил начальную школу, отец, по настоянию учителя, отвез его в гимназию. В памяти остались первые дни в гимназии: радость от ученической фуражки с желтой цифрой и чувство тяжкого стыда перед господскими детьми за свои дважды подшитые опанки и старые суконные штаны, которые он не снимал круглый год. И еще — субботы, сотни суббот, когда отец привозил в котомке припасы его хозяйке и каждый раз, прощаясь с ним, говорил: — Смотри, учись хорошо! Весь дом из-за тебя постится. Сырный рассол мне весь горб разъел, а от котомки у меня уже мозоль на спине, как у цыганского осла.

А потом земля уже не оканчивалась у Крушеваца. Она походила скорее на корыто, как Моравская котловина, сжатая горами.

Он знал теперь не только все пять частей света и столицы всех государств. В шестом классе он уже знал, что мир делится на тех, кто работает, и тех, на кого работают. И был уже не застенчивым гимназистом, а озлобленным взъерошенным юношей, который громко говорил опасные вещи. Он влился в поток молодежи, который бурлил на улицах Белграда и, разливаясь по стране, орошал кровью и питал новой верой измученную жаждой сухую крестьянскую землю.

И память его задержалась на воспоминании об этих студенческих днях, как усталая птица, которая отдыхает на высокой ветке.

Потом пришла та весна, когда он с растерзанной серой колонной солдат проходил мимо цветущих вишен, засыпанных снегом ***, и спасался от оливковых танков со свастикой. А когда в июне серые, печальные лица

---

* Видов дан — 15 июля, день битвы на Косовом поле, когда сербские войска (1389) были разбиты турками.

** «Слава» — праздник святого, который считается покровителем дома, семьи.

*** В апреле 1941 года в Сербии неожиданно выпал снег.

людей осветились улыбками, песни Красной Армии заглушили рыданья и ропот, и вместе с кровью восставших в горы хлынула новая вера, он был среди многих других. Революция представлялась ему вздыбленным лесом рук и винтовок, заполнившим городские улицы, казалась людским потоком, набрасывающимся на баррикады. Он слышал лозунг «Да здравствует социалистическая революция!», он видел портреты Ленина над толпой. Ему грезились красные знамена, штурм заводов, почт, банков и министерств; грезилась рабоче-крестьянская Красная Армия, охраняющая диктатуру пролетариата. Революция! Правда, пока ее дождешься, могут пройти долгие годы. Но сама революция мгновенна. В ней побеждают или гибнут! У него хватит сил, чтобы погибнуть за будущее!

А когда революция пришла, она оказалась долгой борьбой одинокого отряда в сто человек, борьбой с горстью патронов, борьбой с разногласиями в штабе, с поражениями, отступлениями, с необходимостью принимать сложные решения и нести тяжелую ответственность...

И все же Павле в какой-то мере был рад этой ответственности. Революция казалась ему тем величественнее и значительнее, чем труднее была борьба за ее победу и чем дороже она обходилась. И только одного он не ждал, того, что революция потребует этих жертв именно от него...

Отряд двинулся из Ястребаца под звук выстрела. Это Вук привел в исполнение приговор над заместителем командира.

Обе роты шагали целую ночь, каждая в своем направлении. Никто не заговаривал о том, что произошло.

Павле в ту ночь не шел замыкающим, не выходил из рядов, не становился с краю, как обычно. Он то уходил вперед, то возвращался, отдавал приказания, назначал проводников. Словом, делал все, чтобы скрыть свою тревогу. Он и виду не подавал, что в глубине души его мучит то же, что и всех! Он знал, что это мучит всех, хотя они и молчали. Скрывая свое волнение, комиссар мысленно как бы отвечал и себе и другим.

...Вы думали, что нам предстоит бороться только с врагом? Нет, случай с Гвозденом показал, что нам мешают не только враги. Почему это произошло?! Наша борьба не просто война, это — революция. У нее своя мораль: бороться до конца, не щадя сил. Что еще может погубить революцию, как не недостаток решимости вести борьбу до конца? Жертвы?! Но разве не боязнь жертв отдалила революцию во многих странах?

Разве могут произойти изменения в обществе и в истории, если бояться жертв, которых требует борьба? Именно из-за боязни жертв в мире так долго царит несправедливость...

Сейчас надо отбросить гамлетовские настроения. Отбросить! Я сам расстрелял своего товарища! Я! Какой там военный суд!

Почему нищета существует так долго? Неужели из-за того, что мы боимся возмездия в загробном мире? Конечно, нет. Только потому, что мы боимся жертв и колеблемся.

Но сколько ни старался Павле продумать случай с Гвозденом в общепрограммном плане, он непрерывно думал только о самом Гвоздене. Поведение Гвоздена после вынесения приговора Павле считал храбростью обреченного. Ему даже казалось, что Гвозден хотя и верил в свою правоту, но все же чувствовал свою вину перед отрядом. И вел себя так, вероятно, чтобы показать, что если он и заблуждается, то заблуждается искренне. Если бы он чувствовал себя невиновным, он держался бы по-другому. Кричал бы, призывал распустить отряд, старался бы дорого продать свою жизнь.

Нет, в поведении Гвоздена не было великодушия. Это было поведение безнадежно обреченного. Случай с Гвозденом — проявление кризиса в нашем отряде...

И чем больше размышлял Павле, тем яснее ему становилось, что поход за Мораву решает не только вопрос о жизни и смерти отряда. От его исхода зависит оправдание или осуждение казни Гвоздена.

Сейчас, когда Павле шел, размышляя в одиночестве, все эти вопросы и сомнения превратились для него в спор с самим собой.

Медленно и равномерно шагал он по снегу, втянув голову в воротник куртки.

...Жизнь перевернула все сурово, немилосердно. Разве пастушок или гимназист мог предвидеть, что когда-нибудь лунной ночью вот в этих кустах, среди этих плетней, где когда-то дрожали легкие тени и пели соловьи, его будут подстерегать винтовки четников, жандармов и немцев.

Он не знал, что бузина на его поле, за его рекой, станет засадой, где вражеские пули поджидают былого пастушка, который пытался сосчитать мелкие цветочки, белой пеной осыпавшиеся поздней весной. Пастушку и не снилось, что полевые тропинки, на которых он любил шагать после дождя, оставляя свой приметный след, станут опасными тропами, которые нужно обходить и пересекать как можно быстрее. Гимназист никогда не думал, что лунный свет, созданный для любви и стихов, станет однажды врагом, грозящим смертельной опасностью.

...Да! Все другое, совсем другое, чем было когда-то. Все не так, как думалось, как мечталось. И Павле ощутил смутное чувство разочарования, словно впервые в ту ночь осознал все минувшее.

21

В действительности настоящая встреча с родными местами состоялась так:

— Эй, Павле, там на берегу зарезали женщину! — крикнул, подбегая к нему, Вук.

Павле встрепенулся. Все воспоминания о детстве и юности исчезли, словно дикие голуби, вспугнутые выстрелом.

— Пойди посмотри! — голос Вука дрожал. Павле подошел к трупу и оцепенел, словно пригвожденный током. На снегу лежала молодая здоровая крестьянка в нижней юбке и легкой кофте. Голова ее была повернута набок. Левой рукой девушка еще зажимала темную рану на шее, а по снегу расползалось пятно крови, казавшееся черным при свете луны.

— За что они ее? — после долгого молчания едва выговорил Павле.

— Видишь, какая красивая... и верно честная... Ох, перережу их, как бешеных собак... — почти простонал Вук.

Они отошли в сторону.

— Йована все нет, а ему давно уж пора прийти, — сказал Павле, возвращаясь к своим прежним заботам. Что могло с ним случиться? Его вряд ли схватят, он опытный и осторожный разведчик.

Вук сердился на Йована, он ругался, грозил и делал самые неожиданные предположения о причинах его отсутствия.

Павле взглянул на часы: скоро полночь. Что делать, если Йован не придет? Изменить маршрут? Нет, ни в коем случае! Может быть, подождать еще день в ближайшей деревне? Нет, слишком рискованно! Тут равнина, вблизи шоссе и железная дорога. Немцы, конечно, пронюхали, в каком направлении они движутся. Иначе зачем бы они стали топить паромы и лодки на Мораве!

Отряд ждал Йована до двух часов ночи. В тополях слышалось постукивание солдатских башмаков: у партизан зябли ноги. Потеряв всякую надежду дождаться Йована, Павле решил вернуться обратно в деревню, провести там день и на другую ночь снова прийти к условленному месту.

Прячась за плетнями, скользя вдоль тропинок, рота быстро перебежала поле. Бойцы разместились, как обычно, в двух домах на самом краю села. Крестьяне приняли их, робея, но радушно.

На сеновале поставили часового без винтовки, с одним револьвером. Для полной безопасности бойцы приказали хозяевам не выходить со двора. Утомленные и промерзшие партизаны сразу улеглись на полу и заснули. Павле тоже прилег, но, несмотря на усталость, сон его был чутким и прерывистым. Лежать было жестко, он встал и завел разговор с хозяином. Крестьянин жаловался на бесчинства четников. В последнее время они совсем озверели: резали всех подряд — и тех, кто сочувствует партизанам, и соседей, с которыми поссорятся, и женщин, если те дают им отпор, и горожан, приходивших к родственникам за продуктами. Четники убивали из-за часов, из-за автоматической ручки, из-за солдатских башмаков, из-за зимнего пальто, из-за сумки. Они убивали кого попало, даже друг друга во время попойки или игры в кости... Крестьянин долго и подробно перечислял убитых, среди них были и знакомые Павле. Слушая эти страшные вести, которые хозяин передавал по-крестьянски бесстрастным тоном, Павле невольно содрогался от отвращения. Его терзало искушение спросить о своей семье, но он удержался. Он не хотел, чтобы крестьянин узнал, кто он и откуда родом.

Ночь тянулась долго. Было уже утро, когда разнеслась весть, что в село прибыли две машины с немцами. Зачем они приехали, не знал никто. Хозяин и его домашние побледнели и начали суетиться. Вук разбудил партизан и приказал готовиться к бою. Пулеметчики быстро осмотрели и смазали оружие. Наступило напряженное молчание.

Павле послал хозяина узнать, что делают немцы, наказав ему возвращаться поскорее. Не успел хозяин уйти, как в деревню, громыхая цепями и фырча моторами, въехало несколько грузовиков. Боясь попасть в окружение, Вук предложил уйти из села. Для партизана нет ничего страшней, как вести бой в закрытом месте — пусть даже в крепости из бетона. Поэтому Вук хотел принять бой в открытом поле. Павле не согласился с ним. Большинство партизан было на стороне Вука. Они чувствовали себя увереннее в поле, даже зная, что кругом голая равнина. Павле решительно прекратил споры. В этот момент он был хладнокровнее и собраннее, чем обычно, как, впрочем, всегда, когда действовал на собственный страх и риск. Он даже смеялся, подшучивая над теми, кто особенно настойчиво предлагал выйти из домов.

— Вот они! Идут! — крикнул разводящий, все время смотревший в окно.

Партизаны вскочили с мест, держа оружие наготове.

— Спокойно! Ждать! Без команды никому не выходить! — приказал Павле, подходя к окну и глядя в переулок.

Несколько немцев неторопливо шли прямо к их двору. Судя по их спокойствию, они и не предполагали, что в доме партизаны. Павле боялся только, что часовые не выдержат и откроют огонь. Немцы вошли во двор, как хозяева, оставив ворота открытыми.

С ними был маленький человечек в штатском. Он, как собака, вертелся вокруг солдат и тихо что-то говорил по-немецки. На нем была кожаная кепка, из-под пальто виднелись желтые сапоги. Павле понял, что это переводчик.

Мысль о том, что случай может сорвать их план, что из-за какой-то мелочи погибнет вся рота, приводила его в ярость.

— Только бы часовой не открыл стрельбу. Если они пойдут в дом, тогда... — прошептал Павле, обращаясь за советом к Вуку.

Вук молча кусал нижнюю губу. Застигнутые врасплох партизаны переглядывались в растерянности.

Жена и сын хозяина схватились за руки и с ужасом глядели на партизан. Они забились в угол, ожидая, что сейчас начнется стрельба.

— Быстрее выходите во двор. Узнайте, что им надо, — строго приказал Павле, выталкивая за дверь онемевшую от страха женщину и мальчика.

Немцы приближались.

— Снять? — спросил Вук.

— Да нет, они ищут не нас. Видно, пришли по делу к хозяевам, — ответил Павле.

— А где хозяин? Сбежал, наверно! — с досадой прошептал кто-то из партизан.

— Тише! Т-с... — остановил их Павле, не отрывая глаз от немцев, на которых он смотрел из-за цветочных горшков на окне.

— Где хозяин? — строго спросил переводчик.

Женщина и мальчик в испуге переглянулись, они молчали, не зная, что сказать.

— Вы что, немые? Где хозяин, я спрашиваю! — закричал человечек с иссохшим птичьим лицом.

— Здесь. Здесь я, господа! Я только ходил в общинное управление... Не знал, что вы ко мне едете... — закричал хозяин, запыхавшись вбегая во двор. — Вам что угодно? Я здесь!

— Свиней! Но только жирных! — ответил переводчик.

— Жирных? Есть, пожалуйста, есть. Идемте со мной, посмотрите. Жена, налей-ка горькой да вынеси гостям. Вам что угодно? Вино или горькую? Старая препеченица *, добрая!

— Горько! Шнапс-горько! — дружно загалдели немцы.

— Ну-ка, Душанка, неси поскорее. А мы пойдем за свиньями,— торопясь говорил крестьянин. Немцы направились вместе с ним к свинарнику.

— Ох, господи боже мой, пропала наша скотина, — запричитала женщина, идя в дом за графином и стаканами.

— О мясе плачешь, а пять минут назад дом готова была отдать, только бы мы не стреляли! — бросил ей Сима. — Твое счастье, что они просят только свиней!

— У кого что болит, тот про то и говорит. Какое уж тут счастье, когда последнюю свинью забирают, — оправдывалась хозяйка.

Несмотря на всю напряженность и опасность, партизаны рассмеялись — все, кроме Джурдже. После расстрела Гвоздена он все время молчал.

— Слышали? Только крестьяне так могут! — сказал с удивлением Сима.

— Да ну тебя, не ломайся ты тут, — рассердился Вук.

Немцы вышли из свинарника; крестьянин старался выпроводить их к воротам. Подошла жена с водкой. Хозяин начал угощать гостей, обещая сейчас же пригнать свиней к грузовику.

— Жена, иди-ка налей еще бутылочку на дорогу! И яблок принеси, выбери получше, там на окне, — добавил хозяин уже более веселым и естественным тоном.

В это время к хозяевам завернул сосед. Партизаны вынуждены были взять его «в плен» и держать до своего ухода.

Весь день по шоссе мчались немецкие грузовики, гремя цепями о кузов. Партизаны дожидались темноты. Уже в сумерках Павле и Вук вышли в другую комнату, чтобы поговорить наедине о дальнейшем маршруте.

Но тут возникли новые затруднения.

---

* Препеченица — сорт водки.

Партизан Аца еще накануне вечером, перед тем, как отправиться к Мораве, стал жаловаться на боли в животе.

Сначала он сказал об этом Бояне, которая шла следом за ним, потом взводному Николе и наконец постарался раззвонить о своей болезни всей роте. По пути к Мораве он болезненно корчился и то и дело останавливался. На вопросы партизан, что с ним, он сквозь зубы отвечал, что у него приступ аппендицита. Он так часто останавливался в пути, что в конце концов вместо второго отделения оказался в четвертом, последнем. Наконец он очутился рядом с Павле, который замыкал колонну. Тут он начал отставать еще сильнее, еще чаще стонал, корчился и старался обратить на себя внимание комиссара. Но Павле вел себя так, будто ничего не видел, останавливался вместе с Ацой, выдерживая установленное расстояние. Павле был всегда невысокого мнения об Аце, как о бойце. Время от времени он только деловито говорил ему: «Не задерживай!» Когда они пришли в деревню, Аца улегся возле самой плиты, целый день корчился и стонал. Партизаны, усталые и взбудораженные необычной для них обстановкой, не обращали на него внимания. Только Бояна заботилась о больном, целый день грела куски черепицы и прикладывала ему к животу; хозяйка, сжалившись, несколько раз приносила Аце теплое молоко в пестрой чашке.

Днем, по просьбе Николы, Ацу смотрел фельдшер Света. Он долго щупал ему живот, надавливал то здесь, то там.

— Больно?

— Больно.

— А здесь?

— И здесь больно.

— А здесь?

— Тоже больно.

— Не пойму, что с тобой. Если бы не война, я тебе, как бывшему фельдфебелю авиации, рекомендовал бы курорт на Врньцах или в Карловых Варах, а сейчас придется стиснуть зубы. Пройдет. Поболит, поболит и перестанет. У всех проходит.

Этим и кончился медицинский осмотр.

Когда стемнело и можно было свободно пройти из одного двора в другой, Аца, согнувшись, вошел в комнату, где сидели Павле и Вук.

— Товарищ комиссар, у меня приступ аппендицита. Со вчерашнего вечера мучаюсь.

Павле строгим взглядом смерил его с головы до ног, помолчал и спросил.

— А что тебе сказал Света?

— Ничего! Что же он может сказать! Это внутренняя болезнь, а он умеет только рану перевязать да прописать аспирин.

— А чем можем тебе помочь мы?

— Я не могу двигаться в таком состоянии, — он остановился, поморщился и добавил тише. — Я буду только обузой для роты. Вам нет смысла тащить меня дальше. У меня в соседнем селе родственники, и я мог бы там укрыться, пока вы вернетесь... Так будет лучше.

Вошла хозяйка, неся простыню, чтобы занавесить окно.

Они замолчали. Вук внимательно разглядывал Ацу. Павле с папиросой в зубах прошелся по комнате, дергая себя за левый ус.

«Паника. Боязнь новой местности. Сомнения... Я думал, что с ними покончено. И не только этот, другие, наверное, тоже. Все новые и новые препятствия», — думал с тревогой Павле, сам не зная, как тут поступить.

— Неужели совсем идти не можешь? — спросил Вук, когда хозяйка вышла.

— Если бы мог, разве я согласился бы отстать от отряда и, рискуя жизнью, таскаться по сеновалам, — раздраженно ответил Аца, не глядя на Вука, о котором был невысокого мнения, как о командире.

— Видишь ли, Аца, я согласен с тем, что у тебя внутренняя болезнь, — спокойно начал Павле. Он взялся руками за спинку стула и, раскачивая его, пристально смотрел на Ацу, присевшего на скамью около окна.

— Твоя болезнь называется паникой. И проявляется она именно в тот момент, когда надо перейти Мораву и по-настоящему драться с четниками.

— Товарищ комиссар, по-моему, у тебя нет оснований так говорить со мной. Будь я паникером, я не пошел бы в партизаны! — обиженно прервал его Аца.

— Погоди, я не кончил! Я еще раз повторяю тебе: твоя болезнь — паника! Понимаешь! Мы, политические комиссары, — профаны в медицине, но это мы называем туберкулезом души. Ясно? Страх точит твою душу, как червь картошку... — Павле оставил в покое стул, заложил руки за спину и продолжал, не слушая возражений Аци. — И, как всякий туберкулез, он поражает все органы. У бойца, когда эта болезнь затрагивает сердце, она называется трусостью! Погоди, погоди, после скажешь, когда я кончу. А затем она распространяется дальше — на мозг! А когда она захватит и мозг, тогда заболевает весь организм, и такое состояние я бы назвал предательством. Вот чем ты заболел!

— Извини, но я не могу так разговаривать! Я думал, что своим поведением в боях доказал... — вскричал Аца.

— Молчи и слушай дальше! — резко, но не громко оборвал его Павле. — Я согласен с тем, что ты — лишний груз для отряда.

— Идиотизм брать в отряд офицерье, — сказал словно про себя Вук.

Павле недовольно посмотрел на него и продолжал:

— Ты являешься для отряда не просто балластом, а куда хуже. Твоя болезнь заразительна. Хорошо, что она поразила именно тебя. Вот что я хотел тебе сказать. А сейчас сдай оружие и боеприпасы и убирайся куда хочешь. И смотри, если выдашь отряд, я тебя все равно рано или поздно отыщу! Понял?!

— Не сдам оружие! Я партизан и останусь партизаном! А ты когда-нибудь в этом раскаешься, — и Аца встал.

— Еще грозишь, предатель! Я не знаю философии, как Павле. Убью! — Вук схватился за револьвер, но Павле взял его за руку.

— Ты что? Успокойся!

— Снимай винтовку и давай сюда! Патроны! Снимай! Чего ждешь! — прошипел Вук.

Аца снял винтовку и сумку с патронами. Павле даже не взглянул на него, когда он выходил, и молча продолжал шагать по комнате.

— Знаешь, Павле, что ты сделал? — сказал злобно Вук.

— Знаю. А что?

— Он выдаст нас — эта падаль. Ты ставишь под удар отряд.

— Так надо. Надеюсь, ты не думаешь и здесь расстреливать колеблющихся? Сегодня вечером мы сообщим бойцам, что выкинули этого труса из отряда.

— А я с такой политикой не согласен. В такой обстановке трусов и паникеров надо именно расстреливать!

— Для того чтобы поднять сейчас боевой дух, лучше прогнать труса, чем расстрелять, — сказал Павле, который считал, что после истории с Гвозденом новый расстрел произвел бы удручающее впечатление на бойцов.

В эту минуту вошел Никола и доложил, что парень из Слатина, который пришел в отряд осенью, жалуется на отмороженные ноги, говорит, что не может дальше идти.

Павле и Вук переглянулись. Никола добавил, что с этим слатинцем дело нечисто, потому что с тех пор, как они ушли из Ястребца, он все время чем-то подавлен.

— Ну, у этого другая болезнь, — заметил Павле, снова прибегая к понравившемуся ему сравнению. — У него болезнь, которой страдают все крестьяне... Она называется: «Если мне суждено умереть, так уж лучше у себя дома».

Вук в нескольких словах рассказал Николе о том, что произошло с Ацей.

— Прав был Ефта, когда говорил: «Червивые яблоки не дожидаются бури, они падают от первого ветерка». Так и со слатинцем. Отбери у него оружие и отпусти его, пусть идет! Еще есть трусы?

Никола в смущении посмотрел на Вука и Павле, расстроенный вопросом комиссара.

— Да нет, какие трусы! Люди держатся отлично.

— А я тебе еще раз говорю, я не согласен с такой политикой. Люди подумают, что штаб деморализован и распускает всех на все четыре стороны. Сейчас надо держаться тверже! — сказал Вук.

— Я согласен с Вуком, — поддержал Никола.

— А я все-таки не могу с вами согласиться. Я хорошо знаю, что делаю. И скоро вы в этом убедитесь, — уверенно заявил Павле.

За ужином Павле, соблюдая конспирацию, принятую у партизан, стал расспрашивать хозяина, как идти в сторону, прямо противоположную намеченному ими маршруту. Поговорил он и с «пленным» крестьянином, который просто слов не находил, чтобы выразить свое восхищение партизанами, и заявил, что он еще до войны читал какую-то запрещенную книгу о Советской России и что с первого же дня восстания он был за коммунистов.

Павле на всякий случай заметил, что ему плохо придется, если он вздумает болтать, что видел партизан. — Не беспокойся! Видел ли, нет ли — все одно. Ничего я не видел! — заявил крестьянин. Уже уходя и словно вспомнив о чем-то, он добавил: — Товарищи, я дам вам сала на дорогу. — Павле поблагодарил его, и крестьянин ушел.

Партизаны осторожно вышли из дому и плотной колонной быстро направились через поле к Мораве. Жизнь в селе замирала. Кто-то доставал воду, слышно было, как потрескивают примерзшие стенки колодца. Даже собаки не лаяли на морозе.

Вечерний поезд подошел к станции и сипло, по-гусиному, зашипел, выпуская пар.

Снег хрустел под ногами, и в морозном воздухе раздавался долгий протяжный скрип. Звезды, рассыпанные по небу, спустились ниже.

Придя в ту же рощу, где они были накануне ночью, Павле приказал партизанам собраться.

— Товарищи! Сообщаю вам, что одного труса, который испугался трудностей борьбы, мы вышвырнули из отряда.

— Кого это, Ацу? — спросил кто-то.

— Ацу!

— Правильно. Этого типа расстрелять надо было.

— Мы не расстреляли его. Мы считаем, что изгнание из отряда гораздо более тяжелое наказание для партизана, чем расстрел.

— В этом походе мы избавимся от всякой дряни, — прервал его один из бойцов.

— И нечего принимать в отряд первого попавшегося, только винтовки зря терять, — добавил другой.

— Слабые бегут и предают нас именно теперь, когда впереди самое трудное. Они недостойны называться людьми. Давайте посмотрим в глаза друг другу: может быть, есть еще кто-нибудь, кто не хочет бороться? Что ж товарищи! Если есть такие, пусть говорят прямо! Пусть сдают оружие и идут на все четыре стороны!

— У меня отморожены ноги, но я все равно пойду. Я не стану предателем. Пока смогу, буду идти, а когда уж не хватит сил... ничего... у меня найдется пуля для себя, — заявил слатинец.

Партизаны повернулись к нему, стараясь увидеть его лицо.

— Если не можешь идти, отправляйся сейчас же домой. Лучше сделать это у всех на глазах, чем потом улизнуть втихомолку, — ответил Павле.

— Нет. Я сказал. Я пойду, хотя едва держусь на ногах.

— Ладно! Есть еще кто-нибудь?

— Нет, товарищ Павле, ведь нас никто насильно не заставлял идти в отряд!

— Вы знаете, что ночью мы переправляемся через Мораву. От вас потребуются особая осторожность и дисциплина, — сказал в заключение Павле и пошел на берег узнать, не пришел ли Йован.

Наконец-то он чувствовал себя уверенно. Поведение бойцов придавало ему силы. Он был убежден, что сегодня вечером с чисткой в отряде покончено.

В тот же вечер слатинец сбежал.

На следующий день после ареста Йована вместе с другими выпустили в сумерки на прогулку в маленький тюремный дворик. «Прощай, старая вонючая конура! Живым ты меня больше не увидишь!» — думал Йован, выходя из коридора на лестницу. Он остановился на последней ступеньке, набрал полную грудь холодного январского воздуха и невольно засмотрелся на маленькое облачко, похожее на обгоревший по краям красный девичий платок и словно зацепившееся нижним краем за колючую проволоку, которая окружала тюремный двор. Морозный чистый воздух и возбуждение, охватившее его, когда он решил бежать, придали Йовану новые силы. Ему так и хотелось прямо отсюда, с лестницы, броситься к стене, и, ухватившись рукой за колючую проволоку, перемахнуть через нее.

Йован спустился с лестницы и стал прогуливаться по двору, думая все об одном, перешел ли отряд Мораву? И где он сейчас?

Конечно, все станут его ругать. Павле отчитает его. Вук рассердится, ну и пусть! Пусть ругают. После всего, что случилось, упреки товарищей будут ему даже приятны.

А когда они все успокоятся, когда не спеша, со всеми подробностями он расскажет, как водил за нос вражеских начальников и надувал всех подряд. Да, скажут, бойцы, но как же все-таки его поймали? Ну, это случилось только потому, что он был сонный. Он спал на ходу, когда подходил к мельнице. А мельники оказались подлыми дражинцами — они даже не предупредили его о засаде. Нет уж он сумеет представить им все в самом лучшем свете...

Во дворе боролись и играли снежками заключенные.

Бежать! Сейчас же! Начальник может каждую минуту получить ответ и узнать, что он вовсе не связной четников, а тогда... Сейчас же бежать! Как можно скорей! Йовану вдруг стало страшно при мысли

о том, что ответ на запрос, может быть, уже пришел. Сейчас войдет жандарм, чтобы отвести его на допрос.

Он пошел быстрей, осматривая стену и ища места, где бы удобней было взобраться. Стена была гладкая, высокая, ухватиться не за что. У ворот тюрьмы стоял недичевец с бельгийской винтовкой. «Броситься на него, ударить его ногой в живот, отнять у него оружие и бежать»! — быстро соображал Йован. Но недичевец высокий и сильный, повалить его нелегко. Да он не сможет даже и броситься на недичевца; тот выстрелит — и конец... Йован подошел к часовому и попробовал завести разговор: — Ух и жуткий же нынче мороз!

Часовой только поглядел на него и, отвернувшись, продолжал шагать взад и вперед. Йован подошел поближе.

— Назад! — приказал часовой.

Йован отошел. Он очень боялся, что побег сорвется.

Да, теперь все пропало. Он своим дурацким поведением вызвал подозрение часового. Тот глаз с него не спустит. Дурак! Сам виноват. Самые разнообразные планы вихрем проносились у Йована в голове. Бежать, бежать немедленно! Но как? Ворота заперты. Стену не перескочить. Часовой начеку! Сейчас стемнеет, каждую минуту заключенных могут позвать обратно. Время летит с невероятной быстротой.

На лестнице появился комендант тюрьмы с кувшинами. Йован кинулся к нему — не пошлет ли он его за водой? Он хотел уже было вымолвить: «Я сбегаю!», — но его остановил строгий, подозрительный взгляд офицера. Жандарм подозвал старика из камеры Йована и еще одного арестанта, дал им кувшины и приказал принести воду.

— Не выслуживайся впредь перед жандармами, — проворчал старик, проходя мимо Йована.

И этот знает. Все знают, что он хочет бежать.

Как глупо он себя ведет! Черт его подери совсем! В эту минуту он увидел, как часовой отпирает ворота, чтобы пропустить арестантов с кувшинами. «Сейчас!» — молнией пронеслось у него в голове. Арестанты вышли, часовой, следивший за ними, остался стоять в воротах, спиной к Йовану. Колодец, где брали воду находился недалеко от тюрьмы. Йован почувствовал, что наступил подходящий момент. Сердце забилось у него в груди, как птица в клетке. Вдруг он словно услышал крик: «Вперед!» Он вскочил и с разбега, что было силы толкнул в спину часового. Тот зашатался и рухнул лицом на обледенелый тротуар. Перескочив через него, Йован кинулся вниз по улице.

— Не беги напрямик! Петляй, петляй! — кричал вдогонку ему старик.

Йован хотел что-то крикнуть ему в ответ, но у него пропал голос. Круто поворачивая то вправо, то влево, он мчался по улице.

Йован пробежал уже больше ста метров, когда жандарм, сильно разбившийся при падении, пришел в себя и, зовя на помощь, стал не целясь стрелять. Улица была пуста. Пробежав метров триста, Йован налетел на какие-то ворота, сорвал их, пробежал чей-то огород и очутился в открытом поле.

Впереди лежало ровное, голое пространство. Вдали чернел длинный ряд деревьев, терявшийся где-то возле Моравы. Йован подумал, что это, вероятно, лесок, и бросился в ту сторону. Он скользил по обледенелому снегу, иногда проваливался по колено, падал, быстро поднимался и бежал дальше. Вокруг засвистели и завизжали тонкими голосами пули, поднимая снежную пыль. Вскоре застрочил голландский пулемет. Время от времени Йован оборачивался на бегу. Вдалеке он видел своих преследователей. Судя по огню, который они открыли, их было человек десять, не больше. Это его не пугало. Он мчался по полю, ра-

дуясь своему освобождению. Холодный воздух обжигал лицо, в горле у него пересохло, от напряжения ломило в висках. Ему казалось, что стоит только добежать до деревьев — и он будет вне опасности. Но, достигнув деревьев, он увидел глубокий ручей; берега его густо заросли терновником, вязами и акацией. Йован бросился бежать вдоль ручья, по крутому и высокому берегу. Погоня все приближалась. Йован выбился из сил. Он заметался. Опасность была уже совсем рядом. Он бросился в заросли терновника и кубарем полетел с обрыва. Очутившись внизу, перебрался через ручей. Попытался вскарабкаться на другой берег, но ноги его скользили по обледеневшему снегу, и, несмотря на все отчаянные попытки, он снова съезжал на дно. Жандармы уже перестали стрелять. Голоса их раздавались где-то совсем рядом.

Под обледенелым снегом били ключи, и Йован несколько раз проваливался по колено в воду. Силы его иссякали. Он все еще пытался бежать, но едва брел, шатаясь и падая. Жандармы уже подходили к ручью.

— Вот его следы! Он спустился здесь! — ясно услышал Йован.

Он снова пустился бежать, но теперь уже по воде. В этом месте ручей еще не замерз. Под высокими берегами было темней, чем в поле. Йован споткнулся и упал в воду. Сил хватило еще только на то, чтоб залезть в глубокую яму под каким-то пнем. Он опустил ноги на дно и поднялся. Опираясь на руки, старался держаться над водой, но от усталости голова его невольно падала на грудь.

— Здесь! Теперь не уйдет, черт бы его побрал! — крикнул жандарм, стоя на берегу прямо над ним.

— Вот следы! Окружай!

— Спускайся в ручей!

— А ты ступай на другую сторону! — кричали жандармы.

Йован напряг все силы, стараясь вылезти и бежать дальше, но ноги его не слушались.

«Что же это, я? Не могу!.. Не могу!.. Неужели... конец!» — только эта одна-единственная мысль стучала у него в мозгу.

Он услышал шаги жандарма, который шел по его следу, потом увидел его. Жандарм ступал осторожно, держа винтовку наготове.

— Вот здесь след теряется, — крикнул жандарм, шедший по воде.

— Смотри лучше! Пониже спустись! — ответил ему кто-то с берега.

И жандарм прошел на расстоянии двух-трех шагов от Йована. Йован судорожно сжимал руками мокрый снег. Жандарм удалялся вниз по реке и вскоре исчез. Все стихло. Только подо льдом шумела и бурлила вода. Йован так обессилел, что снег казался ему мягкой и теплой подушкой. Голова его клонилась от усталости, перед глазами плыло что-то черное...

Больше он ничего не слышал и не чувствовал. Он летел в черную бездну, летел долго, долго. Он уносился все дальше, а жандармы стояли, нагнувшись над бездной, стреляли, грозили, ругались... А он все летел и летел, уверенный, что спасся, и громко торжествующе смеялся.

Нет, он никогда не был в плену. Жандармы, тюрьма, стрельба в спину — все это просто сон... И ручей тоже...

Все это только сон!..

Потом что-то вдруг зашумело, сначала тихо, потом все громче и громче. Это шумел окружавший его мрак. Послышались голоса... Темнота грохотала и кричала, и сквозь весь этот грохот и крик он вдруг услышал отчетливый и страшный голос: «Выходи! Чего ждешь?»

Он открыл глаза. Палец жандарма, лежавший на курке, шевельнулся, что-то щелкнуло. Выстрела не было слышно.

...Он очнулся и поднял голову, дрожа от ледяного холода. Его била лихорадка. Вокруг стояла тишина.

— Я жив... Жив... — прошептал Йован.

Он судорожно сжал комок снега, который все еще был у него в руках, и повторил: «Да! Жив!»

Затем вытащил руку, отер снег с лица и стал напряженно вслушиваться. Ничего не было слышно, кроме тихого журчания воды. Йован постоял несколько минут, потом потихоньку вылез из ямы и снова прислушался. Нет, ничего! Хватаясь за ветки, он с трудом выкарабкался на берег и осмотрелся.

В лунном свете сверкал и переливался обледеневший снег. Разбросанные по полю, чернели кусты и деревья. Где-то внизу лаяли собаки. Там была деревня.

— Опять вырвался! Но как? Конечно, это только счастливый случай, никак не ловкость, — тихо сказал он и, стряхнув снег с одежды, пошел в том направлении, где, как ему казалось, было село и где его ждал связной.

Мокрая его одежда быстро одеревенела; усталый и промерзший, он еле двигался. Ему пришлось снять обледенелые опанки. В одних чулках он не так скользил и пошел быстрее. Йован шел долго, но села, которое он искал, нигде не было. Он уже не думал о том, что пережил, — очень мало думал и об отряде. Впрочем, ему не верилось, что с ротой могло случиться что-нибудь дурное. Ему хотелось только как можно скорее встретиться с товарищами. И он торопился так, словно они дожидались его в условленном месте.

Йован совсем потерял представление о времени. Ориентироваться по месяцу было трудно. Поля, горы, леса, дороги — все этой ночью изменилось. Он блуждал долго, но никак не мог определить, где находится. По крику петухов понял, что скоро рассвет, а села все не было. Мысль, что день может застать его в открытом поле и что, усталый и замерзший, он легко может попасться четникам, пугала его. Торопливо, почти бегом, направился он к высоким деревьям, видневшимся на краю какой-то деревни. Чулки на нем разорвались. Он шел по льду босиком, но не чувствовал холода.

На заре, когда уже легко было различить человеческую фигуру, он подошел к хлеву, стоявшему среди сливовых деревьев на краю села. Это было большое моравское село, но он не мог распознать, какое: ведь на равнине все села похожи одно на другое. «Что это со мной? Везет, словно утопленнику, — как говорит Джурдже», — подумал он, внимательно разглядывая все вокруг. Постучаться в дом он боялся — хозяева могут быть четниками. Идти дальше? Но куда? Войти в свинарник? Здесь его тоже, пожалуй, найдут. Но другого выхода не было.

Он перескочил через ограду и очутился в хлеву, среди жирных свиней. Они спокойно похрюкивали: его присутствие нисколько их не взволновало. Он сунул замерзшие ноги под мягкое горячее брюхо черной откормленной свиньи.

Она даже не шевельнулась, только хрюкнула несколько раз, словно сердясь, что потревожили ее сон. Йован сунул руки под брюхо другой свиньи. Так, скорчившись, он и остался сидеть.

Под стеной запищали мыши. Они всегда вызывали у него отвращение. Йован усмехнулся. Впервые в жизни мыши не были ему противны.

К хлеву стаями слетались галки и воробьи. Галки спокойно и серьезно сидели на загородках и почесывали клювами у себя под крылом. Воробьи, галдя, бросались на пустые корыта, влетали к свиньям и, испугавшись Йована, бросались назад к плетню.

Вошла толстая хромая старуха с корытцем кукурузы для свиней.

«Что делать, если она меня заметит? Не могу же я взять бабку в плен! Но ведь следовало предвидеть, что сюда могут войти».

Йован дрожал, изнемогая от холода, страха и усталости.

— Вици! Вици! Вици! — кликала бабка.

Слегка приподняв головы и повернув в ее сторону заплывшие жиром уши, свиньи продолжали лежать. Йован толкал их, бил, стараясь заставить подняться, но они только удивленно смотрели на него своими маленькими гноящимися глазками.

— Ах, чтоб вас! Чего не выходите, пропади вы пропадом!

Йован изо всех сил колотил свиней, но они не желали вставать. Скрипнула калитка, старуха подошла к корыту, высыпала в него кукурузу и, взяв палку, вошла в хлев. Йован скорчился и забился в самый угол. Кляня свиней за лень, старуха нагнулась, чтобы выгнать их силком, и тут заметила Йована. Она так и отпрянула в испуге.

— Ты кто? Тебе чего надобно? Эй, Радисав! — кричала она, бросаясь вон из свинарника.

— Бабушка, не бойся! Не бойся, иди сюда! Да не пугайся ты, подойди поближе! — умоляющим тихим голосом заговорил Йован.

Она испуганно смотрела на него, стоя у входа в свинарник.

— Иди поближе, я все тебе скажу! Не бойся!

— А ты кто? Господи боже ты мой! Чего тебе надобно? Какая тебя нелегкая сюда принесла? — строго, но сочувственно спрашивала старуха, приближаясь к нему.

— Я убежал с шахты, и здесь меня застал рассвет, — солгал Йован, последний раз за эти двадцать четыре часа. — А кто у тебя дома, бабушка?

— О господи! Чтоб у них в голове шахты эти повырыли! Все время гоняют людей, а они бегут, бедняги. Чтоб им обвалиться, этим шахтам! А чей ты и откуда, если не секрет, сынок?

— Я из Кралева... А ты, бабушка, не сказала мне, кто у вас дома? — отвечал Йован, все еще сидя на корточках.

— Сын, да сноха, и трое внучат, дай бог им здоровья! Да ты не бойся, если только правду говоришь. Сейчас я сына позову. Ох бедняга, да ты босиком! Да еще по воде видно шел! Чтоб у этих немцев глаза лопнули, чтоб матери с поводырями искали их по всему белому свету...

И, проклиная немцев, старуха заковыляла к дому.

23

На Мораве дул восточный ветер, больно бил прямо в лицо. В ивняке потрескивали промерзшие ветки. Партизаны, прижавшись друг к другу, молча переминались с ноги на ногу, стоя за широкими стволами тополей. Павле и Вук шагали взад и вперед по берегу. Время от времени они останавливались, прислушивались и снова принимались шагать.

— Нет, его нет... Наверно, с ним что-нибудь случилось, — озабоченно проговорил Павле.

— Да что с ним может случиться? Эх, доберусь я до этих связных... Надо одного из них к ногтю прижать, тогда будет толк. Если только он жив, я предам его военному суду, — кипятился Вук.

— Да кто знает, что с ним! Гадать, почему он не пришел, сейчас бесполезно. Смотри, как бы от этого ветра река не стала. Нам надо переправиться сегодня же ночью, чего бы это ни стоило.

— Верно. И если не найдем переправы, перейдем вброд.

— Погоди, давай сначала поищем паром или лодку. Эх! Надо было раньше этим заняться! Ты пошли несколько человек осмотреть берег. И, знаешь, пойдем-ка и мы с тобой. Как ты думаешь, сказать бойцам, каково наше положение? Может быть, они сумеют предложить что-нибудь и получше?

Вук, не отвечая, направился вслед за Павле. Была уже глубокая ночь, когда они объявили свое решение отряду.

Партизаны оживились. Они шепотом ободряли друг друга, строили предположения о судьбе Йована, рассуждали о том, как лучше переправиться через реку. Против решения штаба не возражал никто. После случая с Ацей и разговора с Павле люди подтянулись. Они были готовы перенести любые тяготы, и каждый считал себя ответственным за тяжелый и рискованный поход, предстоявший отряду.

— Не везет нам, товарищи! Придется нам самим искать переправу. Пути назад нет. Йована ждать мы больше не станем. Кто знает, что с ним могло случиться. Я предлагаю походить вдоль берега и поискать паром. Если мы не найдем его, нам все равно сегодня надо будет перебраться, пусть даже вброд. Как ваше мнение?

— Правильно!

— Конечно переправляться! Что же еще остается нам делать?

— Назад ни шагу! — кричали взволнованно люди, понимая, что наступил решительный момент. И Павле и рядовые партизаны почувствовали, что в эту минуту расстояние между штабом и бойцами исчезло, что сейчас они все — члены штаба.

— Пусть и внуки наши попомнят, как отряд наш переходил замерзающую Мораву, — вырвалось у Павле. — Ну, а теперь все те, кто знает эту местность, бегите бегом и осмотрите берег. Какой-нибудь паром должен найтись!

Человек десять во главе с комиссаром отправились искать лодки. Они обшарили ивняки, и старицы, и маленькие заливчики, искали на отмелях и возле мельниц, надеясь, что крестьяне, наперекор приказу немцев, затопили не все. У крестьянина в крови нарушать любой приказ властей, пусть даже ценой собственной головы.

Полночь застала их в тех же напрасных поисках. Теперь уже весь отряд принимал в них участие. Мороз крепчал, ветер дул сильнее, ледяная каша в реке все густела. Павле встревожился не на шутку. Зачем он понадеялся только на Йована? Почему не постарался днем обеспечить переправу? Он сел прямо в снег, думая о том, как поступить. За рекой, в селе, слышались протяжные звуки гармошки и песнь, часто прерываемая револьверными выстрелами.

— Они! Ну, что ж! — произнес Павле громко. — Поди и не подозревают, что мы так близко.

Сам он был уверен сейчас только в одном — надо торопиться! Тотчас снова собрал отряд и приказал идти за собой. Павле и Станко с заместителями шли впереди. Вскоре они побежали. В этом месте Морава сильно петляет и образует множество стариц. Этот извилистый путь отнял у партизан много лишнего времени. В одном из заливчиков они спугнули стаю спящих диких гусей. Почуяв людей, птицы с криком поднялись в воздух. Наконец, после почти двухчасовых поисков, Павле и его группа заметили хижину паромщика. Они осторожно подкрались к ней. Хижина была пуста.

— Смотри, да ведь это паром! — радостно закричал Павле.

Они подошли ближе. На обледеневшей отмели стоял паром, до половины покрытый водой. Все было на месте: даже трос, зацепленный за перекинутую через реку проволоку.

— А как быть с водой? Паром ведь дырявый... — сказал Станко.

— Справимся! Главное, у нас есть паром. Скажи Вуку, чтобы поторапливался, — ответил Павле, пытаясь пройти к парому. Но лед сразу треснул, Павле оказался по колено в воде, и ему пришлось вернуться на берег.

В это время подоспел Вук с остальным отрядом. Партизаны радостно зашумели. Павле напомнил им, что надо соблюдать тишину, и озабоченно обратился к Вуку.

— Он полон воды! Что нам делать?

— Я и еще пять человек пойдем в деревню и приведем крестьян с ведрами. Больше здесь ничего не придумаешь, — ответил Вук.

Павле согласился, и Вук, взяв с собой несколько человек, побежал через поле в село. Партизаны выставили дозоры. Павле быстро ходил по отмели, ноги у него совсем промокли. Но теперь уже Павле верил, что несмотря на все препятствия, они переправятся, лишь бы только шуга * не оказалась слишком густой. Он со страхом глядел на реку и часто подходил к самому краю отмели. Судя по скрипу и шуршанию льда, ему казалось, что «сало» становится все гуще. Он понимал, что теперь дорога каждая минута.

— Посмотрите, нет ли здесь где шеста? — сказал Павле.

Опять начались долгие поиски, и в конце концов ему доложили, что ничего не нашли.

— Черт побери! Смотрите-ка лучше, паромщики обычно прячут свои шесты.

— Нету! — снова ответили ему.

— Три человека быстро в ивняк! Срубите два молодых дерева. Только прямые! — Павле весь трясся от холода, мокрые ноги его окоченели, он с трудом выговаривал слова.

— У кого есть нож? — спросил Никола. — Нельзя же рубить деревья перочинным ножичком.

— Правильно! Но, когда я говорю, что надо иметь при себе штыки, все смеются. Вот подождите только до первого боя! В моем взводе ни одного человека не будет без тесака.

— Ну-ка, Джурдже, иди и ты с ними. Покажи свое столярное мастерство, — пошутил Сима.

— Если когда-нибудь еще придется быть возле Моравы, я прихвачу рубанок и пилу. Материала тут хватит, — ответил Джурдже, отправляясь вслед за Николой.

Пыхтя, разбрасывая искры и тарахтя пустыми вагонами, прошел товарный поезд.

— Трехчасовой, должно быть, — сказал кто-то.

— Через час мы должны переправиться, хоть вплавь. Где же Вук? Посмотри, что они делают там в роще! За это время можно зубами перегрызть ствол, — нервно говорил Павле.

— Да ведь они только что ушли!

— То есть как это только что? Ступай сейчас же! И, потеряв терпение, Павле сам пошел в рощу. Партизаны, кряхтя, возились возле двух деревьев. Они то с одной, то с другой стороны втыкали в стволы ножи, ворчали и злились друг на друга. Торопя их, Павле тоже взялся за нож. Наконец палки были готовы, их кое-как обтесали, и все вернулись к парому.

Появился и Вук с ведрами, котлами и с одним-единственным крестьянином, которого он застал в деревне. Все остальные не ночевали дома, уклоняясь от четницкой мобилизации. Вук и его люди выдали себя за четников. Грозя самыми страшными карами они раздобыли наконец

---

* Шуга — ледяная каша в реке.

необходимую им утварь, а единственный обнаруженный ими мужчина принес топор и лопату. Он сразу же, с первого взгляда, заметил, что одеты они кое-как, не по форме, и не поверил, что перед ним четники. Теперь он спокойно обращался с ними, как с партизанами.

Не беспокойтесь, товарищи! Все будет в порядке. Люди все могут, нужно только захотеть, — говорил он. — Сначала надо разбить лед вокруг парома. Я буду рубить топором, а кто-нибудь из вас пусть возьмет лопату.

Лопата оказалась у Николы, и он вместе с крестьянином вошел в воду.

— Что, служивый, горячо? — подшучивал Джурдже.

— Горячо, горячо! Вот скоро сам узнаешь, как горячо.

Ветер разносил треск льда по безлюдному простору.

Павле волновался и все время просил стучать потише. Он устал от ожидания. Ему казалось, что все это тянется слишком долго. Он тоже вошел в замерзающую реку. Освободив паром, они взобрались на него, очистили его ото льда и позвали несколько человек вычерпывать воду.

Вук, Джурдже, Бояна и еще несколько человек вошли в реку, влезли на паром и стали работать ведрами.

Павле сердило, что Бояна стоит в воде. Удивлялся ей и крестьянин и все просил сойти на берег. Но девушка настойчиво, не обращая внимания на их уговоры, продолжала вычерпывать воду.

Дело двигалось медленно. Первую смену работавших сменила другая. Приближался рассвет, и Павле все нетерпеливей и настойчивей торопил бойцов.

— Кажется, у него дно пробито... Надо вытащить паром на отмель, — сказал крестьянин.

Они вошли в воду по пояс.

— Вот уж я никогда не был любителем ванн, — шутил через силу Джурдже.

Скребя дном песок, паром двигался еле-еле, затем он и вовсе застрял. У партизан уже не было сил протолкнуть его дальше.

— Наклоняйте в эту сторону. Надо его приподнять, — сказал крестьянин, принимая командование на себя.

Но они не могли сдвинуть его с места.

— Нужно еще человек десять, — сказал крестьянин.

К ним бросились партизаны, стоявшие на отмели. Общими усилиями им удалось наконец приподнять паром. Вода хлынула через задний борт. Паром снова опустили на песок, он был пуст.

— Ага! Теперь нужно найти дыру,—сказал озабоченно крестьянин.— У кого-нибудь есть фонарь?

Вук подал ему электрический фонарик, и крестьянин начал осматривать дно. Он долго разглядывал его и ругался, пока наконец нашел трещину.

— Чем бы ее заткнуть?

— Тряпка годится?

— Годится, только надо очень большую.

— Ну, отрежем от чьей-нибудь шинели.

— Нет, не надо, вот вам мой гунь. Он все равно уж старый. А шинели вам пригодятся.

Не раздумывая ни минуты, крестьянин скинул с себя гунь. Оставшись в одном кожухе без рукавов, он при помощи топора распорол свою одежду и принялся затыкать трещины, забивая в них топорищем куски своей куртки.

В деревнях уже перекликались петухи. В соседней старице несколько раз хрипло крикнул нырок. Ветер дул все сильней.

— Ну, готово? — то и дело спрашивал с нетерпением Павле. Его мокрые шаровары покрылись льдом и залубенели.

— Еще немножко, еще немножко, — отвечал крестьянин.

— А что мы будем делать, если паром не пройдет? — спросил комиссара Сима.

— Если не пройдет?... Почему не пройдет? Пройдет! И не паникуй!

— Да должен пройти, голова ты садовая! — прибавил кто-то.

— Конечно, должен!

— А если все же не пройдет? — вмешался третий.

— Хватит! — оборвал Павле, который сам боялся этого больше всех.

Крестьянин заткнул наконец дыру и велел прихватить с собой ведра, на случай если понадобится вычерпывать воду.

Паром столкнули в реку. Вук отправился с первым взводом, захватив всех, кто работал на берегу в воде. А Павле с остальными бойцами остался ждать своей очереди.

Паром медленно приближался к другому берегу, так медленно, что Павле казалось, будто он стоит на одном месте.

— Павле, паром остановился! — промолвил кто-то.

— Ничего не остановился! С ума ты сошел, что ли! Замолчи! — закричал комиссар.

Наконец с большим трудом паром подошел к противоположному берегу.

Прошло довольно много времени, пока он вернулся обратно. Вели его Никола и крестьянин.

Те, кто уже все равно промок, быстро перетащили на себе остальных, и паром двинулся снова.

Месяц был уже низко, стояла предрассветная тьма.

Паром едва полз, с трудом разрезая густую, как тесто, ледяную кашу. Прилипая к бортам, она тянулась вслед за паромом, замедляя его движение. На стремнине дело пошло немного быстрей, но в нескольких метрах от берега паром вдруг стал. Никола и крестьянин напрягали все силы, но паром не двигался с места.

За шесты взялись все, кто только мог, но все оказалось напрасным. Место было глубокое, берег крутой, о переходе вброд нечего было и думать.

На пароме началась суматоха.

— Что мы будем делать? — говорили партизаны.

— Гребите винтовками!

— Отрывайте доски!

— Я доберусь вплавь!

— А мне как быть, если я не умею? Остается только повесить винтовку на шею и прыгнуть в воду!

— Тише! Тише, товарищи! Никому не двигаться с места, — свирепо кричал Павле, стараясь остановить бессмысленно расхаживающих по парому людей.

Боязнь воды — боязнь особого рода. Храбрецы в бою могут оказаться трусами на воде. Ими владеет даже не страх, скорей отчаяние от сознания своего бессилия перед стихией.

Комиссара не слушал никто. Бойцы гребли прикладами. Они руками отводили в сторону застывающую ледяную кашу. Некоторые пытались дулами винтовок отодрать доски со дна парома. Другие тянули трос. Несколько человек, не зная что делать, в полной растерянности беспомощно разводили руками и кричали на тех, кто пытался хоть что-нибудь предпринять.

Несколько мгновений Павле тоже не знал, на что решиться. Он только непрерывно повторял: — Товарищи, без паники! Только без паники! Выберемся! — Но как выбраться, он и сам не знал.

Павле понимал только, что должен говорить именно эти слова. Несмотря на полное свое отчаяние, он ясно видел, что наступил момент, когда одной храбрости мало, когда хладнокровие и находчивость решают все. Поэтому он собрал последние силы, стараясь владеть собой и сохранять спокойствие. Павле пытался припомнить все, что знал о том, как обращаются с лодками и паромами на Мораве. Но все было напрасно. И поэтому, обманывая себя, он дрожащим, умоляющим голосом старался подбодрить окружающих.

А по берегу бродили партизаны во главе с Вуком. Они копались в снегу, искали палки, доски, ветки, хватая все, что попадалось под руку.

— Давайте пустим паром по течению, и нас прибьет к берегу, — предложил кто-то.

— А если не прибьет и паром вмерзнет в лед посреди реки, что тогда?

— Ничего. Все равно один раз помирать.

— Один раз, да не так.

— Неужели же нас здесь всех перебьют?.. Как в клетке!

— Никогда я не думал, что умру такой глупой смертью.

— Эх, Павле, что же это ты наделал?!

— Только сумасшедшие переправляются через Мораву в такую погоду.

— Молчать! Прекратить болтовню! — закричал Павле.

— Нет, теперь не то что штаб, а родной отец не заставит меня полезть в воду!

— Нечего распускать нюни! Только о своей шкуре и думаешь! Как тебе не стыдно перед крестьянином!

— Что ты мне на мозги капаешь! Ты сознательный, а я дурак, так, что ли? Нет, я поплыву, другого выхода нет.

— Успокойтесь, товарищи, говорю вам. Ни слова больше! — крикнул Павле. — И, только чтобы не дать людям погрузиться в безвыходное отчаяние, только чтобы хоть что-нибудь делать, добавил: — Давайте дружно грести винтовками, и навалимся на шесты!

Но все было напрасно. Паром только слегка подвинулся одним углом вперед.

— Трос порвется, — испуганно сказал молчавший все время крестьянин.

Луна уже заходила. Она уселась на вершине Гоча и повернула к Мораве свое холодное, равнодушное лицо. По реке, по полям, по всей долине ползли вниз туманы.

— Так что же нам делать? — спросил кто-то со злобой в голосе.

— Что-нибудь умное и полезное. Не так страшен черт, как его малюют, если хочешь знать! Вук, ты что предлагаешь? — повысив голос, обратился Павле к командиру, который, бормоча что-то, стоял на берегу.

— Надо добраться на руках по проволоке до троса и вытащить паром на берег, — после долгого молчания предложил Вук.

— А ты сможешь? Проволока слабая, провиснет, — с трепетом спросил Павле.

— Когда-то я добирался так до середины Моравы. Надеюсь, что у меня еще хватит сил, — ответил Вук.

Партизаны на берегу подняли Вука и помогли ему ухватиться за проволоку, переброшенную через реку, за которую зацеплен был трос, привязанный к парому. Взявшись руками за холодную сталь, Вук вдруг вскрикнул и упал на снег.

— Кожу с ладоней сорвало! — простонал он. — Дайте перчатки. Кто-то протянул ему кожаные перчатки, и его снова приподняли. Перебирая руками и извиваясь всем телом, он стал продвигаться по проволоке. Провисшая проволока дрожала, поскрипывая на деревянных крестовинах, к которым ее прикрепили у берегов.

На пароме наступила напряженная тишина, полная страха и надежды. Стоявшие на берегу сбились в кучу. Все сорок человек думали только об одном: «Выдержит ли Вук?»

Все знали, что это последняя попытка спасения. Если у Вука ничего не выйдет, тогда... Но никто не знал, что будет тогда.

Люди стояли, затаив дыхание и дрожа, словно ожидали смертного приговора.

От напряжения и страха у Павле остановилось дыхание. Он задыхался и что было сил до боли сжимал челюсти.

Ему казалось, что он видит какой-то страшный сон. Ему хотелось, чтобы сон этот кончился как можно скорее, но сон длился, бесконечно длился. Все вокруг будто покрылось туманом: и замерзающая река, и люди на пароме, дрожащие от страха, и человек, висящий на проволоке.

Вук остановился, повиснув над рекой. Сорок партизан замерли, затаив дыхание. Все сжали кулаки, им казалось, что командир, висящий на проволоке над ледяной кашей, — это они сами, все сорок человек.

— Не бойтесь!.. Справлюсь! — крикнул командир в ответ на немой вопрос своего отряда и продолжал передвигаться, покачиваясь над рекой.

Добравшись до троса, Вук перебросил одну руку через проволоку и остался висеть на другой. Под его тяжестью проволока прогнулась и опустилась. Он касался ногами жидкой ледяной массы.

Никто, в том числе и сам Вук, не продумал заранее, как он будет тянуть трос и добираться по проволоке обратно. И сейчас никто, кроме Вука, даже не подозревал об этом новом, непредвиденном осложнении.

Вук висел над рекой, размышляя о том, как же тянуть трос. Очевидно, только зубами — другой возможности нет. Все думали, что он отдыхает, правда слишком долго, как им казалось. Партизаны боялись, что у Вука не хватит сил вернуться назад.

Павле неудержимо хотелось спросить, почему Вук так долго висит на одном месте.

— Отдохни как следует, — только и произнес он.

— Отматывайте... Как можно больше... трос... — задыхаясь, прерывисто проговорил Вук.

Партизаны стали отматывать трос. Он подтянул его ко рту и стал дышать на сталь, пытаясь согреть ее. Наконец Вук повернулся, перекинувшись через проволоку в обратном направлении, — ноги его успели промокнуть в воде, — ухватился зубами за трос и двинулся назад.

— Спасены! — прошептал кто-то на пароме.

Под тяжестью тела Вука скрипел блок на проволоке и трещали крестовины на берегу. Глядя на него, партизаны тоже невольно перебирали руками, дергали ногами и скрипели зубами.

Но движения Вука становились все медленнее, он стонал, и стон этот переходил в крик. Было видно, что силы его на исходе.

— Не может больше!

— Не может! Готов!

— Неужели сейчас?

— Вук... От тебя все зависит... Только метр еще...

Встревоженный шепот пролетел по парому.

Никогда еще Павле не переживал таких тяжелых минут. Никогда еще отряд не был так близок к гибели, как сейчас.

Упреки партизан, обращенные к нему, как ножи, вонзались ему в сердце.

Только от одного человека, от движений его рук, может быть даже всего от одного движения, зависит судьба роты, отряда, исход всей их борьбы.

Метрах в трех от берега Вук снова остановился, да так и остался висеть. Силы его оставили. Только пальцы его все еще судорожно цеплялись за проволоку, на которой повисло страшно тяжелое тело, да зубы сжимали стальной трос, жгучий от мороза и горький от ржавчины.

Он уже не владел своими мускулами, сознание у него помутилось. Он мог в любую секунду отпустить руки и свалиться в реку. Его даже соблазняло разжать пальцы. Это было бы ощущение, приятное до безумия. Он будет падать свободно, без всяких усилий, падать долго и наконец исчезнет совсем...

Павле видел прямо над головой Вука луну. Она была затянута темным облаком, поднявшимся с края горы. Павле охватил озноб. Он вздрогнул и отвернулся, чтобы не смотреть на мучительно вытянутое тело, на черную луну, застрявшую где-то между руками Вука.

— Эх, связной, связной, что ты с нами сделал! — сказал кто-то на берегу.

— Вук, еще только немножко!.. Ну, еще три рывка, — умоляюще твердил Павле.

Вук оставался все в том же положении, похожий на повешенного.

Луна быстро сползала с его головы, как будто торопясь скрыться за облаками. Только маленький огарок оставался в небе.

— Неужели из-за одного только метра...

— Товарищ Вук!

— Раскачивайся ногами! — шептал, умолял и задыхался отряд. Кто-то застонал.

Вук собрал те последние капли сил, которые остаются в теле даже после смерти человека. Он три раза подтянулся на руках и, добравшись до берега, уже над самым обрывом, простонал: «Не могу-у»...

Он упал как подкошенный. Тяжелые вздохи, стоны и крики сопровождали его падение. Вук соскользнул с берега, но к счастью зацепился ногами за прибрежный лед. Все, кто был на берегу, бросились к нему на помощь, четверо бойцов подняли его. Вытянувшись на снегу, Вук дергался и бился, как рыба, вытащенная из воды.

Партизаны окружили его со всех сторон, стали растирать, ободрять. Другие без труда подхватили трос и подтащили паром.

У Павле текли слезы, но он не чувствовал их. И вряд ли и когда-нибудь потом он осознал, что тогда на пароме плакал. Луна зашла, но никто этого не заметил. И не один еще крепкий партизан плакал тогда от волнения. Но ветер, как рукой, стер слезы с холодных, застывших лиц.

Паром подвели к берегу.

...В последние минуты ночи, в густом предрассветном тумане отряд бегом направился к ближайшему селу, в котором уже начиналась обычная утренняя жизнь.

24

Крестьянин, у которого расположилась рота, состоял в подпольной организации. Через него Павле установил связь с подпольщиком Максимом и договорился встретиться с ним вечером.

Когда крестьянин описывал ему Максима, Павле понял, что это его школьный товарищ, с которым он вместе учился и работал в партийной

организации. Поэтому совещание с Максимом вдвойне было радостно ему. После всего, что он пережил за последние дни, он чувствовал непреодолимое желание дружески поговорить с кем-нибудь о самых обыкновенных вещах.

Ему хотелось избавиться от душевного и нервного перенапряжения, поговорить с близким и родным человеком, который мог бы его понять.

Наступил вечер. Павле ожидал Максима. Он сидел один в комнате за столом, подперев голову кулаками, и неясные, несвязные мысли бродили у него в голове. Таким и застал его Максим.

Он тихо, как кошка, проскользнул в отпертую дверь, постоял несколько минут в тени и заметил склонившегося над столом Павле.

— Здравствуй, политком! — шепнул он подходя.

Павле оглянулся, лицо его было строго и серьезно. Он не сразу узнал товарища детства, потом вдруг вскочил и засмеялся от радости. Отодвинув лампу, он подшел к Максиму и сильно сжал ему руку. Ему хотелось обнять его, но он видел, что Максим не испытывает того же желания.

— Здравствуй! Здравствуй, Румба! — сказал он излишне громко и похлопал Максима по плечу. Тот удивился и даже смутился, услышав свое забытое школьное прозвище.

Война сделала в жизни Павле глубокую трещину. Она разделила ее на две половины: «Пока я еще не ушел в партизаны» и «Когда я ушел в партизаны». Так обычно говорят все партизаны, начиная рассказывать о себе.

Свидание с Максимом было для Павле и встречей с той, первой половиной жизни: «Пока я еще не ушел в партизаны».

— Садись, Войко! Ну, как живешь?

— Да ничего, только...

И Максим сразу стал рассказывать о четниках и об их терроре.

Павле покоробило, что Максим начал разговор именно так. Когда встречаются подпольщик и партизан, партизан всегда говорит о самых обычных делах, а подпольщик — только о войне и о серьезных политических проблемах.

— Ну хорошо, а люди для отряда здесь есть? — прервал его Павле. — Надо использовать наше присутствие и мобилизовать как можно больше народу, — добавил он деловито, несколько разочарованный тем, как началось их свидание.

— Как не быть! Я уверен,что мы только из нескольких сел соберем целую роту.

— Следующей ночью мы думаем разгромить кое-какие штабы четников. Ты с этим согласен?

— Ну конечно! Политически это будет иметь большое значение. Вошел Вук, и Павле представил его Максиму.

— Я знаю его по слухам, — тихо сказал Максим и продолжал высказывать свои соображения о ночной операции.

Они вели серьезный, деловой разговор о действиях, предстоящих роте.

Два школьных товарища сразу почувствовали, что они стали далеки друг другу. В их жизнь, юность и дружбу врезалась война. Полтора года один провел в партизанском отряде, а другой — в тяжелом подполье. Время изменило их обоих, и они ясно видели это...

Павле подробно обсудил с Максимом план операции. Они условились встретиться снова следующей ночью, когда Максим приведет первую партию новых партизан и проводника. Тот укажет путь к четническим штабам, на которые надо напасть.

Павле велел Вуку готовить роту к походу и обратился к Максиму:

— Расскажи мне, что нового на фронте. Я уже несколько дней ничего не знаю. Мы отрезаны от всего света.

— Ты знаешь, что русские окружили немецкую армию в Сталинграде? У меня есть «Ново време». Хочешь посмотреть?

Пока Максим рассказывал новости, Павле просматривал газетенку оккупантов. Он даже начал читать вслух, смеясь над глупыми ругательствами, набранными крупным шрифтом. В этом номере их было особенно много.

Рядом с выступлением Гитлера «Кончится зима, мы снова пойдем в наступление!», подзаголовок которого гласил: «Коммунистов больше не будет!», было помещено рождественское послание Недича к сербскому народу, пестревшее изречениями: «Христос среди нас!», «Будьте и в дальнейшем хорошими сербами!», «Сербы, сохраняйте порядок и спокойствие!»...

На другой странице были помещены кричащие заголовки: «Один уже готов!» — «Ни одного голодного, ни одного босого!» — реклама нового фильма «Я хочу жить» и концерта «Серенады с балкона и балет... какого еще не видел Белград».

Павле отшвырнул газету и погрузился в раздумье.

— Я уже привык и читаю эти газеты спокойно, — сказал Максим.

— Как ты можешь читать?

— Сидишь целый день без дела, надо же что-нибудь читать! А как у вас в отряде? Ты мне ничего не рассказал. Мы, в тылу, думаем о вас так же, как о Советском Союзе. Завидуем вам и не обижаемся, когда вы нас недооцениваете.

Павле поморщился, как бы выражая протест, и равнодушно сказал:

— Во всяком случае, у нас не так идеально, как думают гимназистки из СКОЮ*.

Максим время от времени взглядывал на него внимательно и смущенно.

— Ты спрашиваешь, как у нас? Да вот, гоняемся за немцами, стреляем. Вши у нас, кукурузный хлеб... — Павле почувствовал, что его тон обижает Максима. И он стал серьезно и подробно рассказывать о последнем наступлении, которое предприняли немцы, чтобы уничтожить отряд, и о плане, который составил штаб отряда, чтобы уйти от преследования. Он рассказывал долго.

Максим ни разу его не прервал и ни о чем не спросил. Он сидел на стуле в своей новой крестьянской одежде и, наклонившись вперед, играл ремешком винтовки, стоявшей у него между ног.

Время от времени он пристально смотрел на Павле и снова принимался что-то рассеянно рассматривать под столом.

— Да оставь ты эту винтовку, черт побери. Тебя охраняет целая рота партизан! — укоризненно сказал наконец Павле, которого раздражало, что в продолжение всего этого разговора Максим не выпускал винтовку из рук.

Максим сердито посмотрел на него и сказал:

— Оставь меня в покое! Я так привык... Слыхал о твоей храбрости... И нечего тебе сейчас тут передо мной...

— Ну ладно. А ты все еще любишь Наду? Что с ней произошло? Ты ничего мне не рассказываешь.

Эта неожиданная перемена темы удивила Максима.

— Да ничего... ответил он угрюмо.

— Красивая она была... Жаль!

---

* СКОЮ — Союз коммунистической молодежи Югославии.

— Неужели только поэтому?

Нет, конечно, не только поэтому! Просто я как-то сразу вспомнил. Она была членом партии... Но какая же красивая, братец ты мой! А впрочем, это солдатская психология.

— Нет, не только солдатская. Я вижу, ты в этом плане нисколько не изменился.

Павле усмехнулся. Ему был приятен этот разговор. Он давно уже ни с кем не говорил о женщинах, но сейчас, в разговоре с товарищем, который хорошо его знал, Павле захотелось дать себе волю — говорить откровенно, как бывало. Однако, почувствовав на себе насмешливый взгляд Максима, он быстро перевел разговор на другую тему.

— А что с Васичем и Стаичем? Я слышал, они у четников.

— Васич сейчас командир отряда четников в Леваче. Страшный кровопийца! Лондонское радио сообщило, что он произведен в поручики. Ты еще с ним, наверное, встретишься. А Стаич — трус. Побоялся оставить семью и уйти в партизаны, и сейчас сидит писаришкой в штабе у четников, дал слово, что до конца войны останется «нейтральным». Он страшно опустился, стал горьким пьяницей.

Павле в задумчивости ходил по комнате.

— Восемь лет мы с Васичем сидели за одной партой. Оба «болели» за БСК *. Передавали любовные записки: я — его подружке, он — моей, — списывали уроки друг у друга. На уроках шептались, доверяли друг другу все свои тайны. В седьмом классе я стал коммунистом, а он — сторонником Сербского культурного клуба **. И, несмотря на все мои попытки повлиять на него, он, как назло, стал шовинистом и монархистом. Мы разошлись, стали идеологическими противниками. Из всех наших врагов, помнишь, у него одного был характер. Много раз он находил у меня в книгах листовки, заставал нас на собраниях, но ни разу не донес. Он говорил мне: «Когда-нибудь ты будешь стыдиться заблуждений своей молодости!» Жаль! Он сильный человек, у него есть энергия, и он, пожалуй, опаснее их всех.— Павле остановился. В щели трещал сверчок. Печь, остывая, пыхтела. — А Стаич мечтал стать ученым, биологом, — добавил он. — Изучал английский и латынь. Немецкий он знал хорошо еще в шестом классе. Если бы я его нашел, я силком увел бы его с нами.

— Да что с тобой? Почему это тебя так волнует и ты столько об этом говоришь?

— Когда-то наш класс был, как семья. Мы, школьные товарищи, иногда ссорились, иногда ненавидели друг друга, но все же... А вот пришла война, оккупация, все это порвалось, разбилось. Некоторые стали самыми обыкновенными убийцами и предателями. Когда я думаю о нашем поколении, оно мне напоминает молодой лес, на который налетела буря, вырвала стволы с корнем, обломала ветви, нет, все сломала! Уцелели только самые сильные и крепкие. Да, это революция!

Они помолчали, затем Павле снова быстро и взволнованно заговорил:

— А ты помнишь ту ночь, 22 июня, когда мы до рассвета гуляли у Моравы?

Максим слегка улыбнулся.

— И ты тогда выступал, — продолжал Павле, — ты говорил: «На неделю остановится вся жизнь в Европе. Фабрики опустеют, замрут железные дороги, почта, телефон, радио, прекратятся все связи. Пролетариат начинает всеобщую забастовку. Рабочие не будут воевать против

---

* БСК — Белградский спортивный клуб.

** Сербский культурный клуб — профашистская шовинистическая организация.

СССР... Водители выходят из танков! Немецкие коммунисты вступают в борьбу. Все будет парализовано. Стоят пароходы в море, рушатся шахты. Рабочие Европы, Англии и Америки за месяц покончат с фашизмом».— Павле прервал себя и иронически улыбнулся.

— Что поделаешь, мы все верили в это, — заметил Максим, пожимая плечами.

Вошел Вук и сказал, что пора двигаться. Собирая вещи, Павле еще раз договорился с Максимом о совместных действиях. Он спросил его и о своей семье. Павле нарочно откладывал этот вопрос до самого конца свиданья. Максим успокоил его. Кроме отца, которого еще в прошлом году угнали в лагерь, все остальные живы и здоровы.

Максим тихо сказал «до свиданья» и шмыгнул в темноту. «Он стал как-то меньше, ссутулился, — подумал Павле.— Движения у него тихие, сдержанные. И как тихо он говорит! Шепчет. Такова сила привычки — он уже полтора года говорит только шепотом. И сам он весь серый, лицо, как из паутины. И он не смеется, только поднимает уголки рта... Это он-то — известный шутник!..»

25

В тот же вечер, в самый сочельник, проделав марш километров в пятнадцать, рота остановилась в деревне под Благотином. На опушке дубового леса, выросшего на горном хребте, стояли две избы. Из деревни их почти не было видно и поэтому в них очень удобно было переночевать и отдохнуть перед нападением на штабы четников.

Взвод Николы разместился в большом новом доме деревенского писаря. Хозяин принял их не особенно любезно. Они вошли во двор и через стеклянную дверь передней увидели свет. Было ясно, что в доме еще не спят. Сима и Джурдже, на которых набросились маленькие собачонки, осторожно прижимаясь к стене, постучали в дверь. В доме кто-то откинул занавеску, выглянул и, вероятно, заметив на дороге колонну людей, скрылся.

Сима постучал сильней.

— Хозяин, хозяин! Открывай, не бойся!

Кто это ломится ночью? — спросил хриплый и сердитый женский голос.

Сима решил, что это старуха.

— Бабушка, отворяй, не бойся! Это мы, народная армия. Мы воюем за свободу, за рабочих и крестьян, мы — партизаны, — тихим голосом говорил нараспев Сима уже заученные фразы.

— Не знаю, кто вы такие! В такую пору никого в дом не пускают! Не хочу, чтобы у меня в первый день праздника были чужие. Если что надо, приходите на второй день.

— Мать, ты же сербка! Мы — ваша армия. Нас дорога вывела к вашему дому. Мы слышали, что вы хорошие люди. Открывай, мы хотим у вас переночевать. Не пугайся, мы не убиваем, мы защищаем народ от немцев и бандитов...

— Я боюсь открыть. Если ты в самом деле такой, как говоришь, ты уйдешь. А если хочешь войти силой, тогда ломай двери!

— Слушай, мать, мы не собираемся ломать двери. Ты сама нам откроешь. Ну скорей открывай, мы замерзли!

— Довольно агитировать! Что ты с ними нянчишься всю ночь! — вмешался Джурдже, рассердившись на Симу.— Бабка! Открывай сейчас же! Мы переночуем, хоть ты на голову встань! Отпирай, тебе говорят!

Старуха начала стонать и хныкать.

— Не надо, детки, бога ради! Сын у меня болен заразной болезнью... И я болею... Ступайте еще немного вперед по дороге. Там у хозяина дом гораздо больше и лучше нашего.

— Ну, не хочешь по-хорошему, так мы заставим тебя, мать твою,— обозлился Джурдже и дернул дверь.

— Нет, сыночек, не надо! Я сама отворю! — закричала перепуганная старуха и бросилась отворять дверь.

— Это верно крупный кулак из Дражичей *, — шепнул Сима Джурдже. И они с винтовками наизготове вошли в дом.

В комнате заскрипела кровать, кто-то опрокинул стул.

— Где хозяин?

— Он очень болен, сынок. Горит весь...

— Веди нас к нему!

Они вошли в жарко натопленную кухню.

На кровати, закутавшись в одеяло, с полотенцем на голове, лежал хозяин и таращил глаза на партизан. У кровати, дрожа, стояла полная черноглазая женщина, одетая в полугородскую, полукрестьянскую одежду. У стола, ломившегося от всякой снеди и фруктов, хлопотала красивая молодая девушка, притворяясь, будто что-то делает. На полу была разбросана солома.

— Добрый вечер! — поздоровались Джурдже и Сима.

— Добрый вечер...— ответила одна только девушка.

— Сколько у вас человек в доме? — строгим голосом спросил Джурдже.

— Этот вот больной, бабушка — она одной ногой в гробу стоит, эта девочка да я... — ответила, смутившись, хозяйка.

— Ну и прекрасно! Сразу видно, что вы люди хорошие. А мы — партизаны. Мы честных людей любим! — Джурдже заметил, как задрожал «больной», и прибавил:

— Больной пусть себе болеет, у нас и доктор есть, он его бесплатно осмотрит и лекарство даст. Здесь должны переночевать двадцать человек...

— Ой господи, куда же я вас положу... Почему бы вам не пройти всего на триста шагов дальше? Там и дом больше и хозяин лучше. Кто знает, чем болен этот человек,— вскричала, прерывая его хозяйка.

— Нам и здесь хорошо! Я вижу, вы люди честные, мы к таким и заходим. Здесь в деревне мы каждого знаем, обо всех расспросили. Кроватей нам не надо. Солому мы сами принесем, покажи только, где у вас стог... У вас, конечно, есть комната для гостей, вот мы в ней и поместимся. А теперь, прежде всего, привяжи-ка ты собак. Из дома никому не выходить, пока мы здесь! И никого не приглашать! Смотрите, не рискуйте головой! Для хороших — мы и мед и молоко, а для плохих — волки! Так и знайте. Потерпите день-два, а потом мы уйдем куда нам надобно.

— Ох, господи боже мой! Черное у меня в этом году рождество! Дом мой несчастный, неужели же ты пойдешь прахом на рождестве?! — захныкала хозяйка.

Девушка внимательно, без смущения, разглядывала партизан. Бабка, согнувшись у плиты, бормотала какие-то проклятья. Больной часто и тяжело дышал.

— Ну-ка, товарищ, идем со мной! — позвал Сима девушку и вместе с ней вышел из дома.

Пока партизаны носили солому и устраивались на ночь, Джурдже

---

* Дражичи — деревня в Сербии.

«измерял температуру» хозяевам. Так он называл разговоры, в которых выяснял настроения, царившие в доме, где должен был остановиться взвод. Девушка свободно и охотно отвечала на все его вопросы. Угощая Джурдже ракией, она шепнула ему, что у них в деревне есть ячейка СКОЮ. Раньше, обращаясь к ней, он говорил «сестрица», но теперь стал называть ее «товарищ». Он заметил также, что у них во взводе есть две партизанки, и обещал познакомить ее с ними. Старуха все время злобно косилась на внучку, а больной начал дышать еще глубже и чаще. Стараясь втянуть и его в разговор, Джурдже спросил:

— Как у вас в селе? Четники народ убивают? А, приятель?

— Да ничего мы не знаем, ей-богу. Нас никто не трогает, и мы ни во что не вмешиваемся. Ничего мы не слышали, — ответила вместо больного старуха.

— Как это не знаем? Прошлой ночью зарезали одного крестьянина, а несколько дней назад Йовану Васину, студентку... Да они каждую ночь кого-нибудь режут, особенно тех, кто школу кончил. Их они больше всего ненавидят, — сказала девушка.

Вернулась хозяйка, Джурдже еще раз предупредил, чтобы никто не выходил из дому, иначе часовой будет стрелять, и ушел в комнату, где разместились партизаны. Кроме часового во дворе, Джурдже предложил Николе оставить в передней разводящего, чтобы следить за хозяевами. Но только они улеглись, как пришел Вук и сказал, чтобы они были осторожней. Это — дом члена Равногорского комитета * и писаря общины. Он добавил также, что дочка у хозяев хорошая, и что в кружке у нее читают «Как закалялась сталь».

Этой же ночью перед рассветом вместе с каким-то подпольщиком явился Йован. Он сразу пришел в николин взвод, откуда его и взяли в связные. Привыкнув ко взводу, он обычно проводил здесь все свободное от заданий время. Йован ввалился в комнату, дерзко отказался отвечать на вопросы разводящего, улегся у дверей и уснул.

Джурдже проснулся первым и сразу заметил Йована, который, скорчившись, спал тяжелым сном. Джурдже подождал, пока начали просыпаться остальные бойцы, и дернул его за ногу.

— Эй, зайчик! Ты чего дурачком прикидываешься? Из-за тебя прошлой ночью целая рота чуть не отправилась на тот свет в полузамерзшей Мораве. Вуку ты лучше и на глаза не показывайся! Так и знай! Пока он висел на проволоке, он обдумывал, как военный суд будет тебя судить. Ну, красавчик, почему ты не снабдил нас лодками, бессовестный!

— Оставьте меня! Я три ночи не спал! — сердито проворчал Йован.

— А мы, думаешь, спали? Ну-ка, парень, отчитывайся за невыполнение военного задания перед всеми. Да знаешь ли ты, что ты с нами сделал? Да ты знаешь, что, не будь Вук прежде членом «Сокола», мы бы все пропали по вине твоей милости?! Прочел школьник несколько романов — и давай в партизаны! Это война! Почему тебя две ночи не было на условленном месте? Две недели назад ты то же самое с нами проделал на Ястребце!

А Джурдже не на шутку злился на Йована, хотя говорил шутливо и вроде подсмеиваясь. К нему присоединилось еще несколько человек. Все хотели знать, где же пропадал до сих пор Йован.

Йован дулся и не хотел отвечать. Но, проснувшись окончательно, он вынужден был подробно рассказать обо всем, что с ним случилось.

Большинство не поверило в некоторые его подробности. Все много и дружно смеялись. Но когда Йован кончил, снова заговорил Джурдже:

---

* Равногорский комитет — контрреволюционное правительство Драже Михайловича.

— Ну, конечно, зайчик, разве ты позволишь недичевцам надрать тебе уши? Жаль только, что они тебя еще больше не избили. В другой раз будешь смотреть, куда идешь! Стыд и срам! Партизанский связной, да еще член партии! Думаешь, ты правильно держался перед классовым врагом? И ты не побоишься рассказать Павле все, что ты тут наплел о четниках?

— Молчи! Я не обязан отвечать перед рядовыми!

— А перед кем же? Ты, я вижу, погулял и обленился. Я буду просить штаб откомандировать тебя в помощники к Станко. Потаскай-ка немного снаряжение. Ты, видно, забыл, как живут фронтовики.

И между ними завязалась шутливая ссора.

Стоит партизану наесться, выспаться, отдохнуть — и он забывает обо всех невзгодах и опасностях, какие подстерегают его на каждом шагу. Люди успели сродниться с опасностями, привыкли к нелегкой жизни, узнали, что такое солдатская смерть, и им хочется повеселиться и посмеяться.

В такой обстановке славу весельчаков и забавников часто приобретают люди, в обычных обстоятельствах даже серьезные, например Джурдже. К этим людям особенно тянутся новички, боящиеся одиночества. Джурдже понимал настроение окружающих. Добродушно, настойчиво, даже навязчиво в самых тяжелых обстоятельствах он старался своими удачными и неудачными шутками развеселить товарищей.

— В отряде все предусмотрено, не предусмотрен только ответственный за шутки. А шутки необходимы партизанам, как боеприпасы. Никто бы не выдержал такую трудную жизнь, если ко всему относиться серьезно. Поэтому, пока нет никого получше, я добровольно стал придворным шутом во взводе служивого Николы, — говорил Джурдже.

Партизанам надоело беседовать с Йованом. Они проголодались и начали строить предположения, испек ли писарь что-нибудь к рождеству.

Сима сказал, что вчера он заметил жареного поросенка. Однако ему никто не поверил, потому что крестьяне обычно готовят рождественское жаркое рано поутру. Из хозяев никто еще не появлялся. Никола уговаривал Бояну пойти к ним и попросить что-нибудь на завтрак. Она — девушка, может быть женщины смягчатся, увидев ее.

Но Джурдже решил, что просить завтрак пойдет он. Выйдя в коридор, он постучал к хозяевам:

— Хозяйка, выйди пожалуйста! Мне надо спросить тебя кое о чем. А то неудобно мне на рождество входить в комнату, где бадняк *.

Жена писаря, с опухшими от бессонной ночи глазами, появилась в дверях.

— Счастливого рождества! Как хозяин, легче ему? Я пришлю потом доктора, пусть он его посмотрит.

— Не надо доктора! Он лекарства пьет... — сердито ответила она.

— Послушай, хозяйка, ведь и у нас рождество, а мы проголодались. Не продашь ли нам десять килограммов муки? И сготовила бы качамак **, постный, цыганский, тебе это ничего ведь не стоит.

— Ей-богу, нет у меня муки, сама заняла. Мельницы замерзли, а что смололи до святого Николы, все поели. Работники у нас были...

Тут в дверях появилась девушка. Она с улыбкой поздоровалась с Джурдже.

— Неужели вы на рождество будете есть качамак, когда мы такую

---

* Бадняк — дерево, которое принято у сербов сжигать на рождество.

** Качамак — каша из кукурузной муки.

свинью к празднику закололи? Честное слово, мама, почему ты не отрежешь им жаркого? Они ведь голодные, воюют, не то что четники...

Мать злобно посмотрела на нее и ушла в комнату.

— Не беспокойся, товарищ. Сейчас получите завтрак, — сказала девушка.

Джурдже было приятно слушать ее слова и, может быть, еще приятнее — смотреть на нее: на ее каштановые волосы, белое лицо и гибкий, как виноградная лоза, стан. Из-под ее высокоповязанного, как у всех крестьянских девушек, платка выбивались мягкие, вьющиеся на лбу волосы. Ее толстые косы спускались на плечи.

Когда Джурдже вернулся в комнату к своим, там смеялись. Они слышали весь разговор.

— Везде нужна политика! Без нее и позавтракать даже нельзя,— пояснял Джурдже.

Вскоре хозяйка с дочерью внесли две большие медные посудины, в которых лежали нарезанная на куски свинина и три неначатых пшеничных хлеба.

— Доброе утро, раз в бога не верите! Вот вам завтрак, а потом и вина принесу, — сказала, входя, хозяйка.

— Большое тебе спасибо, а насчет вина не беспокойся, не надо, — ответил Никола.

Джурдже потихоньку толкнул его в бок и сказал:

— Я просил качамак, а вы жаркое... Зачем же вы так беспокоились...

Партизаны, смеясь, подталкивали друг друга.

— Молчи ты, верстак! — сказал Йован.

— А почему вы не пьете? Неужели у вас у всех печень больная?

— Мы не больные, а такой закон в нашей армии, — сказал Никола.

— Ну и закон! Как же серб может не пить? Кто вас знает... — она не закончила и замолчала, глядя, как их повар режет хлеб на равные куски и делит мясо. Девушка с любопытством рассматривала партизан, улыбалась чему-то, и отвечала улыбкой на каждый взгляд.

Но особенно ее интересовала Бояна. Впрочем, красота Бояны всегда привлекала внимание.

— А ты почему, девушка милая, ушла в лес? Пропадешь, такая молодая и красивая. Кто-нибудь остался у тебя дома? Или, может, тебе не на что было жить? — обратилась к Бояне хозяйка.

— Ушла бороться за свободу, товарищ!

— Ты, наверно, студентка?

— Да, студентка!

— Вот все вы так! Только кончите эту школу и сходите с ума! А есть среди вас хоть один серб, который признает веру, у которого есть хозяйство, свой дом? — спросила хозяйка.

Партизаны расхохотались. Девушка покраснела и сказала:

— Мама, ты что, глупая, что ли? Ведь ты же видишь, что все они сербы, а не турки.

— А ты не вмешивайся! Откуда я знаю, кто они? Всякое говорят.

— А почему, хозяйка, тебя это интересует? Ты слышишь, мы все по-сербски говорим, — смеясь, спросил ее Никола.

— Да надо, чтобы кто-нибудь из вас зашел к нам в гости. Ведь вы запретили нам звать «положайника» *. Так я хочу, чтобы этот гость был хоть крещеной душой.

— А, вот в чем дело! Тебе нужен положайник! Что же ты сразу не сказала? Вот я — и серб, и православная крещеная душа, и хозяин,

* Положайник — первый гость, приходящий в дом на рождество. По народному поверью, хороший гость приносит счастье.

и наизусть знаю всю рождественскую литургию. Мой дед — протоиерей, отец — поп, а я изучал богословие, — отозвался Джурдже.

Увидев, как заразительно хохочут партизаны, девушка тоже рассмеялась, обнажив мелкие зубы. Женщина стояла, смущенная, не зная, что сказать.

— Ну, хозяйка, я православные обычаи уважаю. Все порядки, как поповский сын, знаю, а познакомились мы с тобой еще вчера. Вот я и буду положайником, — говорил уже серьезно Джурдже.

— Ладно, пусть будешь ты, — согласилась хозяйка, которой уж некуда было деваться.

— Товарищ, ты разве не видишь, что он еврей? Смотри, какой у него нос. А евреи Христа распяли, — вмешался Йован, поглядывая на девушку.

— Ты чего это несешь? Сам хочешь! Да? — шепнул ему на ухо Джурдже.

— Да нет! Нос у него не кривой, разрази его, господи... Озорник! Характер у него, верно, неплохой. Может, он принесет нам счастье, — сказала, смягчаясь, женщина.

— Слушай, сестрица, не знаю, как тебя звать, есть у меня родная сестра, твоя ровесница, и похожи вы друг на друга, как две половинки одного яблока. Товарищ мой злится, ему обидно, что ты его не позвала в положайники. Вот он и старается очернить меня перед тобой. У себя в городе я заходил ко всем хозяевам, ко всем, кто собирался открыть собственную лавку или еще что-нибудь, и стоило мне появиться, как тотчас к ним приваливало счастье, ей-богу!

— Ну, хорошо! Говоришь ты складно, посмотрим, что будет! Подожди здесь немножко, сейчас я приготовлю все, что нужно, — и хозяйка вышла вместе с дочерью.

— Счастливый я, как царь Лазарь! За мной идет доктор, а за ним — поп, — заявил Джурде, когда они ушли.

Партизаны шутили и посмеивались.

— Эх, видел, какая девушка? Как серна! Люблю такие глаза, — шепнул Йован, наклоняясь к Джурдже.

— Ты что, еще не забыл про черта? Выпучил на нее глаза, как тетерев. По этой части, Павле сказал, глаз у тебя наметан. Молчи уж лучше! Ты за одну Мораву заслужил хорошую трепку.

— Входи! — сказала, появляясь в дверях, хозяйка.

Джурдже вышел, сопровождаемый шуточками.

Входя в кухню, где находился бадняк и где все еще с обвязанной головой лежал хозяин, Джурдже ступил правой ногой через порог и произнес:

— С рождеством Христовым.

— Воистину с рождеством! — ответили они и обсыпали его кукурузой из сита.

Ему дали дубовую ветку, и он стал раздувать огонь в плите, приговаривая:

— Сколько жара, столько денег, столько лет жизни и здоровья... Сколько углей, столько овец, даже вдвое всего, в поле урожая, в доме счастья...

— Хорошо ворожит, черт его побери! — сказала старуха, улыбаясь своими тонкими губами.

Джурдже вытащил бумажку в 10 динар и положил ее на бадняк. Ему велели сесть на пол и разуться. Потом накрыли его одеялом: чтобы на молоке были сливки толстые, как это одеяло.

— Ох, бедняга, да ты босой! — воскликнула старуха, увидев голые ноги Джурдже. — Деточка, дай положайнику чулки с узором. Будет нам,

верно, и вправду счастье. Раздетые и разутые всегда счастье приносят.

Джурдже вдоволь наговорился с хозяйкой. У хозяина все еще был «жар», и он только время от времени задавал какой-нибудь политический вопрос, особенно интересуясь количеством партизанских отрядов в Сербии. Он спрашивал также, получают ли они помощь из России и какими силами командует в Боснии Тито.

— Мы с Советским Союзом. Он освободит мир. Куда придет Красная Армия — там капитализму конец. Вот увидите, когда весной русские пойдут в наступление. Это сила! Там социализм, не теряясь, — отвечал Джурдже.

Писарь больше не спрашивал ни о чем. Он только чаще просил менять повязку на голове. Дочь его все время была в комнате с партизанами.

День прошел в чтении и изучении «Стратегии и тактики» из «Основ ленинизма». Так рекомендовали политработники, как правило в прошлом студенты, которые имели, таким образом, возможность проявить свою теоретическую подготовку и удовлетворить тщеславие.

Когда стемнело, пришел Вук. Он увел с собой несколько партизан, среди них Станко и Николу. Замещать Николу на должности командира взвода он приказал Джурдже. Партизаны получили на ужин жареное мясо и даже пирог и легли спать.

Когда все успокоились, Джурдже заговорил с Симой.

— Послушай, Сима, что за противная тварь человек! Никогда не бывает доволен. Всегда ему чего-нибудь не хватает. Вот, например, я, когда мы уходили из Ястребца, я так оголодал, что все у меня круги плыли перед глазами. Вот, думаю, впиться бы зубами в горячую буханку, хлебнуть бы густой фасоли, — с маслом, холодной. В Вучаке, словно на заказ, сделали как раз такую. Я ее так ел, что даже в висках заболело. Отправились мы к Мораве. Я и думаю: эх, кабы попалась капуста с мясом, я потушил бы ее потихоньку в горшочке в печке. И это исполнилось! А когда мы перешли через Мораву, я подумал: честное слово, неплохо после этого купанья получить холодную свиную голову с горячим хлебом. Уж раз началось угощение, так пусть все идет как следует! Сегодня и это сбылось! Да еще пирогом кормят, как корпусных командиров! Прямо тебе скажу, нравится мне воевать в этих богатых краях. Конечно, жарко немножко, но зато ты, братец, и сыт и горючего хватает — и чтобы догонять и чтобы удирать... Голодный человек всегда думает о плохом, он сам себе противен, и на свет смотреть ему не хочется. А сейчас я и думаю: я живой человек, честь и слава нашей политике, но ведь я же мужчина! Представь себе, уютная комнатка, пахнет айвой, яблоками. На окне стоят цветы. В печке потрескивает так, что с ума сойти можно. А ты лег в мягкую белую постель и почесываешь коленки, пока жена разденется... Полненькая, теплая, коса ниже пояса... Белеет рубашка... Эх, братец ты мой, чего уж лучше! А утром, как запоют петухи, она сонная заворочается... вся теплая... И ластимся мы друг к другу, как кошки. Я вчера все смотрел на эту ядреную хозяйку. В годах, но еще в теле! Видел, как вертит юбкой? Какая женщина — порох, ей-богу.

— Брось ты и женщин и порох! Меня другое беспокоит. Не люблю я, Джурдже, когда хозяева нам пироги пекут. Меня столько раз подводили и обманывали, что я никому не верю. Не верю даже моей старухе, которая меня родила. Знаешь, ведь они подлые змеи — сельские эти хозяева, кулачища. Если тебе хозяин подает фасоль без масла и постный качамак, ничего не бойся. Но, если хозяин хочет тебя подмазать, знай, что он держит за пазухой нож. А этот нас подмазывает. Я чую...

— Да брось, что ты, парень! Крестьяне уж такой народ. Крестьянин

всего боится, кроме своей жены. Ее он колотит, пока не надоест. Боится он и вурдалаков, и святой Пятницы, и святого Кирилла, и жандарма, и ружья, и городских жителей. Бог знает, чего только он ни боится. И все из-за скупости. У него только две святыни: дом и его поле! И этот нам дал мясо и пирог, потому что боится! Побелел весь как мел и лежит целый день с полотенцем на голове.

— Наивный ты человек, Джурдже, до чего же наивный! Крестьянин — это мешок, завязанный в ста местах, да еще мертвым узлом. Пока в него заглянешь, все ногти и зубы себе обломаешь. Наложит он тебе в шапку — сто килограммов. Пока вытащишь, начнешь кровью харкать. Нет, не верю я им ни на грош. Вот, Гвозден... Кто бы мог подумать? Был заместителем командира отряда, а в самый трудный момент, видишь, что сделал! Хотел отряд распустить!

— Все это верно, но я бы не стал его расстреливать. Я бы снял его с должности и исключил из партии. У него просто характер сумасшедший. Нашло на него тогда... Но он, бедняга, не заслужил, чтобы с него голову сняли.

— Как это не заслужил? Что ты? Если бы у всех нас был такой характер, через месяц никого не осталось бы в Ястребце. Крестьянин, Джурдже, похож вон на то яблоко, что на окне: румяное, маленькое, молчит и улыбается. Возьмешь его, откусишь — кислятина... Если крестьянин от тебя зависит — он и мягкий и ласковый, хоть к ранам его прикладывай, но уж если видит, что ты слаб, погибаешь — он тебя раздавит, как гусеницу, лишь бы ему не пошевельнуться лишний раз. Они у меня вот где сидят...

— Э, друг, кого змеи кусали, тот и ящерицы боится. Если бы крестьяне нам не помогали, не были с нами заодно, неужели, ты думаешь, дуралей, что нам удалось бы продержаться на Ястребце больше месяца? Видишь, сколько их в отряде? А что ты скажешь о Вуке? И кто сейчас, кроме крестьян, идет в отряд?

— Это другое дело! Это крестьяне другого сорта. Они ведь тоже бывают разные. Только душа у них у всех вероломная, как у кошки. Думай, что хочешь, но я боюсь, как бы за этим пирогом не последовала кутья. Мы вот разболтались, а быть беде! Уж я чую...

Наконец они замолчали и улеглись.

Окончание следует.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

17 февраля 1956 года исполняется 100 лет со дня смерти великого немецкого писателя Генриха Гейне.

По решению Бюро Всемирного Совета мира народы земного шара торжественно отмечают эту дату, отдавая дань уважения памяти замечательного поэта, публициста — одного из лучших умов немецкого народа.

Русскому обществу творчество Генриха Гейне было особенно близко; его стихи начали переводить в России еще в двадцатые годы девятнадцатого столетия и страстный интерес к его творчеству никогда не ослабевал. От Тютчева и Лермонтова — первых переводчиков Гейне — вплоть до наших дней его поэзия привлекала в России внимание лучших поэтов и переводчиков.

На продолжении всего девятнадцатого столетия имя Гейне вместе с именами двух других великих немцев, Гете и Шиллера, не сходило со страниц русской печати особенно в шестидесятые годы, когда бунтарская, воинствующая поэзия Гейне стала, в полном смысле этого слова, участником общественной жизни России. Сохранилось много свидетельств тому: слова Чернышевского и Добролюбова, статьи Писарева, переводы Михайлова и Курочкина. Об этом же свидетельствует малоизвестное предисловие Тургенева к изданному в 1874 году переводу наиболее значительного произведения Генриха Гейне — поэме «Германия. Зимняя сказка».

Приводим его полностью:

Позволяем себе рекомендовать русским читателям предлежащий перевод „Путешествия в Германию", одного из самых замечательных произведений гениального Генриха Гейне.

Распространяться о достоинствах этой поэмы — нечего: кому же она неизвестна и кто не знает, что именно теперь Гейне едва ли не самый популярный чужеземный поэт у нас в России? — Пересадить этот яркий, душистый,—иногда слишком душистый цветок на родимую почву — было задачей не легкой; но, насколько мы можем судить, переводчик исполнил ее и добросовестно и счастливо, что не всегда совпадает, заметим кстати.

Мы не сомневаемся, что труд нашего соотечественника будет встречен единодушным одобрением всех любителей истинной поэзии, юмора и ума.

Париж. ***Иван Тургенев.***
Декабрь, 1874.

В первые годы революции, когда в Совете Народных Комиссаров обсуждался вопрос о сооружении памятников великим деятелям прошлого, Ленин написал своей рукой на проекте резолюции:

«...Внести в список писателей и поэтов наиболее великих иностранцев, напр., Гейне».

Миролюбивое человечество чтит сегодня в Генрихе Гейне одного из тех, кто неустанно и непримиримо боролся против всех форм насилия человека над человеком, против реакции во всех ее видах, против косности, мракобесия, лжи. Это был писатель, который не знал без борьбы ни жизни, ни искусства.

Незадолго до смерти, подводя итог своей нелегкой жизни, он с полным правом сказал: «Не знаю заслужил ли я, чтобы после моей смерти мой гроб украсили лавровым венком. Но на этот гроб вы должны положить меч, ибо я был храбрым солдатом в борьбе за освобождение человечества!»

«Меч» поэта — его творчество, его беспощадная к врагам сатира — был так остро отточен, что не притупился и по сию пору, спустя столетие. Передовая Германия имеет в лице Гейне мощного союзника в своей борьбе за прогресс и счастье немецкого народа.

В многовековой истории человеческой культуры есть не много имен, которые вызывали бы такую ненависть реакционеров, как Генрих Гейне.

Гейне был один из тех, кого, по выражению Горького, немецкий фашизм должен был «изжить», чтобы прийти к власти и развязать войну. Тем с большей силой сияет имя Генриха Гейне сегодня, в Германской Демократической Республике, когда пали все преграды и исчезли фальсификации, когда творчество его может свободно дойти до народа, за лучшее будущее которого он боролся всю свою жизнь.

* *
*

Ниже мы печатаем выдержки из книги Г. Губена «Разговоры с Гейне» (опубликованной впервые в 1925 году и недавно изданной в ГДР), которые рисуют во весь рост Гейне-человека.

Настоящая подборка составлена профессором Я. М. Металловым.

Из разговоров с Гейне*

Лудольф Винбарг

1830

Однажды, когда мы гуляли с Гейне и речь зашла об Иммермане, я спросил: «Вы на самом деле считаете Иммермана великим писателем?» — В ответ он в двух словах воздал должное величию души и прочим · похвальным качествам Иммермана. Немного помолчав, он остановился и добавил: — «А кроме того, поймите, очень страшно быть в полном одиночестве».

Мария Эмбден-Гейне

1830 (?)

В последующий приезд в Гамбург он сыграл злую шутку со своей сестрой.

Все родные и знакомые семьи Эмбден просили мою мать устроить званый вечер, потому что всем хотелось познакомиться со знаменитым поэтом. Мать согласилась. Приглашены были художники, писатели, артисты, ученые, купцы, банкиры; многие, кичась своим богатством, чуть ли не бренчали золотыми в кармане. Их дражайшие половины были увешаны бриллиантами и жемчугами, но я подозреваю, что произведений Гейне почти никто из них не читал, ибо в их среде по сей день самым талантливым, обходительным и умным слывет тот, кто успел сколотить не меньше миллиона.

Матушка просила своего брата вести себя как можно благонравнее, не говорить гостям колкостей и не подымать их насмех. Гейне обещал сделать все возможное, чтобы угодить ей. Но каково же было ее разочарование!

Гейне вышел к собравшимся, молча поклонился, посадил к себе на колени одну из своих племянниц, пошутил с ней, рассказал забавную сказку. Пока матушка обходила гостей, каждому говоря что-нибудь приятное, поэт незаметно для нее скрылся.

На следующий день она встретила его упреками и сетованиями, доказывая, что он поставил ее в смешное положение.

— Милая моя сестрица, — ответил Гейне, — ты упустила главное.

— Что именно? — спросила матушка.

— Не надела на меня ошейник с цепью и не водила по гостиной, объясняя каждому: «Милостивые государи и милостивые государыни, поглядите на него, это поэт

---

* Заметки датированы временем, к которому относятся описанные в них события и встречи.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Генрих Гейне, он ничего другого не знает и не умеет, как только воровать время у господа бога и кропать стихи».

Фердинанд Хиллер — *1831-1832*

Придя к нему однажды, я застал его за письменным столом и бросил любопытный взгляд на лежавший перед ним лист бумаги, где не нашлось ни одной строки, которая не была бы перечеркнута и заменена другой, написанной сверху. Заметив мое удивление, он сказал ироническим тоном: «Вот люди толкуют о наитии, о вдохновении и тому подобном, а я тружусь, как ювелир над золотой цепью, пригоняя колечко к колечку».

Август Левальд — *Февраль-март 1832*

Он избегал малейшего соприкосновения со всем, что ему казалось недостойным... Я сам был свидетелем того, как он отвергал предложения книгопродавцев, чьи взгляды были для него неприемлемы. В те времена, когда он писал «Французские дела», один парижский книгопродавец предложил ему за них крупную сумму. В моем присутствии его упрекали за то, что он не посылает за деньгами, которые лежат для него наготове; но он решительно отклонял такого рода сделки.

«Подальше от подобных связей, — говорил он мне, — чести они не делают».

10—12 апреля 1832

Гейне способен для своих друзей на подлинное самопожертвование. В последние дни моего пребывания в Париже, когда холера свирепствовала во всех концах города, Гейне, более чем кто-либо восприимчивый к болезням, ходил по самым населенным и грязным улицам, чтобы уладить одно очень важное для меня дело. Будучи сам нездоров, он по нескольку раз на день заглядывал ко мне с вестями и в изнеможении бросался в кресло.

Ганс Христиан Андерсен — *Июль 1833*

Как-то я зашел в «L'Europe littéraire», своего рода парижский атеней... меня приветливо встретил невысокий человек еврейского типа. «Я слышал, — вы датчанин, — сказал он, — я сам немец! Датчане и немцы — братья, потому я и протягиваю вам руку».

Я спросил, как его имя, и он назвал себя: «Генрих Гейне!»

Итак, это был тот самый поэт, который в пору моих юношеских любовных переживаний всецело покорил меня: с исчерпывающей полнотой выражал он мои чувства и настроения. Ни с кем мне так не хотелось встретиться и познакомиться, как с ним; все это я высказал ему.

— Пустые слова! — усмехнулся он. — Если бы я так уж интересовал вас, вы попросту пришли бы ко мне.

— На это я не решался! — возразил я. — В вас так сильно чувство юмора, что вам непременно показалось бы смешным, если бы я, совершенно неизвестный вам стихотворец из малоизвестной Дании, вдруг пришел и сам отрекомендовался датским поэтом! Вдобавок я знаю, что чувствовал бы себя неловко, и, если бы вы высмеяли меня и мой приход, я был бы крайне огорчен именно потому, что так высоко ценю вас. Я предпочел вовсе не встречаться с вами!

Мои слова произвели на него хорошее впечатление; он относился ко мне очень дружелюбно и приветливо. На следующий же день он сам пришел ко мне в отель Вивьен, где я поселился; после этого мы неоднократно встречались, раза два гуляли вместе по бульварам, но в те времена у меня еще не было к нему того полного доверия и сердечного расположения, которое установилось у нас спустя несколько лет (1843 г.), когда он уже прочел «Импровизатора» и кое-какие из моих сказок.

Филарет Шаль — *Конец июля 1833 (?)*

Это было в годовщину июльской революции; у солнца настроение было не праздничное: шел проливной дождь, крупные капли барабанили в оконные стекла, раскрытые зонты с трудом сопротивлялись силе ветра, потоки воды хлестали лошадей, как бичи, и мокрые кони нетерпеливо дергали постромки... Я шел к Королевскому мосту, и дорогой мне попадалось немало кислых физиономий, немало ног, сбившихся из-за внезапной бури с такта и с пути. Вдруг я увидел напротив особняка Марсан невысокого белокурого человека, который стоял, прислонясь к парапету набережной, и, придерживая рукой насквозь промокшую шляпу, разглядывал прохожих и созерцал разбушевавшуюся непогоду.

Тучи раздались, на волнистые волосы незнакомца упал солнечный луч и осветил весьма своеобразные черты. Я внимательно вгляделся в лицо неизвестного — таких лиц не бывает ни у светских людей, ни у коммивояжеров, ни у праздношатающихся, ни у ремесленников, ни у глупцов, ни у торгашей.

Когда солнце полностью вступило в свои права, незнакомец невозмутимо сунул руки в карманы и продолжал заниматься своим делом, то есть созерцанием прохожих. Я решил подражать ему и медленно прошел мимо него, затем повернул назад, наблюдая за наблюдателем. Меня поразил облик этого человека, он казался мне загадкой, которую я во что бы то ни стало должен был разгадать... Благожелательным, задумчивым взглядом смотрел он на проходящих детей, на молодых женщин, которые боролись с последними вспышками непогоды и радовались солнцу, на чистильщиков сапог, которые снова расположились на своих местах и зазывали клиен-

тов. Лицо незнакомца выражало и беспечность, и задумчивость, взгляд его подолгу задерживался на каждом и не упускал никого, любопытство его было совсем не французским, а по-германски мечтательным, и чувствительность, написанная на этом лице, так удивительно сочеталась с меланхолией, что я не мог забыть его, хотя давно уже потерял из виду. Какой выдающийся человек не наблюдал людей на площадях и улицах?.. Великое искусство познания людей приобретается только на улице...

Мне довелось после этого вновь увидеть моего немецкого созерцателя; я увидел его сверкающим, как звезда первой величины, предметом восхищения и ненависти... Знакомства с ним домогались, ему подражали... Это был Генрих Гейне...

15 января 1835

Гейне: «Раз я дерзко назвался двоюродным братом Байрона, значит мне во что бы то ни стало нужно хоть отчасти достичь масштабов этого бунтаря-титана, написавшего «Манфреда».

О. Л. Б. Вольф

Апрель-май 1835

Он не обрекает своих врагов на пожизненное заточение, как царственный деспот, а сразу убивает их, убивает наповал, как царственный герой. И так же неизменно верен он своим друзьям, то есть тем, кому сам является другом.

Никто лучше меня не узнал этого; наши жизненные пути, наши взгляды на высшее призвание человека с течением времени сильно разошлись; мне при различных обстоятельствах случалось решительно и даже сурово, именно потому, что он мой друг, во всеуслышание порицать многое и в нем и в его произведениях. Долгие годы мы не встречались и не переписывались, а когда я без предупреждения пришел к нему, как шесть лет назад в Берлине или как прихожу теперь в Париже, он встретил меня с той же сердечностью, искренностью, с такой же открытой душой и неизменной дружбой, как четырнадцать лет назад в Гамбурге, где мы тесно сблизились после одной-единственной прогулки. Объясняется это тем, что в Гейне нет ни капли мелочности.

Он невысокого роста, хорошо сложен, движения его стремительны и при этом уверенны, каштановые волосы густыми, но не вьющимися прядями обрамляют прекрасный высокий лоб, сверкающие карие глаза, на первый взгляд, кажутся небольшими, потому что он по близорукости щурится, у красиво очерченных губ постоянно лежит складка гейневской иронии, даже когда он говорит серьезно или страстно. Весь внешний облик Гейне очень прост; ни в одежде, ни в манерах нет и намека на изысканность или аффектацию, зато в нем чувствуется большая уверенность.

Август Левальд

Конец марта 1836

— Я представлю вас моей жене, — сказал он и повел меня в небольшую нарядную гостиную, где госпожа Гейне сидела на мягких подушках уютного дивана и в изящных пальчиках держала вышивание...

— Знаете, в чем главное достоинство Матильды? — шутливо спросил он. — Она не имеет ни малейшего понятия о немецкой литературе и не прочла ни единого слова, написанного мною и моими друзьями и врагами.

— Говорят, что Генрих очень умный человек, — добавила сама Матильда, — говорят, будто он написал прекрасные книги, но я ничего этого не замечаю и верю людям на слово.

Это очень льстит тщеславию Гейне. Как владетельные князья скрывали свое высокое положение, чтобы своими личными достоинствами внушить любовь чистым душам, так и Гейне умалчивает перед женой о своих духовных преимуществах и радуется, что его любят только parce qu'il est bien! *, как принято говорить на языке нежнейших чувств.

Апрель 1836

«Скажите в Германии тем, кто называет меня разорванным, что я, быть может, цельнее всех», — смеясь, сказал мне Гейне на прощание.

Теофиль Готье

1837 (?)

Я часто встречал Гейне в пору его расцвета, он был умен, как бог, зол, как черт, и притом добродушен, что бы против этого ни возражали. Мне не важно было, считает ли он меня своим другом и сторонником, лишь бы я мог слушать его сверкающую остроумием беседу, ибо еще больше, чем деньги и здоровье, он расточал свои духовные сокровища.

Он превосходно говорил по-французски, но иногда, шутки ради, преподносил свои саркастические замечания с типично немецким акцентом; если бы заняться звукоподражанием, получилась бы та любопытная речь, которую Бальзак в своей «Человеческой комедии» вкладывал в уста барону Нусингену; результат получался необычайно смешным: Аристофан и Уленшпигель в одном лице.

Генрих Лаубе

1839-1840

Он ходил слегка нагнув голову, а так как он при этом сильно щурил свои и без того небольшие глаза, то в его облике было что-то скрытное.

Голос у него был мягкий и благозвучный. Он часто страдал невралгическими головными болями, но... пожаловавшись по привычке на головную боль, тотчас же

* За его собственные достоинства *(франц.)*.

увлекался разговором и забывал про всякое недомогание.

«У вас голова болит от страха перед скукой», — обычно говорили мы ему. Эта мнительность постепенно выродилась в неприятное жеманство, которое отталкивало от него всех чужих и тех, кто был ему неинтересен. Но стоило ему столкнуться с чем-нибудь, что было или обещало быть занимательным, как это жеманство исчезало без следа, и тот же самый человек, который минуту назад едва открывал глаза и рот, начинал рассыпать блестки остроумия, как только уходил сковывающий его неприятный гость или разговор менял направление.

...Эту книгу («Людвиг Берне») он написал во второй половине 1839 года, рукопись ее несколько недель была в моем распоряжении, и я ежедневно часами уговаривал его не издавать ее в таком виде, чтобы не бросить тень и на себя и на Берне...

— Но он был моим врагом, — прервал он меня, — и врагом того лучшего, что есть во мне, — врагом моего мировоззрения!

— Пусть так, — возразил я, — тогда главная задача книги должна заключаться в том, чтобы вы, в противовес узкополитическим идеям Берне, четко и вдохновенно изложили свое более высокое мировоззрение... Вы должны воздвигнуть гору в своей книге...

— Пожалуй, вы правы, — помолчав, сказал он и, беря шляпу, добавил: — Я постараюсь воздвигнуть гору! — После этого всякий раз, как он заходил к нам в сумерки перед обедом или когда мы прогуливались по бульварам, окутанным вечерним туманом, который он так любил в позолоте газовых огней, он неизменно повторял: «Я возвожу гору!»...

В конце концов он прислал мне почтой целую кипу экземпляров новой книги, и гора оказалась ни более ни менее как «Письмами из Гельголанда», которые он втиснул в рукопись... По их руслу мыслям удобно было устремляться к июльской революции, и именно в связи с ней и с кругом ее идей он должен был стать выше Берне. Это он знал не хуже и даже лучше меня.

Так наступил 1839 год. Я жил в Париже и ежедневно встречался с Гейне, который тогда дышал еще полной грудью, смеялся, иронизировал, творил. Даже головные боли, мучившие его всю жизнь, почти прекратились. Он очень охотно говорил о писателях, особенно о близких нам писателях. Так, он всегда рад был вцепиться в Гуцкова и в ядовитых словах выражал свою антипатию к нему. «Он не наш! — восклицал Гейне.— Ему чужда красота мира; он такой же назареец, как Берне, который презирает Гете».

16 декабря 1839

Как-то вечером он пришел в коричневой бархатной куртке, которой очень гордился, и белом галстуке и потащил меня на званый вечер к некоему маркизу де Кюстин. «Там я, — смеясь уверял он, — увижу весь прославленный «сброд». Ибо сам маркиз, написавший книгу о России, — литератор лишь наполовину, вот он и должен дополнять себя полным сборищем знаменитых гостей».

И в самом деле, я увидел там Бальзака, Ламартина, супругов Жирарден и tutti quanti *, и со всеми Гейне шутил как истый француз. В особенности с Бальзаком...

Рихард Вагнер

1840

У него (Лаубе) я познакомился с Генрихом Гейне, и оба они часто добродушно подтрунивали над моим странным положением, чем нередко приводили и меня в веселое настроение... В... (новелле) «Un musicien étranger à Paris» я отомстил за все те поношения, которые претерпел (в Париже). Новелла заслужила похвальный отзыв Г. Гейне: «Гофман не мог бы написать ничего подобного».

Стефен Геллер

Май 1840

Стефен Геллер — Шуману: Пришлите же, наконец, «Песни» для меня и для Гейне, которые я передам ему со всякими комплиментами.

Примечание Губена: Шуман написал 23 мая 1840 года Генриху Гейне и переслал ему через Фридриха Листа свои только что появившиеся композиции «Песни на слова Гейне» (Opus 24). Ответа он так и не получил. Если 26 марта 1843 года Гейне жалуется в «Лютеции» на то, что ему «еще ни разу не присылали авторского экземпляра его песен, положенных на музыку, хотя в Германии таких сочинений издано уже много сотен», — то упрек этот не относится к Шуману. Сопроводительное письмо Шумана было найдено в архиве Гейне после его смерти; дошли ли до него сами композиции — сомнительно.

Ганс Христиан Андерсен

4 мая 1843

Я опять встретился с Генрихом Гейне. За то время, что я не был в Париже, он женился; ему нездоровилось, но все же он был полон энергии и так радушно, так просто меня принял, что на этот раз я не чувствовал ни малейшей робости и держался непринужденно. Он как-то пересказал жене по-французски мою сказку о «Стойком оловянном солдатике» и теперь проводил меня к своей жене, представив как автора этой сказки. «Вы не опубликуете ваши путевые заметки о Париже?» — спросил он заранее и, когда я сказал «нет», прибавил: «Ну, в таком случае, я покажу вам свою жену!» Это была живая, очаро-

* И все прочие (*итал.*)

вательная молодая парижанка; она возилась с компанией детворы. «Мы взяли их напрокат у соседей, потому что своих у нас нет!» — сказал Гейне. Я тоже принял участие в игре, а Гейне тем временем писал в соседней комнате:

Ein Lachen und Singen!
Es blitzen und gaukeln... *

(Примечание Губена: под стихотворением Гейне, посвященным датскому поэту Ein Lachen und Singen! Es blitzen und gaukeln... и т. д., написано: «Это стихотворение, которое я пишу в альбом моего дорогого друга Андерсена, сочинено в Париже 4 мая 1843 г. Генрих Гейне».)

Фридрих Геббель — *14 сентября 1843*

(Сообщено Геббелем Эдмунду Кульке): — Собственно, я должен был бы вас ненавидеть, — сказал Гейне, когда Геббель в первый раз приехал в Париж,— потому что вы ходячее опровержение высказанного мною взгляда, что наше время неспособно произвести гениального драматурга. Ну, раз уж вы тут, я рад вас видеть.

14 октября 1843

(Из дневника Геббеля). Гейне был у меня и говорил о «Юдифи». По его словам, он прочитал ее в один присест, она произвела на него глубокое впечатление.

(Геббель — Генриху Гейне, 18 декабря 1855 г.): Однажды в Париже вы высказали в течение получаса больше глубоких мыслей о моей «Юдифи», чем все немецкие критики, вместе взятые.

Людвиг Ф. Эмбден — *Июль-август 1844*

Жан-Поля он ставит очень высоко и советует мне читать его произведения медленно и внимательно, ибо это обогатит меня на всю жизнь. Он также от всей души рекомендует познакомиться с Чарльзом Диккенсом, чтобы восполнить этим недостаток в слабо представленном в Германии комическом романе.

Мориц Гартман — *Апрель 1846*

(Сообщено Штродтману): Гартману во время одного посещения он заявил, что его полемика с Платеном — не что иное, как борьба с попами. За спиной Платена стоят попы, штаб-квартирой которых был тогда Мюнхен, и он считал благим делом уничтожить в лице Платена их союзника.

Жерар де Нерваль — *1846*

(Сообщено Шмидту—Вейсенфельду): Помогать друзьям, попавшим в затруднительное положение, было его основным правилом, которому он следовал с такой охотой, что никогда не вспоминал о данных взаймы деньгах.

Некий молодой художник, Бенуа, с которым он познакомился в кафе, признался ему как-то, что у него нет средств закончить начатый портрет. На следующий день Гейне прислал ему триста франков, с просьбой ни в коем случае не торопиться с начатым портретом.

Некий молодой многообещающий поэт был в отчаянии, что не может избежать солдатчины, так как ему не на что было нанять за себя другого. Жерар в разговоре с Гейне сообщил ему о несчастье, постигшем знакомого им юношу. Гейне сейчас же послал за бедствующим поэтом, нанял фиакр и вместе с молодым человеком поехал к знакомому парижскому банкиру; после того как ему было изложено все дело, банкир охотно одолжил тысячу франков, за которые поэт смог нанять себе заместителя.

Генрих Бернштейн — *1846-1847*

Европа переживала тревожное время: неурожайный 1846 год, финансовый кризис 1847 года, распространение социализма и коммунизма, коррупция господствующих классов, борьба в Швейцарии Зондербунда, вызванного к жизни происками иезуитов, выборы папы Пия IX, либеральные реформы, предпринятые им на первых порах, а главное недовольство во Франции июльской монархией и рост буржуазии вызвали во всей Европе сильное брожение умов, и проницательные люди уже тогда предсказывали государственный переворот, хотя они и отодвигали его до смерти Луи-Филиппа. К таким пророкам принадлежал и Генрих Гейне, который не раз говорил мне: «Революция неизбежна, это только вопрос времени».

К. М. Кертбени (псевдоним Бенкерта) — *Февраль-март 1847*

Он очень привязался ко мне, я должен был часами читать ему вслух...

Часто, когда я бывал у Гейне по вечерам, и он уже лежал в постели, я беседовал с ним также и о венгерской литературе, и если во время разговора я рассказывал о нашей стране, о нашей истории и нашем народе, он всегда проявлял большой интерес ко всему этому и говорил, что никогда раньше у него не было такого ясного представления о Венгрии. Я особенно старался заинтересовать его Петефи и читал ему переводы А. Дукса, так как в то время еще не пробовал переводить сам. Петефи ему очень нравился, отдельные стихотворения он просил читать ему подряд в течение нескольких дней, и, когда я устно переводил ему слово за словом другие стихотворения из венгерского сборника, с которым не расставался во время путешествий, он уговаривал меня поста-

* Смех звонкий и пенье, играя, сверкали... (пер. Минаева).

вить целью своей жизни перевод этого поэта. «Только раньше, — говорил он, — необходимо научиться в совершенстве манипулировать языком и метрикой, чтобы сразу попадать в точку, ибо переводы только тогда ценны и плодотворны для иностранной литературы, когда они так же убедительны по своей форме, как и оригинал...»

(Примечание Губена: На сборнике «Стихотворения Александра Петефи» в переводе Кертбени, Франкфурт-на-Майне, Лит. издательство (И. Рюттен), 1849, стоит следующее посвящение: «Прошу Генриха Гейне, великого, вечно юного поэта Германии, принять мою попытку пересадить этого гениального поэта на чужую почву как знак глубокого и искреннего уважения венгерского народа».)

Альфред Мейснер

1847

В 1839 году — значит, когда мне шел семнадцатый год, — я привез домой из поездки в Лейпциг брюссельское миниатюрное издание «Poésies de Alfred de Musset». Я прочитал его со стремительной поспешностью еще до приезда в Прагу и сообщил об этом опасном для семиклассника чтении моему другу Морицу Гартману. Некоторое время мы были совершенно поглощены Мюссе. Вскоре я перевел ряд его стихотворений и две-три новеллы, между прочим его «Tizianello»; переводы были опубликованы в одной пражской газете...

Такое чрезмерное обожание со временем исчезло, но я все еще восхищался Альфредом де Мюссе. Во мне зародилось желание лично познакомиться с поэтом. Я раздобыл его адрес, собрал свои переводы и отправил их автору, сопроводив письмом, в котором просил разрешить мне лично засвидетельствовать ему свое уважение в его библиотеке — он служил библиотекарем.

— Так, так, так, — проговорил Гейне, загадочно улыбаясь, когда я рассказал ему об этом. — Вы послали Мюссе ваши переводы? Знакомство с ним для вас совершенно неподходящее дело. Он ведет беспутную и праздную жизнь знатного франта. Кроме того, сейчас он опустился. Творчество его давно иссякло, источник высох, а о той жалкой струйке, что еще чуть сочится, не стоит и говорить. Он преждевременно испил чашу наслаждений, поэтому рано истощился физически, потерял силы, до срока износился телесно и духовно. Смотреть на него не весело. Достаточно сказать, что единственное более или менее значительное его произведение последнего времени принадлежит к весьма сомнительному жанру. Оно озаглавлено «Deux nuits d'excès». Вы можете приобрести его в Пале-Рояль, где из-под полы сбывают всякую похабщину...

— С Мюссе произошла странная история, — продолжал Гейне, — все, кто его сейчас видит, недоумевают. Когда он стал знаменит и вошел в моду, он уже не был тем человеком, который написал давшие ему славу книги, да и вообще он уже не был поэтом. Он пережил три периода: сначала — необузданный и смелый, затем его талант переменился: стал грациозным, спокойным — к этому времени относятся его драматические салонные идиллии. Сейчас он переживает третий период; все кончено. Когда вы будете у меня, я покажу вам, что я написал о нем много лет тому назад в моей книге «Девушки и женщины Шекспира», и это, во всяком случае, справедливо.

Я спокойно слушал и все же не раскаивался, что написал Мюссе. Несколько дней я с нетерпением ждал ответа на отосланные переводы. Но ответа не пришло: Мюссе не заинтересовался моими переводами.

— А вы-то собирались засвидетельствовать ему свое почтение в той библиотеке, где он работает! — вышучивал меня Гейне. — Не думаю, чтобы Мюссе знал, на какой улице находится библиотека, которой он заведует. На это место его назначили герцоги Орлеанские за то, что он сочинил стихи на рождение графа Парижского, — стихи, в которых, кстати сказать, в изысканной, как принято говорить, форме изложена весьма умеренная государственная мудрость...

Как-то раз, когда разговор опять коснулся Мюссе, я похвалил одну из его комедий, где действие, если только это можно назвать действием, вертится вокруг кошелька. Мне кажется, это была комедия «La Caprice». Я сказал, что это, собственно, дамское рукоделие — суметь тонко, изящно, так сказать, золотом и шелками искусно расшить кошелек. Гейне тут же сказал: «Да, это так, но кошелек не должен быть пустым. Полагается, чтобы в нем было золото, а этот кошелек совсем пустой!»

— Очень грустно, — заключил он, — следить за постепенной деградацией высокоодаренной от природы натуры и отмечать различные стадии упадка. Но беспристрастному свидетелю писательского пути Альфреда Мюссе не остается ничего другого. Талант этого несомненно высокоодаренного человека, едва успев проявиться, тут же пошел на убыль: приходится констатировать его постепенную гибель. Избыток наслаждений породил пресыщенность, отвращение к жизни; скука и недовольство как окружающим миром, так и самим собой поселились в его опустошенном сердце. Так думают те, кто его знает и судит о нем нелицеприятно.

Март 1847

Все находившиеся тогда в Париже немецкие корреспонденты обычно собирались между тремя и пятью часами в довольно большом кабинете для чтения. Этот кабинет, так называемый Circle Valois, помещался в Пале-Рояле, то есть в центре города, что было очень удобно. Посреди

комнаты на большом столе лежало около пятидесяти газет французских и иностранных. Тут же можно было найти чернильницы и перья; корреспонденты читали, писали свои сообщения, а затем шли на почту, которая была неподалеку, при биже, и собственноручно отправляли их.

В этом казино для чтения Гейне появлялся очень часто, особенно в дни, когда приходили еженедельники; и так как он был отнюдь не равнодушен к похвалам и брани, то перерывал все газеты, отыскивая на их страницах свое имя. Но то, что он читал там о себе и своих произведениях, едва ли могло его порадовать. За последнее время наблюдался резкий поворот в оценке его произведений: критики утверждали, что он выдохся, что талант его ослабел и теперь угасает. Эти высказывания прессы чрезвычайно раздражали его.

(Позднейшее добавление.) Особенно рьяно на него нападали в Париже некоторые мелкие немецкие писаки. Когда Гейне лечился ваннами в Баньере (Бареже), один из этих писак заявил в «Дейче Альгемейне», что Гейне отправили в дом для умалишенных. И тот же корреспондент (в августе 1846 г.) сообщил, будто Гейне умер.

— Одно меня злит, — сказал по этому поводу Гейне. — Главный редактор, господин профессор Бюлау, видимо, настолько мало ценит мою жизнь, что даже не потрудился упомянуть о моей смерти в оглавлении на первой странице. Уж тут «Прейсише Альгемейне», хоть она и не любит меня, поступила достойнее. Она расщедрилась и поставила крест мне, бедному грешнику Гейне.

— Но ведь вы живы, а это главное.

— Да, жив: я чувствую, когда меня жалят, — с горечью возразил Гейне. — Хуже всего то, что от этих паразитов не защитишься, да и наказать их нельзя. Чем мельче такое насекомое, тем труднее до него добраться. Вот в чем беда! Блоху не заклеймишь!

— Французы, — продолжал он, желая меня утешить, — иначе обращаются со мной. Бальзак посвятил мне свою только что вышедшую новеллу. В посвящении он называет меня достойнейшим представителем французского духа в Германии и немецкой поэзии — во Франции. Теофиль Готье в своем предисловии к Willis расточает мне самые лестные похвалы, — а в моей дорогой отчизне — наоборот... впрочем, я молчу...

Генрих Лаубе

1847

Он умел быть не только вернейшим врагом, но и вернейшим другом... Благодаря ему узнал я Париж и французов. Он открыл мне Тьера, Минье, Ламартина, Жорж Санд, Беранже, Эжена Сю. Вам теперь даже трудно себе представить, как французы почитали его. Записка от м-сье Гейне открывала вам двери любого парижского салона. И, должен сказать, что в присутствии французов он всегда ставил Германию очень высоко. Не позволял себе никаких острот и не терпел никаких нападок. Но если мы покидали общество французов, то он давал волю своему остроумию. И тут на сцене появлялись один за другим Ян, Венедей, Массман — словом, вся галерея.

— С моей стороны было бы неблагодарностью, — говорил он, — если бы я позабыл об этих беднягах, ведь они так долго служили мне. Кто бы тогда вспомнил о них!

Мориц Карьер

Начало апреля 1847

Гейне очень болен, его конституция, говорит он, еще хуже прусской.

Фанни Левальд

14 марта 1848

Он выказал большой интерес к Германии, попросил прочесть ему письмо о революции в Бремене, только что мной полученное и лежавшее у меня в кармане, расспрашивал о своих знакомых и все повторял с тоской: «Вы не знаете, каково это — переживать в моем состоянии такие революции. Мне следовало быть или мертвым, или здоровым!» Но, невзирая на эти жалобы, он выразил в отношении Германии самые теплые надежды и вместе с тем подшучивал над удивлением и перепугом немцев, если они когда-нибудь вдруг окажутся свободными.

22 марта 1848

«И как бы они на моей родине ни оценивали меня — низко или высоко, я все же много раз бил в набат, чтобы пробудить их ото сна; много раз напоминал им, что в Германии не меньше гнили, чем в Датском королевстве...»

Потом он говорил о своей жизни и назвал ее счастливой. Как это прекрасно, как редко приходится слышать такие слова из уст человека, которому все же пришлось претерпеть столько несправедливостей!..

Затем он говорил о своей великой несокрушимой жажде жизни: «Она кажется мне прямо какой-то сверхъестественной при моих болезнях. Такая жажда жизни похожа на призрак нежной монахини в стенах старого монастыря; эта жажда временами еще мерцает в развалинах моего я...

Даже мои губы, которые так беззаботно пели и целовали, наполовину парализованы...

Теперь, когда я часами размышляю о своей смерти, я веду по ночам весьма серьезные разговоры с Иеговой, и однажды он мне сказал: «Можете быть всем, чем вам угодно, любезный доктор, — республиканцем, социалистом, но только не атеистом».

Каролина Жобер

1848

Достаточно послушать рассказ Гейне о его последнем посещении «Венеры», как он обычно выражался, чтобы понять, какое мощное и волшебное впечатление производила на поэта эта прекрасная мраморная статуя. Весной 1848 года поэта лечил доктор Груби, и Гейне стало лучше: к нему вернулось чувство вкуса, он снова мог владеть руками, одно веко приоткрылось, и, казалось, можно было опять надеяться. Гейне хотелось испробовать свои силы и подышать воздухом искусства, чтобы отдохнуть; он вошел в нижний этаж Лувра, в галерею, где стоят статуи, и сел перед Венерой Милосской. Тут, в полумраке, когда он созерцал эту божественную улыбку, эту гармоничную красоту, которая отныне должна была жить для него только в воспоминаниях, им овладело особое состояние восторга. Прошлое, настоящее и будущее предстали одновременно его духовному взору, и восторг сменился горечью отчаяния.

— Ах! Почему я там не умер в это мгновенье! — воскликнул он. — Это была бы поэтическая, языческая, великолепная смерть, и я заслужил ее! Да, в минуты этой тоски моя жизнь должна была бы угаснуть.

После короткого молчания он продолжал уже с насмешкой:

— Но богиня не протянула ко мне своих рук. Вы ведь знаете ее судьбу? Как от меня осталось полчеловека, так и от нее — полбожества. И вопреки всем законам математики и алгебры из наших двух половин не создать целого.

Альфред Мейснер

Январь 1849

Он рассказывал о своих почти непрерывных болях, о своей беспомощности, обо всех этих ужасных и роковых страданиях, которые продолжаются уже так давно. Говорил, что сам кажется себе привидением, существом в известном смысле уже умершим, чей дух, находясь как бы в промежуточном царстве, смотрит вниз на бедное, разбитое, истерзанное тело. Описывал, как он живет в образах и интуициях прошедшего, как ему хочется еще писать стихи и творить и как ослепший глаз, дрожащая рука и почти непрерывные боли делают все это невозможным. Говорил о ночах, полных мук, когда к нему подползала мысль о самоубийстве, пока он не нашел в себе силу отшвырнуть ее, вспомнив о любимой жене и о тех произведениях, которые ему еще предстоит завершить в этом мире; и нельзя было не почувствовать ужас, когда он, в конце концов, со страшной серьезностью воскликнул глухим голосом: «Вспомните Гюнтера, Бюргера, Клейста, Гельдерлина и несчастного Ленау! На немецких поэтах действительно лежит какое-то проклятие!»

Каролина Жобер

1849 (?)

Отдыхал он также, слушая чтение романов Александра Дюма.

«Этот мулат очень забавен, — радостно заявил Гейне, — он просто удивителен! Сила его воображения дает отдых моему воображению».

Людвиг Калиш

Ноябрь 1948

Его жизненная сила, спасая себя, как бы переселилась в его мозг! Его голова, работавшая так усиленно, сидела на мертвом теле...

Когда я спросил его, почему он изливает едкий сарказм своей сатиры именно на Массмана, он ответил: «Господи боже мой! Я уже старик; уже поздно заводить себе новых шутов. Надо жить за счет старых. Массман для меня доходный шут. Это моя рента. Я же не виноват, что это так».

Вскоре разговор перешел на современную немецкую поэзию и ее представителей. В связи с именем Ленау был упомянут целый ряд немецких поэтов, кончивших сумасшествием или умерших в нищете...

«Поэзия, — сказал он вскоре после этого, — создала больше мучеников, чем религия. История литературы каждого народа и каждой эпохи — поистине, мартиролог. Публика, это тысячеголовое чудовище, читает наши стихи только от скуки, чтобы облегчить себе пищеварение, не помышляя о том, что мы создали их ценой своего здоровья, своей жизни. Аполлон — прекрасный бог, но он вынуждает своих жрецов приносить самих себя в жертву на его алтаре...»

Затем были упомянуты его новые стихи. Гейне сказал, что поэзия — лучшее средство облегчить ему бессонные ночи. «Поэзия осталась моей верной подругой, — заявил он. — Ее не отпугивает моя хворь; она последовала за мной до края могилы и помогает бороться со смертью».

Лето 1850

В то время все говорили об обращении Гейне. Одни уверяли, что духовно он принял христианство, другие, еще бездоказательнее, настаивали на том, что он вернулся к иудаизму. Пищу для этих слухов дали некоторые места из его предисловий к новым изданиям его книг, а также то обстоятельство, что на письменном столе иногда появлялась библия.

Мы редко затрагивали с ним эту тему, но мне казалось, что религиозные мысли тогда действительно очень занимали Гейне.

— Если бы я мог выйти хоть на костылях! — вздыхал он.

— Нельзя, — возражал я.

— Ну только в церковь!

— Вы шутите, — недоверчиво заметил я.

— Нет, нет! Конечно в церковь! — отвечал Гейне. — А куда же еще пойдешь на костылях? Правда, если бы я мог ходить

без костылей, я бы охотнее прогулялся по смеющимся бульварам и поплясал на Bal Mabille!..

Эдуард Шмидт — Вайсенфельд

Лето 1850

«На свете есть очень много псов, которые меня облаивают и подхалимничают перед негодяями; особенно важно, чтобы последние видели время от времени мое имя в печати; пусть убеждаются, что я все еще не потерял способности писать. Тот вой, который они поднимают, когда я их хорошенько стегаю кнутом, мне слаще любой серенады».

Адольф Штар и Фанни Левальд

Сентябрь 1850

Сраженный неизлечимой болезнью, вычеркнутый еще при жизни из списка живых, терзаемый мучительнейшими болями, этот человек сохранил всю энергию своего аристофановского духа, всю силу своего неистощимого юмора и всю беспощадную остроту своего уничтожающего остроумия...

(Добавление Фанни Левальд в 1886 г.):

— Как это Лаубе пришло на ум написать историю немецкого парламента? — спросил Гейне. — Он сообщал мне об этом и раньше, делая намеки, но ни в какие подробности не вдавался. Может быть, он надеялся, что книга не попадется мне на глаза? Но ее тут же принесли мне. А когда мне прочли ее вслух, мне стало горько и больно, ибо он отрекся от всех своих убеждений... Я чувствую потребность выступить против этой книги... А мы с Лаубе были так долго добрыми друзьями!..

— История этого парламента, — продолжал он, — должна быть написана так же, как вы, — обратился он ко мне, — написали историю прусской революции: в одном томе, кратко, хочу я сказать. Ведь это драгоценнейший материал, такого не найдешь. Он прямо предназначен служить для произведения искусства: единство времени, места, глупости! Какой зверинец собрался тогда в Паульскирхе! Чтобы описать все это, нужен второй Бюссон! Чего тут только не было! Какие доисторические ископаемые! Какой старый хлам! А верхушка! О, эта верхушка!

А. Мелье

Сентябрь 1850

— Пожалуйста, достаньте-ка мне из шкафа стихи Альфреда Мюссе, — сказал он. — Вот... прочтите это место. Я этого человека терпеть не могу, и все-таки у меня потребность слушать его стихи. — Я прочел. Это было одно из самых лучших и вместе с тем самых страшных стихотворений отчаявшегося поэта. Оно называется «Les voeux stériles» и в Германии, вероятно, мало известно. Мюссе обращается в нем к поэтам и поэтическим натурам и предрекает им, что чернь всегда будет издеваться над ними и их чувствами, ибо чернь верит только фактам, только «льющейся крови», а глубокие, изнурительные «муки души» считает поэтическим измышлением и осмеивает их. Дать анализ этого потрясающего шедевра невозможно, и те, кто интересуется моим разговором с Гейне в тот незабываемый вечер, пусть прочтут эти стихи сами. Гейне слушал меня, закрыв глаза, и маленькими глотками пил приготовленное ему женой питье. Он выпил стакан до дна. Когда я кончил, он спросил меня, читал ли я это стихотворение раньше. Я ответил, что нет, не читал.

— Так читайте его как можно чаще, — сказал он, — и если вы поэт или имеете для этого данные, чего я почти опасаюсь, то читайте его ежедневно — утром, в полдень и вечером, выучите его наизусть и заставьте выучить его ваших детей...

— А вдруг все это будет напрасно? — спросил я робко.

— Ну тогда, — сказал больной поэт с глубокой серьезностью, — если так суждено, тут уж никакой Мюссе не поможет, и я, мой дорогой соотечественник, могу вам посоветовать только одно — носите с достоинством свой венец мученика.

Адольф Штар и Фанни Левальд

Сентябрь 1850

Я рассказал ему, как в ранней юности с большим трудом раздобыл его стихи, как пленили меня краски и очарование его языка и как я пугался, когда какое-либо стихотворение, которое, казалось, было подсказано глубочайшим чувством, вдруг завершалось насмешкой. Я никогда не забуду, говорил я, какое сильное действие оказали на меня, например, заключительные слова одного стихотворения:

> И пасть к твоим ногам,
> И тихо шепнуть, умирая,
> Я вас люблю, madame. *)

— Это были не капризы или случайные настроения, — сказал Гейне. — Все эти резкие диссонансы я вводил вполне сознательно, из оппозиции к мягкотелой сентиментальности швабов и их подголосков. — И затем подчеркнул, что резкие диссонансы в его стихотворении — не плод его личной заносчивости: они — способ выразить его совершенно сознательную оппозицию.

Октябрь 1850

— У меня всегда было особое пристрастие к северогерманским, равнинным местностям, — говорил Гейне. — Все мне там нравится: люди, земля (дополнение Фанни Левальд в 1886 г.: женщины), — все! И больше всего я люблю Амстердам, где бегают оригиналы всех моих идеалов, все картины Яна Стина. Мне всегда хотелось написать

---

* Из «Лирического интермеццо» (пер. В. Левика).

биографию этого художника по его картинам. Другими словами, я хотел увидеть все его картины и по ним написать биографию этого жизнерадостнейшего человека. Мне всегда ужасно нравилось, что свою первую жену, которая часто бранила его за пьянство, он изобразил на одной из своих лучших картин — пьяной. И мне всегда будет больно, что я не написал ни этой книги, ни моей лучшей поэмы «Тиль Уленшпигель».

Мы спросили его, какими они должны были быть.

— Я хотел изобразить дело так, будто я сам путешествую, чтобы собрать все сведения об Уленшпигеле, и предполагал сделать это так основательно, чтобы антиквары сочли мое произведение за ученый труд. И я тут же высказал бы все, что лежало когда-либо у меня на сердце, относительно бога и всего света. Наверное, это было бы моим лучшим произведением!

Адольф Штар

23 октября 1850

— Приверженность Дантона к родной земле всегда меня трогала, — как-то сказал Гейне. — Как хотелось бы мне самому очутиться в Германии, хотя бы только для того, чтобы там умереть. Я часто тоскую по ней.

Генрих Рольфс

Февраль 1851

Однажды, когда мы обсуждали состояние Германии, он воскликнул:

— О, если б я мог еще раз увидеть мою родину, если бы мне было дано умереть в Германии!

Каролина Жобер

Ноябрь 1851

Его страдания усилились, но терпение и мужество не ослабевали. Гейне сознавал свое состояние все с той же ясностью и беспощадностью; он просил моего мужа помочь ему составить завещание и назвать нотариуса, которому он мог бы довериться и продиктовать свою последнюю волю...

Когда разговор коснулся столь серьезного предмета, больной выразил настойчивое желание, чтобы его похоронили без шума и, как он жил, без пышности.

«Пусть за меня говорят мои произведения, только они! Даже литературные лавры, как вам известно, мой добрый друг, не могут меня тронуть. Нет, я отважный воин и отдал свои силы и свой талант на служение всему человечеству. Если хотите, можете на мою могилу положить в виде креста пращу и лук...»

Морис Этьен

Зима 1851

Сиделка, могучая мулатка, вынула его из «матрацной могилы» (больной лежал не на обычной кровати, а на шести матрацах, наложенных один на другой: его измученное тело не могло вынести даже самого слабого соприкосновения с чем-нибудь жестким) и, как ребенка, на руках понесла в ванну.

— Вот видите, в Париже меня на руках носят! — с горьким юмором крикнул он однажды своему другу, видевшему, как Гейне таким же образом перекладывают с кресла обратно в «матрацную могилу».

Мария Эмбден-Гейне

Весна 1854

В 1854 году я навестила своего дядю. Робея и трепеща, постучала в его дверь. И как радостно меня приняли!

— Подойди поближе, дитя мое, — слабым голосом сказал он. — Я хочу получше тебя разглядеть; стань вот здесь, вплотную возле меня.

И своей прекрасной белой рукой он поднял веко, чтобы посмотреть, похожа ли я на свою мать...

Я едва узнала его, до такой степени он изменился; слезы сдавливали мне горло.

Парализованные веки скрыли от него мою боль и слезы, непроизвольно катившиеся у меня по лицу. Но по звуку моего голоса он понял, как я взволнована.

— Почему ты так убиваешься, дитя мое? Разве я не взял от жизни всего, что только может взять человек? Я живу воспоминаниями о былом, и дни мои далеко не всегда печальны, ведь я до дна испил кубок радости и наслаждений.

Альфред Мейснер

Август 1854

Переводы на французский, которые он сам делал, страдали некоторым многословием и сохранили строй немецкой речи. «Вы не можете себе представить, — говорил он, — как трудно нам, немцам, воссоздавать немецкий дух внутри этих установленных, определенных, незыблемых форм. Мои собственные песни в этом перевоплощении кажутся мне совсем чужими. Я ведь лесная птица и привык вить свое гнездо из самого разного и самого простого материала...

Август 1854

Он умел ненавидеть глубоко, страстно, с энергией, не свойственной людям, но ненавидел он только потому, что умел любить. Чувство высокого, сильного, идеального было очень развито в нем. К сожалению, многие и многое из того, что открывалось ему при полном свете, было окрашено темной краской...

Да, можно смело сказать: сердце у него было доброе. Но это сердце принадлежало только друзьям, врагам доставалась ненависть! Доброе начало, преобладавшее в нем, распространялось даже на совсем чужих, безразличных людей. Чтобы пробудить в нем интерес, им достаточно было оказаться в нужде, быть бедными или несчастными. Бесчисленные эмигранты чув-

ствовали его благодетельную поддержку; при этом он даже не спрашивал, к какой партии они принадлежат, пусть это даже были люди из враждебного ему лагеря, чьи лозунги он высмеивал; он принимал участие в любом сборе пожертвований даже в большей мере, чем позволяли его средства, если дело шло о незаслуженно пострадавшем, — и при этом с улыбкой, и как будто оправдываясь, говорил: «Я люблю время от времени оставлять свою визитную карточку у господа бога...»

Август 1854

В кресле у окна, как он представлен на портрете, Гейне обычно проводил все утро. Бювар лежал у него на коленях, и он писал карандашом на отдельных листках свои стихи и еще неизвестную миру многотомную книгу воспоминаний. После его смерти обнаружены были целые горы таких листков, ибо он писал размашисто, крупными буквами и только на одной стороне листа... Когда больной уставал или не был в настроении работать, фрау Матильда брала на себя роль чтеца. Она прочитала ему все без исключения романы Дюма, так как Гейне любил и ценил его плодовитый, живой и изобретательный ум; легко читающиеся книги Дюма были для него желанным развлечением.

В последние годы он внимательнейшим образом изучил психологию, анатомию и патологию своей болезни; труды Гессе, Андреаля и главным образом Ромберга были ему знакомы досконально. Но по привычке он и здесь иронизировал над своими познаниями. «От такого усердия мне толку не будет. Разве что на небесах я прочту несколько лекций с целью разъяснить моим слушателям, как плохо лечат врачи на земле».

Когда однажды доложили о Берлиозе, несчастный быстро приподнялся и воскликнул: «Как? Ко мне пришли? Право же, Берлиоз, как всегда, оригинален!..»

Филибер Одебран

Начало февраля 1855

В литературном кафе некий одописец, получавший денежные подачки из личных средств Наполеона III, осмелился сказать: «Беранже не поэт». Когда на следующий день узнал об этом автор «Путевых картин», страдавший в эту пору приступом мучительных болей, он, превозмогая боль, поднялся на кровати и, отпустив соленую шутку по адресу хулителя — здесь неуместно передавать ее, — воскликнул: «Пигмей! Беранже — самая могучая лира нашего времени!»

Камилла Зельден

Июль 1855

Сколько интересных замечаний слышала я от него во время наших совместных чтений! Гейне нравился мой немецкий выговор, он считал его простым, естественным, вполне соответствующим духу того языка, который он называл прекраснейшим и самым звучным языком на свете. Французский, по его мнению, был скорее сух, чем элегантен, и не обладал выразительными средствами для передачи тонкого, нежного биения пульса поэзии. Известна его антипатия к Виктору Гюго и Мюссе. «Рифмованная проза и больше ничего!», — воскликнул он, когда я прочла ему «Mardoche» Мюссе. Зато Александр Дюма-отец был одним из любимейших его писателей; он без устали хвалил взлеты его фантазии, жизнь, бьющую через край в его произведениях, и удивительную изобразительную силу. «Трех мушкетеров» он не раз называл образцом романического жанра, освежающего и увлекательного.

По его мнению, задача подлинного художника — будь то романист, лирический поэт или драматург, — правильно воссоздавая жизнь, отыскивать в ней подлинную поэзию. Это он считал наивысшей возможностью искусства, а из тех, кто приступал к решению великой задачи, для него на первом месте стоял Шекспир, о котором он неизменно отзывался с восторгом. «Если господь бог, — говорил он, — претендует на первое место в творении, то Шекспиру, несомненно, принадлежит второе».

Сентябрь 1855

Больному совсем плохо, он держится только благодаря огромным усилиям воли и страстной потребности завершить свои мемуары, которые будут одновременно оправданием всей его жизни и завершением трудов... Я постоянно видела, как Гейне покрывает большие белые листы бумаги четкими буквами, одна форма которых уже свидетельствовала о смелости и ясности его мыслей. Перо, с лихорадочной поспешностью летавшее по бумаге, в его исхудалых пальцах становилось смертоносным оружием, которое не раз поражало как будто бы незапятнанные репутации. Однажды скрип пера вдруг прекратился и раздался смех; в нем слышалась удовлетворенная жажда мести. Я взглянула на Гейне. «Я держу их, — воскликнул он, — ни живыми ни мертвыми, они от меня уже не вырвутся. Гейне не умирает как простой смертный, когти тигра терзают свою добычу и после смерти».

Теофиль Готье

Январь 1856

В последний раз я видел Гейне за несколько недель до его смерти; мне предстояло написать небольшое предисловие к собранию его сочинений; он лежал в постели...

Когда после первых приветственных слов он узнал о цели моего прихода, он сказал: «Не надо слишком уж соболезновать мне; виньетка в «Revue des deux mondes», изображающая меня изможденным, с поникшей головой, как образ Христа у Моралеса, и без того принудила добрых людей к чрезмерному состраданию;

я не охотник до слишком схожих портретов, лучше пусть изображение немножко льстит мне, как изображение красивой женщины. Вы знали меня еще молодым и красивым; замените портретом тех времен эту печальную маску».

Катарина Бурлуа

Февраль 1856

В среду 13 февраля мой бедный хозяин работал не меньше шести часов, чего не делал уже целую неделю, так как его одолевала слабость. Я умоляла его передохнуть. Он согласился и сказал: «Мне осталось работы на четыре дня, и тогда мой труд будет завершен». До сих пор он никогда не говорил со мной о литературных делах. В четверг его мучили сильнейшие головные боли. В пятницу 15 февраля меня охватило тяжелое предчувствие, и в девять утра я послала за врачом...

В субботу ему стало еще хуже; днем, между четырьмя и пятью часами, он несколько раз прошептал: «Писать!» Я не разобрала слова, но отвечала: «Да». Тогда он воскликнул: «бумагу, карандаш...» Это были его последние слова. Слабость возрастала, и карандаш выпал у него из рук... Я приподняла его на постели. Начались судороги. Мучительная боль исказила его лицо, агония подходила к концу. Господин Гейне до последней минуты оставался в полном сознании.

Бернштейн Генрих (1805—1892) — немецкий публицист, первый редактор газеты «Форвертс» в Париже.

Бурлуа Катарина — сиделка Генриха Гейне. Воспоминания ее включены в книгу Людвига фон Эмбдена «Семейная жизнь Генриха Гейне».

Винбарг Лудольф (1802—1872) — видный немецкий буржуазный критик.

Вольф О. Л. Б. (1799—1851) — писатель, переводчик и издатель, друг юности Гейне.

Гартман Мориц (1821—1872) — австрийский политический поэт и беллетрист.

Жобер Каролина — автор воспоминаний о Гейне. В литературном салоне Жобер собирались наиболее известные французские писатели.

Зельден Камилла (1834—1896) — немецкая писательница Элиза фон Криниц, близкий друг поэта в последние месяцы его жизни, напечатавшая под псевдонимом Камиллы Зельден книги о Гейне.

Калиш Людвиг (1814—1882) — немецкий писатель и журналист, автор статьи «Беседы с Генрихом Гейне».

Карьер Мориц (1817—1895) — немецкий писатель и эстетик.

Кертбени Карл-Мария (1824—1882) — немецкий критик, публицист и поэт, переводчик стихов Шандора Петефи.

Лаубе Генрих (1806—1884) — немецкий писатель и критик, друг Гейне.

Левальд Август (1792—1871) — немецкий критик и театральный деятель.

Левальд Фанни (1806—1871) — немецкая писательница — новеллистка, жена филолога и историка Адольфа Штара (1805—1876).

Мельс А. (1829—1894), псевдоним Мартина Кона, — немецкий писатель, критик, автор статьи «Вечер у Генриха Гейне».

Мейснер Альфред (1822—1885) — немецкий поэт.

Минье Франсуа-Огюст (1796—1884) — французский буржуазный историк.

Одебран Филибер (1815—1906) — французский беллетрист и критик.

Хиллер Фердинанд (1811—1885) — немецкий композитор и музыковед.

Шаль Филарет (1798—1873) — французский критик, друг Гейне, автор многочисленных статей о поэте.

Шмидт-Вайсенфельд Эдуард (1833—1893)— немецкий критик и журналист.

Эмбден Людвиг — племянник Гейне.

Эмбден-Гейне Мария — племянница Генриха Гейне.

Арнольд Цвейг

Столетие Генриха Гейне

Вычеркнуть имя Генриха Гейне — вот идея, воистину достойная нацистского государства! И хотя при нацистах выросло поколение немцев, не знавших Генриха Гейне, «тысячелетняя империя» могла лишь на короткий срок затемнить его звезду, да и то лишь в Германии — более нигде.

Были такие неумеренные почитатели Гейне, как поздний Ницше, который, главным образом ради того, чтобы бросить вызов своим соотечественникам, сказал в своей автобиографии «Ecce homo»: «Для меня высшее воплощение лирического поэта — это Генрих Гейне. Он обладал той божественной злостью, без которой я не мыслю совершенства...» Несомненно, к концу девятнадцатого века в ведущих слоях буржуазии проявилась духовная разорванность, которая получила позже название настроения «Fin de siècle» (конец века); мысли и чувства метались между сентиментальностью и язвительной насмешкой, между преклонением перед представительницами прекрасного пола и жестоким презрением к буржуазной ограниченности отцов и дедов. И Генрих Гейне по-своему способствовал выражению этих настроений еще за пятьдесят лет до того. Однако во времена Ницше и Вагнера никто не видел того, что еще в сороковые годы глубоко чувствовал Карл Маркс и его друзья, — того, что страстная душа Генриха Гейне, его до предела обостренное восприятие несправедливости в государственном строе, порабощения творческой личности, и его сочувствие трудящимся массам в их борьбе за свои права сделали этого поэта провозвестником тех грядущих поколений, которые объявили войну европейской реакции. Лучше умереть в изгнании, чем смириться перед плетью, тюремной решеткой, перед пулей палача!

И вот сегодня книги Генриха Гейне стоят, во всем своем блеске и противоречивости, на книжных полках всех свободомыслящих людей.

Он родился на Рейне; он одинаково любил и одинаково глубоко постиг дух немецкого и французского народов.

Пусть, как почти все нижнерейнские поэты, он не владел большими формами эпоса и драмы, зато он создал циклы чудесных романсов, а в своей крылатой повествовательной прозе, которая и сегодня еще пленяет каждого, способного чувствовать, нарисовал пейзажи, города и людей. Его благодарность к французской революции распространялась и на императора Наполеона, который на левом берегу Рейна уничтожил феодальную Германию и донес до самой Польши отблеск новой эры.

Начиная с поэм «Атта Тролль» и «Германия. Зимняя сказка», Гейне-поэт перелагал в нетленные стихи все то, что Гейне-публицист с тем же несравненным мастерством облекал в форму классических статей. И никогда еще немецкая печать не достигала такого высокого уровня, как в дни его сотрудничества в ней.

Глубочайшая его привязанность и любовь принадлежали немцам, тем немцам, которые подымались на штурм будущего, на завоевание свободной республики трудящихся. «А если правду вам сказать, на кой нам дьявол кайзер», — громко прозвучал его голос в те дни, когда «защитники прогресса», собравшиеся в соборе св. Павла, изо всех сил старались посадить на трон немецкого кайзера, предлагая этот пост то австрийскому эрцгерцогу, то даже прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV. Еще за 40 лет до Гергарта Гауптмана, он написал «Силезские ткачи» и запечатлел в наших юных умах страдания угнетенных. Получая в подарок ко дню рождения книги Гейне, мы приносили присягу на верность его знамени. Пусть это знамя было черно-красно-золотое, как флаг тогдашних буршеншафтов; по мере того как Генрих Гейне все глубже входил в пятидесятые годы прошлого века, средняя — красная — полоса на этом знамени становилась все шире.

Генрих Гейне — бессмертный родоначальник современной немецкой прозы: воспевает ли он красоту природы и жизни, бичует ли убожество мещанской повседневности.

Его поэзия — первоисточник всей немец-

кой политической поэзии — от Франка Ведекинда до Бертольда Брехта, от Эриха Мюзама до Эриха Вайнерта, — завоевавшей в мировой литературе права гражданства для всех страдающих, обездоленных, преследуемых, для всех восстающих. В Германии, богатой монументами, Генриху Гейне не поставили памятника. Но парижское кладбище на Монмартре, где он похоронен, стало местом паломничества всех свободных духом, и там всегда можно видеть карточки с именами его почитателей со всех концов света.

Мы торжественно отмечаем сегодня столетие со дня его смерти и чествуем в нем предвестника новой эпохи, когда жизнь станет достойной жизни, когда счастье и любовь сольются воедино со свободой и справедливостью, но и тогда никто не воплотит с большей, чем он сам, силой смысл его стихов: «Я — меч, я — пламя».

И всякий писатель, даже самый одаренный, если он в глубине души таит хоть малейшую фальшь, рано или поздно будет заодно с врагами Генриха Гейне и, тем самым, уйдет и от нас, ибо справедливость для нас — это лозунг, который озаряет всю нашу планету.

Вальтер Виктор

Наследие Генриха Гейне в ГДР

В 1920 году я, молодой тогда стихийный бунтарь, только что вернувшийся с первой мировой войны, отправился вместе с гамбургской пролетарской молодежью к памятнику Гейне, который предшественники нацистов измазали красной краской. Мы явились для того, чтобы отмыть памятник, украсить его и защитить. Но в первую же ночь, когда мы оставили памятник без охраны, он при попустительстве социал-демократической полиции подвергся вторичному нападению. После этого «высокомудрый» сенат, судьбу которого Гейне предсказал заранее, распорядился заколотить памятник досками, а потом снять его совсем!..

У нас и до сих пор нет памятника Гейне. На выставке в Варшаве, организованной по инициативе Пятого всемирного фестиваля молодежи, был представлен памятник Гейне, созданный скульптором профессором Вольдемаром Гжимеком. Естественно и правильно, что в дни молодежного фестиваля был выставлен памятник, изображающий молодого Генриха Гейне. Совсем другой вопрос, удовлетворяет ли эта работа требованиям к памятнику Гейне, который должен быть установлен в Германии. На мой взгляд, нет, и вот почему.

Наш Гейне, Гейне, которого должна почитать и любить его идущая к социализму родина, это Гейне сороковых годов прошлого века, человек, уже определивший свою позицию, автор «Германии» и «Силезских ткачей», тот Генрих Гейне, который мог написать Карлу Марксу: «Нам ведь так мало нужно сказать, чтобы понять друг друга», кто единственный из великих немецких поэтов был лично близок творцу учения, изменяющего мир.

Все друзья Гейне в Германии твердо надеются, что памятник этому Гейне будет воздвигнут в течение того года, в котором исполняется столетие со дня его смерти.

Начало популяризации Гейне на территории нашей республики относится к первым годам после падения фашизма, к тому периоду нашего культурного возрождения, который навсегда останется в нашей памяти связанным с деятельностью советских людей, оказавших нам в те дни поистине незабываемую помощь. Они прибыли из страны, где всегда любили Генриха Гейне, где можно встретить рабочих у станка, знающих наизусть его стихи, где произведения Генриха Гейне распространены в миллионах экземпляров. Они прибыли на его родину, где к тому времени выросло поколение, лишенное прекрасного, поколение, которое никогда ничего не слышало о Генрихе Гейне, потому что его книги были сожжены фашистскими варварами в 1933 году.

Стопятидесятилетие со дня рождения поэта, отмечавшееся 13 декабря 1947 года, стало высшей точкой возрождения Гейне в Германии. Я имел тогда честь выступать в театре имени Макса Рейнгардта на юбилейном собрании, и мне казалось, что я присутствую при окончательном возвращении на родину из изгнания Генриха Гейне. Вскоре в Германской Демократической Республике уже нельзя было найти города, в котором не было бы улицы Генриха Гейне; многим школам было присвоено имя поэта. Его именем названы гостиницы и санатории, дома культуры и библиотеки, а в начальных школах учителя стали объяснять малышам, кто такой Генрих Гейне.

Тогда, в первые годы после крушения фашизма, начали появляться тоненькие сборники избранных стихов Гейне, была издана его поэма «Германия. Зимняя сказка». Затем последовало трехтомное изда-

ние сочинений поэта, предпринятое издательством «Ауфбау». Его 15-тысячный тираж разошелся очень быстро. Для школ было выпущено 200 000 экземпляров этой поэмы. Издательство школьных учебников «Фольк унд виссен» издало эту поэму в виде брошюры тиражом в 80 000 экземпляров. В 1950 году впервые появился составленный мною однотомник произведений Гейне «Heine Lesebuch», объемом в 500 страниц, с предисловием и комментариями. Его тираж давно уже превысил 100 тысяч экземпляров.

Какой новой литературой о Гейне располагаем мы в Германской Демократической Республике? В каком состоянии находится популяризация творчества нашего поэта?

У нас еще нет и, насколько мне известно, еще не готовится большое научное издание собрания сочинений Генриха Гейне. Но больше всего к этому типу издания приближается шеститомное собрание сочинений поэта под редакцией Вольфганга Хариха, вышедшее в издательстве «Ауфбау». Оно было выпущено в количестве 10 000 экземпляров, и очень скоро должен выйти в свет повторный тираж. Издательство «Виссеншафт» выпустило для высших учебных заведений однотомник Гейне. Это издание, не вполне свободное от ошибок, было подготовлено профессором Иоахимом Мюллером. В 1953 году, юбилейном году Карла Маркса, я опубликовал исследование «Маркс и Гейне», затем выпустил отдельными изданиями «Романцеро» и «Письма из Берлина». Если мы упомянем единственную популярную краткую биографию, написанную Вальтером Фонтином, и книгу умных этюдов Вернера Ильберга «Наш Гейне», — мы перечислим все новые книги о Гейне, появившиеся после 1945 года в Германской Демократической Республике. Фонтин и Ильберг живут в Западной Германии, и работы их вышли у нас потому, что они, очевидно, не могли опубликовать их у себя.

Само собой разумеется, исследований о Гейне у нас еще постыдно мало. У нас нет ни научной биографии, ни популярного жизнеописания Гейне для юношества. Правда, изданы многие отдельные произведения Гейне, по старой традиции издано 80 тысяч экземпляров «Путешествия по Гарцу», которые обычно раскупаются на каникулах туристами, приезжающими на Гарц. Нам остается еще упомянуть новое издание книги Губена «Разговоры с Гейне» и статью о Гейне из Большой Советской Энциклопедии, изданную в количестве 10 000 экземпляров.

Итак, за десять лет нашего нового существования издание книг Гейне и литературы о Гейне достигло в общей сложности трех четвертей миллиона экземпляров.

Фашисты называли гейневскую «Лорелею» произведением неизвестного поэта. Теперь в Германии снова знают, кому принадлежит текст «Лорелен». Но этого недостаточно. И сейчас еще многие советские люди могут посрамить своих немецких коллег и в знании, и в любви к поэзии Гейне, и мы живо чувствуем, сколько нам еще предстоит сделать. Правда, мы видим уже начало более углубленной работы. Назову хотя бы очень полезное исследование Ганса Кауфмана «Эстетические взгляды Генриха Гейне». Но мы вправе ожидать еще очень многого.

Только победа Советского Союза над фашизмом вернула Германии наследие Генриха Гейне как одну из самых замечательных национальных ценностей. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы стать достойными этого наследия.

Мартон Хорват

Аттила Йожеф — поэт венгерского рабочего класса

В 1955 году весь венгерский народ отметил пятидесятилетие со дня рождения Аттилы Йожефа — замечательного поэта, продолжающего традиции Петефи и Ади.

Юбилей Аттилы Йожефа отмечала венгерская партия трудящихся, которая считает его своим сыном. Его признал венгерский рабочий класс, победу которого предвидел поэт. В юбилее принимали участие все поколения поэтов эпохи строящегося социализма, которые чтят Йожефа как своего учителя.

Судьба редко баловала великих венгерских поэтов. Быть большим поэтом в старой Венгрии означало быть бунтарем и борцом, атакующим общественный строй. Но никогда еще эта миссия не была столь трудна, как в двадцатые годы нашего столетия, когда Аттила Йожеф стал поэтом.

Поражение Венгерской Советской республики в 1919 году было тяжким ударом, которому подвергся венгерский народ. В нелегальной листовке Венгерской коммунистической партии (1920 год) говорилось: «По всей стране хозяйничают белые офицеры — эти кровавые наемные убийцы. Венгерский рабочий класс вновь презирают и преследуют как собаку. Много тысяч наших братьев-пролетариев убито, много тысяч брошено в тюрьму. Все голодают, все терпят лишения. Вернулись надменный исправник, жандарм с петушиным пером на фуражке, кровавый полицейский. Рабочий, который в период Советской республики был первым,— теперь вновь стал последним человеком в стране».

Не лучше была и судьба трудового крестьянства. Контрреволюционная диктатура привела к тому, что виселица и нищета, безработица и туберкулез, бесправие и безмолвие равно господствовали и в городе и в деревне. У колыбели венгерского фашизма как ангелы-хранители стояли клерикальная реакция, расовая ненависть, антисемитизм, шовинизм.

Быть поэтом революции в эпоху контрреволюции — не многим поэтам выпадает столь трудная доля!

В начале 20-х годов, значительная часть известных писателей и поэтов Венгрии вынуждена была подчиниться реакции и замолчать. В этом ужасном молчании внезапно прозвучал свежий пролетарский голос Аттилы Йожефа.

Он прозвучал как приветствие революционной весны 1919 года рабочему классу Венгрии, страдающему под ярмом контрреволюции. Это был высоко развитый, сознательный, готовый к борьбе рабочий класс, который, следуя по пути, проложенному Великой Октябрьской социалистической революцией, оказался способен, пусть хоть на несколько месяцев, взять власть в свои руки. И действительно, историческое развитие доказало, что не диктатура пролетариата, продолжавшаяся всего четыре с половиной месяца, а диктатура буржуазии, терзавшая венгерский народ на протяжении жизни целого поколения, была явлением временным.

Жизнь Аттилы Йожефа сложилась очень тяжело: как и жизнь Горького, она была для него школой в полном смысле этого слова. Жизнь венгерского поэта подобна обвинительному акту. Об этом говорит даже официальный документ — прошение Йожефа о должности.

Мартон Хорват — венгерский критик и общественный деятель, редактор газеты «Сабад неп».

Аттиле Йожефу не было еще и двух лет, когда нужда заставила его отца оставить семью, которую он не мог обеспечить, и, подобно миллионам других бедняков, эмигрировать за океан. Мать Йожефа, прачка, не могла своим трудом прокормить трех детей. Маленький Аттила попал «на воспитание» в деревню. Здесь у него отняли даже его имя, воспитывали его только кнутом. Ему было лет восемь, не больше, когда он уже стал вносить в семью свой заработок.

Мальчик торговал водой в окраинном кинотеатре, продавал самодельные «волчки» в городском парке, стоял в очередях за продуктами, изо всех сил помогая смертельно больной матери. И так на самом себе испытал он чудовищную нищету пролетариата Венгрии.

Его жизнь не изменилась к лучшему и тогда, когда с будапештской окраины, где находились нищенские жилища пролетариев, он попал в дом своего опекуна и зятя, дом богатого адвоката, где ему нельзя было называть свою сестру сестрой и где он попрежнему вынужден был трудиться, где ему попрежнему было тяжело. Позднее Аттилу отдали в корабельные юнги, затем он попал в духовную семинарию. Это были все новые и новые жизненные уроки для будущего поэта, и с каждым днем все яснее становилось, где его место. Все, что пережил Йожеф, борясь с унижениями и нищетой, он претворил впоследствии в свои прекрасные стихи.

Оставшись без всякой помощи, в тисках ужасной нищеты, Аттила Йожеф с отличием сдал экзамены по школьной программе и получил возможность учиться дальше. Йожефа приняли на бесплатную вакансию в провинциальную гимназию. Известный поэт Дьюла Юхас, живший в том же городе, обратил внимание на блестящий талант юноши и помог вместе с преподавателями школы издать в 1922 году первый сборник его стихов — «Попрошайка красоты»; Аттиле Йожефу в ту пору было 17 лет.

У юноши еще не было собственного поэтического голоса. Он писал, подражая чужим образцам. Одно время он увлекся модным тогда псевдо-революционным «свободным стихом». Свободный стих пришел из мира всяческих «измов». В начале двадцатых годов, в период спада революции, провозвестники этой поэзии стали проповедовать замену социальной революции «революцией искусства». Они стали на путь разрушения формы, псевдо-радикального разрыва со всеми традициями. Выражая разочарование мелкой буржуазии и части интеллигенции, наступившее сразу после первой мировой войны, они провозглашали полную творческую анархию. «Свободный стих», который некогда, у лучших его представителей, пробивал путь для развития ясной и трезвой прозы, теперь превратился в выражение бессмысленного, бесцельного и анархического бунта.

Аттила Йожеф пошел совсем иным путем. Он и в беспорядочной путанице «свободного стиха» сумел найти средства для совершенствования своей поэзии. Ему полезно было освободиться от слишком связанных форм классического сонета, познать смелость новых ассоциаций, усвоить образы и словосочетания, присущие именно «свободному стиху». Зашифрованная манера, свойственная поэту, дала Йожефу возможность создать в своих произведениях двадцатых годов картины, пусть еще утопические, революционной борьбы и социализма. Одним из программных стихотворений этого периода творчества является стихотворение «С чистым сердцем». Вот оно.

Нет у меня ни отца, ни матери,
ни бога, ни родины,
ни колыбели, ни савана,
ни поцелуя, ни любовницы.
Третий день я не ем,—
ни много, ни мало,
двадцать лет моих — сила,
двадцать лет моих — продаю.
Если никому они не нужны,
пусть купит их черт.
С чистым сердцем я взломаю замки,
если нужно, и человека убью.
Поймают меня и повесят,
благословенной землею прикроют,
и трава, приносящая смерть, вырастет
в прекрасном моем сердце *.

Буржуазные критики ценили это стихотворение Йожефа. И не случайно. В этом стихотворении Йожеф как бы выразил мировоззрение самих критиков. Это был предел того мелкобуржуазного бунта, того нигилизма, который, дойдя до отрицания бога, родины и семьи и утверждения мнимой свободы личности, анархии,— на этом и останавливается. Но то, что для буржуазных поэтов означало конец их развития —

* Стихи Йожефа — там, где не указана фамилия переводчика,— даются в подстрочном переводе.

как художественного, так и идейного, то для Аттилы Йожефа явилось только первым этапом его самостоятельного пути.

Даже это стихотворение, которое вызвало признание значительной части критиков, было в то же время столь резко направлено против буржуазной идеологии в целом, что от Йожефа отступили его прежние покровители. Йожеф был исключен из университета. Он остается один, без всяких средств к существованию. И вновь ему предстоит разделить горькую судьбу своего класса. С этого времени, в сущности, начинается рост Аттилы Йожефа. Этот рост проявился не только в области мастерства, поэтической техники, но и в идеологии, в слиянии поэта со своим классом. Вместо выражения анархического бунта поэзия Йожефа стала выражением устремлений рабочего класса, с которым полностью отождествлял себя поэт.

Впервые после Петефи появился венгерский поэт, для которого нет разницы между пером и мечом.

Что же отличает поэзию Аттилы Йожефа от предшествующей венгерской поэзии, столь богатой революционными традициями?

Стихи Аттилы Йожефа далеко перерастают натуралистическое изображение нищеты, которое подавляет, парализует стремление к борьбе и способно, в лучшем случае, вызвать в читателе сочувствие и жалость.

Главные характерные черты пролетарской поэзии Аттилы Йожефа — диалектический подход к жизни, расширение круга тем, изображение природы по-новому, так, что кажется будто пейзаж и предметы тоже бунтуют против гнета, богатство мысли, смелость стиля, новизна образов и языка.

НАКОНЕЦ

Котлы я драил, я косил траву,
на драных тюфяках валялся я усталый,
судья казнил меня, глупец дразнил,
мое сверканье пробивалось из подвала.
Я девушку в пекарне целовал,
хрустящий пышный хлеб не мне достался,
впрочем...
Кой-как одет-обут, я книги создавал
и отдавал крестьянам и рабочим.
Влюбился я в девушку я, в дочь богатых,—
мне богачи не отдали ее.
Испортил я, питаясь через сутки,
пищеварение свое.
Я чувствовал, что мир этот — не боле,
чем воспаленный пищевод,
любовь и ум — желудочные боли,
кровавой рвотой от войны несет.
Коль полон рот молчаньем кисловатым —
пну сердце я свое, пускай кричит!
Наемных песен вялая снотворность
пытливого ума не победит!
Чтоб я не мстил — хотели откупиться.
Поп звал: „Вернитесь к богу, все простится!"
Но знал я, что несет кирку и камни,
кто к господу идет с порожними руками.
Нет! В сердце у меня — победное сиянье,
и я теперь способен пожелать
лишь истины! И хочется восстать
мне против тягостных воспоминаний.
Воспоминания! За них немного дашь.
Нет дела мне до них!
Я брошу карандаш
и лучше уж косу начну точить я.
Безмолвно, грозно движутся событья,
и зреет время — час грядущий наш!

(Перевод Л. Мартынова)

Аттила Йожеф не приукрашивает жизнь. В период контрреволюции он дает реалистическое изображение чудовищного голода, бесправия и беззащитности пролетариата. Он не скрывает и отсталости венгерского рабочего и, не боясь отталкивающе грубых деталей, дает картину быта городских и сельских пролетариев:

Сюда идут товарищ и „лягавый",
плетется пьяный, хлыщ идет в бордель;
и ночь, подобно женщине прыщавой,
в сорочке рваной, валится в постель.
Так мы живем! Навалом, как поленья,
мы спим, храпим и мечемся во сне,
и плесень, подтушеванная тенью,
напоминает карту на стене.

(Перевод Д. Самойлова)

Почему же эта страшная картина не подавляет читателя и не заставляет его броситься в бездну отчаяния? Почему мы так верим Йожефу, когда в стихотворении «На окраине города» он предвещал победу рабочего класса? Почему, читая Йожефа, мы убеждаемся, что рабочий класс «неистребим»?

В цитированном стихотворении описана жизнь венгерских рабочих в период диктатуры Хорти. Создавая реалистическое изображение рабочей среды, Йожеф показал, что в ней в то время были не только агитаторы, коммунисты-подпольщики, герои пролетарской борьбы; он показал, что в нее проникали и предатели революции. Но большая моральная и поэтическая смелость Аттилы Йожефа сказалась в том, что он нарисовал эту картину с позиций, противоположных мещанским. Они сказали бы: «Да, вот оно истинное положение вещей, что ж, значит сиди смирно, оставайся рабом, рабом будет и сын твой, и не-

чего тебе мечтать об освобождении». И представители господствующего класса сказали бы: «Да, так вы будете жить всегда, до самой смерти». Но выводы Аттилы Йожефа и коммунистов были совсем иными. Трезвый взгляд на действительность, вытекающий из научного анализа исторического процесса, придавал им силу и уверенность в том, что после самой темной ночи неизбежно наступит сверкающий, солнечный день. Именно эта мысль и выражена в заключительной строфе стихотворения:

Здесь те живут, кто классовой борьбою
крепили силу мускулов стальных.
О них поем мы судною трубою,
стоим за них и держимся за них.

И здесь, чтоб запустить конвейер века,
готовят мир, свободный от невзгод.
Здесь алою звездою Человека
рабочие украсят свой завод.

Это не натуралистическое изображение рабочих. Йожеф изображает пролетариат с позиций пролетариата. Он разделяет учение научного социализма о закономерности победы рабочего класса. Заключительные строфы стихов Аттилы Йожефа вдохновляют нас потому, что пронизывающая их уверенность в победе пролетариата основана на строгих законах марксизма. Уверенность в победе поэт черпал не из грез, а из истории, из знания своего класса.

Как формируется в поэзии Аттилы Йожефа идея социалистического патриотизма? Йожефу всегда был бесконечно чужд шовинизм, позволяющий приукрашивать пороки родной страны. «Венгрия — деревня разгульных молодцов, — пишет он.— Здесь больше трактирщиков, чем народных учителей».

Представители господствующих классов в Венгрии кричали, что революция 1918—1919 годов «нанесла родине удар в спину». Нет, отвечает Аттила Йожеф в стихотворении «Новое тысячелетие достанется новым венграм!», смертельный удар нанесен только тем, кто целых тысячу лет утверждал господство эксплуататоров.

Наступают годы, когда Аттила Йожеф воспринимает, изучает и глубоко осваивает коммунистическое мировоззрение. В 1933 году в стихотворении «Элегия» он смотрит на окружающий его мир, на эти убогие окраины, на дома с облупленными стенами, на пустыри и заброшенные заводские дворы. И он говорит: «Это моя родина». «Элегия» — одно из лучших стихотворений Аттилы Йожефа: в нем вскрыта самая суть общественных противоречий, противоречий между самосознанием и силой рабочего класса, призванного изменить историю, и той нищетой и убожеством, на которые он обречен при капитализме.

Весь человеческий мир делается здесь.
Все здесь —
сплошные развалины.

И эти противоречия с большой силой и реализмом раскрыты в стихотворении.

Но, показав это трагическое противоречие, Аттила Йожеф утверждает величие пролетариата, строителя свободного будущего своей родины.

Почему же созерцание убогой картины пробудило в Йожефе страстную любовь к родине? Неужели его привлекают «песок, осыпающийся с бугорков», «желтая трава, пламенеющая в железной кастрюле», «хромой забор»? Нет. Его влечет нечто, прямо противоположное этой убогой обстановке,— его влечет безмерно богатое будущее рабочего класса.

Любовь и вера Аттилы Йожефа обращены к будущей социалистической родине, и окраина, со всей ее нищетой, дорога ему не только потому, что здесь его мать и его дом, но потому, что в этих краях рождается будущая социалистическая Венгрия.

Однако Йожеф отчетливо сознает, что социалистический патриотизм — достояние лишь самых сознательных пролетариев, но для победы нужно единение трудящихся, более того, единение всей нации. Об этом он говорит в стихотворениях «У Дуная» и «Родина моя».

Стихотворение «У Дуная» многопланово, как всякая истинная поэзия. Созерцание великой реки наводит Йожефа на мысли о разных народах, населявших берега Дуная. О сложном национальном вопросе Йожеф пишет в духе пролетарского интернационализма.

Любовь к человеку — самая характерная черта поэзии Аттилы Йожефа. Гуманизм Йожефа подобен широкой реке, в которую вливаются и стихи о любви, и стихи о дружбе молодого поэта, и стихи о боге (которые говорят, в основном, не о боге, а о жизни бедняков), и стихи, в которых выражены ранние утопические представления Аттилы о будущем обществе. Все творчество Йожефа, все стороны его поэзии проникнуты социалистическим мировоззре-

нием. Вот стихотворение, которое он посвятил своей матери. В нем гармонично сливаются благоговейная, бесконечно глубокая любовь сына, безмерное восхищение величием женщины-пролетарки.

МАМА

Где бы я ни был, какими ни шел бы путями,
Вот уж неделя, как думаю я о маме, только о маме,
И ясно вижу, как со скрипучей корзиной белья
Легко на чердак поднимается старая мама моя.

Я был тогда еще маленьким и, обращаясь к маме,
Теребил ее и настойчиво топал ногами,
И орал во всю глотку и требовал,
чтоб мать поступила так:
Корзину с бельем оставила,
а меня отнесла на чердак.
Но мать меня не ругала,
даже в сторону мою не глядела,
Спокойно и молчаливо она делала свое дело.
И вот, шелестя и сверкая, заметное издалека,
Белье, наконец, взлетало в окошечке чердака...
Я бы теперь не хныкал. Но поздно жалеть об этом.

Я вижу образ матери, озаренный солнечным светом,
Летят по ветру седые волосы.
Идет она, почти не касаясь земли.
И небо над ней такое, словно синьку в нем развели

(Перевод Мих. Матусовского)

В любовных стихах Йожефа чаще всего звучит страдание и гнетущая горечь одиночества. Но, в столь редкие для него мгновения любви и надежды на счастье, он прижимает к своему сердцу весь мир. Перед его взором встает прекрасное будущее угнетенных масс и страждущей родины. Его собственное счастье неотделимо для него от социалистического будущего народа.

Любовь, нежность и дружба, жажда мира и спокойствия, природа, наделенная человеческими свойствами, травы, камни и реки, которые словно мыслят и чувствуют, картины чудесного и мирного будущего трудящегося народа — все это входит в мир свободного человеческого общества, в мир социализма. Но, разделяя участь венгерского пролетариата, изведав его нищету и страдания, Аттила Йожеф все больше укреплял свою связь с товарищами и нелегальной коммунистической партией. Усваивая научное мировоззрение рабочего класса, поэт все отчетливей сознавал, что в его эпоху любить человека — это значит ненавидеть эксплуататорский строй. Это значит неустанно призывать пролетариат и весь трудовой народ к борьбе и к революции. Быть гуманистом означало для Йожефа превратить свою поэзию в оружие подготовки к революции, к борьбе, к победе над фашизмом. Когда поэт обращается к борьбе рабочего класса, ему сразу становится чужд «пророческий» голос «всеобщей любви к человеку». Центральная идея его поэзии — это освободительная миссия венгерского рабочего класса («Рабочие», «Элегия», «На окраине города», «Родина моя» и др.).

Эстетическое кредо Аттилы Йожефа также связано с его социалистическим мировоззрением, с его непримиримым пролетарским отношением к жизни. Он вел последовательную борьбу с господствующими буржуазными и мелкобуржуазными литературными течениями своего времени. Сравнительно легко было разоблачить фашистскую литературу, но Аттила Йожеф взял на себя и более трудную задачу: он выступил против рисующегося прогрессивными фразами, кичащегося лозунгом «высокой поэзии, свободной от политики» буржуазного эстетства. В двадцатых годах это течение господствовало в венгерской литературе. Йожеф направил памфлет и стихи против вождя этого чрезвычайно опасного течения, «поэта-лауреата» эпохи, главного редактора крупнейшего литературного журнала М. Бабича. Йожеф с презрением и ненавистью задает вопрос венгерскому вождю «искусства для искусства»: почему он парит в облаках на своем «крылатом осле» вместо того, чтобы на земле сражаться с нищетой народной. Чтобы понять смелость этой критики, нужно учесть, что в результате ее перед Аттилой Йожефом закрылись двери буржуазных журналов и издательств.

Еще более трудной была литературная борьба, которую он вел против венгерских народнических писателей второй половины 30-х годов. Эта борьба была труднее потому, что в годы фашизма народническое течение было в сущности действительно прогрессивным течением, отражающим интересы крестьянства; однако в этом течении были существенные недостатки. Аттила Йожеф, представляя литературные позиции пролетариата, с одной стороны, предлагал свое сотрудничество деятелям этого направления, а с другой, указывал на эти недостатки. В целом ряде литературных статей он боролся против иллюзий в отношении фашистского правительства, против недооценки рабочего класса и социалистического мировоззрения. Он подверг критике все то, что отделяло народников от коммунистов.

Свое поэтическое кредо он изложил в стихотворении «Ars poetica». Стихотворение начинается так: «Я поэт — что для меня сама поэзия?» Он упрекает тех поэтов, которые живут в выдуманном розовом мире, истинный поэт должен быть провозвестником не такой поэзии, а правды жизни, правды рабочего класса. И если, пишет он, «собравшиеся в лагерях подлецы преследуют строфы моих стихов», «поднимутся братские танки», чтобы защитить их. В этих строках Аттила Йожеф эзоповским языком как бы ставил свои революционные стихи под защиту Советского Союза. Мы видим, таким образом, что в своих литературных боях и эстетических взглядах поэт стоял последовательно на пролетарских позициях, и мы по праву считаем его предшественником социалистического реализма.

Творчество Аттилы Йожефа принадлежит к лучшим образцам пролетарской поэзии. Но это не означало — и в той обстановке, когда слагалась его поэзия, и не могло означать,— что он был совершенно свободен от каких бы то ни было ошибок. В некоторых его стихах звучат безнадежность и скорбь, отчаяние и безысходность. Конечно, он и эти свои стихи писал кровью сердца, но не они были определяющими в его поэзии. Настроения безнадежности никогда не одерживали в нем верх над пролетарским мировоззрением и коммунистическим сознанием. Именно в год прихода Гитлера к власти написал Йожеф «На окраине города» и прекрасное стихотворение «Элегия», в которых с большой силой утверждается историческая миссия и победа рабочего класса.

Жизнь Йожефа прошла в невероятно тяжелых условиях. Ему пришлось испытать тягчайшие обиды, изведать тягостное одиночество, и это в конечном счете сломило его здоровье и психику. В 1937 году, в небольшой деревушке возле Балатона, он бросился под колеса поезда.

Поэзия Йожефа является предметом вдохновения для современных венгерских поэтов. Но истинными его наследниками явятся не те, кто механически следит за ним, а те, кто творчески продолжают то, что было начато Аттилой Йожефом.

При жизни Аттилы Йожефа нищета и гнет были неразлучными спутниками жизни венгерского народа. Победа пролетариата, как прекрасная надежда, только маячила вдалеке. Но вот уже десять лет, как стало действительностью то, о чем мечтал Аттила Йожеф. Трудная борьба венгерского народа увенчалась победой. Ушли в прошлое рабство и нищета, и, говоря словами поэта, Венгрия строит мир социализма. Продолжать дело Аттилы Йожефа — это значит сейчас стать певцом победы народа. Но поэт, который дает народу в руки настоящее поэтическое оружие, вовсе не должен изображать путь к победе легким и гладким. Окончательную победу социализма мы завоюем в тяжелых боях. Мы должны мобилизовать наш народ на борьбу и на труд, не прививая ему пессимизма и не вызывая иллюзий. Мы должны писать в духе реализма Аттилы Йожефа, который проникал в самую гущу жизни. Мы должны унаследовать веру поэта в свой народ и его будущее. Мы должны писать, вооруженные тем же коммунистическим сознанием, что и он.

Венгерский рабочий класс, венгерский народ никогда не забудет Аттилу Йожефа. До тех пор, пока мы будем бороться, поэзия Йожефа будет оружием в наших руках. Он жив и будет жить в творениях венгерского народа и в его свободе.

Не было в Венгрии поэта, который в самую мрачную ее эпоху сделал бы больше для мирного, счастливого, социалистического будущего, чем сделал Аттила Йожеф.

Б. Сучков

Современность и история

(Заметки о творчестве Лиона Фейхтвангера)

1

Лион Фейхтвангер завоевал известность главным образом как автор исторических романов, но, по существу, лишь одна современность приковывает к себе его творческое внимание. «Я никогда не собирался изображать историю ради нее самой»,— говорил он, определяя особенности своей манеры. И в романах о прошлом и в романах о современности Фейхтвангер выступает как художник, посвятивший свой немалый талант защите завоеваний человеческой культуры против посягательств на нее реакционных общественных сил. В годы подъема антифашистского движения он создал лучшие свои книги, в которых фашизм и его идеология подвергались беспощадному и гневному разоблачению. Трепетное чувство современности, острая политическая мысль, социальная важность затронутых писателем вопросов обеспечили его романам почетное место в антифашистской литературе. Они сохраняют свое действенное значение и посейчас, когда изменчивая, как Протей, реакция усиливает наступление на свободу, достоинство и права человека, пытаясь увековечить капиталистическое рабство.

Написанные в послевоенные годы романы Фейхтвангера свидетельствуют, что он как художник не остановился в своем духовном развитии. Хотя многие идейные слабости, свойственные его прежним произведениям, не преодолены в последних книгах, тем не менее их объективное содержание служит прогрессу и направлено против современных форм общественной реакции.

В произведениях Фейхтвангера нет прямого изображения социальных язв капитализма, ужасов капиталистической эксплуатации народных масс, какое можно найти в произведениях Драйзера, О'Кэйси, Нексе, Барбюса или в лучших романах Эптона Синклера. Но это не значит, что Фейхтвангер игнорирует главные социальные конфликты наших дней, определяющие основной смысл событий современности. На всем протяжении творческого пути его волнует один главный вопрос — о путях, перспективах и движущих силах социальных изменений, свидетелем которых он является. Поэтому естественно его обращение к истории. Не бесстрастием мертвого покоя, не отрешенностью от общественных интересов наших дней привлекает Фейхтвангера прошлое: в истории он видит живое столкновение идей, борьбу сил регресса и прогресса, последствия которой оказывают глубочайшее влияние на социальную борьбу в современном обществе.

Чтобы реалистически изобразить совершающиеся ныне общественные изменения, Фейхтвангеру нужно было приблизиться к пониманию объективных закономерностей, определяющих пути развития истории. Однако ему в этом помешало влияние буржуазной философии и социологии, которое ощутимо сказывается в его общественно-политических взглядах. Сам Фейхтвангер не отрицал этого влияния. В известной речи «Смысл и бессмыслица исторического романа», произнесенной в 1935 году на Международном конгрессе защиты культуры в Париже, он указал, что его взгляды на историю испытали воздействие идей Кроче, Ницше и Теодора Лессинга. Но он никогда

не был пассивным и ортодоксальным последователем философских систем этих идеологов буржуазии. В его сознании давно уже началась и длится до сих пор борьба за правильное понимание закономерностей общественного развития, без которого немыслимо подлинно реалистическое изображение жизни и тех причин, которые изменяют облик современности.

Фейхтвангер складывался как писатель в тот период, когда шли на ущерб традиции буржуазного либерализма, дух которого был ему близок, когда происходила поляризация идей в буржуазном сознании, вызванная обострением социальных противоречий и переходом буржуазии к новым формам защиты своего классового господства. Реакционные идеологи, в том числе Кроче и Т. Лессинг, активно борясь с прогрессивными историческими традициями, извращали картину исторического развития человечества и, пренебрегая объективным опытом современности, пытались доказать невозможность изменения человеческого сознания в лучшую сторону. Сторонники этого нигилистического взгляда на человека повторяли старый тезис Герберта Спенсера о том, что свойственные людям низменные страсти и инстинкты нельзя перековать в золото добродетелей. Отсюда следовал вывод, что бесцельны попытки создания таких социальных условий, где бы человек мог достигнуть полного развития, ибо темная стихия заложенного в нем «извечного» зла разрушит общественную гармонию. Но факты истории свидетельствовали о другом: в борьбе за усовершенствование общества человек совершенствовал и самого себя, утверждая самые высокие и благородные стороны своего разума и сердца.

Во многих трудах влиятельных на Западе философов и публицистов высказывалось мнение, будто исторический прогресс неосуществим, так как основная масса людей, занятых муравьиным трудом по добыванию хлеба насущного и производству материальных благ, органически неспособна к духовному развитию и навеки обречена быть удобрением, питательной почвой, на которой расцветает культура немногих избранников. Неверие в творческие возможности народных масс логически приводило буржуазных идеологов к превознесению выдающейся личности, якобы способной формировать мир сообразно своим желаниям. Немало потрудились эти идеологи и над созданием различных концепций исторического процесса, рассматривающих его то как смену замкнутых культурных циклов, то как «вечное возвращение» — круговорот событий. Уподобляя историю беличьему колесу, они обессмысливали самую идею прогресса и, по сути дела, отрицали разницу между прошлым и настоящим человечества. Такие взгляды, встречающиеся не только у философов, историков, но и у многих буржуазных писателей, авторов так называемых «романизированных биографий», вроде Э. Людвига или А. Моруа, были рождены стремлением укрепить пошатнувшиеся устои капитализма, «доказать» его вечность и незыблемость. У писателей демократического склада, к числу которых принадлежит и Фейхтвангер, подобные взгляды подчас возникали как следствие идейной робости, нежелания или неумения до конца принять те пути, по которым ныне идет исторический прогресс, меняющий облик мира, взламывающий систему капиталистических общественных отношений.

На мировоззрении Фейхтвангера, поскольку оно не выходило за пределы буржуазной идеологии, при всем критицизме его творчества не могли не отложиться взгляды такого рода. Идея относительности исторического времени и преувеличение роли личности характерны для его исторических романов, в которых он, пренебрегая дистанцией времени, лежавшей между событиями истории и событиями настоящего, нередко механически переносил социальные проблемы наших дней в прошлое, наделяя исторических героев психологией и страстями людей двадцатого века. Так рождалось осовременивание истории, которое Фейхтвангер пытался трактовать как чисто литературный прием.

Общественно-политические воззрения Фейхтвангера определились еще в годы германской революции и нашли ясное выражение в экспрессионистском романе «Томас Вендт», написанном по горячим следам событий 1918 года и ставшем до некоторой степени программным произведением.

Окончание первой мировой войны было ознаменовано в Германии широким ростом революционного движения, подкрепленного идеями и практикой Октябрьской революции. На волне общественного подъема воз-

никла Баварская Советская республика, произошли вооруженные восстания рабочих в Руре и Саксонии. Опираясь на военную мощь, введя белый террор, принявший в Германии чудовищные формы, организовав карательные экспедиции против восставших, расстрелы и тайные убийства рабочих вождей, буржуазия сумела подавить начавшуюся революцию и удержать власть.

В эти годы разгула, насилия и жестокости история поставила недвусмысленный вопрос о путях и способах разрешения конфликта между собственническим миром и рождающимся миром социальной справедливости. Фейхтвангеру, свидетелю злодеяний военщины, предательской политики социал-демократических лидеров, свирепости озлобленного мещанства, стали ненавистны все виды общественной реакции, но его испугали размах и решительность народного движения. Либерально-демократические убеждения взяли в его сознании верх, и Фейхтвангер начал искать иных способов переустройства старого мира, вне прямого и конкретного политического действия. Эти поиски наложили неизгладимую печать на все его последующее творчество.

Героем «Томаса Вендта» был не кто иной, как Курт Эйснер — вождь мюнхенского восстания, предательски застреленный бывшим офицером германской армии. Под пером Фейхтвангера образ Эйснера совершенно изменился. Томас Вендт отходит от революции, считая, что он не может соединить человечность и революционность. «Я думал: быть революционером — значит быть человеком. Я думал: революция — это человечность... Я больше не хочу. Не хочу больше никакой политики. Я хочу быть самим собой, понимаете?..» Фейхтвангер не желал видеть, что устами Вендта, отрицавшего человечность в революционном действии, говорил мелкобуржуазный утопист, чьи либеральные идеи не выдержали испытания огнем революции. Сам писатель солидаризировался со взглядами своего героя.

Томасу Вендту наследовал пошлый и грязный делец — господин Шульц. Послеверсальская Европа оказалась под властью шиберов и предпринимателей, равнодушных к судьбам культуры и страданиям народа, поклоняющихся лишь золотому тельцу. Общественные силы реакции предстали перед Фейхтвангером как выражение исторического неразумия и варварства, как трудно оборимая стихия — темная, низкая и своекорыстная. Не веря в созидательные силы народа, считая, что он в массе своей неразумен и слеп, не видя реальных путей изменения условий человеческого существования, Фейхтвангер противопоставил общественной косности и варварству одиноких носителей разума. Он рассматривал историю человечества как борьбу, а точнее, как трагическое равновесие сил разума и варварства. Этот взгляд привнес в его произведения оттенок сдержанного социального пессимизма. В «Еврее Зюссе» Фейхтвангер подверг жестокой критике социальное варварство, создавая превосходные сатирические портреты озлобленных мещан, методически и настойчиво снимая покров благородства с придворных и владетельных князей. Но что же противопоставил он общественной лжи и лицемерию, насилию и низости? Преображенный личным горем делец Зюсс, приходит к отрицанию действия и безвольно идет на муку, надеясь, что в мире утвердится мудрость, которую он познал за время страдания. Слабое утешение! А тем временем варварство заключало своих противников в железные клетки, спокойно переступая через свою совесть и чужую кровь. Исторический роман о Зюссе, по существу, был романом о современности, так как в нем с большой художественной силой было выражено умонастроение писателя, рожденное усилением реакции в гинденбурговской Германии.

Пока Фейхтвангер сражался с варварством на поле исторического романа, обличая условное подобие современного капиталистического общества, самое доподлинное варварство стало утверждаться у него на родине. К началу 30-х годов — вскоре после выхода самого значительного произведения Фейхтвангера, романа «Успех» — фашизм, поддержанный мощью финансовой олигархии, рурскими магнатами и ост-эльбскими юнкерами, вырос в силу, готовящуюся поглотить всю Германию. Бесспорна и велика заслуга Фейхтвангера, который одним из первых писателей на Западе понял опасность фашизма и выступил против него во всеоружии крупного таланта, со всем блеском холодной, неотразимой сатиры, создав произведение, вскрывающее с большой точностью и правильностью социальные корни фашистского движения. «Успех» свидетельствовал, что Фейхтвангер способен создавать повествования широкого реали-

стического диапазона. Обратившись к современности, он в полновесных художественных образах раскрыл не только связи мюнхенских путчистов с военщиной и крупными капиталистами, не только продажность буржуазной юстиции, прессы и искусства, разложение общественных нравов, но и те материальные причины, которые привели к росту реакции в побежденной Германии и способствовали переходу буржуазии к открытым формам террористической диктатуры. Хотя Фейхтвангер в этом романе и выступил под маской бесстрастного летописца, но проснувшийся в нем темперамент политического публициста постоянно прорывается сквозь эпическую гладь сдержанного повествования: весь роман был насыщен предчувствием нарастающей опасности и звучал как мудрое предостережение. «Успех», безусловно, является одной из вершин реализма в западноевропейской литературе XX века.

С реакцией в романе ведут борьбу разные силы. Они персонифицированы в образах Иоганны Крайн, Тюверлена и Прекля. Иоганна Крайн — женщина, далекая от политики, тесно слитая с национальной почвой и средой — поднимает свой голос против реакции, повинуясь чувству справедливости. Она олицетворяет разумное начало в немецком народе. Ее поддерживает писатель Жак Тюверлен, отнюдь не революционер, а скептик, убежденный в том, что конкретная политическая борьба в общем дело довольно бесполезное, так как усилия людей, ставших на этот путь, натолкнутся на непреодолимую преграду общественного неразумия. Он верит в силу слова, а не действия, считая, что мир можно переделать властью слова, то есть медленным воспитанием человечности в человеке. Несмотря на то, что Тюверлен выступает против реакции, его общественные взгляды не поднимаются над уровнем облагороженной буржуазности.

С Тюверленом полемизирует по всем вопросам мировоззрения, политической тактики, отношения к жизни инженер Каспар Прекль, коммунист. Фейхтвангер изобразил его в меру доступной ему объективности. Он видит в высказываниях Прекля правоту, но правоту относительную. Правда Прекля — лишь одна из правд, могущая существовать наравне с другими. Прекль слишком угловат, прямолинеен, односторонен. Жизненная неприкаянность Прекля вырастает из того, что в нем нет тепла и человечности. В характерах революционеров — Вендта, Прекля — Фейхтвангер оттеняет черты иконоборчества и узколобости. В такой трактовке проявился старый предрассудок буржуазных демократов, видевших в революционерах фанатичных сектантов. В «Успехе» есть несколько наивных и вульгарных рассуждений о марксизме, который рассматривается писателем как экономическая доктрина, не больше.

Нравственное содержание марксистской идеологии осталось недоступно пониманию Фейхтвангера. Поэтому и образ Прекля приобрел односторонность, а его политические взгляды и методы борьбы не принимаются писателем. Он считал, что путь, избранный Тюверленом,— единственно правильный. Освободительная и гуманистическая тенденции общественного развития попрежнему мыслятся Фейхтвангером как несовпадающие жизненные начала.

Критика фашизма, начатая в «Успехе», получила дальнейшее развитие в «Семье Оппенгейм». Многие страницы этого небольшого романа принадлежат к лучшим образцам боевой антифашистской публицистики, а весь он был проникнут болью и тревогой за судьбы не только национальной немецкой культуры, но и всей культуры человечества, хотя Фейхтвангер и выдвинул на первый план вопрос о расовых преследованиях. Герои романа, почтенные негоцианты и ученые обыватели, выбиты фашизмом из весьма комфортабельных жизненных условий; их вера в устойчивость мира рухнула. Перед ними встала беспощадная альтернатива — или жить, борясь, или бесславно погибать. Буржуа до мозга костей, Оппенгеймы начинают искать пути борьбы, отрешаясь от своей буржуазности. Их беда была в том, что они лишь «видели то, что есть, но не умели сказать, что нужно сделать». Поэтому и Бертольд и Густав погибают. Но Густав пробует нащупать связь с теми, кто знал, «что делать». Это были сверстники Прекля, ставшие подпольщиками. Фейхтвангер не смог придать их образам художественную законченность, но он начал понимать, что не слово, а действие является знаменем времени и, что возможно, Прекли и Фришлины более близки к истине, чем ему казалось раньше. Судьба членов семейства Оппенгейм была достаточно убедительным при-

мером того, что одиночки неспособны противостоять натиску общественного неразумия. В сознании Фейхтвангера назревал кризис — жизнь требовала от него, коль скоро он встал на позиции борьбы с фашизмом, практического разрешения идейных противоречий. Как трудно разрешался этот кризис, ясно показывает его центральное произведение 30-х годов — трилогия об Иосифе Флавии. Трилогия эта писалась в сложной политической обстановке, когда укрепившийся в Германии фашизм начал готовиться к борьбе за мировое владычество. Мир лихорадило в преддверии близящейся мировой войны, и обстановка показывала, что фашизм нельзя победить словами. Насыщенная грозовыми разрядами атмосфера современности ощущается и в романе Фейхтвангера о иудейской войне, полном прямых исторических аналогий.

Судьбу главного героя романа — Иосифа Флавия обрамляет множество событий: восстание иудеев против владычества Рима, выдвижение династии Флавиев, гибель Нерона, богословские и философские споры, батальные сцены.

Писатель, возвеличивая Иосифа, рисует его мудрым и привлекательным человеком с неудержимыми страстями. Но, несмотря на идеализацию его образа, Фейхтвангеру не удается скрыть внутренние слабости одиночки-гуманиста, которому он вверяет единственное понимание логики истории. Надеясь на далекое торжество разума и человечности, Иосиф в своей борьбе за вполне конкретные, прямые и близкие политические цели нигде и никогда не доходит до конца. Его разум — это разум социального компромисса, его характер — это характер человека, склоняющегося перед силой обстоятельств. Так было после падения крепости Иотапаты, среди защитников которой находился Иосиф. Руководствуясь мыслью, что человеку естественнее жить, чем умереть, он предпочитает плен героической смерти. Следуя этим же соображениям, он начинает свою карьеру при дворе Флавиев. Они же заставляют его жениться на наложнице Веспасиана и спустя много лет пройти через страшное унижение во время похорон Тита.

Народ Фейхтвангер изображает как элитную, безликую массу, преисполненную мессианистских заблуждений. Иосиф, хотя он всем сердцем сочувствует своему народу, в сущности, не знает и не понимает его. Те медлительные и крепкие крестьяне, с которыми он встречается в Галилее, ведут себя по отношению к нему с хитрецой, не раскрываясь перед ним. Иосиф чувствует, что между ним и этими людьми — непроходимая стена. Еще нагляднее оторванность Иосифа от народа проявляется в его отношениях с вождями восстания — Иоанном из Гишаллы и Симоном бар Гиора. Сдержанный пафос, цельность и ясное понимание необходимости борьбы характеризуют этих деятелей. Но в ходе войны эти руководители народа становятся руководителями без народа, ибо народ не желает идти за ними. В сцене пира перед падением осажденного Иерусалима неверие Фейхтвангера в успех прямого действия проявляется с особенной ясностью. Глядя на измученных долгой осадой, голодовкой и беспрерывным напряжением войны людей, уравненных своим жалким состоянием, вожди приходят к мыслям, полным обреченности. «—Вот те люди, которые довели нас до такого положения, брат мой Иоанн,— произнес Симон,— За этих людей мы умираем, брат мой Симон,— ответил Иоанн. Затем они умолкли. Молча глядели они на учителя и господина Матфиаса, сидевшего на полу и жравшего при свете факелов...» Героизм народных вождей, отвергнувших мирные условия римлян, был по мысли Фейхтвангера героизмом отчаяния. Иосиф не соглашается с ними и сдается на милость победителей. В общем контексте проблематики романа подобное изображение народного движения выглядело как признание его бесполезности, ибо оно, как полагал Фейхтвангер, никогда не достигает поставленных перед ним целей. Они более достижимы теми путями, которыми идет Иосиф, то есть медленным воспитанием гуманности в людях.

Иосифу противостоит образ Юстуса из Тивериады — реального политика, полностью повернутого к политическим задачам момента, живущего непосредственными интересами народа. Он в своей полемике с Иосифом, в критике его действий бывает часто прав, но правота его очень ограничена, узка и догматична... Иосиф перешагивает через нее, отбрасывает ее, как в «Успехе» Тюверлен отбрасывал аргументацию Прекля. Так повторилась старая дилемма. Сменены одежды — проблема осталась. В образ Иосифа, проходящего

тяжелую жизненную школу, Фейхтвангер вложил свои сомнения и колебания, которые владели им накануне второй мировой войны.

В романе есть немало отступлений от историзма, сказавшихся не только в назойливом осовременивании событий, но и в попытках фаталистического объяснения исторического процесса. Веспасиан — проворовавшийся губернатор, осмеянный римлянами чиновник — становится императором в соответствии с давним предсказанием. Все значительные перемены хода истории зависят от воли крупной личности. Изменение восточной политики Рима во время царствования Тита, например, объясняется тем, что царица Береника — возлюбленная Тита — сломала ногу и утратила свою соблазнительную походку и тем самым любовь императора; безразличие Тита к Беренике вызвало огромный поворот в римской политике, изменившей картину античного Востока. В трилогии об Иосифе Флавии Фейхтвангер, рассматривая выдающегося человека как движущую силу истории, делает шаг назад и в идейном и в художественном отношении. Образ Иосифа в условиях идейной борьбы 30-х годов никак не соответствовал духу времени и выглядел печальным анахронизмом для автора «Успеха» и «Семьи Оппенгейм». Но ненависть Фейхтвангера к общественному варварству не ослабела и в этом романе. Со страстью он обличал и римских сенаторов и служителей храма в Иерусалиме, тех, кто олицетворял косную силу исторического неразумия.

Перед войной Фейхтвангер написал роман на современную тему, в котором преодолел многие слабости трилогии об Иосифе. В «Изгнании» Фейхтвангер возвращался к некоторым идеям «Семьи Оппенгейм». Парадоксально, что это возвращение на самом деле означало движение писателя вперед.

«Изгнание» написано под знаком слов Гете «умри и возродись». Немецкие интеллигенты-эмигранты — те, кто близок по духу Фейхтвангеру, как, например, главный герой романа Зепп Траутвейн,— несут в сердцах своих любовь к тому миру, к той жизни, которую у них отнял фашизм. Но они знают, что их мир был слаб, неустойчив и упал под ветром истории, как подгнивший плод с дерева. Им нужно или умертвить в себе прошлое, чтобы возродиться для новой жизни, или «скорбными гостями» пройти свою короткую дорожку по просторам истории. Фейхтвангер понимает, что молодые силы не могут довольствоваться поздним опытом отцов. Сын Зеппа Траутвейна, угловатый и непримиримый Ганс, идет к коммунистам. Другие или колеблются, или связывают свою судьбу с фашизмом. Для положительных героев Фейхтвангера действие уже становится непременным условием бытия, но на чьей стороне историческая правота: на стороне ли Зеппа, или на стороне Ганса, какой способ борьбы с фашизмом более правилен и результативен, Фейхтвангеру было еще не ясно. На эти вопросы должны были дать ответ его послевоенные романы.

2

Вторая мировая война, обострившийся конфликт между идеями прогресса и реакции, возросшая активность народных масс — все события современности глубоко повлияли на Фейхтвангера.

Послевоенные годы были для него в творческом отношении весьма продуктивны, а созданные им романы — «Гойя, или тяжкий путь познания», «Лисицы в винограднике», «Мудрость глупца, или смерть и преображение Жан-Жака Руссо» — знаменовали новый этап в идейной и художественной эволюции Фейхтвангера и содержат нечто новое в его взглядах на историю. Эти три романа написаны на материале событий, связанных с французской буржуазной революцией. Роман «Лисицы в винограднике» (первая часть которого вышла под названием «Оружие для Америки») посвящен Франции предреволюционной, «Мудрость глупца» — в основном Франции периода революции. В романе «Гойя» идет речь о влиянии идей французской революции на крупнейшего художника Испании конца XVIII века.

К этой эпохе Фейхтвангер обратился не случайно. Современный период истории воспринимается им как переломный в жизни человечества, как гигантский процесс мучительного и трудного рождения новых форм общественных отношений, идущих на смену умирающей собственнической цивилизации. Фейхтвангер, описывая смену феодальных отношений капиталистическими в результате французской революции, крушение монархической Франции; исследуя духовную атмосферу тех лет, выводя на сце-

ну деятелей Просвещения, расшатавших здание феодальной Европы, проводит параллель с современностью, рассматривая принципиально различные исторические процессы в их внешнем сходстве. В послесловии к роману «Лисицы в винограднике» он писал, что его героем «является не Вениамин Франклин, не Бомарше, не король и не Вольтер, но тот незримый кормчий истории, который в XVIII столетии был открыт, в XIX тщательно изучен, описан и оценен, с тем чтобы в XX быть тяжко оклеветанным и отвергнутым: прогресс». Несмотря на горечь, присутствующую в этих словах, Фейхтвангер, пересматривая свой прежний взгляд на историю, как на трагическое равновесие сил разума и варварства, начинает признавать неуклонность движения человечества вперед. Идея исторического прогресса становится в его последних романах главной, привнося в них дух исторического оптимизма.

Несомненно, социальная борьба наших дней привела Фейхтвангера к этой идее. Однако когда он начинает выяснять конкретные, прямые причины, вызвавшие французскую революцию, когда он пытается охарактеризовать движущие силы исторического процесса, то в его анализе проступают черты прежних его воззрений на историю, делающие картину революции односторонней. Экономическое и внутриполитическое положение страны, невыносимые условия жизни народа — те объективные причины, которые привели к революции,— обходятся Фейхтвангером. Зато много места уделено у него описанию жизни королевского двора, передаче мелких подробностей придворных интриг, сведениям о частной жизни Людовика XVI, флиртах Марии-Антуанетты, забавах и развлечениях ее окружения, роскоши и легкомыслии Версаля и Трианона. Роман «Лисицы в винограднике» перегружен описаниями подобного рода. Отчасти то же можно сказать и о романе «Гойя, или тяжкий путь познания», где характеристике нравов испанского дворянства отведено немалое место. Однако созданным Фейхтвангером портретам Людовика XVI, Карлоса IV, Марии-Антуанетты, Марии-Луизы — королевы испанской и многочисленным фигурам аристократов обеих монархий нельзя отказать ни в исторической верности, ни в художественной законченности.

Дворян Фейхтвангер изображает исторически ограниченными людьми, лишенными элементарной прозорливости. Слепцы, пляшущие над бездной, они думали, что ничто не может изменить их жизнь, похожую на веселую пастораль. На всех них, защитников и сынов уходящего мира, легла незримая тень судьбы и обреченности. Критицизм, свойственный Фейхтвангеру, в обрисовке аристократов проявился с большой силой. Писатель не прибегает к шаржу, но сдержанная ирония, внутренняя неприязнь его к изображаемой социальной среде ощущаются ясно. Фейхтвангер и в последних своих романах не перестает подвергать осуждению силы исторического неразумия.

Вместе с представителями дворянского лагеря Фейхтвангер вводит в свои романы просветителей и прогрессивных политических деятелей — Вольтера, Дидро, Бомарше, Руссо, Франклина, Робеспьера, Сен-Жюста, Ховельяноса, Кинтану, упоминает о Гельвеции, Гримме. Можно было думать, что он создаст полноценные образы носителей передовой идеологии и в соответствии с исторической правдой осветит главные черты эпохи Просвещения. Между тем этого не произошло.

Европейское Просвещение вошло в историю умственного развития человечества как одно из самых значительных идейных движений, сыгравших огромную роль в освобождении человеческого разума от бремени многих заблуждений и предрассудков. Его деятели в своих философских и политических сочинениях формировали самосознание революционного народа и выступили как бескорыстные защитники его интересов, верящие в неизбежное торжество разума. Однако Фейхтвангер не показал Просвещение в его подлинной исторической значительности — как сложное противоречивое умственное движение, в котором сталкивались разные социальные силы и закладывались основы дальнейшего развития передовой общественной мысли.

В Просвещении Фейхтвангер не увидел элементов плебейской идеологии. Правда, он справедливо считает одной из вершин просветительской революционности политические идеи Руссо, бесспорно, сыгравшие колоссальную роль в подготовке французской буржуазной революции и повлиявшие на идеологию якобинцев. Но не только одному Руссо принадлежали идеи народоправства. Они с большей последователь-

ностью были высказаны Морелли и Мабли, в сочинениях которых пробивался к жизни утопический коммунизм, а частная собственность рассматривалась как источник общественных бед. Фейхтвангер, вводя в свои романы множество имен общественных и политических деятелей той эпохи, не упоминает о том, что во французском Просвещении имелась и эта идеологическая струя. В романе о Руссо «Мудрость глупца», многие страницы которого посвящены изображению революционных событий, не нашлось места для Марата, наиболее смелого выразителя интересов беднейших общественных классов, как не нашлось места и для Гракха Бабефа, политика, шагнувшего в своих взглядах дальше всех деятелей революции. Принимая революцию в целом как неизбежное, прогрессивное и разумное событие истории, Фейхтвангер все же не приемлет самых решительных форм революционного сознания и революционного действия.

Внутри Просвещения романист видит существование противоборствующих взглядов. Объективно это было различие в отношении просветителей к способам политической борьбы, приведшее их к серьезному идейному размежеванию в годы назревания революционной ситуации. Фейхтвангер же рассматривает столкновение внутри Просвещения, как спор двух различных исторических начал, движущих прогресс, придавая этому конфликту налет вневременности, извечности. Подобное столкновение лежит в основе романа «Лисицы в винограднике» и олицетворено в антагонизме Франклина и Бомарше. Этот антагонизм раскрывается на фоне огромных исторических событий — войны американских колоний за независимость против английской короны, борьбы, подрывавшей самый принцип монархизма, так как ее вел народ под республиканскими лозунгами в те именно годы, когда в Европе, во Франции, назревала одна из самых крупных буржуазных революций. Правительство Людовика XVI, как известно, поддержало американских повстанцев, рассчитывая, что их победа приведет к ослаблению Англии и позволит Франции занять утраченное положение гегемона в Европе. Все прогрессивные умы Старого Света также поддерживали движение американских колоний за независимость, надеясь, что в Новом Свете утвердится республиканский строй и с ним восторжествуют идеи социальной справедливости. Бомарше, с ведома и согласия французского правительства, воодушевленный идеями свободы, не без надежды и на личное обогащение, организовав компанию по снабжению восставших колонистов, доставил им солидное количество вооружения и боеприпасов. Американский Конгресс, благодаривший его за помощь в посланиях, преисполненных цицероновского красноречия, тем не менее не заплатил ему почти ни гроша за поставленные товары. Бомарше, преследуемому французским правительством за вольномыслие, досадившему монархическим кругам своими знаменитыми мемуарами, автору крамольных пьес, знавшему и тюрьму и разорение, пришлось отстаивать свои законные права и перед теми, кого он считал своими единомышленниками. В условиях сложнейшей политической борьбы, когда его жизнь состояла из взлетов и падений, Бомарше проявил невероятную выдержку и пронырливость. Он как бы вобрал в себя энергию третьего сословия, и там, где другой человек склонил бы голову и отказался от борьбы, Бомарше смело шел до конца, не будучи революционером в прямом и точном смысле этого слова. «Вера в судьбу позорит человека, отнимая у него свободу, вне которой нет никакой морали в его действиях»,— так говорил Бомарше и поступал соответственно.

Фейхтвангер довольно точно излагает в своем романе факты биографии Бомарше. Но деятельность этого ловкого человека тускнеет и меркнет перед деятельностью Франклина, личность которого внушает Фейхтвангеру самые глубокие симпатии и в чей образ писатель вложил многое от своего отношения к политике, к жизни, к прогрессу. Мудрый, спокойный человек, с огромным жизненным опытом, ученый и политик, писатель и дипломат, представитель революционных республиканцев при дворе абсолютного монарха, силой своего личного обаяния, хитрости, выдержки и терпения добивающийся и финансовой помощи американским Штатам и заключения союза с Францией — то есть конкретных политических результатов,— он, по мысли Фейхтвангера, не только сознательный слуга прогресса, но и настоящий творец его. Личность Франклина определяет и выражает дух времени. Он с высоты своего знания и возраста спокойно смотрит на кипение политических интересов и жизнен-

ных страстей, его умственный взор проникает дальше, чем ограниченный интересами повседневности политический разум Бомарше, ибо Франклину дано понимание того, что справедливость в конце концов, перейдя через все препятствия, восторжествует на земле. Не следует торопиться, можно, конечно, поступать и как поступает Бомарше, тем более, что и он выражает «разум народа», отдаваясь политическим интересам дня. Но это не самый верный способ достижения цели — нужно, воспитывая человека, менять его, а когда изменится человек, то изменится и сама жизнь. Один из героев говорит: «Франклин помогает делу Америки философской мыслью, Бомарше — отважными деяниями. Франклин — Солон или, вернее, Архимед нашего столетия, а Бомарше потомки назовут Брутом нашего времени». В этой дилемме — Брут или Солон — симпатии Фейхтвангера не на стороне Брута. Да и сам исторический Бомарше при всем желании не мог сойти за Брута. Он был Фигаро французской революции — ловкач и насмешник, пропитанный духом буржуазной предприимчивости. Франклин «верит в великий имманентный разум истории» и поэтому не увлекается злобой дня. Фейхтвангер в обрисовке Франклина отступает от исторической правды, так как в реальной жизни Франклин был одним из самых твердых сторонников решительных действий в годы борьбы американских колоний за независимость.

Смысл образа Франклина с предельной полнотой раскрывается в диалоге с Дидро, главным создателем «Энциклопедии» — монументального памятника смелости человеческого разума. Франклин говорит: «Этот метод — просвещать людей, объясняя им их заблуждения, не вызывая озлобления, оказывает свое безошибочное действие на умнейших и неприметно, спокойно также и на других. Если этот метод применять ловко и планомерно, то вы придадите «Энциклопедии» силу, способную изменить образ мысли всей эпохи.

Франклин был согласен с этой стратегией. Медленно должен внедряться разум в сознание умнейших, чтобы, исподтишка и постепенно распространяясь, через них охватить всех».

Франклин считает, что «тот, кто плюет против ветра, плюет себе в лицо». Этим, не очень приятным делом занимается, в частности, Бомарше, политик, живущий интересами дня, поэтому Фейхтвангер и относится к нему с некоторой иронией.

В отношении Фейхтвангера к Бомарше сказывается в несколько смягченной форме его застарелое отрицательное отношение к людям прямого политического действия и к их способу переделывать мир.

Жизнь Франклина не легка — и ему ведомы потери и страдания. Защищая интересы Конгресса, он отдавал себе отчет, что его соплеменники отнюдь не те идеальные республиканцы, чей возвышенный образ рисовался восторженному воображению французов — в том числе и Бомарше,— а расчетливые, практичные торговцы. В нарождающейся республике «спекуляция и коррупция процветают, как и при деспотизме, но в более неуклюжем виде». Несмотря на это, Франклин считает ее дело своим делом, так как успех республики — все же шаг человечества вперед.

Пренебрегая в своем романе освещением прямых причин, вызывающих назревание социального переворота, почти не касаясь условий жизни простого народа, Фейхтвангер приписывает общественным деятелям той эпохи решающее влияние на ход исторических событий, считая, как и ранее, что только выдающиеся личности, их идеи являются действительными первопричинами, определяющими движение истории. Этот взгляд на историю особенно полно проявился в самом противоречивом из послевоенных романов Фейхтвангера — «Мудрость глупца, или смерть и преображение Жан-Жака Руссо».

В сущности, это роман о том, как идеи одного человека определили характер целой исторической эпохи, ее основные, наиболее примечательные черты. Руссо — центр интересов всех действующих лиц романа и постоянный двигатель умственного и социального прогресса; вокруг его имени и вокруг его взглядов кипят политические страсти. Его книги для людей эпохи французской революции, если верить Фейхтвангеру, играли такую же роль, как библия для пуритан и бунтарей эпохи Кромвеля. Преувеличение роли Руссо доходит в романе до того, что на личности деятелей Просвещения Фейхтвангер смотрит через «Исповедь», книгу, ценную моральным пафосом, критикой сословных предрассудков, защитой прав человека на личную и общественную свободу, а отнюдь не конкретными характеристиками деятелей Просвеще-

ния. Неприятное впечатление оставляет оттенок сенсационности, граничащей с бульварностью, который привнес Фейхтвангер в свой роман, положив в основу сюжета отброшенную наукой версию об убийстве Руссо. Тереза Левассер — жена Руссо, простая, неграмотная женщина, о которой сам Жан-Жак с большой теплотой писал в «Исповеди», не скрывая ее ограниченности,— сердечная, верная подруга, прожившая нелегкую жизнь бок о бок с гениальным человеком, не отличавшимся ангельским характером, превращена в сладострастное животное, соучастницу убийства своего чудаковатого супруга. Фернан Жирарден — юноша, боготворящий Руссо, верный последователь его идей, становится любовником жены Руссо, испытывает тягостное чувство стыда перед Жан-Жаком и ревнует Терезу к ее сожителю-лакею Никола Монтрету. Грязь и непристойность окружающих темнят частную жизнь Руссо. Это не случайный мотив в романе. Фейхтвангер изображает Руссо человеком, отрешенным от прозы жизни, не вникающим в суету повседневности. «Эти глаза, которые видели тысячи вещей, недоступных другим, не видели ближайшего, осязаемого». Одинокий и гонимый, преследуемый ненавистью имущих, непониманием современников, Руссо уходит из Парижа к природе — в Эрменонвиль, именьице своего поклонника маркиза Жирардена. Образ этого аристократа-руссоиста, который воспитывал своего сына по правилам, начертанным в «Эмиле», и предпочитает жить поближе к натуре и подальше от развращенной столицы, дворянина, соглашающегося с принципами «Общественного договора» и держащего Жанов и Жаков, своих мужиков, в строгих рамках сеньориальных отношений,— напоминает типы российских крепостников-вольтерьянцев и принадлежит к лучшим образам романа. Крестьяне, с которыми Руссо пробует объясняться, считают его безвредным дурачком. Мартин Катру — плебей и приятель Фернана, будущий деятель революции, сначала смотрит на Руссо как на бесполезного болтуна. Наконец сам Руссо, встретившись с юным Робеспьером — человеком, который топором и беспощадными декретами будет осуществлять на практике его идеи,— не понимает, что перед ним стоит будущее Франции.

Однако подчеркнутое Фейхтвангером одиночество Руссо иное, чем одиночество героев его довоенных романов. Фейхтвангер считает одиночество Руссо мнимым, рожденным слепотой современников, недозревших до постижения идей, которые Руссо, выражая дух времени, формулируя смутные надежды широких масс, отважно высказывает миру. Он идет впереди своего времени, он обращается к будущему — в этом его мудрость, которую те, кто прекрасно разбирался в «ближайшем, осязаемом», принимается за глупость. Руссо олицетворяет тот «имманентный разум истории», который движет и определяет основные черты прогресса. Понятно, почему Фейхтвангер сделал именно Руссо центральной фигурой революционной эпохи, противопоставив его всем просветителям. Вольтер и Гримм, Гельвеций и Дидро верили в непреклонную силу и власть Разума. Но их бог был холодным богом, их Разум не оставлял места для чувства и человечности. Как известно, историческая заслуга Руссо-мыслителя состоит в том, что он увидел ограниченность механистического материализма просветителей и в своих сочинениях начал пользоваться диалектическим методом. Как писатель он, по существу, был зачинателем психологизма в литературе, мастером описания человеческих чувств и страстей.

Внимание Руссо к человеку импонировало Фейхтвангеру, поэтому он и делает его идеи главной причиной исторических изменений. Руссо у Фейхтвангера родственен по значению Франклину, только более радикален, но не менее человечен. Подобный подход к образу Руссо делает ясным, как Фейхтвангер разрешает остальные идейные конфликты романа и на чьей стороне его симпатии. Идеи Руссо распространяются не только среди «умнейших», то есть интеллигентов, но проникают, правда с трудом, и в толщу народа, для которого Жан-Жак становится близким и понятным, ибо в его словах и мыслях — отзвуки народных мыслей. Но, говоря словами Гегеля, «хитрость исторического разума» видоизменяет первоначальные основы учения Руссо. Идеи, оторванные от человека, их сформулировавшего, начинают жить своей жизнью. Робеспьер, Сен-Жюст, Катру — беспощадные, прямолинейные люди — тоже руссоисты. Правда, ими была подхвачена и доведена до крайности лишь разрушительная сторона учения Руссо. Фейхтвангер не

осуждает их и даже поднимается до того, что признает правоту действий монтаньяров, бросивших вызов старому миру и с беспримерным мужеством защищающих интересы человека и народа. «Их логикой была гильотина. Возможно, у революции и нет иной логики». Но революции — не постоянное, длящееся состояние человечества. Они лишь моменты в общем движении исторического прогресса. Поэтому Фейхтвангер, понимая неизбежность революционного действия, даже в его крайнем, якобинском выражении, уповает на иное: «Если окинуть взором события последних лет в целом, то, к счастью, можно признать: человечество, вопреки всему, движется вперед по законам великой, доброй необходимости». Сознание народных масс тоже развивается по этим же законам. Отношение Фейхтвангера к ним двойственное. Он, видевший раньше в народе опору исторического неразумия, признает теперь, что «великие перемены могут совершаться только снизу, массами, народом». Он полемизирует с аристократкой госпожой Ролан, сказавшей, что «чем больше толпа, тем длиннее уши». Но он же, описывая разрушения, совершенные народными массами в королевском дворце, замечает: «К сожалению, произошло так, как предсказывал ненавистный господин Гримм: народоправство, о котором мечтал Жан-Жак, превратилось в господство черни, которой гнушался учитель, в охлократию. Человек был и остается варваром». Это — суждение Фернана Жирардена, но оно, учитывая особое значение его образа, не случайно в романе. Фернан, «понимая умом и соглашаясь с железным господством государственного разума, сердцем восставал против него. Со смущением и отвращением глядел он на янусов лик народа: одна сторона его была добродушна и полна природной мудрости, другая — жестокой и свирепой. Он любил и восхищался величием и добросердечием народа, он гнушался его скотства». И, несмотря на то, что Фернан чувствует себя чужаком в революции, он делает все от него зависящее, чтобы сблизиться с народом, но только с его разумной стороной. Пройдя долгий и горестный путь познания, изведав силу и слабость человеческого в человеке, он идет на службу к якобинцам, относящимся к нему с недоверием, как к бывшему аристократу. Двойственность Фернана, по мнению Фейхтвангера, не является недостатком, она — следствие того, что в нем не умерла человечность, которой не хватает якобинцам. Он один последовательно руководствуется идеями Руссо. В романе неоднократно вставал вопрос, «кого признал бы лучшим учеником Жан-Жак, его — Фернана или Максимилиана Робеспьера?» В заключительной сцене романа, где описывается перенесение праха Руссо в Пантеон ликующим, победоносным народом, содержится ответ на этот вопрос, итоговый для романа. Робеспьер произносит речь в честь Руссо: «Он был больше, чем человек, он был орудием Верховного существа. Он видел народы стоящими на коленях перед скипетрами и коронами, и он отважился сказать им: подымитесь!.. Подобный самому богу, бросал он пламенные слова в сердца и исполнил то, что никто до него не исполнял: народы поднялись». Стоящий в толпе Фернан мысленно отвечает Робеспьеру: «Он сделал из Жан-Жака бога, он не видит Жан-Жака «Исповеди», он не переносит человеческого в том, чью высшую гордость составляло быть человеком». Итак, Фернан, а с ним и Фейхтвангер хотя вынужденно и понимают умом неизбежность революционного действия, но душой своей на стороне «имманентного разума» и «доброй необходимости», ибо она одна, как они полагают, несет с собой победу человечности. И Робеспьер, и Сен-Жюст, и «двуликость» народа — тоже проявления необходимости, и с ними нельзя не считаться; но, по мысли романиста, пройдут грозные вспышки холодного гнева и выверенной ярости, а неуклонное течение истории возьмет свое.

Через роман «Мудрость глупца» проходит старая идея Фейхтвангера о несовпадении освободительного и гуманистического начала в истории. Хотя носители их и стремятся к общей цели, но предпочтение писатель отдает началу гуманности, не понимая или не желая понять, что только освободительная борьба принесет конечное торжество человеку и человечности.

Из всех послевоенных произведений Фейхтвангера самым цельным, ясным и реалистическим является роман, с которым недавно познакомились советские читатели: жизнеописание Гойи — великого испанского художника конца XVIII и начала XIX веков, чья личность и творчество издавна волновали воображение Фейхтвангера. Еще

в «Успехе» романист обратился к образу Гойи и обнаружил глубокое понимание революционной направленности его искусства, почувствовал его мощную реалистическую основу. Книга о Гойе имеет многознаменательный подзаголовок «Тяжкий путь познания», раскрывающий ее философский подтекст.

Роман посвящен не только описанию истории борьбы великого художника за правду и социальную значимость искусства, но он говорит о трудном восхождении человека к познанию жизни и ее смысла. Что же познает Франсиско Гойя, человек, вышедший из недр народа, знавший и бремя славы и полынную горечь невзгод? Поистине железной жизни противоборствовал его творческий дух; суды инквизиции, кровожадное изуверство церкви, трусливая тупость правителей — косные, мертвящие все живое силы старого мира пытаются сломить его. С высоким реализмом, придерживаясь правды истории, описывает Фейхтвангер жизнь феодальной Испании, двор Карлоса IV, упорную защиту правящими классами своего существования, которому угрожали идеи свободы, исходившие из республиканской Франции.

Гойя чутко прислушивался к этим идеям. Грозная музыка свободы рождала отзвук в его сердце, и он, человек, близкий к испанским просветителям, пытавшимся реформами обновить жизнь, отдает силы своего ума и таланта служению прогрессу.

Его портреты испанской знати, фантасмагоричные офорты «Капричос» несли в жизнь ненависть к умирающему старому миру. Искусство было для него оружием в борьбе за утверждение справедливости в жизни.

Не сразу Гойя пришел к пониманию общественного значения искусства и долга художника. Очень тонко показывает Фейхтвангер процесс его идейного роста. Гойя,— великий жизнелюб, он вначале поглощен только интересами искусства; его радует игра красок, изучение новых форм воплощения жизни. Придворный живописец, он глубоко проник в души аристократов, чьи портреты писал, и увидел, что, кроме эгоизма, жестокости, равнодушия, в них ничего нет. Личные невзгоды — несчастная любовь, болезнь, смерть жены и ребенка, потеря друзей, павших жертвами инквизиции, сделали его сердце доступным пониманию чужого страдания. Общение с испанскими вольнодумцами — Ховельяносом, поэтом Кинтаной, гуманистом и либералом Эстеве укрепило в нем сознание необходимости действовать во имя свободы. Фейхтвангер рисует в своем романе очень широкую картину социальной борьбы тех лет: участие испанской монархии в коалициях, направленных против революционной Франции, термидорианское перерождение французской республики, рост буржуазной оппозиции внутри страны. Испанских либералов, с которыми сталкивается Гойя, Фейхтвангер изображает в обычной манере, подчеркивая их узость и педантическую ограниченность. Но в их словах, обращенных к Гойе, есть немалая доля правды. Несмотря на то, что Гойя отталкивается от их суровой добродетели, он не может не считаться с тем, что либеральные реформаторы, требующие от него участия в прямой политической борьбе, выражали главное требование времени. Фейхтвангер дает понять, что бунтующая и скорбная человечность искусства Гойи более широка, чем догматизм либеральных политических деятелей. Но без их влияния Гойя не сложился бы в передового художника, понявшего, что *сила искусства* — в его народности. Эта мысль является самой ценной в романе. Гойя выдерживает жизненные испытания только потому, что он никогда не порывал связей с народом. От него исходит все ценное, что создал художник, и к нему обращено его искусство. Гойя, ненавидящий старый мир, не присоединяется полностью к представителям просветительской идеологии. Он идет своим путем. Он — народный художник Испании — тоже утверждает новые идеи, но по-своему. Он знает, что его живопись оказывает действенное влияние на умы и души современников. Возможно, что это влияние будет медленнее изменять жизнь, но содержание его творчества совпадает с неуклонным движением прогресса. Пережив крушение надежд, рожденных французской революцией, познав сильное и слабое в человеке, любя его, Гойя приходит к тому, что Фейхтвангер считает высшей мудростью: не вступая в открытое столкновение с общественным неразумием, постепенно внедрять в сознание народа передовые мысли, которые в конце концов победят бесчеловечность в человеке.

Поняв народную основу творчества Гойи, Фейхтвангер создал образ художника, не

только психологически глубокий, не только убедительный и живой, но и соответствующий правде истории. Несмотря на то, что в романе о Гойе можно найти те же весьма спорные мысли, что и в других послевоенных романах Фейхтвангера, жизнеописание Гойи почти не содержит отступлений от исторической правды и принадлежит к лучшим достижениям фейхтвангеровского реализма.

В русском переводе, сделанном Н. Касаткиной и И. Татариновой (как и в стихотворных вставках, переведенных Л. Гинзбургом), превосходно передана реалистическая манера письма Фейхтвангера и та сдержанная страстность, которая определяет стилевое своеобразие романа.

В послесловии к «Лисицам в винограднике» Фейхтвангер писал, что «он ищет в истории не пепел, но пламя». Своими послевоенными романами он ратует за победу прогрессивного начала в истории. И сейчас, когда реакция стремится идейно разоружить человечество и остановить прогресс, увековечив капиталистические отношения, — это уже немало.

Фейхтвангер пришел к пониманию того, что народные массы своей энергией и жаждой справедливости участвуют в общем поступательном движении мысли. Но все же писатель относится к ним с некоторым недоверием. Он отстаивает достоинство человека, которого современные эксплуататоры хотят превратить в послушное их воле животное. Но он, как и ранее, не принимает сердцем тех, кто несет в мир пламя свободы, кто действует, но не подчиняется власти «доброй необходимости». Фейхтвангер достаточно вдумчивый наблюдатель современной истории и способен понять, что социальная справедливость, которую призывает и он, может быть достигнута только деянием. Время терпения и пассивности прошло.

Е. Цыбина

Писатели-революционеры

7 февраля 1956 года исполняется двадцать пять лет со дня казни гоминдановскими властями группы китайских писателей-революционеров: Инь Фу, Жоу Ши, Ху Е-пиня, Фын Кэн, Ли Вэй-сэня. В своих воспоминаниях Лу Синь писал: «Наступит время, когда их вспомнят и о них заговорят». Такое время наступило. Сегодня китайский народ, строящий свободную жизнь, чтит память своих сынов, отдавших жизнь за свободу и счастье своей родины. Вышедшие недавно в издательстве «Народная литература» сборники избранных произведений Инь Фу, Жоу Ши, Ху Е-пиня пользуются большим спросом у китайского читателя.

Эти писатели пришли в литературу в те дни, когда китайская революция 1924—1927 годов, направленная в первую очередь против господства иностранного империализма, потерпела поражение, и в Китае царил режим белого гоминдановского террора.

В стране начались массовые убийства рабочих, крестьян, интеллигенции, в первую очередь руководящих работников коммунистической партии. Гоминдан ввел систему строжайшей цензуры, запретил издание прогрессивных журналов и газет.

Но Коммунистическую партию Китая и китайский народ, как писал Мао Цзэ-дун, «не удалось ни запугать, ни покорить, ни истребить. Они поднялись с земли, отерли кровь, похоронили погибших товарищей и снова продолжали борьбу».

Именно в это время литературной группой «Творчество», которую возглавлял Го Мо-жо, был выдвинут лозунг «За пролетарскую революционную литературу!», нашедший горячих сторонников среди китайских литераторов. Статьи Чэн Фан-у «От литературной революции к революционной литературе» и Го Мо-жо «Революция и литература» положили начало литературной дискуссии, длившейся два года. В ходе этой дискуссии были подвергнуты резкой критике сторонники буржуазной реакционной литературы (Лян Ши-цю, Ху Цю-юань и др.); представители передового, революционного искусства создали в 1930 году Лигу левых писателей, во главе которой стал Лу Синь.

Лига просуществовала недолго: репрессии, аресты, убийства не давали возможности вести легальную работу; но роль ее в истории китайской литературы велика. Лига была центром, притягивающим к себе все лучшее, передовое в китайской литературе того времени. Ведущие китайские писатели современности, такие, как, например, Мао Дунь и Тянь Хань, были тесно связаны с ней.

В 1931 году Лу Синь писал: «Год назад в Шанхае была создана Лига левых писателей... Именно потому, что она стала крепкой и сильной, она подвергается невиданному в мире гнету и преследованиям».

Самые молодые члены Лиги — Инь Фу, Жоу Ши, Ху Е-пинь, Фын Кэн, Ли Вэй-сэнь — стали первыми жертвами гоминдановского террора. Лу Синь сказал о них: «Первая страница пролетарской революционной литературы Китая написана кровью наших товарищей».

Творчество этих писателей тесно связано с борьбой китайского народа за его национальное и социальное освобождение. Все они пришли в литературу, уже имея определенный опыт революцинной работы,

---

Инь Фу, Избранные стихи, издательство «Народная литература», Пекин, 1954; Жоу Ши, Избранные повести (там же); Ху Е-пинь, Избранные повести (там же).

которая воспитала их, закалила и дала им материал для творчества.

Пламенным певцом пролетариата можно назвать Инь Фу. Он родился в 1909 г., в провинции Чжэцзян. Тринадцати лет начал писать стихи, с семнадцати — включается в революционное движение.

В 1927 году по доносу агента гоминдановской охранки Инь Фу был арестован и просидел в тюрьме три месяца. После выхода из тюрьмы Инь Фу поступает в университет в Тунцзи, но окончить его ему не удалось: непрерывные преследования гоминдановской полиции вынудили Инь Фу оставить университет. С 1929 г. он полностью переходит на революционную работу и ведет ее главным образом среди рабочей молодежи. За организацию забастовки на одной из ткацких фабрик Инь Фу был вновь арестован, подвергнут зверским избиениям и пыткам. После выхода из тюрьмы Инь Фу, не прекращая революционной работы, стал серьезно изучать литературу. Первые свои стихи и статьи о революционном движении он печатал в известном в то время литературном журнале «Бурный поток», созданном Лу Синем, а также в печатных органах революционного движения, издававшихся нелегально. Подписывался Инь Фу различными псевдонимами (Бай Ман, Ша Фэй, Ло Фу и другие), и мало кто знал настоящее имя автора этих статей и стихов.

Год работы в Лиге левых писателей был временем расцвета творчества Инь Фу. Он умер, когда ему было всего 22 года. 17 января 1931 г. он вместе с другими членами Лиги и революционерами — всего двадцать три человека — был арестован и вечером 7 февраля в Лунхуа (район Шанхая) тайно казнен. Опасаясь народного возмущения, гоминдан даже не обнародовал сообщения об их казни, которая была совершена без суда, без следствия, без свидетелей.

Творческое наследие Инь Фу невелико — четыре сборника стихов, переводы из Петефи, несколько статей. Но по этим книгам видно, каким замечательным поэтом мог бы он стать. Полны лирического обаяния ранние стихи Инь Фу, полные и элегической грусти об уходящей молодости и уверенности в том, что стоит и следует бороться за новую жизнь.

Он писал о своем творчестве в стихотворении «Безмолвие ночи»:

Ни песен, ни вздохов — все ночью молчит,
В глухом тупике в коромысло стучит
Разносчик пельменей.
В каморке будильник печально трещит
И меряет время.

Но вот пелена грозовых облаков
Окутала крылья степных ветряков
И неба лазурь.
Вещают глухие раскаты громов
О близости бурь.

И птицы укрыться от бури спешат,
Торопится женщина с поля назад,
Вот молния... гром!
Гневные строки стихов прозвучат
Вместе с дождем.

(Перевод Г. Ярославцева)

«Гневные строки» стихов Инь Фу звали к борьбе. Описав свои душевные сомнения, «горькое раздумье» о том, хватит ли ему сил для предстоящих боев, он заключил:

Но нет же, нет! Воспрянет вновь
Мой дух неутомимый,
Ведь к жизни жгучая любовь
Со мной неразделима,
Ночь темная еще царит,
И думы одиноки,
Но путь мой — к утренней заре,
К рассвету на Востоке!

(Перевод Л. Черкасского)

Стихи Инь Фу последнего года жизни можно с полным правом назвать его духовным завещанием:

Мы идем вперед, к коммунизму везде во всем мире!
Мы — передовой отряд трудовой молодежи,
Мы, чей лозунг — борьба.

Хорошо сказал о стихах Инь Фу Лу Синь: «Это первый шаг наступающей армии, знамя любви к авангарду и памятник ненависти к палачам... Эти стихи принадлежат новому миру».

Любовь к человеку, безграничная вера в его светлое будущее отличают творчество Жоу Шу (Чжао Пин-фу). Учитель по профессии, он рано узнал тяжелую жизнь простого народа. Жоу Шу родился в 1901 г. в уезде Нинхай, провинции Чжэцзян. Окончив школу, Жоу Шу в 1918 г. поступает в педагогическое училище в Ханчжоу и учится в нем до 1923 г. Будучи студентом, Жоу Шу включается в революционное движение молодежи, в движение за новую культуру. После окончания училища Жоу Шу несколько лет работает учителем в школе. В эти годы он начинает писать. Первой его книгой, увидевшей свет, был сборник рассказов «Сумасшедший». В 1925 году Жоу Шу едет в Пекин и поступает вольнослушателем в Пекинский университет, но через год, не имея средств для жизни в столице, он вновь возвращается в провинцию Чжэцзян и продолжает работу в школе. Репрессии гоминдановских властей, вызванные начавшимися в Чжэцзяне забастовками, вынудили Жоу Шу уехать в Шанхай, где он очень близко сходится с Лу Синем.

Дружба с Лу Синем оказала решающее влияние на всю последующую жизнь Жоу Шу и на его творчество. Жоу Шу становится верным соратником Лу Синя, редактирует организованный Лу Синем журнал «Словесная нить», вместе с ним организует общество «Утренние цветы», издает сборники «Современные рассказы мира», «Утренние цветы сада искусства». Почти всю работу в журнале вел один Жоу Шу.

Он просматривал рукописи, корректировал их, покупал бумагу, бегал по типографиям и т. д. Несмотря на беспрерывно возникающие препятствия и материальные затруднения, Жоу Ши никогда не терял веры в торжество своего дела. Он брался за любую работу, которая могла принести пользу людям, даже если это было в ущерб ему самому. Жоу Ши был одним из инициаторов создания Лиги левых писателей и после ее организации был избран членом бюро Лиги, а впоследствии заведующим редакционно-издательским отделом. В мае 1930 г. Жоу Ши вступает в ряды Коммунистической партии Китая. Как представитель Лиги он принимает участие в работе Первого Всекитайского съезда представителей советских районов.

Перу Жоу Ши принадлежат роман «Февраль», рассказы «Надежда», «Смерть старой эпохи», «Мать-рабыня». Они рисуют современную ему китайскую деревню, жизнь китайского крестьянства в конце двадцатых годов — нищету, его полное бесправие, феодальную эксплуатацию. Произведения Жоу Ши раскрывают перед нами душу «маленького» человека со всеми его сомнениями и переживаниями. Так же как и Лу Синь, Жоу Ши стремится взглянуть на действительность глазами простого народа, показать полное несоответствие политики господствующего класса с интересами народа. Отсюда теплота и нежность автора к простому народу, скорбь и боль за его судьбу и ненависть к его угнетателям. Вот перед нами бедная крестьянская семья («Мать-рабыня»). Муж тяжело болен, необходимы деньги на лекарство. Но взять их негде. Муж решает продать свою жену на два года помещику, чтобы она для помещика, который не имеет детей, родила сына. Жена уходит, оставляя в родном доме маленького сына. Проходит несколько лет. В доме помещика родился сын. Мать вскоре выгоняют: она больше не нужна. Но что ее ждет в родном доме? Мужа уже нет, сын не узнает мать, он забыл ее; мать остается одна. В этом рассказе, как и во всем творчестве Жоу Ши, нашли выражение неиссякаемая любовь и сострадание писателя к простому народу. Недаром в герое самого крупного его произведения «Февраль» Лу Синь видел «огромную беспокойную боль».

Революционной китайской молодежи посвятил свое замечательное произведение «Свет перед нами» Ху Е-пинь, вся жизнь которого прошла в борьбе за возможность учиться и работать, быть полезным своему народу.

Семья Ху Е-пиня жила зажиточно, пока был жив дед. После смерти деда семья разорилась и Ху Е-пинь был вынужден бросить учебу и идти работать.

Он поступил учеником в ювелирный магазин. Три года, проведенные в магазине, были для Ху Е-пиня настоящей пыткой. Любознательный, чуткий мальчик должен был беспрерывно переносить незаслуженную ругань и побои. Однажды в магазине пропало золотое кольцо; Ху Е-пиня обвинили в краже и жестоко избили. Ху Е-пинь бежит в Шанхай. В Шанхае он поступает учиться — сначала в школу, затем в Военно-морскую академию, где обучение было бесплатным. Закончить академию Ху Е-пиню не удалось: ее закрыли. Ху Е-пинь едет в Пекин. У него единственное желание — учиться. Но бесплатных школ в Пекине не было, и больше ему учиться так и не пришлось. Ху Е-пинь страшно бедствует. Единственным источником его существования были частные уроки. Но благодаря им он сближается со студенческой средой. К этому времени относится первое его знакомство с большой литературой — от студентов он узнает о Толстом, Чехове, Горьком, Гете, Гейне, Шекспире, Байроне. Ху Е-пинь полюбил литературу, она стала для него неиссякаемым источником знаний. Денег на покупку книг не было, поэтому Ху Е-пинь очень часто читал книги, стоя у книжного киоска. В 1924 году он вместе с друзьями начинает выпускать еженедельное приложение к газете «Цзинбао» — «Народная литература». Здесь впервые стали появляться статьи Ху Е-пиня под псевдонимом Ху Чун-сюань. В 1928 г. Ху Е-пинь едет в Шанхай. В Шанхае он вместе с Шэнь Цун-вэнем начал издавать журнал «Красное и черное». В этот период им было написано самое значительное его произведение — повесть «В Москву», рассказывающая о духовном пробуждении китайской интеллигенции. Журнал «Красное и черное» просуществовал недолго. После его закрытия Ху Е-пинь едет в Цзинань и поступает работать школьным учителем. Это был период напряженной деятельности; он создает общество по изучению литературы, где отстаивает и проводит в жизнь принципы Лу Синя. В 1930 г. он возвращается в Шанхай, вступает в ряды коммунистической партии и в Лигу левых писателей.

Казнь оборвала жизнь Ху Е-пиня, когда он был в расцвете творческих сил, в момент напряженной работы в бюро Лиги левых писателей.

Вместе с Инь Фу, Жоу Ши, Ху Е-пинем были казнены гоминдановскими агентами Ли Вэй-сэнь и Фын Кэн. Ли Вэй-сэнь — участник знаменитой забастовки на Пекин-Ханькоуской железной дороге, был затем редактором журнала «Молодая гвардия», принимал активное участие в кантонском восстании. Позднее в Шанхае им была организована газета «Шанхайбао», которая была партийным легальным органом до выхода «Хунцижибао» («Красное знамя»). Как представитель Лиги левых писателей он был делегатом на Первом Всекитайском съезде представителей советских районов. Фын Кэн (Лин Мэй) была членом Лиги левых писателей, работала в отделе агитации и пропаганды.

Расстрел гоминдановским правительством группы китайских революционных писателей вызвал бурную волну возмущения во всей стране.

В эти годы известный поэт Сяо Сань писал, обращаясь к Максиму Горькому:

Ты слышал, как умер Ли Вэй-сэнь,
И Жоу Ши, и Ху Е-пинь,
Как погибли Инь Фу, молодая Фын Кэн,
Как не дрогнул из них ни один.
Вырыли тесную яму солдаты,
В ней Ли Вэй-сэнь — живой.
Звери-солдаты, рабы-солдаты
Засыпают его землей.
До груди закопан, сыростью пропитан,
Кричит он:
«Да здравствует коммунизм!»
Вот он и другие писатели с ним
Не хотели богатым служить,
А хотели служить миллионам они,
Учениками Горького быть...

(Перевод А. Ромма)

Свободный китайский народ помнит и чтит в дни побед своих героических сынов, писателей-революционеров. Их вступление в литературу возвестило рождение нового искусства — искусства пролетариата, искусства революционного народа.

Е. Гальперина

Весна во Вьетнаме

Впервые в Советском Союзе вышел небольшой сборник современной вьетнамской поэзии. Впервые мы получили возможность познакомиться со стихами этого замечательного народа, в упорной борьбе завоевавшего свою независимость, смогли составить впечатление о тех настроениях, чувствах, надеждах, которыми живет вьетнамский народ.

В сборнике немало стихотворений, написанных уже после освобождения страны. Поэтому с такой силой встает в нем образ весны, не той весны, которая приходит каждый год, но весны освобождения; это молодость революции, в которой столько уверенности в будущем, столько опьяняющих душу надежд, столько гордости своей победой, завоеванной потом и кровью:

Я беру
свое небо
руками,
Необъятное
небо
свободы...

(Ван Хонг)

В стихах вьетнамских поэтов встают неповторимые дни победы, дни народного ликования, когда людям хочется перечислять все кругом, все, что наконец они могут с полным правом назвать своим. И они говорят: наше небо, наш ветер, наша земля, наши сады... Наш рис, наш буйвол, — говорят крестьяне...

Только представляя себе безмерное, предельное напряжение сил, в котором жил вьетнамский народ восемь лет, ведя упорную, мучительную и закончившуюся блистательной победой борьбу против колонизаторов, можно понять то волнение, с которым говорят и пишут во Вьетнаме о счастье мира. Последней грозой отзвучали орудия Дьен Бьен Фу, и непривычная тишина сошла на истерзанную землю. Зенитчик смотрит в небо и не видит самолетов, он может поболтать с веселыми мальчишками. С передовой тянут пушку, а в ствол ее залетели бабочки. Улицы ликующего Ханоя обагрены не кровью, но алыми знаменами победы. Со слезами счастья глядит старая крестьянка на табличку, где лиловыми чернилами выведено ее имя: наконец-то она получает землю! В крестьянскую семью возвращается буйвол, ранее уведенный захватчиками, крестьяне, плача, обнимают его. Многократно повторяется в стихах образ старой матери, которая столько лет ждала сына-бойца. Скоро она дождется его — бойцы Вьет-Бака возвращаются домой.

Правильно ли просто сказать, что поэты Вьетнама особенно сильны в гражданской лирике? Нет, здесь иное. В поэзии Вьетнама с удивительной силой и чистотой проявляется характернейшая черта современной передовой поэзии — не только слияние, но взаимопроникновение, нераздельность личного и гражданского. Эту черту мы видим в поэзии разных континентов; с особенной силой и резкостью она выступает в годы общенационального подъема, в годы всенародной борьбы за национальное и социальное освобождение. Такова была «Французская заря» Арагона, созданная в годы движения Сопротивления во Франции. Такова «Всеобщая песнь» Пабло Неруды, впитавшая в себя жажду национального и социального освобождения, охватывающую народы Латинской Америки. Такова же и поэзия современного Вьетнама, возмужавшая в суровых боях, во всенародной борьбе против колонизаторов.

«Стихи поэтов Вьетнама». Составление и общая редакция А. И. Палладина, предисловие А. Софронова, редактор Г. Ярославцев, Государственное издательство художественной литературы, М., 1955.

Ты возвращаешься... Ты помнишь ли меня?
Пятнадцать лет любви, связавших нас навеки?

(*То Хыу*)

Эти слова любви, обращенные к бойцу, который возвращается из лесов Вьет-Бака, принадлежат не женщине. Это голос родины, голос родной земли. Где проходит граница, отделяющая здесь гражданские чувства от личных? Всепоглощающая любовь к родине, к своему народу, целиком захватывающая людей жажда освобождения соединяет в единой борьбе миллионы и сплавляет воедино в душе все чувства. Эта страсть порождает и определяет удивительную цельность людей народного Вьетнама и его поэзии.

Знакомясь впервые с вьетнамской поэзией, мы видим, что она проста, ясна, доходчива, выражает чаяния миллионов людей. Но суть ее народности все же прежде всего в том, что она глубоко революционна, что в ней живет непреклонная воля к борьбе, к победе, к будущему счастью на освобожденной своей земле.

Читая стихи, написанные после освобождения, как бы видишь народ на большом переломе его истории. Наиболее сильное и высокое выражение это чувство получило в великолепной поэме То Хыу «Вьет-Бак» — центральной вещи данного сборника. Поэма эта, без сомнения, принадлежит к выдающимся явлениям современной передовой поэзии.

Поэзия То Хыу сразу завоевывает нас. В ней счастливо сочетаются ясная, чеканная революционная мысль, партийность поэта-революционера и редкая артистичность в видении мира, тонкий лиризм, музыкальность стиха.

Поэма «Вьет-Бак» как бы вобрала в себя основные мысли и чувства современной поэзии Вьетнама. Мы понимаем внутреннюю силу людей, которых пятнадцать лет непрерывной и тяжкой борьбы навечно связали с родиной. В стихах То Хыу воссозданы и фронтовая дружба, и тяжесть партизанской войны в сырых лесах Вьет-Бака, и голодные дни, и сила страны, где сама земля, ее горы и воды, леса и туманы, казалось, сражались вместе с бойцами. Но поэма То Хыу говорит и о том, почему беззаветный героизм народа смог привести к победе, почему этот народ, начавший сражаться пиками из бамбука, смог прийти к разгрому экспедиционного корпуса интервентов при Дьен Бьен Фу.

Читая вьетнамские стихи, мы еще раз думаем, что прошли те времена, когда отдельные героические вспышки народных восстаний против колонизаторов потоплялись в реках крови. Победы, достигнутые вьетнамским народом, определены ясным руководством, точной организацией, сильной, всецело связанной с народом и партией. Сила партии Лао Донг — этот мотив красной нитью проходит через стихи вьетнамских поэтов, звучит в строфах «Вьет-Бака», посвященных партии и Хо Ши Мину. Эти годы тяжкой, суровой войны вместе с тем были и годами, когда среди голода и разрушений закладывалось будущее, проводилась в жизнь земельная реформа, миллионы и миллионы людей научились грамоте. И То Хыу, начав свою поэму с лирических слов о любви, обращенных землей Вьет-Бака к уходящему бойцу, в дальнейших строфах говорит о том, что определило победу: о партии, о ее Центральном комитете, и рисует среди картин разрушений сегодняшнего дня реальный образ близкого будущего — мирного труда и счастья.

Из многих столь разных стихотворений сборника, написанных как до освобождения, так и после, складывается обаятельный образ народа Вьетнама, сила которого выковывалась в нечеловеческих страданиях под властью колонизаторов. Большая поэма Нгуена Динь Тхи — поэта, прошедшего вместе с армией весь путь ее героической борьбы, — «Солдат и мать» показывает жизненный путь крестьянского парня, ставшего бойцом народной армии и борцом партии. Можно ли изгладить из памяти народа эти страдания недавнего мрачного прошлого, эти побои и унижения, замученных отцов, изнасилованных сестер, отнятую землю, эти жалкие куски каменистой почвы, из которых невероятными усилиями выжимали немного риса? Но эти образы колониального ада объясняют решимость людей драться до победного конца, огромную силу народов, которым нечего было терять.

Прекрасные стихи и песни создавались во Вьетнаме во время войны. В десятках обликов предстает в них образ борющегося народа. «Бамбуковые пики» — стихотворение, написанное партизанкой Нгуен Тхи Кьем, — поражает своей непреклонной волей, мужеством, страстью борьбы. Чудесна «Ночная жатва» Кинг Ха — картинка военного времени, когда ребятам приходилось ночами учиться, а крестьяне ночами в спешке убирали урожай. Трогательна маленькая жанровая картинка «Обращение к буйволу» Нгок Тюена, где мальчонка просит буйвола не мычать, чтобы не услышал враг.

Особенно трогают те стихи военных лет, где раскрывается вся глубина и чистота чувств, связующих воедино командиров, бойцов, крестьян, политработников, оставшихся в тылу матерей и жен. Стихотворения, зачастую написанные в форме писем или обращений, говорят о глубоком гуманизме народа, сумевшего пронести нежность сердца нетронутой через ужасы войны, более того — о гуманизме, окрепшем в испытаниях. В стихотворении Чанг Хыу Тхунга «На рисовом поле» создан образ глубокой преданности и верности молодой крестьянки своему мужу-бойцу, любовь к которому не отделима для нее от ее долга, от ее дела. В стихотворении То Хыу «Встреча» поэт в маленькой картинке, рисующей мимолетную встречу политработника и рядового бойца, раскрывает всю

тонкость чувств, связывающих этих чужих и вместе с тем столь родных друг другу людей, всю нерасторжимость их братства. Вновь и вновь возникают во вьетнамской поэзии чудесные образы матерей, старых крестьянок, седых и морщинистых, одни из которых так и не дождутся сыновей, а другие дожили сейчас до счастья встречи. И рядом образы маленьких героев — детей, храбрых маленьких, похожих на веселых птиц, связных, которые шли вприпрыжку по тропам Вьетнама, и боролись, погибали, побеждали вместе со всеми («Лыом» То Хыу, «Маленький связной» Нгуена Динь Тхи).

Сейчас все это уже прошлое. Но без этого прошлого не поймешь те новые радостные темы, к которым обратилась ныне поэзия Вьетнама: образы победы, весны, мирного труда.

И только одна тема звучит и сейчас напряженно и трагически. Это тема Юга. Ей посвящено в сборнике яркое стихотворение Суана Зьеу «Любимому Нам бо», к сожалению, испорченное небрежным переводом В. Журавлева. Поэт, в творчестве которого образ Юга занимает большое место, сильно, страстно написал о нерасторжимости страны, о тысячелетней связи Юга со всей страной. Как не может быть разорвано на части сердце поэта, так не может жить страна разорванной на части. Переходя к мирному труду, освобожденный Вьетнам помнит о Юге, о его героических людях, о совместной борьбе.

Большие поэмы, походные песни, жанровые картинки, военная лирика — все это дает разнообразное представление о современной поэзии Вьетнама. Довольно широко представлено творчество То Хыу и Нгуена Динь Тхи. Обращают на себя внимание стихи Чанг Хыу Тхунга — поэта крестьянской темы. В его полных мягкого лиризма стихотворениях «Колыбельная», «На рисовом поле», «Мальчик, пой еще!» вьетнамская деревня предстает живой, человечной, очень близкой нам.

Радует то, что во вьетнамскую поэзию вливается творчество поэтов нацменьшинств. В сборнике представлены поэты народностей ман и тхо. Интересный, глазами крестьян данный образ Хо Ши Мина создал известный поэт народности тхо, побывавший в Советском Союзе, — Нонг Куок Тян («Отряд старого командира»).

И все же впечатление, которое создается у советского читателя о вьетнамской поэзии после прочтения этого сборника, — очень приблизительное. Сборник создавался весьма спешно, и, вероятно, поэтому в подборе стихотворений и в переводах допущено много небрежностей. Не чувствуется руки требовательного и вдумчивого редактора.

В этом первом вьетнамском сборнике на русском языке ясно ощущается отсутствие хотя бы немногих образцов вьетнамской классической поэзии. Можно также пожалеть, что совсем выпала и сатирическая струя как в старой, так и в современной поэзии, столь сильная во Вьетнаме. Очень мало и далеко не всегда удачно представлена современная народная поэзия. А она ведь играет такую большую роль в искусстве Вьетнама.

Кроме небольшого предисловия А. Софронова, такая антология, конечно, нуждается и в специальной вводной статье о вьетнамской поэзии и, во всяком случае, в сведениях об авторах, что помогло бы читателю разобраться в малознакомом ему материале.

Особо надо говорить о переводах, помещенных в сборнике. Качество их очень неравноценно; здесь есть и талантливые, и приемлемые, и просто плохие переводы.

И. Тыняновой удалось тонко, музыкально, с большой выразительностью передать красоту поэмы То Хыу «Вьет-Бак». Очень тонко, близко к подлиннику и с большим лиризмом сделан ею перевод «Убитого солдата» Нгуена Динь Тхи. Близки к подлинникам квалифицированные переводы О. Савича, особенно перевод прекрасного стихотворения Кинг Ха «Ночная жатва». Вдумчиво сделан ряд переводов А. Голембы, особенно темпераментно и сильно звучат у него «Бамбуковые пики». Хорошо, по-настоящему песенно, звучит по-русски партизанская песня Ван Као «Мое селение» (перевод С. Северцева).

Очень пестры работы даровитого и хорошо владеющего русским стихом В. Журавлева. Теплы, просты, лиричны такие его переводы, как «Обращение к буйволу» Нгок Тюена или «Колыбельная» Чанг Хыу Тхунга. Но народные песни в его переводах — «Когда мы сажаем рис» и особенно «Союз рабочих и крестьян» и «Только теперь» — совершенно бесформенны. Это просто прозаический текст, и он может дать советскому читателю совершенно ложное представление о народной поэзии Вьетнама. Многое в качестве переводов и редактуры этого сборника не может не вызвать возражений.

«Убитый солдат» Нгуена Динь Тхи, данный в переводе И. Тыняновой, помещен почти рядом с другим переводом Н. Разговорова, — сильно сокращенным, бесцветным и неточным под заголовком «Другу». Видимо, в спешке редактор даже не заметил, что это одно и то же стихотворение.

Поэмы То Хыу «Вьет-Бак» и Нгуена Динь Тхи «Солдат и мать» опубликованы с большими сокращениями, на что нет ни малейших редакционных указаний. Между тем это дает читателю неправильное представление о поэмах. В частности, великолепная поэма «Вьет-Бак», конечно, должна быть показана русскому читателю в более полном виде.

Гимн Вьетнама дан в вольном, хорошо звучащем по-русски переводе С. Болотина и Т. Сикорской, с характерными для этих переводчиков (но вовсе не для гимна!) далекими рифмами. Ритмически он очень мало напоминает гимн Вьетнама. Имели ли

право переводчики поместить неточный перевод стихотворения, ставшего государственным гимном? Думается, что имели, но обязательно оговорив, что это перевод вольный, чего не было сделано.

Сборник пестрит утомляющими рифмами-клише «свобода—народа» и так далее. Даже у квалифицированных переводчиков попадается много несуразностей. Так, в переводе В. Журавлева сильного, программного стихотворения «Любимому Нам бо» мы читаем, что враг «заковал Нам бо в железо» и непонятным образом «сбросил под уклон». Здесь же непонятная строка: «Как забились на рассвете горы и луга». Как можно было в стихотворении То Хыу «Майское утро» допустить следующие нелепые строки: «Разрешите, дядя Хо, поцеловать ваши белые седины, словно мир». Стихотворение То Хыу «Лыом» начинается со странной строки: «В те дни, когда погиб Хюэ...», заставляющей неискушенного читателя думать, что Хюэ — это человек, а не город в Центральном Вьетнаме, и так далее.

Небрежностей немало, и они омрачают нашу первую встречу с поэзией Вьетнама.

Хотелось бы, однако, по поводу этого сборника поставить один общий и давно уже назревший вопрос. Это вопрос о самом внимательном отношении к национальной форме переводимой поэзии.

Данный сборник в гораздо большей степени дает представление о круге тем, чувств, интересов, свойственных вьетнамским поэтам, чем о характере вьетнамской поэзии.

Но разве не то же самое было года два тому назад, когда вышел первый сборник индийской поэзии? Разве в нем можно было ощутить, например, традиции, связывающие старейшего индийского поэта Валлатхола с классическими формами индийской поэзии? Разве не появляются у нас во множестве переводы современных английских, греческих, африканских, австралийских, французских, турецких стихотворений, похожих друг на друга, как две капли воды? Достаточно напомнить многие переводы Н. Разговорова, Музы Павловой, В. Журавлева.

Можно ли, чтобы Валлатхол и То Хыу, греки и французы переводились каким-то среднеарифметическим стихом, не дающим читателю почувствовать ни национального, ни индивидуального своеобразия поэтов?

Конечно, национальная форма прежде всего включает самую образность поэзии, реалии, внутренние ассоциации образов, подтекста стиха, связанные со всей культурой, со всем своеобразием истории и жизни данного народа.

Но ведь и самый характер стиха, строфика, характер рифм, как бы они ни были индивидуальны, связаны и с традициями национальной поэзии и с ее современными задачами.

Так, например, вьетнамские поэты усиленно подчеркивают преемственную связь своей поэзии с формами народной и классической поэзии, которые они ныне сознательно продолжают и развивают. В этом есть даже очевидное отталкивание от распространенного в ряде западных стран (например, в Англии, США, Франции) и часто довольно бесформенного белого стиха.

Между тем некоторые стихотворения, помещенные в сборнике, воспринимаются как посредственные переводы привычной западной поэзии; таковы стихотворения «Звезды, товарищи» или «Ночью о звездах» (перевод Н. Разговорова), «В защиту мира» (перевод В. Журавлева), «Песня о фестивале» (перевод Ю. Хазанова) и немало других.

Некоторые же переводчики сборника без всяких оснований отказались от рифмованного стиха. Анна Ахматова, переводя прелестное стихотворение То Хыу «Лыом» — нечто вроде баллады о героическом маленьком связном, — в сущности, дала не перевод, а очень точный подстрочник. Она опустила рифмы и «выгладила» характерные перебои строфики. Думается, в данном случае этого не следовало делать — рифмованный стих имеет для вьетнамских поэтов особый смысл, связанный с национальной традицией. Большинство переводчиков с полным основанием применяли традиционные формы русского классического стиха. Но часто стих засорен шаблонными оборотами, повторениями общих мест, например в стихотворении «Нам благо народа дороже всего» (перевод С. Болотина), в патетическом по теме и очень плохо переведенном стихотворении «Бессмертие» (перевод А. Тверского) и так далее. А, кроме того, мы во многих случаях не ощущаем ни своеобразия, аромата вьетнамской поэзии, ни индивидуальности отдельных поэтов.

Вот почему радуют работы начинающего переводчика В. Карпова. Заинтересовывает его стремление самой интонацией стиха, удачным применением мужских рифм, предельной сжатостью строки передать особенности вьетнамского стиха. Его переводы запоминаются, а перевод маленького стихотворения То Хыу «Народ — как море», сильный, лаконичный, подстать зрелому мастеру:

Народ —
как море;
Искусство —
как челн,
Летящий
в просторе
Средь бьющихся волн.
У лодки
путь дальний,
Но парус
надут,

Ветер —
партия,
Парус —
труд.

Часто говорят: как требовать проникновения в национальное своеобразие поэзии при переводах с подстрочников? А без них пока еще не обойтись при переводах с бесчисленных языков мира, и восточных в частности, которые сегодня еще мало доступны нашим поэтам-переводчикам. Укажем, однако, на удачный опыт работы в области классической венгерской литературы, где сотрудничество знатоков венгерской поэзии с первоклассными советскими поэтами привело к созданию хороших переводов.

Интерес к вьетнамской поэзии у советских читателей уже пробужден. Они захотят узнать полнее и творчество То Хыу, и вьетнамскую классическую поэзию, и более тщательно донесенные образцы современной поэзии Вьетнама. Надо надеяться, что более полно составленные антологии вьетнамской поэзии выйдут в ближайшем будущем.

Н. Рыкова

„Христос оотановился в Эболи"

Двадцать лет назад — в 1935 году — художник и писатель, активный антифашист Карло Леви был сослан правительством Муссолини в самые бесплодные, унылые и нездоровые места итальянского юга — Луканию. Там в затерявшейся среди глинистых горных хребтов деревушке Гальяно художнику предстояло прожить три года. Но в это время шла итало-абиссинская война, закончившаяся, как известно, «победой» современных бомбардировщиков над почти средневековым оружием эфиопов: амнистия по случаю взятия Аддис-Абебы (в 1936 году) вернула Карло Леви из ссылки. Однако увиденное и пережитое в Гальяно не забывалось. Вторично оказавшись в заключении, уже в годы второй мировой войны, Карло Леви мысленно вернулся в Гальяно и написал книгу о тех, среди кого он прожил тогда целый год; о крестьянах Лукании,— поэтическую книгу, проникнутую любовью, сочувствием и уважением к этим людям, обездоленным людям Италии.

До объединения Италии в шестидесятых годах прошлого столетия Лукания входила в состав Королевства Обеих Сицилий, где господствовали реакционнейший абсолютистский режим и беспощадная феодальная эксплуатация сельского населения, которое едва существовало на тощей и нищей земле, голодало, вымирало или уходило в эмиграцию. В буржуазной объединенной Италии положение Юга не изменилось, Юг же дал Италии свою «проблему»: что делать с несчастной, вечно голодной областью, неподвижно застывшей в средневековье, в то время как Север далеко ушел по пути капиталистического развития, а Центральные провинции тоже, хотя и медленнее, движутся по пути прогресса? «Проблема Юга» стала больным местом буржуазной Италии: о ней ведутся дебаты в парламенте, пишутся статьи, книги, ее обсуждают экономисты, политики, о ней спорят либералы, социалисты, католики. Но на протяжении последних ста лет она так и остается нерешенной. Захватив в 1922 году власть, фашисты сперва заявили, что наряду со всеми другими проблемами будет решена и южная, а потом декларировали, что это уже сделано, что проблема Юга больше не существует. Тем не менее в городишках и селах Лукании все осталось, как было. Об этом-то и говорит Карло Леви в своей книге «Христос остановился в Эболи».

Книга эта — не политико-экономическое исследование, а художественный репортаж. Уже само заглавие — поговорка местных крестьян — раскрывает идею книги в образной форме. Места, о которых рассказывает Карло Леви, забыты богом: сюда не дошел Христос, не дошла христианская цивилизация. «Христос действительно остановился в Эболи, где шоссе и железная дорога отходят от холмов Салерно и моря и углубляются в заброшенные земли Лукании». Карло Леви много пишет в книге о себе как политическом ссыльном фашизма, но личная тема органически переплетается с темой крестьянской жизни и крестьянской судьбы. Содержание книги — несчастный и обездоленный Юг как нечто непосредственно увиденное, ощущенное, пережитое человеком, пришедшим со стороны, но стремящимся не только понять людей, среди которых он очутился, но и, главное, помочь им. Поэтому в очерках Карло Леви мы сразу же обнаружили два аспекта: один — разоблачительный, другой — патетический. Рассказывая о крестьянах Лукании, автор создает образ народа вечного, не умирающего, постоянной жертвы классового общества и государства.

Мир отсталой итальянской провинции — мир Гальяно, Грассано, Матеры — разделяется на две части. Меньшая — это синьоры, бо́льшая — крестьяне. Однако синьоров не следует представлять себе в виде феодальных рыцарей в латах и с мечами;

Карло Леви, Христос остановился в Эболи, перевод с итальянского и предисловие Г. Рубцовой, Издательство иностранной литературы, 1955.

у Карло Леви это те люди из мелкой буржуазии и чиновничества, которые действуют в качестве чиновников фашистского режима и для которых, как для средневековых феодалов, крестьяне — овцы, подлежащие стрижке. Изображая этих людей и их деятельность, Карло Леви разоблачает легенду о ликвидации «проблемы Юга» благодаря «поспешествующей милости» фашистского государства. Он рассказывает печально смешные и печально жестокие «случаи», реальные анекдоты о том, как городские и сельские власти пренебрегают подлинными нуждами крестьян, как народное образование превращается в нелепый балаган, здравоохранение — в издевательство над крестьянами, гибнущими от злокачественной малярии, как установленный «в интересах сельского хозяйства» налог на коз вынуждает крестьян резать коз, почти единственную опору бедных хозяйств. Он рассказывает, как обирают жителей Гальяно налоговый инспектор, невежественный врач, бессовестный аптекарь. Центральным и, так сказать, «обобщающим» персонажем из мира синьоров в книге Карло Леви выведен гальянский подеста, сельский учитель Луиджино Магалоне. В сущности, в этих очерках он один представляет всю фашистскую систему и предельно типичен: на языке — демагогическая фразеология о «народном благе», «величии Рима», «задачах Италии», в действительности — мероприятия вроде постройки монументальной общественной уборной (которой нельзя пользоваться, ибо в Гальяно нет водопровода) да митингй по поводу абиссинских «побед», на которые стоняется равнодушное к войне или же осуждающее войну население. Магалоне — фигура комическая: он невежественен, самодоволен, глуп, тщеславен, по своеобразному определению Карло Леви, инфантилен (ибо его деятельность — игра в живые солдатики, которой он упивается), но он же фигура зловещая, ибо объективный результат его «игр» — трагедия простого народа. В предисловии Г. Рубцова правильно отмечает, что «Карло Леви не вскрывает классовых корней фашизма»; дело, однако, в том, что книга Леви — не трактат, и ему не обязательны здесь упоминания о финансовой олигархии и империалистических кругах. Луиджи Магалоне — исчерпывающий в своей типичности образ фашиста-«массовика», одного из тех мелких буржуа, которые составляли костяк фашистской партии; из них вербовались ее низшие чиновники, так сказать, младшие командиры, непосредственные обманщики и угнетатели народа.

Впрочем, в книге Леви действуют и главари фашистской Италии; правда, на втором плане; крестьяне Луканни выразительно называют их «те из Рима». «Те из Рима» стоят за каждым малым и большим бедствием, которые в изобилии сыплются на крестьян этой грустной земли.

В Луканнии Карло Леви узнал самых обездоленных экономически и самых отсталых культурно крестьян Италии. Он увидал полудикий быт, в котором сохраняются пережитки патриархальных и даже матриархальных отношений, где царят древние суеверия, где в ходу магия и колдовство, и где все это сочетается с глубочайшим «мужицким» здравым смыслом, стремлением к разумной и справедливой жизни, отчетливым чувством естественной человеческой этики. Сочетание этих элементов и дает то, что Карло Леви называет крестьянской культурой, высоко ее оценивая и противопоставляя ее культуре городской, культуре современной буржуазной Италии. В предисловии об этой оценке говорится как об идеализации, но, может быть, более правильно было бы сказать — поэтизации. Как художник, Карло Леви глубоко чувствует примитивную искреннюю поэзию одушевления природы; он внимательно наблюдает, слушает и рассказывает читателю обычаи, поверья и предания, рассказывает поэтично, с едва заметным юмором. О колдовстве он говорит так, как будто действительно верит, что его работница Джулия, которая варит ему пищу и убирает комнату, одарена сверхъестественными силами, общается с нечистой силой и в курсе всех привычек и повадок ангелов, но понятие «ведьма» означает здесь просто личность более яркую, сильную, волевую, чем большинство крестьянских женщин, существо, осмелившееся жить более свободно и поставившее себя в н е общественной критики, прикрывшись щитом ведовства. Передавая рассказы крестьян о полевых и горных духах — монаккикио, или героическую и в то же время ироническую легенду о борьбе князя Колонна с драконом, легенду, в которой так верно понята крестьянами суть феодальных отношений, Карло Леви раскрывает все очарование художественной фантастики и художественной правды крестьянского фольклора. Замечателен в книге эпизод с представлением импровизированной крестьянами пьесы. Поводом для спектакля послужила гибель одного хуторянина из-за того, что фашистские чиновники не разрешили Карло Леви (по профессии он не только художник, но и врач) своевременно оказать ему медицинскую помощь: свой гневный протест крестьяне выразили в драме, где ангел-врачеватель и мрачный демон борются над телом смертельно больного человека и где союзником сил тьмы выступает чиновник из Рима (вот они, «те из Рима»!). Здесь автор как бы подводит читателя к истокам театрального искусства: самый факт представления связан с культом (комедия разыгрывается ежегодно в первые дни поста), и по форме данная пьеса — традиционная мистерия, но содержание ее — социальная сатира, злободневная и хлесткая. Все, что касается ведовства, магии, преданий и поверий, Карло Леви излагает особым стилем, с нарочитой серьезностью и скрытым лукавством, якобы солидаризируясь с примитивной крестьянской верой, чтобы лучше разглядеть и постичь методом с о ч у в с т в и я душу самых отста-

лых, самых «простых» людей. Вот почему во всем этом нет ни грана эстетского любования экзотикой примитива, а есть бережное внимание к тому, что и как думает и чувствует народ, преступно, насильственно отлучаемый буржуазным государством от цивилизации. Крестьяне, которых изображает Карло Леви, очень хорошо понимают пользу современного образования, хотя бы в форме элементарной грамотности, но их не учат, они готовы довериться современной медицине (как трогательно верят они самому автору книги!), но их не лечат, они готовы обращаться к государству, к закону, к праву, но государство обманывает и обирает их. И они «уходят в себя», к своему примитивному сознанию, к истокам самой культуры.

В книге Леви много говорится о разбойничестве, в котором еще сравнительно недавно выражался активный протест крестьянских масс против несправедливостей и жестокостей враждебного им государства. Карло Леви признает правоту «разбойников» и вместе с тем с горечью говорит о неизбежной обреченности крестьянских восстаний и в конце книги высказывает ряд соображений о том, как может быть решена «проблема Юга» таким государством, которое действительно захочет ее решить и спасти народ Лукании от вырождения и гибели. Изложены эти соображения очень бегло, да и недостаточно обоснованы. Не следует забывать и того, что Карло Леви, обращаясь к прогрессивным силам Италии, высказал их десять лет назад. С тех пор многое прояснилось, и в политической программе общественных группировок, борющихся за прогрессивное развитие Италии, важность и специфичность крестьянской проблемы понята и учтена. Однако самое главное в мыслях, высказанных Леви, остается живым и актуальным: это призыв отказаться при подходе к проблеме Юга от предвзятости и доктринерства, призыв конкретно изучить жизнь и чаянья людей, которых надо вывести из тупика, призыв решать проблему при их же непосредственном и живом участии, ничего не навязывая массам, но опираясь на них и прислушиваясь к их голосу.

Нарисованная Карло Леви картина выходит за пределы Лукании, за пределы «проблемы Юга». Со страниц его правдивой книги встает неприкрашенная, обездоленная Италия с ее чудесным народом.

Нельзя не отдать должного и еще одной стороне книги К. Леви. Автор ее — художник-живописец, и это чувствуется. Он прежде всего в и д и т свой предмет и дает ему в первую очередь живописную характеристику. Оценка людей и явлений очень часто не формулируется, а дается в рисунке, краске, в пластическом впечатлении от предмета. Так, желая сказать читателю, что его служанка — ведьма Джулия Венера — личность сильная и своеобразная, он рисует ее портрет, обстоятельный, развернутый, подробный, и даже свойства характера («мрачная ирония, прирожденная жестокость, непостижимое упорство и полная силы пассивность») фигурируют здесь как в ы р а ж е н и е л и ц а, как результат предельно внимательного изучения живописной натуры. Все, что говорится о подестѐ Луиджи Магалоне на протяжении книги, является как бы развитием и углублением первого чисто внешнего впечатления от человека: «Это был высокий полный молодой человек с гривой черных напомаженных волос, в беспорядке падающих на лоб, с желтым безбородым лицом, круглым, как полная луна, с черными злыми глазами, лживыми и самодовольными». Придавая большое значение тому факту, что в суеверных крестьянах Лукании нет настоящей религиозности, Карло Леви очень много говорит о том, что их не затронула христианская, католическая цивилизация. Но самое убедительное свидетельство этого дает нарисованная им картина праздника черноликой Мадонны ди Виджано, картина, которая, давая «объективно живописный» отчет о нем, характеризует христианское торжество как некое отправление древнего земледельческого культа.

Живя в Лукании, Карло Леви много рисовал. В своей книге он словами передает созданные им пейзажи. Бесплодность, жесткость, недружелюбность луканской земли, на которой так трудно жить и работать, которая не хочет кормить людей, наглядно встают перед читателем: «Луна заполняла небо и, казалось, лилась на землю. Подо мной была земля, далекая, как луна, белая от ее молчаливого света, без единого растения или травинки, истерзанная, изрытая, изборожденная, продырявленная вечными водами. Глины устремлялись к Агри буграми, пещерами, извилинами, причудливо меняющимися в игре света и теней, и мы молча искали дорогу в этом лабиринте, созданном веками землетрясений». Словесная живопись Карло Леви — один из наиболее важных элементов его художественного реализма, она полнее раскрывает содержание книги, делает очевиднее и убедительнее мысль автора, не просто иллюстрируя, а непосредственно выражая ее.

Большая заслуга Г. Рубцовой в том, что линии и краски Карло Леви не стерлись и не потускнели в русском варианте (как это бывает при переводах). Язык перевода богат, поэтичен, экономная, насыщенная фраза хорошо передает сдержанность и «объективность» и в то же время скрытый лиризм оригинала.

А. Чичерин

„История английской литературы"

Коллективная «История английской литературы», отдельные выпуски которой появляются с 1943 года, наиболее обстоятельный, богатый фактами советский научный труд, посвященный развитию одной из самых значительных национальных литератур Запада. В этой большой работе ясно проявляются те преимущества, которые дает исследователям методология советского литературоведения. Авторы показывают литературные явления в тесной связи с исторической действительностью, с общественной борьбой, с освободительными устремлениями народа. «История английской литературы» проникнута глубоким уважением к культурным сокровищам, созданным английской нацией.

Новый выпуск коллективного труда посвящен важному периоду в истории английской литературы — периоду критического реализма, который возглавляют Диккенс и Теккерей. Это эпоха, когда богатые многовековые традиции английской литературы проявляются очень полно, сочетаясь с острой борьбой за новое, с критикой собственнической идеологии, с идейными исканиями, которые порождены чартистским движением и особыми условиями английской действительности середины XIX века. Это эпоха, от которой тянутся ясные творческие нити, обогащающие все дальнейшее развитие передовых течений в литературе Англии.

Ряд значительных достоинств новой книги привлекает к ней самое живое внимание. Впервые в труде по истории литературы этого периода дан такой обширный раздел, посвященный поэзии чартизма. Впервые показана роль рабочего движения Англии в формировании критического реализма, причем с достаточной ясностью раскрыты противоречивые взгляды наиболее выдающихся писателей. Совокупностью ряда фактов обоснована мысль, что критический реализм в Англии был отражением антибуржуазного могучего движения народных масс.

Впервые так определенно ставится задача показать борьбу разных идейных направлений в английской литературе середины XIX века. Наряду с Диккенсом, Теккереем, сестрами Бронте, Елизаветой Гаскелл уделено довольно много места другим, вполне заслуживающим внимания писателям: Джордж Элиот, Роберту Браунингу, Теннисону, Дизраэли, Карлейлю, Троллопу, Коллинзу.

Всегда ли верно установлены при этом взаимоотношения и связи разнородных литературных явлений?

Совершенно очевидно, что Диккенс, Теккерей, Шарлотта Бронте, Елизавета Гаскелл в литературе критического реализма занимают выдающееся место. Они не только талантливее, они *смелее* и *правдивее* других романистов своего времени. В этом смысле обоснованным является то противопоставление их ряду писателей, от Бульвера до Троллопа, которое проводится во всей книге и особенно настойчиво звучит в заключении.

Однако противопоставлять — еще не значит отрывать. А в «Истории английской литературы» великие писатели связаны с социальным движением своего времени, но в то же время оторваны от своих предшественников, современников и последователей. Остановимся только на *одном* примере такого отрыва.

С первых строк, посвященных Бульверу-Литтону, А. Елистратова говорит о том, что он «пытался подражать то Годвину, то Скотту, то Бальзаку и Диккенсу, то романистам «сенсационной» школы во главе с Уилки Коллинзом» (стр. 38). «Пытался подражать...» Речь идет, видимо, о писателе, которому даже и подражать не удавалось, о писателе, ничего не имевшем за душой и хватавшемся за что попало. «Поверхностность и претенциозность» — вот единственное, чем определено своеобразие Бульвера во вступительной общей характеристике.

Спору нет, вряд ли кто-нибудь приравняет Бульвера к Диккенсу, как и Нарежного — к Гоголю, Писемского — ко Льву Толстому. Но странно было бы главу о Писемском начинать с утверждения, что он несравненно ниже Толстого. Утверждение такого рода, само по себе верное, в качестве исходного тезиса непоправимо исказило бы понимание роли по-своему ценного писателя.

Не давая внимательного анализа ни одного произведения Бульвера, А. Елистратова хочет подтвердить свое мнение рядом ссылок, в частности на суждения Теккерея и Чернышевского.

Однако Теккерей вовсе не относился отрицательно ко всему написанному Бульвером. Наоборот, он подчас преувеличивал его значение, ставя его в один ряд с Диккенсом, среди лучших писателей своего времени *. Он говорил, что антипатия к произведениям Бульвера сочетается у него с «немалым восхищением» **. Литературный антагонизм Теккерея и Бульвера представляет большой интерес, но совсем не должен сводить на нет историческую роль менее крупного писателя.

«История английской литературы», т. II, вып. второй, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, издательство Академии наук СССР, М., 1955.

* «The Letters and Private Papers of W. M. Thackeray», L., 1945—1946, Vol. III, p. 409, а также Vol. II, p. 780.

** Там же, т. II, стр. 485.

Н. Г. Чернышевский, говоря очень резко о пошлости Бульвера, в то же время не только отмечает у него наличие таланта, но даже считает, что в каком-то отношении «роман Бульвера» «много лучше наших Обломовых»*. Главное вся совокупность рассуждений Чернышевского ведет совсем не к тому, чтобы унизить Бульвера, а к подтверждению интересной и важной мысли. Подобно тому как Белинский противопоставлял Герцена Гончарову, Чернышевский противопоставляет Годвина Диккенсу, Фильдингу, Бульверу. У Годвина, говорит он, меньше таланта, но у него есть нечто другое, не менее важное, чем талант: ясность и строгость мысли, передовые убеждения. Совершенно верно, что Бульвер, у которого и сатира, и анализ характеров, и жадный интерес к быту никогда не были объединены сколько-нибудь глубокой общей идеей, был самой яркой противоположностью поборнику социальной справедливости Годвину. В таком противопоставлении писателей различного идейного склада и заключается смысл этих высказываний Чернышевского, а не в том, чтобы просто кого-то сбросить со счетов.

Никак нельзя согласиться с тем, будто бы внимание Пушкина к роману Бульвера «Пелам» объясняется только «шумным успехом» этой книги и сделанной в ней «попыткой реалистического изображения светских нравов» (стр. 40). Пушкин был строгим критиком современной ему западной литературы. Он порой относился слишком сурово к писателям, только что начинавшим свое литературное поприще. Но высокая оценка и пристальный интерес его к тому или другому автору всегда были оправданы.

В библиотеке Пушкина были собраны ранние произведения Бульвера и в подлиннике и во французском переводе. Работая над самым значительным из своих незавершенных романов, Пушкин думал о «русском Пеламе» — Пелымове, ставил перед собой задачу создать русский реалистический, остро социальный и глубоко психологический роман, перерабатывая по-своему опыт английского писателя. Как и в суждениях Пушкина о Шекспире, о Расине, о Байроне, о В. Скотте, о Констане, о Стендале, так и в этом случае поэта-критика интересует не столько то, что в «Пеламе» есть «изображение светских нравов», сколько внутренний строй романа, строй его образов, уровень и характер познания жизни.

Верно ли, будто в этом романе — «отказ от обличительной критики общества»? (стр. 40). Где, в чем этот отказ? Это утверждение ни на чем не основано. Напротив, в «Пеламе» имеется очень острое для того времени (1828) понимание не только светского общества, но и политических интриг и разных социальных сфер, совершенно реально сочетающихся в романе. И когда Бульвер в предисловии к «Пеламу» говорит о том, что «наблюдательность может извлечь мед из любой сорной травы, которая растет вдоль большой дороги жизни»*, то этот принцип оказывается оправданным в его книге.

Мы думаем, что невозможно было ограничиться категорическим осуждением Бульвера-Литтона. Исследователю стоило задуматься над тем, не принадлежат ли композиционно рыхлые, многословные ранние романы этого писателя к той творческой лаборатории, где формировались элементы критического реализма.

Гораздо более глубокое изучение предшественников, современников и последователей Диккенса, Теккерея, Ш. Бронте и Е. Гаскелл показало бы, что эти четыре выдающихся писателя были совсем не так одиноки, как это представлено в «Истории английской литературы». Они сопротивлялись всему, что было им чуждо. Но многие острые социальные темы, родственные творчеству этих больших реалистов, пробивались в литературе, их окружавшей.

Одиноким великаном представлен Диккенс в главе, написанной И. Катарским. Имена Бульвера, Коллинза, Карлейля чаще всего вспоминаются либо для того, чтобы сказать, что Диккенс не имел с ними ничего общего, либо для чисто фактических обозначений, не связанных ни с какими обобщениями. В конце главы есть одно упоминание о связи «Повести о двух городах» с романами В. Скотта. Но это упоминание случайное и беглое. Так же бегло (стр. 171) упомянуто, что Диккенс «*любил*... Фильдинга, Смоллета и др.» (Курсив мой.— *А. Ч.*)

Обстоятельно написанная глава о Диккенсе дает много нужных сведений. Говоря, что Диккенс «смотрел на жизнь не глазами господствующих классов, а глазами человека из народа» (стр. 171), что чартизм оказал на писателя глубокое влияние, И. Катарский подтверждает этот тезис на деле анализом всех произведений автора «Оливера Твиста», в то же время не скрывая в этом случае сложностей и противоречий.

Все же в этой главе, одной из центральных, не видно исследовательской, глубокой постановки тех вопросов, которые живо волнуют и историка литературы, и писателя, и студента. Ни понимания места Диккенса в общем развитии литературного процесса, ни проблемы творческого метода, ни глубокого раскрытия образов в этой главе нет.

Как известно, литература — это человековедение. Как же раскрыто и понято человековедение Диккенса? Мы находим ряд отрывочных сообщений о том, что Оливер Твист родился в работном доме, что он «на собственном опыте познает всю ханжескую бесчеловечность буржуазной благо-

---

* Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XII, М., 1949, стр. 682.

* Pelham or the Adventures of Gentleman» by Sir E. Bulwer Lytton, Leipzig, 1842, p. XXXV.

творительности», что у него «в основе своей здоровая и честная натура». Но в какой степени это глубокий, конкретный образ, *чем он трогает сердце читателя,* — вопросы такого рода не ставятся И. Катарским.

Довольно подробно сказано о романе «Домби и сын». Все, что сказано, само по себе в общем верно: «Домби суров, чопорен, холоден». «Типичный буржуа, Домби с презрением относится к «низшим» классам». Фирма для него — все. Деньги — самая большая сила.

Однако автор цитирует высказывание И. С. Тургенева: «В прелестном романе «Домби и сын» тонкость психологического наблюдения соединяется с... самою трогательною поэзией». А. Белинский видит в этом романе что-то «чудовищно-прекрасное». Цитаты эти приведены, но они оторваны от текста И. Катарского. Где же в образе Домби «тонкость психологического наблюдения», где же в романе не только чудовищное, но и прекрасное?

Неумение видеть в «Домби и сыне» то, что видели Белинский и Тургенев, сказывается в полном игнорировании образа, который является носителем самых светлых идей автора,— это Флоренс. Замечания о народности Диккенса остаются сухими и неубедительными, когда они не связаны с глубоким изучением его образной системы. Флоренс, убегающая из чопорного, богатого дома отца к беднякам, простым людям, могущая только в их среде найти удовлетворение своим душевным запросам,— вот живой идеал Диккенса в этом романе. С этим образом, а также с образами Агнесы, семьи Пеготти («Давид Копперфильд») связана важнейшая для творчества Диккенса проблема положительного героя, а вместе с тем и своеобразие этого романиста в ряду его современников не только в Англии, но и во всей западноевропейской литературе. В образах этого рода сказываются и сильные и слабые стороны мировоззрения Диккенса, в них видна ясная связь его взглядов и его мастерства.

Удачно характеризуя композицию романа «Холодный дом», И. Катарский совершенно необоснованно говорит об «условной сюжетной схеме» таких романов, как «Мартин Чазлвит» или «Давид Копперфильд», тогда как в этих романах совершенная естественность и внутренняя необходимость в развитии событий сочетаются с очень большой широтой авторского кругозора. И. Катарский совершенно прав, когда говорит, что значительная автобиографичность «Давида Копперфильда» отнюдь не ослабляет социальной типичности образов этого романа. Но дело не только в этом, подобные романы Диккенса коренным образом отличались от романов вроде «Вертера» Гете, «Адольфа» Бенжамена Констана, «Исповеди сына своего века» Мюссе. У Диккенса, как и в романах Фильдинга, Смоллета и Годвина, как в «Пеламе» Бульвера-Литтона, основной персонаж не поглощает целиком внимание автора. Жизнь и типические характеры многих людей, среди которых вращаются Пелам, Мартин Чазлвит и Давид Копперфильд, становятся главным содержанием романа.

В разных местах главы о Диккенсе автор уделяет некоторое внимание вопросам литературного мастерства. Но все это — самые беглые заметки о «хищном оскале зубов» мистера Каркера или «негнущейся фигуре» мистера Домби и пр. На стр. 211 приведены слова Белинского: «Что за неистощимость изобретения, что за разнообразие характеров!.. Что за юмор! Что за слог!» Но это остается неразъясненным, нераскрытым.

«Неистощимость изобретения» — в неожиданной и меткой детали, в поразительном сравнении, во внезапном развитии действия, в постоянном расширении сферы познаваемой жизни. «Юмор!» Если бы читатель пропустил это слово Белинского, то по главе, написанной И. Катарским, он даже не догадался бы, что у Диккенса есть малейшее чувство юмора. Тем более читатель не догадается, что Диккенс сочетает юмор с трагедийным развитием действия, что любое его произведение построено на удивительно смелых стилистических контрастах.

«Что за слог!» Скажем сразу, чтобы не повторяться,— *все* авторы данного выпуска «Истории английской литературы» в своем анализе игнорируют язык, на котором создавались шедевры изучаемых ими писателей этой эпохи. Ни единой цитаты в подлиннике, ни единого обращения к подлиннику как таковому (кроме нескольких отдельных слов в главе о Теккерее).

Глава о Теккерее (автор — А. Елистратова) вполне естественно начинается с сопоставления Диккенса и Теккерея. Совершенно верно говорится о том, что кругозор Теккерея уже, он «мало писал о трудящихся и обездоленных массах» (стр. 266). Очень хорошо показано, что менее явная народность Теккерея сказывается все же вполне отчетливо не только в политических высказываниях писателя, но и в том, как изображает он господствующие классы. Но сопоставление двух великих современников и здесь и в дальнейшем касается преимущественно таких общих положений. Не ставится вопрос о том, как в пределах критического реализма в той же стране и в ту же эпоху два великих писателя осуществляли творческие принципы, во многом противоположные. Ведь их человековедение было совсем разным. Постоянно полемизируя с Диккенсом, Теккерей относится с иронией к тем добродетелям, которые восхищают автора романа «Домби и сын».

В главе о Теккерее много ценного. Хорошо охарактеризован Теккерей как журналист, как литературный критик. Показано развитие его общественно-политической идеологии. Обильно цитируются письма Теккерея.

Хорошо говорит А. Елистратова о «Ярмарке тщеславия», что «композиция романа Теккерея предполагает принципиально новый, более высокий уровень социального обобщения явления... социальный фон... перестает быть просто фоном... он сам играет активнейшую роль в повествовании» (стр. 306). И это показано на сцеплении ряда исторических и частных событий, на социальной обусловленности судеб персонажей этого романа.

Нас менее удовлетворяет анализ типических образов. Автор расценивает эти образы только в их сатирической функции, не замечая, что сила Теккерея-сатирика в глубоком и многостороннем знании человека, в том, что он не уклоняется от раскрытия всякого рода сложностей и противоречий. «Амелия добродетельна, она безупречна. Но, как иронически показывает автор, эта добродетель ничтожна и ограниченна...» (стр. 308). Это совершенно верно. Изучая социальные условия, формирующие характеры, Теккерей обнаруживает иллюзорность того возвышенного облика, который приобретает Амелия в глазах всех окружающих ее людей. Значит ли это, что Теккерей отрицает в Амелии наличие какой бы то ни было внутренней ценности? Нет, рассеяние иллюзий не приводит к полному отрицанию того нравственно ценного, что присуще данному персонажу. Поэтому вызывают сомнение слова о том, будто бы сама добродетель Амелии «служит формой проявления себялюбия». Теккерей тотчас после окончания романа писал, что его вообще не интересуют характеры людей совершенных, что и Амелия принадлежит к числу тех, кто поглощен всеобщей суетой, но истинное чувство любви, которое ей свойственно, все же возвышает и «спасает» ее *.

Ведь и Джордж Осборн, человек ничтожно бесхарактерный и пошлый, с истинным чувством обращался к отцу, посылая ему письмо перед боем, и доблестно вел себя на поле боя. И старый Осборн — не только воплощение пустого тщеславия. В романе — трагедия отца, с его сердцем, полным и любви, и ярости, и обиды, и тайного раскаяния, и упорства, и мучительного сознания своей вины перед сыном. Смешение и смятение самых противоречивых чувств (the mingled nature of his feelings) — вот что придает жизненность подобному образу. Это смятение, отсутствие цельности, постоянная подчиненность истинного фальшивому связаны в итоге психологического анализа с идеей романа. Идея vanity (тщеславия, суетности) пронизывает все образы и объединяет их, становится самым острым оружием критики, ибо речь идет уже не о том, что тот или другой тип людей наделен тем или другим пороком, а о том, что *все* высшее общество отравлено суетой жадности, себялюбия и самых пошлых страстей.

Недостаточно учитывая сложность внутренней жизни героев, историк литературы не усиливает, а ослабляет роль идеи в творчестве великого писателя, особенно такого, как Теккерей, который постоянно от образа идет к ясно выраженной мысли и от мысли идет прямо к конкретному образу, охватывающему все противоречия жизни.

Кое-что спорно в анализе романа Теккерея «Генри Эсмонд». Уделяя много внимания вопросу об общей оценке в этом романе истории Англии, высказывая много верного, А. Елистратова все же необоснованно отождествляет взгляды героя этого романа со взглядами автора (стр. 327). Разве изображение грязных интриг, бессмысленных кровопролитий, ничтожества аристократии, подлости коронованных особ, фальшивой поэзии, разве философия романа в целом не выходит далеко за рамки того, что думает и может думать затертый окружающей жизнью, идейно ограниченный Генри Эсмонд? Разве у Теккерея, с характерным для него утверждением, что «романист знает все» (the novelist knows everything), возможно вообще отождествление автора с каким бы то ни было из его героев?

3. Гражданская в главе «Сестры Бронте» несколько раздвигает магический круг, отгораживающий четырех выдающихся романистов. Говоря о Шарлотте Бронте, невозможно было не показать, что ее произведения сформировались в творческом содружестве с ее сестрами — Эмилией и Анной. Несмотря на большую романтическую патетику романа Эмилии Бронте — «Холмы бурных ветров», совершенно очевидно, что и этот роман и «Джен Эйр» порождены одним и тем же чувством страстного протеста против социальных уз капиталистического мира.

Но обстоятельной обзорной главе «Сестры Бронте» недостает обобщений. Четыре раза на протяжении этой главы автор ссылается на те или другие высказывания английского критика-коммуниста Ральфа Фокса. И удивительно (а, в сущности, совершенно последовательно), что все ссылки на Фокса и в этой и в других главах касаются только отдельных, единичных суждений его о том или ином писателе, произведении, даже о той или иной сцене романа. Авторы разных глав оставили без внимания мысли Фокса о путях развития литературы «викторианского» периода. Ральф Фокс, в частности, противопоставляет эпическое многообразие Диккенса, сочетающего юмор и трагедию, страстную сатиру и большую любовь ко всему прекрасному в человеке, той раздробленности жанра, когда обособляются романы «занимательные», «фантастические», «пророческие» и пр. В этом «искусственном разделении», сужении и обеднении жанра Фокс видит распад той формы романа, которая

* «The Letters and Private Papers of W. M. Thackeray», L., 1945—1946, Vol. II, p. 309.

создавалась еще в XVIII веке и высшим выражением которой стали романы Диккенса. В этом отношении и романы Шарлотты и Эмилии Бронте с их суженной темой и единообразием поэтического тона, при всех их достоинствах, противоположны диккенсовскому роману.

Почему же такого рода вопросы — теоретические — вопросы литературного творчества — не рассматриваются ни одним из авторов рецензируемой книги?

Значительная заслуга Ю. Ковалева, Ю. Газиева и В. Кузьмина в том, что по вопросу о чартистской литературе ими собрано довольно много новых материалов.

Советский читатель узнает о деятельности чартиста Вильяма Линтона — поэта, искусствоведа, художника, который был издателем и переводчиком произведений Герцена и является автором известного силуэта пяти декабристов, воспроизведенного на обложке «Полярной Звезды». Очень полно представлены все этапы деятельности Эрнеста Джонса и ясно показана связь его политической деятельности, его ораторских выступлений и его поэтического творчества — связь, роднящая Джонса с Виктором Гюго. Увлекательно рассказана история возникновения поэмы «Новый мир». Интересно представлена широта культурных запросов и симпатий чартистов. Журнал чартистов «Друг народа» помещает большую статью о Шандоре Петефи тотчас после гибели венгерского революционного поэта. Джонс посвятил большую и ценную статью творчеству Пушкина, познакомил английского читателя не только с Лермонтовым, Жуковским, Грибоедовым, Гоголем, но и с Державиным, Карамзиным и Капнистом.

Словом, много интересных сведений в этой главе.

Но анализ поэзии чартистов гораздо слабее, чем изложение фактов. Подчас непонятно, чего требуют Ю. Ковалев и Ю. Газиев от давно сошедших в могилу чартистских поэтов.

Вот, например, приводится песенка, в которой рабочий высказывает радость по поводу того, что он не джентльмен, то есть не буян, не пьяница, не враль. Стать джентльменом было бы для рабочего человека позором (стр. 98). Вместо того чтобы показать, как классовое самосознание воплощается в рабочем фольклоре этой эпохи, как неожиданно и смело противопоставлены джентльмены и рабочий, как осмеяно то понятие «джентльмен», которое составляет гордость английской аристократии, как слова «рабочий человек» звучат полновесно и сильно,— Ю. Ковалев, приведя эти стихи, говорит только: «Однако не всегда критика аристократии имела в ранней чартистской поэзии только этический характер». И тут же этим стихам, свежим, острым, легким, противопоставляется тяжелая, ходульная риторика («Пэр — это гнусный паразит...»), которая удовлетворяет Ю. Ковалева, потому что автор стихотворения говорит «о никчемности пэров». Через две страницы — еще один живой образец народной сатиры, совершенно конкретной и острой, совершенно доступной даже неграмотному рабочему: «Малютка Джек Рассел подсел к своей кассе...» — вызывает следующее замечание Ю. Ковалева: «...как можно судить на основании приведенных примеров, элемент социальной критики здесь сравнительно невелик...» И вот мрачный итог: «...массовая чартистская поэзия 1843—1848 гг. не сумела стать носительницей революционно-пролетарской идеологии, хотя в творчестве некоторых поэтов, например Джонса, отдельные черты этой идеологии ощущаются совершенно отчетливо» (стр. 103). И тут же говорится, что в это время «чартистские поэты все чаще подходят к выводу о необходимости уничтожения существующего социального строя...» «Их задача в том, чтобы показать причину бедности. Отсюда один шаг до призыва к борьбе, и подавляющее большинство чартистских поэтов делает этот шаг» (стр. 104). Как же совместить, что поэзия, которая «не сумела стать носительницей революционно-пролетарской идеологии», в то же время призывает рабочий класс к революционной борьбе?

А создается такой разнобой потому, что авторы главы не совсем ясно понимают язык поэзии, считают абстрактным конкретное и, наоборот, требуют от острой песенки четких выводов, точных формулировок, совершенно не проявляют чувства юмора. Приводится блестящая сатира Э. Джонса «Королевские щедроты». Но автора интересует только заключительная строфа, «представляющая собой своего рода «мораль» всего стихотворения»... (стр. 106). Авторам, видимо, было недостаточно ясно, в чем отличие поэзии от публицистики.

Стоит отметить одну особенность рецензируемого труда, вызывающую недоумение. Почему-то в *академическом* издании не дается ссылок на цитируемые литературные источники, нет библиографии, нет указаний на работы советских и иностранных исследователей. «История английской литературы» вообще не побуждает читателя дальше и глубже, по многим источникам, изучать тот или другой вопрос.

Новый выпуск «Истории английской литературы» — книга ценная по материалу, не вызывающая возражений по общей своей концепции. Но, как мы видели, она не лишена существенных недостатков. Да и требования советского читателя возрастают.

Без исследовательской постановки больших теоретических вопросов литературного процесса, творческого метода, мастерства, без изучения языка и стиля писателей, без развернутой научной аргументации невозможна полноценная советская история литературы. Всего этого наш читатель особенно ждет от трудов, созданных в институтах Академии наук СССР.

И. Фрадкин

Арнольт Броннен дает показания...

Витрины многих книжных магазинов в Гамбурге, Мюнхене, Западном Берлине заставлены мемуарами ничего не забывших и ничему не научившихся фашистов. Принимая горделивые позы героев и мучеников, гитлеровские вельможи, генералы, писатели и прочие, а вслед за ними камердинеры и парикмахеры покойных заправил «Третьей империи» торжественно делятся с читателем опытом своей «многославной» жизни или с лакейским умилением повествуют о домашних нравах и обычаях своих сановных хозяев. Воспоминания фашистских недобитков обычно отмечены печатью своеобразного и по-своему незаурядного искусства — искусства вспоминать то, чего не было, и не вспоминать того, что было. Тщательно изучив наличный спрос, авторы этих мемуаров творят из своей жизни сладостную легенду о некоем фашисте-идеалисте, который-де был воодушевлен высокими идеями национал-социализма в их чистом, непорочном виде и хранит верность им и по сей день, но который, однако, был противником фюрера, за что и подвергался преследованиям со стороны гестапо.

В истории фашистской мемуарной литературы можно различить два этапа: оборонительный и наступательный. Под непосредственным впечатлением гибели гитлеровского рейха, боясь возмездия, нацистские бонзы вначале юлили, оправдывались и пытались отрицать свою причастность к фашизму.

Но затем, когда первый испуг прошел и «заслуженные» гитлеровцы убедились, что на Западе им ничто не угрожает, тактика робких увертоk в их воспоминаниях сменилась вызывающей фашистской бравадой.

Поэтому при существующей конъюнктуре, столь благоприятной для фашистских «бывших людей» и располагающей их к воспоминаниям наподобие охарактеризованных выше, недавно опубликованные в Гамбурге мемуары австрийского писателя Арнольта Броннена представляют собой явление особое и исключительное.

Близость Броннена к фашизму в прошлом вне всяких сомнений. Но, с другой стороны, бесспорно и то, что в годы гитлеризма он не был в фаворе, жизнь его была нелегкой и изобиловала трудностями и опасностями. Казалось бы, налицо реальные предпосылки для того, чтобы Броннен стал кумиром реваншистов, а его воспоминания — бест-селлером среди книг этого рода. Однако Броннен отверг этот путь и не пожелал воспользоваться «благоприятными» возможностями.

„Arnolt Bronnen gibt zu Protokoll", Beitrage zur Geschichte des modernen Schriftellers, Rowohlt Verlag, Hamburg, 1954.

Он не пытается запутать следствие; в своих мемуарах, написанных в своеобразной форме самодопроса, он без всякой утайки дает показания о своей прошлой профашистской деятельности. И в то же время Броннен самокритичен. Не скрывая тяжелых заблуждений своего прошлого, он и не упорствует в этих заблуждениях. Пафос книги Броннена в том, чтобы подвергнуть строгой ревизии всю прожитую жизнь, познать самому до конца и объяснить читателю пагубность и лживость фашистской пропаганды, в каких бы одеждах она ни выступала, и, подведя итоговую черту под прошлым, быть готовым отныне посвятить жизнь делу демократии, гуманизма, мира и дружбы между народами.

* * *

Литературной купелью Арнольта Броннена был экспрессионизм, его крестными отцами — организаторы и собиратели экспрессионистских сил: Франц Пфемферт, Густав Винекен, Альфред Вольфенштейн. Уже первые произведения Броннена, его написанные накануне первой мировой войны пьесы «Рождение юности» и «Отцеубийство» были типичными образчиками экспрессионистской драматургии. Эта первоначальная закваска сказалась во всем его последующем идейном и эстетическом развитии. Поэтому вопрос об экспрессионизме, естественно, занимает в книге Броннена видное место.

Экспрессионизм был бунтом, но бунтом, направляемым зачастую не рассудком, а истерией и не опиравшимся на правильное и трезвое понимание причин и сущности ненавистных явлений, бунтом против зла мнимого, против социальной несправедливости буржуазного общества и законов разума, против империалистической войны и немецкой грамматики и так далее. Он заключал в себе различные, даже противоположные тенденции и возможности дальнейшего развития. Поэтому однокашники и друзья литературной молодости Броннена впоследствии оказались в противоположных политических лагерях: одних, как Бертольда Брехта или братьев Герхарда и Ганса Эйслеров, их первоначально интуитивный социальный протест привел через изучение марксизма и опыт классовой борьбы в лагерь революционного пролетариата; другие, как, например, Готфрид Бенн, обожествлявшие иррациональный инстинкт и анархическую разрушительную страсть, пришли к фашизму.

Ныне Броннен ясно отдает себе отчет в том, как много двусмысленного и, более того, антигуманистического и антисоциального было заключено в его экспрессионистских произведениях начала двадцатых годов — в пьесах «Эксцесс» и «Анархия в Зиллиане» и в «Сентябрьской новелле», которую сам Броннен характеризует как «одно из наиболее ранних свидетельств фашистского духа в Германии». Звучавший в этих произведениях неистовый и надрыв-

ный крик об освобождении личности от требований человеческого коллектива, «тирании» отцов, общественного долга, разума и интеллекта и так далее, был способен пробуждать лишь самые темные инстинкты, к которым апеллировала и фашистская пропаганда. «То, что я считал свободой,— пишет сегодня Броннен, — было в действительности не чем иным, как анархией, разрушением, пожаром».

В своих мемуарах Броннен поднимается до понимания исторической ограниченности экспрессионизма, частичное революционное значение которого было быстро исчерпано и который «утратил весь свой смысл, по крайней мере после 1918 года». Послевоенная стабилизация капитализма вызвала массовое умиротворение «бунтарей» и обращение «революционирующих» писателей в благонамеренных буржуазных литераторов. С другой стороны, социально-политический смысл экспрессионистского «бунта» даже у тех, кто, казалось бы, остался верен себе, изменился: в 1914 году он выражал — пусть в истерически неуравновешенной форме — отвращение к гогенцоллерновской монархии и империалистической бойне, а в 1920 или 1923 годы звучал в унисон с настроениями фашистских авантюристов и ландскнехтов реакции. Броннен понимает это на основе собственного опыта, в частности исходя из истории своей драмы «Отцеубийство», написанной в 1913 году и с шумным успехом поставленной в 1922 году. От этой премьеры, пишет Броннен, вела «прямая дорога к последовавшему спустя пять недель убийству Ратенау».

Отношение Броннена к экспрессионизму особенно знаменательно в сегодняшней германской обстановке. Как известно, Геббельс, Розенберг и их подручные, стремясь вдохнуть в свою официальную литературу некое героическое начало, провозглашали идеалом фашистского искусства так называемую «стальную романтику». Эта претензия на монументальность влекла за собой демагогические проклятия по адресу «интеллигентской неврастении» и «вырождения» в литературе и демагогические гонения на экспрессионизм и родственные ему течения. Зато после разгрома гитлеризма представители формалистического искусства решили, что настала их пора, а в Западной Германии некоторые фокусники и декаденты по сей день живут на моральные проценты от капитала, принесенного им репутацией жертв фашизма. В частности, наблюдаются признаки возрождения экспрессионизма, он снова входит в моду и притом как якобы антифашистское искусство. На фоне этих явлений строгий и справедливый расчет Броннена с экспрессионизмом особенно своевременен, особенно ценен.

* * *

Вплоть до конца двадцатых годов Броннена все же нельзя было назвать фашистом. В его политических взглядах не было устойчивости, произведения агрессивно-националистические чередовались у него с религиозно-гуманистическими или пацифистскими драмами. Когда один театр показывал премьеру его пьесы, иной раз уже не выражающей взгляды автора, другой театр приступал к репетициям его последней драмы, проникнутой прямо противоположными тенденциями. Эти метания от крайности к крайности были связаны с воинствующим иррационализмом Броннена тех лет, причем в этой антилогичности была своя неодолимая логика, которая вела к фашизму.

По существу, фашистской уже была антифранцузская, реваншистски шовинистическая пьеса Броннена «Рейнские мятежники», написанная в 1924 году. По теме и политической тенденции она была родной сестрой скандально известной пьесы гитлеровского драматурга Ганса Иоста «Шлагетер». В 1929 году вышел роман Броннена «В. С.» («Верхняя Силезия») — резкая антипольская книга, прославлявшая кровавые дела фрейкоровцев. Она была восторженно принята в фашистских кругах. Через год за этим романом последовала еще более позорная книга — биография известного фашистского террориста и заговорщика Росбаха. В этот период все более тесными становятся личные дружеские связи Броннена в «праворадикальных» (то есть просто фашистских) литературных и политических кругах.

Броннен с беспощадной откровенностью рассказывает о жестоком кризисе, который он переживал на рубеже двадцатых и тридцатых годов. Было бы, однако, неверно предполагать, что к фашизму и связанному с ним моральному падению он пришел вследствие врожденной порочности, склонности к авантюрам или других подобных причин. Поучительность мемуаров Броннена заключается, в частности, в том, что он указывает на совсем иные, более серьезные обстоятельства, которые увлекли, правда, лишь временно, Броннена и многих других немецких интеллигентов и даже рабочих на фашистскую стезю.

Недовольство положением дел в Веймарской республике, особенно в годы экономического кризиса 1929—1933 годов, было велико. Демагогическая национал-социалистская пропаганда всячески использовала настроения, вызванные социальными бедствиями, а также немецкое национальное чувство, оскорбленное Версалем, аннексиями, репарациями и довольно умело направляла поток общественного возмущения в фашистское русло. Горькие уроки этого обмана, которому поддался и Броннен и с которым он ныне рассчитывается, весьма актуальны и по сей день, и исповедь автора «В. С.», писателя, которого националистические иллюзии уже однажды привели к фашизму, несомненно, может оказать полезное отрезвляющее воздействие на сегодняшних читателей, оглушенных реваншистской пропагандой, призывами к ревизии восточных границ и пр.

Броннен не был случайным, заблудившимся одиночкой. К фашистскому лагерю примыкали подчас литераторы и общественные деятели, которые искали пути борьбы с тогдашним социальным строем Германии и при этом заблуждались, но в последующие годы исправили свою ошибку. Достаточно назвать хотя бы Рихарда Шерингера — подсудимого Ульмского процесса «о национал-социалистской агитации в рейхсвере», порвавшего затем с фашизмом и вступившего в КПГ, в рядах которой он состоит и поныне; Беппо Ремера — капитана в годы первой мировой войны, бывшего фашиста, командира фрейкора «Оберланд», впоследствии коммуниста, сложившего голову на гитлеровской плахе, Эрнста Никиша — литератора, близкого в годы Веймарской республики к фашизму, а затем антифашиста-подпольщика, долголетнего узника гитлеровских застенков и ныне одного из видных публицистов ГДР, и других.

Броннен также пережил период увлечения фашистской пропагандой с ее мифом о «крови и почве» и романтическими легендами о мученической смерти Шлагетера и «подвигах» фрейкоровцев. Его националистические стремления, нашедшие отражение в драме «Рейнские мятежники» и романе «В. С.» и помноженные на враждебность к плутократам и бонзам Веймарской республики, толкнули его в объятия фашизма. И отрезвление Броннена произошло только через его дальнейший личный опыт, через его знакомство не только со словами гитлеровцев, но и с их делами.

* * *

Разочарование в фашизме началось у Броннена еще до прихода Гитлера к власти. Во всяком случае, когда 31 января 1933 года Геббельс обратился к Броннену с предложением о сотрудничестве, последний уклонился и таким образом сразу продемонстрировал свою нелойяльность по отношению к новому режиму.

В первые полтора года фашистской диктатуры Броннен поддерживал связи с оппозиционными элементами в штурмовых отрядах, мечтавшими о «второй революции» и требованиях от Гитлера осуществления его антикапиталистических посулов. Ночь «длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда Гитлер учинил расправу со своими приверженцами, обладавшими излишне хорошей памятью и ставшими ему в тягость, едва не стоила жизни и Броннену.

Чувствуя себя в «Третьей империи» после этого внутренним эмигрантом и антифашистом, Броннен пробовал бороться литературным оружием. Он пишет две драмы «Н» (Наполеон) и «Глориана» — драмы о наполеоновской Франции и елизаветинской Англии, в которых, маскируясь отдаленными историческими сюжетами, пытается обличать фашистский деспотизм и террор и предостеречь от преступно агрессивных замыслов Гитлера. Он вкладывает в уста Талейрану поразительно точную реплику, которая к Гитлеру относилась еще больше, чем к Наполеону: «Он слишком слаб, чтобы желать мира!» Но драмы Броннена не увидели света рампы, и в конце концов был наложен официальный запрет на печатные издания и театральные постановки всех его произведений.

Перед Бронненом встает вопрос о продолжении борьбы уже не литературными средствами. Но как? Где и в ком искать опору и союзников? Происхождение и воспитание Броннена, его социальное окружение, прежний жизненный опыт — все это, казалось бы, должно было его привести к фрондерам из буржуазно-интеллигентских салонов к генеральской оппозиции, к антигитлеровским группировкам внутри фашистского лагеря, то есть к тем кругам, которым современные реакционные фальсификаторы истории приписывают монопольные заслуги в деле антифашистского сопротивления. Но Броннен не только сумел познать истинную сущность фашизма, но сумел оценить по достоинству мнимый антифашизм и ничтожество оппозиции в привилегированных слоях общества. Поэтому путь Броннена решительно разошелся с путем тех фашистских мемуаристов, лживые писания которых используются ныне в качестве моральной основы для возрождения вермахта и прочей нацистской нечисти и для клеветнической травли сил демократии и социализма.

Минуя заговорщиков 20 июля и прочих реакционеров, по-своему не менее опасных, чем Гитлер, презирая общественные верхи за равнодушие к судьбе родины и отвратительный классовый эгоизм, Броннен пришел к пролетарскому антифашистскому подполью. «Благодаря рабочим, — пишет Броннен, — я понял впервые богатство и силу моей родины... Ни в Германии, ни в Австрии люди из буржуазного мира не доросли до борьбы и до понимания своей эпохи... А здесь были люди, которые боролись с Гитлером. Здесь были люди, которые поняли свое время. Здесь были люди, в которых была заключена жизнь родины».

Вскоре после Сталинградской битвы Броннен сумел наконец установить организационный контакт с коммунистическим подпольем в Австрии. Следуют самые опасные, но самые счастливые и плодотворные по своему общественному значению годы его жизни. Работа в подполье, тюрьма, побег... В мае 1945 года рабочие Гойзерна избирают его первым демократическим бургомистром своего освобожденного города. Таков итог жизни Броннена: «Итак, я пришел к цели. Я стал в ряды борющихся пролетариев, готовый служить делу эксплуатируемых и бесправных».

Исповедь Броннена заключает в себе много горького, но и много поучительного. Подзаголовок его книги гласит: «К истории современного писателя». Это, разумеется, история далеко не каждого современного писателя, но и не одного Броннена. Несомненно, все проблемы его творческого и политического развития, все зигзаги и все, подчас страшные, провалы на его жизненном пути, его мучительные поиски в конечном счете обретенной истины — все это имеет не только индивидуальное значение. Его заблуждения и их преодоление типичны для некоторой части немецкой и австрийской интеллигенции. И жизненный опыт Броннена, выводы, выстраданные им в течение нескольких десятилетий, могут послужить полезным предостережением для многих молодых немцев, особенно сейчас, когда реакционные зазывалы так бойко рекламируют романтически приукрашенные фашистские идейки.

В этом большое положительное значение честных и самокритичных воспоминаний Арнольта Броннена, человека, который ничего не забыл, но многому научился.

Тед Аллан и Сидней Гордон

СКАЛЬПЕЛЬ И МЕЧ

Вот уже пятеро суток, как Бетьюн и его спутники двигались по бесконечным горам и долинам. Стук лошадиных копыт гулко отдавался в нависающих скалах. На горы им приходилось взбираться пешком, под яростный свист ветра, сушившего пот, который ручьем струился по их лицам. На горных вершинах их дыхание превращалось в пар, а в узких проходах, иной раз представлявших собой просто глубокие расщелины в скалах, над их головами свисали, подобно смертоносному оружию, сверкающие сосульки.

На третий день началась метель; им пришлось пробиваться сквозь плотную белую пелену, а впереди виднелись лишь окутанные густыми облаками горные вершины. Снег запорошил японскую меховую шапку Бетьюна, засыпал тропинки. Температура воздуха упала на двадцать градусов. Это было первое холодное дыхание грозной зимы в горах Шаньси. Последний переход они проделали за десять часов, без пищи и отдыха.

На незанятой японцами территории была хорошо налажена радиосвязь, и об их приезде уже знали. Их радушно встретили доктор Ку Чэн-чун, начальник местного отдела здравоохранения, и военный врач Фын — молодой человек высокого роста с продолговатым лицом и по крестьянски крепким сложением. Путники стащили с себя промокшие куртки и попытались отогреть окоченевшие ноги. Когда они выпили по чашке горячего чаю без сахара, Бетьюн спросил:

— Где находятся лазареты?

— Сейчас вам приготовят что-нибудь поесть,— заботливо сказал доктор Фын.— После того как вы покушаете и отдохнете, мы проводим вас в лазареты, если вы обязательно хотите осмотреть их сегодня же вечером.

— Я хочу пойти туда сейчас же. А как скоро будет готов ужин?

— Не позже чем через десять минут,— ответил Фын.

Окончание. Начало см. № 1.

Норман Бетьюн в Китае с одним из своих учеников.

— Тогда я предлагаю пойти сию же минуту,— сказал Бетьюн, надевая пальто.

Фын с опасением взглянул на своих спутников. Ту молча кивнул головой Бетьюну в знак согласия и выразительно подмигнул Фыну.

— Но вы только что проделали такой длинный путь через горы! — воскликнул Фын. — Вы ничего не ели с самого утра!

— Да,— вмешался Ку.— Нужно обязательно поесть и отдохнуть.

Бетьюн застегнул пальто.

— Мы проделали длинный путь, это

правда, но ведь и путь раненых был не короче.

Они молча вышли следом за ним в холодный ночной мрак. Лазарет помещался в маленьком храме на окраине города. Он ничем не отличался от таких же примитивных лазаретов, какие Бетьюн видел на юге страны. В маленькой палате вдоль стен на канах лежало около тридцати солдат. Бетьюн стал быстро осматривать раненых, давая указания своим помощникам, отмечая в записной книжке имена тех, кому необходима операция, тут же делая перевязки. Уже в конце обхода, осматривая раненного в ногу бойца, он, быстро выпрямившись, спросил:

— Кто ведет этого больного?

— Я,— ответил Фын, нерешительно выступая вперед.

Бетьюн обернулся к остальным:

— Немедленно подготовьте больного к операции... Потом я поговорю с вами.

Он закончил осмотр и, явно рассерженный, прошел в соседнюю комнату, где на столе уже лежал молодой боец. Это была операционная. Вдоль стен висели белые занавески, на потолке была натянута простыня, а над столом висела непрерывно гудевшая газовая лампа. Рядом с операционным столом стояла тумбочка, где были разложены инструменты и антисептические средства. Бетьюн быстро вымыл руки и снял перевязку с ноги раненого. Тун занял свое обычное место у стола, доктор Е стоял рядом с ним. Повязка, твердая от гноя и крови, плотно прилипла к разорванным мышцам. Когда Бетьюн снял ее, по комнате разнеслось зловоние.

Бетьюн обратился к Фыну:

— Значит, вы отвечаете за этого раненого? — холодно повторил он свой вопрос.

— Да...

— Вы должны понести наказание. Из-за вас он потеряет ногу. Посмотрите, кость торчит из мяса, как собачий клык! Как вы могли довести рану до такого состояния? Почему вы не применили лубки?

В комнате воцарилась тишина. Обвинения, которые бросал Бетьюн, казались Фыну ударами хлыста. Бай Чу-энь — кумир всей армии, приезда которого он ждал с таким трепетом, теперь жестоко критиковал его перед лицом коллег и товарищей. Его простое честное лицо побагровело от стыда. Он хотел что-то сказать, но слова застряли у него в горле, и он умоляюще взглянул на Ку.

Начальник отдела здравоохранения смущенно переминался с ноги на ногу.

— Может быть,— сказал он примирительно,— это не столько халатность товарища Фына...

— Вот как,— ледяным голосом произнес Бетьюн.— Если не халатность, то как это можно назвать иначе? Разве доктору Фыну неизвестно, как нужно действовать, чтобы спасти раненому ногу, когда рана в таком состоянии? Или он надеется заменить ему ногу другой? Это не только халатность, это полное равнодушие к раненому.

— Но у нас на весь госпиталь только десять лубков, и они все в расходе. Доктор Фын не смог достать лубки для своего больного.

— Нет лубков,— сказал Бетьюн, задыхаясь от гнева.— Разве это оправдание? Разве мы должны дожидаться, пока их будет достаточно? Скажите мне, товарищ Ку, разве нашим бойцам всегда хватает оружия и разве они перестают сражаться, когда у них его нет? Разве они говорят: «Мы пока что не станем воевать, а подождем оружия»? Ведь они воюют, захватывая оружие у врага! Если в госпитале не хватает лубков, то прямой обязанностью доктора Фына было побеспокоиться о том, чтобы они были, даже если бы ему пришлось сделать их собственноручно. Вот как работает настоящий врач. Так работали и мы в Шэнинькоу. Я не понимаю, как мы можем называть себя врачами, если так небрежно и равнодушно относимся к нашим раненым.

Фын стоял с опущенной головой, Ку молчал, казалось, все оцепенели от смущения. Но в это время Тун, который. стоя у операционного стола, давал раненому наркоз, сказал тихо, как будто ничего не произошло:

— Доктор Бай, больной уже спит...

Бетьюн вернулся к операционному столу. С минуту он разглядывал пораженную гангреной ногу бойца. Затем короткими, скупыми фразами начал давать объяснения. Теперь в его голосе исчезли резкие и обвиняющие интонации, он звучал тихо и выразительно. Почему необходима ампутация? Бетьюн объяснил симптомы гангрены, указал на раздробленную, торчащую из раны кость, упомянул о том, как важно выбрать подходящее для ампутации место, наметил, какие мышцы, нервы, артерии и костную ткань нужно будет удалить, и сказал, какими средствами нужно остановить кровотечение во время и после операции.

В комнате были слышны только его голос, торопливая речь переводчика Туна и гуденье газовой лампы над столом. Он сделал надрез. Врачи Ван и Е заняли свои обычные места по обе стороны стола. Фын, Ку, Цзя и сестры стояли поодаль.

Внезапно Бетьюн прервал операцию.

— Что это? — спросил он удивленно, протягивая Фыну поданный ему инструмент. — Это же простая пила. Ею можно пилить дрова, а не кость человека! Неужели вы думаете, что я могу произвести ампутацию этой пилой?

Фын пробормотал, запинаясь:

— Это... это наша единственная пила, у нас никогда не было другой...

Бетьюн с отвращением отбросил пилу в сторону.

— Доктор Е, нам нужно будет достать наши инструменты. Подождите. Сколько времени уйдет на это? Нет, слишком поздно. Мулов еще не начинали развьючивать, а ждать невозможно.— Он снова взял в руки пилу; все с опасением глядели на него.

Он со звоном согнул ее в руке, выругался, быстро продезинфицировал ее и вернулся к операционному столу. Теперь он работал со стиснутыми зубами, закусив губы, а пила с пронзительным, тошнотворным звуком вгрызалась в кость...

Операция закончилась в полночь. Врачи и сестры молча стояли вокруг больного. Бетьюн сделал перевязку кровоточащего обрубка и снова обратился к доктору Фыну.

— Целыми годами мы работаем и учимся, для того чтобы в нужный момент спасти человеку жизнь, сохранить ему ногу. Ну а если мы недостаточно хорошо работали и учились? Если мы небрежны? Тогда кто-то должен поплатиться за это своей ногой, своей жизнью... Скажите мне, доктор Фын, какой университет вы окончили?

Фын пробормотал что-то невнятное и вышел из комнаты, ни на кого не глядя. Все молчали. Тогда доктор Е, который вообще говорил очень мало, произнес примиряющим тоном:

— Конечно, крайне неприятно, что пришлось произвести ампутацию. Но нужно учитывать, что мы крайне ограничены в средствах... Может быть, из-за того, что не оказалось достаточного количества лубков...

— Может быть! Недостаточно лубков! А чего у нас достаточно? Когда у нас будет все, что нам нужно? Нет, этому нет никакого оправдания. О таких случаях нужно докладывать генералу Не. Если солдат бросает винтовку, его судят. Если по вине врача боец теряет ногу, врач тоже должен нести наказание. Винтовку можно заменить, но руку или ногу не заменишь.

Бетьюн отвернулся, показывая, что разговор окончен. Затем он в последний раз осмотрел больного, распорядился, чтобы около него непрерывно дежурила сестра, вымыл руки, мельком взглянул на свои ручные часы и спросил Ку, как бы возобновляя недавно прерванный разговор:

— Ну, а как в отношении остальных раненых?

В ответ на вопросительный взгляд Ку он снова повторил:

— Где остальные раненые? Разве у вас больше нет лазаретов? В телеграмме, которую я получил, было ясно сказано: «Много раненых нуждается в вашей помощи». Я осмотрел только тридцать человек. Где же остальные?

— У нас есть еще раненые,— ответил Ку.— Но они находятся в Чжухуэйцзэ. Наш лазарет разделен на две части. Это тыловая часть, другая часть расположена к северу, в Чжухуэйцзэ, ближе к фронту. Там содержатся более тяжелые раненые. Мы хотели просить вас сначала осмотреть этот лазарет, а потом доставили бы вас в Чжухуэйцзэ. Мы полагали, что вы будете утомлены после долгого путешествия и что вам нужно будет отдохнуть... Туда очень трудно добираться.

Ку совсем запутался, пытаясь отвратить новую вспышку гнева со стороны Бетьюна. Он прошептал на ухо Туну так, чтобы Бетьюн не расслышал:

— Это очень далеко. Неужели вы не можете объяснить ему? Постарайтесь потушить пламя, которое бушует в нашем достоуважаемом госте. Он утомлен после путешествия и после операции. Нас будут жестоко бранить, если мы сразу потащим его в другой лазарет.

— В чем дело? — спросил Бетьюн.

— Товарищ, — сказал Тун ласково. — До другого лазарета нужно проехать много ли. Теперь уже поздно. Еще надо приготовиться к путешествию. Мы должны подождать и немного отдохнуть. Они думают не только о вас, но и о раненых. Если мы двинемся сейчас же, будете ли вы в состоянии оперировать снова?

Бетьюн опять взглянул на часы, он колебался.

— Ну что же, видимо, сейчас уже поздно менять планы. Можно назначить отъезд на половину пятого утра? — Это звучало как приказание. Он подождал, пока Ку кивнул головой в знак согласия.

— Тогда решено, мы выезжаем в четыре тридцать утра. Доктор Е, мы возьмем с собой все наше оборудование.

— Может быть, теперь, — робко спросил Ку,— товарищ Бай Чу-энь и остальные товарищи окажут нам честь и покушают с нами?

Они вышли на темную улицу и по хрустевшему под ногами снегу, преодолевая пронизывающий горный ветер, добрели до безмолвной деревни. Когда Бетьюн вошел в здание, где помещалась санчасть, Ку на минутку остановил Туна.

— Неужели он всерьез собирается выехать в половине пятого утра? Он сможет поспать только два часа!

В четыре часа Бетьюн уже снова был в лазарете. При тусклом свете керосиновой лампы он осматривал бойца, которому накануне ампутировал ногу.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он по-китайски.

— Хорошо.

— Тебе больно?

— Нет.

Бетьюн положил руку на липкий от пота лоб раненого. Он разглядывал его измученное лицо, напряженный взгляд, крепко сжатые губы и капельки пота — следы мучительной ночи.

— Неправда, мой сын. Я знаю, что тебе сейчас больно, но ты молодец — В палату тихо вошел Тун, и Бетьюн продолжал по-английски.— Я очень рад, что ты поправляешься. Тебе будет больно какое-то время, но это неизбежно при выздоровлении. Я уезжаю в Чжухуэйцзэ на несколько дней, но велю хорошенько ухаживать за тобой и скоро вернусь сам.— Обращаясь к санитару, он сказал: — Ухаживай за ним так, как будто он твой брат...

В четыре часа двадцать пять минут Бетьюн и Тун верхом на лошадях уже ожидали остальных у входа в храм, под статуей Будды. Через несколько минут

к ним присоединились Ван, Цзя и другие члены отряда.

Когда рассеялись ночные тени и снег засверкал в первых лучах солнца, они уже углубились далеко в горы. Бетьюн, ехавший впереди отряда рядом с Туном, отвел глаза от тропинки и посмотрел на бесстрастное лицо своего спутника.

— Ты ни слова не произнес с тех пор, как мы выехали. Ведь ты «мое второе я», и, когда ты молчишь, я тоже должен молчать.

Тун взглянул через плечо на других членов отряда, вереницей растянувшихся следом за ними, и заставил свою лошадь идти шагом.

— Я думал о Фыне, дайфу.

Бетьюн окинул Туна взглядом. Он прекрасно изучил его открытое веселое лицо. По тому, какое невинное выражение было у него сейчас, он понял, что Тун дипломатично подготавливает его к какому-то щекотливому разговору.

— Не будем зря тратить время. Этот человек не может называть себя врачом. К тому же он еще и не выносит критики.

— Вот в этом-то все и дело, поэтому я и думаю о нем с такой грустью.

— В чем дело?

— Да в том, что он не врач.

— Нет, я не то хотел сказать,— возразил Бетьюн.— Я хотел сказать, что как врач он никуда не годится, у него нет правильного подхода к больным.

— Но он именно совсем не врач,— мягко возразил Тун.

— Что за чепуху ты болтаешь! — Бетьюн начинал терять терпение.— Он хирург отряда в Хэцзяньцуне, но любой только что окончивший врач сумел бы лучше справиться с этим раненым, чем он.

Тун кивнул головой. Некоторое время они молча ехали по запорошенной снегом тропинке. Затем Тун как бы невзначай возобновил разговор.

— Бедный Фын. Конечно, он был бы более уверен в себе, если бы ему удалось поучиться в университете. Он ведь не врач по образованию. То, что он знает, он знает из наблюдений или слышал от других. Он начал оперировать раненых, имея только чисто практические знания.

Бетьюн натянул поводья, схватил за удила лошадь Туна и подтянул ее к себе.

— Как это может быть, что он не получил медицинского образования? Тун, по чересчур невинному выражению твоего лица я вижу, что ты что-то замышляешь! Перестань нести эту чепуху! Ты хочешь избавить Фына от наказания? Разве ты не видел своими глазами, к чему привела его преступная халатность? Разве ты сам мог бы простить это?

— Вчера ночью,— тихо ответил Тун,— когда вы спали, я долго разговаривал с Фыном. Он рассказал мне всю свою тяжелую жизнь. Вот почему я молчал сегодня. Не разрешите ли вы мне повторить его историю? Фын родился в маленькой деревушке, в семье бедняка. В деревне не было школы, и он не мог научиться читать и писать. Зато еще мальчиком он научился пасти буйволов на лугах. Он никогда не видел книги и все свое детство был пастухом. Однажды в деревню пришел отряд 8-й армии. Солдаты устраивали представления для жителей, рассказывали им о войне, о событиях в стране. Фын вступил в армию. Он сам научился читать и писать, лишь иногда обращаясь за помощью. Сначала он служил в охране. Потом, когда научился читать и писать, его сделали санитаром, затем — старшим санитаром. Тогда он начал обращаться к докторам с просьбой написать ему китайскими иероглифами латинские названия лекарств. Кое-кто из бойцов считал, что Фын просто шутит, но он учил латинские слова по ночам до тех пор, пока не выучил их наизусть. Он начал приглядываться к врачам у операционного стола и... только опыт сделал его хирургом. Перед нашим приездом в Хэцзяньцунь он начал запоминать отдельные английские слова, так же как раньше учил медицинскую терминологию. Он это делал для того, чтобы иметь возможность побольше узнать от вас, Бай Чу-энь.

Тун кончил свой рассказ и взялся за поводья с безразличным видом, как будто он сообщил что-то забавное, но уже сейчас не представляющее никакого интереса.

Бетьюн посмотрел на Туна с удивлением. Неужели все это правда? До неграмотного пастуха донеслось дыхание большого мира, существующего где-то за пределами глухой, никому не известной деревушки. Он становится солдатом той армии, которая сражается на фронте и учит людей в тылу. Только целеустремленность, сила воли превращают его в хирурга. Ведь война — это раненые, а спасенные от смерти и болезни бойцы — это победоносное сопротивление, и в сопротивлении неграмотный Фын стал врачом, «дайфу», мудрым ученым, властвующим над человеческой жизнью.

Бетьюн мысленно выругал себя. Почему он не знал всего этого? Почему он не заподозрил истины, когда Фын промолчал и не ответил на его вопросы. И сколько таких, как Фын! Взять, например, партизана с только что ампутированной ногой, утверждавшего, что ему не больно, не желавшего поддаться нестерпимой боли. Или женщина, председатель совещания, женщина, сбросившая иго тысячелетнего рабства и ставшая руководителем округа. Или китаец-санитар, преодолевший смертельный страх и отдавший раненому свою кровь. А голодные студенты, которые пробирались из оккупированных городов через неприятельский фронт к Яньани, останавливаясь в деревнях, просвещая и уча крестьян. А Тун, его Тун, образованный юрист с положением, пользовавшийся всеобщим почетом! Это он бодро едет рядом с ним верхом на лошади по глухим и диким краям. А тысячи случаев, когда женщины и мужчины — жители деревень поджигали свои дома перед наступлением врага, уносили

на плечах свой скарб, вступали в партизанские отряды и возвращались с оружием в руках. Они встают из тумана и тьмы — эти упрямые, молчаливые фыны; их миллионы, они охвачены огромной, такой же, как и Фын, страстью: они хотят жить, учиться и стать хозяевами своей земли, а он, Бетьюн, оскорбил одного из них. Он, который только несколько недель тому назад торжественно записал как заповедь в свой дневник слова Мао Цзэ-дуна о том, что народ можно учить, только став учеником народа. Он хотел объяснить все огромное значение этих слов в своем выступлении в Шэнинькоу. Он считал, что понимает их. Но путь к мудрости поистине бесконечен. Всегда нужно что-то еще понять, познать, учить чему-то других, жить...

Его размышления прервал Тун, который внезапно остановил свою лошадь и, повернувшись к Бетьюну, крикнул.

— Вон там внизу, в долине, виднеется Чжухуэйцзэ.

...На следующий день к вечеру они возвращались в Хэцзяньцунь. На тропинках еще сохранились вчерашние следы лошадиных подков. Бетьюн вместе с Туном прискакал в деревню галопом, намного опередив остальных, и сейчас же направился в крестьянский домик, где жил Фын. Тун еле поспевал за ним.

Фын лежал на кане в неосвещенной комнате.

— Приветствую вас! Как вы себя чувствуете? — сказал он по-китайски, быстро встав с кана и зажигая керосиновую лампу.

Бетьюн сел на кан рядом с ним.

— Фын,— начал он прямо,— вчера Тун рассказал мне о том, как вы стали хирургом.

Фын быстро взглянул сначала на Бетьюна, потом на Туна и опустил глаза.

— Не правда ли, нелегко, совсем нелегко стать хорошим хирургом? — продолжал Бетьюн ровным голосом.— Теперь я знаю кое-что про вас, и мне хотелось бы рассказать вам о себе. Ведь я был гораздо старше вас, когда начал работать врачом, и, уже будучи врачом, перенес два тяжких заболевания.

Фын с любопытством взглянул на Бетьюна. Он думал, что это посещение означает официальное обследование его работы. Но характер разговора никак не подтверждал его предположения.

— Я только еще начинал свою карьеру хирурга, когда заболел острой формой туберкулеза. Это было двенадцать лет тому назад, когда мало было известно о хирургических способах его лечения. Казалось, нет никаких средств, чтобы поднять меня на ноги. Я лег в санаторий, ожидая смерти. Однако случилось так, что мне удалось вылечиться. Тогда я твердо решил стать хирургом. В течение долгих лет я живу только с одним легким, но я все время учился, работал, занимался научной работой под руководством одного из мировых светил у себя на родине. В конце концов я одолел свою болезнь и стал хирургом.

Бетьюн закурил. Все молчали. Фын сидел неподвижно, затем поднял опущенную голову и взглянул на доктора Бай Чу-эня.

— Моя вторая «болезнь» оказалась посложней. Я болел ею, когда был мальчиком, когда стал мужчиной и когда сделался врачом. Это было гораздо хуже, чем туберкулез, это был мой характер. И его оказалось не так легко вылечить, как заразную болезнь; я не мог преодолеть свой характер при помощи лекарств. Многое, с чем я сталкивался, работая врачом, только усугубляло эту болезнь. Наступило время, когда я оказался полностью в ее власти, так же как раньше я был во власти туберкулеза. Однако позднее я перестал поддаваться ей. Это произошло, когда я понял, что туберкулез — не только инфекционная болезнь, но и социальная. Я понял это, когда увидел, что у меня на родине лишь немногие богаты, а большинство бедно. Я понял это, когда поехал в Испанию, где народ ведет такую же борьбу, как и китайский народ. Я видел, как люди умирали, потому что они хотели жить. А теперь, вот уже девять месяцев, как я живу в Китае... Я понял, что я должен делать, чтобы вылечиться от своей второй болезни... Но иногда ей удается вырваться из-под моего контроля, и тогда мне снова приходится бороться с ней. Правда, теперь это не так часто случается, но, как вы помните, это случилось здесь совсем недавно. Вы поняли меня?

— Да, — тихо ответил Фын.

— Ну что же,— сказал Бетьюн.— Завтра рано утром мы снова уезжаем, а у нас еще много дел. Для того чтобы стать хорошим хирургом, товарищ, нужно много работать и пережить много разочарований. Я не хочу обманывать вас и поэтому говорю с вами вполне откровенно. Вам придется наверстывать упущенное. Вам придется многому учиться, так же как нашим бойцам приходится учиться, как лучше сражаться с врагом. Я попрошу доктора Ку прикомандировать вас к нашей медчасти. Вы будете работать под моим руководством, я помогу вам в ваших занятиях, мы можем привлечь для этого еще кое-кого из врачей. Это даст возможность обогатить ваш практический опыт.

— Я буду счастлив, — сказал Фын, вставая, чтобы проводить Бетьюна и Туна до двери. Он открыл рот, хотел сказать что-то, потом раздумал и вдруг заговорил со всей непосредственностью.

— Доктор Бай Чу-энь.. Я полностью признаю свою вину в отношении бойца, который потерял ногу. Мне пришлось всему учиться самому... Только несколько лет назад, в армии, я научился читать и писать. Если вы возьмете меня к себе, я обещаю вам серьезно и много работать... У меня есть сын... Может быть, когда он вырастет, сыновья крестьян смогут посещать школу. Я сделаю все, чтобы дать ему возможность учиться, возможность, которой я сам не

имел. Может быть, он станет хорошим врачом и сумеет наверстать то, что упустил я...

* * *

Была холодная темная ночь. По временам какой-то странный звук нарушал тишину спящей деревни Западного Хэбэя. Бетьюн лежал на своем кане одетый и прислушивался к этому звуку, рассеянно думая о том, кто из раненых может так кричать.

Утром предстоит много дела: возможно, что с фронта поступят новые раненые. В течение целого часа Бетьюн лежал у себя в комнате, пытаясь заснуть. Он был голоден и чувствовал себя крайне усталым. Но нелегко было уснуть, зная, что в каждом домике ночи напролет мечутся от боли страдающие люди. Он не мог впрыснуть им морфий, их раны горели, и боль сжигала их измученные тела. А что делать, если прибудет новая партия? Крестьянские дома переполнены. Где же разместить вновь прибывших? И как он сможет лечить их, если у него уже почти не осталось никаких лекарств?

С тревогой и волнением он ждал известий из Яньани о том, что «Комитет помощи Китаю» в Нью-Йорке наконец выслал медикаменты и оборудование. Но известие не приходило. Положение было чертовски трудное! Иного выхода нет: он должен увидеться с мисс Хэ, он должен убедить ее...

Его вывел из задумчивости пронзительный крик. Он был знаком ему, Бетьюн понял, что крик доносится откуда-то из середины деревни. Он быстро вышел и тотчас погрузился в темноту ночи. Он шел по направлению к домику, откуда доносилось бормотание голосов и где через заклеенное бумагой окно виднелось мерцающее пламя свечи. Когда он вошел, то увидел, что хозяин единственной в домике комнаты держит свечу над каном, а остальные члены семьи спят на подстилках, расстеленных на полу. На кане лежал раненый: он громко рыдал, ломая руки. Это был один из трех ампутированных бойцов. Бетьюн быстро приготовил шприц и сделал ему укол морфия. Он ждал, пока укол окажет свое действие, и, ласково обняв солдата, успокаивал его: — Скоро будет не так больно, и ты уснешь.— Солдат повел вокруг глазами и с отчаянием протянул руки к своим обрубкам. Он только сейчас понял, что лишился обеих ног.

Бетьюн подождал, пока солдат уснет, и с чувством огромной усталости побрел к себе. Он долго сидел на кане, не зажигая огня, затем глубоко вздохнул, зажег свечу, сел за дощатый стол, взял пишущую машинку и стал писать письмо в «Комитет помощи Китаю». Оно ничем не отличалось от многих других, уже посланных им писем. Бетьюн повторял все то же: люди умирают, медикаментов почти не осталось, отчаянно нужна помощь...

На следующий день Бетьюн пошел к мисс Хэ. Быстро шагая по горной тропинке, он думал о мисс Хэ и о том, как ему держаться с ней. Нет сомнения, что понадобятся и такт, и откровенность, и сила убеждения. Он вспомнил их первую встречу, когда она спустилась с гор в сопровождении нескольких десятков китайцев, чтобы посмотреть на первый санитарно-медицинский отряд, проходивший по этим местам. Он страшно обрадовался, когда узнал, что «Хэ» — это имя, которое ей дали местные жители, что она уроженка Новой Зеландии, говорит по-китайски не хуже, чем по-английски, и в течение нескольких лет возглавляет расположенную неподалеку протестантскую миссию. Они очень мило побеседовали примерно в течение часа, несколько позже он воспользовался ее приглашением и навестил ее в миссии. При второй встрече он сказал ей несколько слов о ее работе миссионера и о своей миссии врача, но не углублял эту тему. Она чем-то напоминала ему его мать. Высокий рост, открытое, мужественное лицо. Она держалась с достоинством, говорила о своей работе просто и непринужденно. С самого начала она относилась к нему с искренним дружелюбием, но сейчас он собирался испытать не только ее дружбу, а нечто гораздо более серьезное. Ему казалось, что на нее легко воздействовать, апеллируя к ее убеждениям, а не к соображениям личного характера. По правде говоря, если бы она исходила только из личных соображений, его визит к ней был бы бесполезным. Нет, он скажет ей всю правду, так, как она рисуется ему самому; только это, может быть, убедит ее.

Миссия, расположенная на склоне горы, походила на крепость. За оградой высилась часовня — внушительных размеров здание из серого камня, увенчанное крестом. Тут же стояло еще несколько, ничем не примечательных домиков. На мгновение он остановился в воротах и затем, услышав звон колокола, направился к часовне. С порога он увидел нескольких коленопреклоненных китайцев во главе с миссионеркой. Перед ним было изображение Христа, аналой, покрытый желтым шелком, два серебряных подсвечника; вился легкий дымок курений. Это была привычная картина, но здесь, в далеких горах, когда японцы находились на расстоянии лишь одного перехода от изображения Иисуса, все это казалось неуместным. Бетьюн тихо удалился, чтобы не мешать молящимся.

Он терпеливо ждал на ступеньках, пока окончится служба. Мисс Хэ увидела Бетьюна, выходя из часовни. Она приветствовала его с удивлением и радостью и крепко пожала ему руку.

— Я надеюсь, что вам не пришлось долго ждать,— сказала мисс Хэ извиняющимся голосом.— Можете ли вы остаться и позавтракать со мной? Мы бы поговорили с вами.

Мисс Хэ провела его в свою трехкомнатную квартиру, помещавшуюся тут же, в здании часовни. Бетьюн внимательно рас-

сматривал ее, сидя в гостиной на широком диване. Она была одета в длинное черное платье, носила гладкую, строгую прическу, и весь ее облик был мягок и грациозен. Он решил, что ей лет за тридцать.

Над холмами поднималось солнце. Из окон он видел удлиненную тень, падавшую от креста на землю. Он взглянул на мисс Хэ и тихо сказал:

— Мне хочется задать вам один вопрос, Кэтлин. Почему вы приехали в Китай?

Она посмотрела на него с удивлением, так, как будто этот вопрос не требовал ответа, и пожала плечами.

— Я была членом миссионерского общества, меня ждала работа в этой миссии...

— Нет, я не то хотел вас спросить. Почему вы решили стать миссионеркой и почему именно в Китае?

— Потому, что я хотела посвятить свою жизнь богу и распространению христианской веры... Потому, что надо спасти еще так много человеческих душ. Я стала миссионеркой для того, чтобы верой спасать людей, хотя, быть может, и мала моя лепта.

— Я понимаю вас,— сказал Бетьюн.— Я сам родился в семье евангелистов. Может быть, вам это покажется странным, но я тоже, до некоторой степени, миссионер. Вы говорите мне о том, что вы здесь для того, чтобы служить богу. Вы хотите спасти души людей ради небесного блаженства. Я хочу спасти людей для жизни на земле. Хотя наши дороги и могут где-то разойтись, не кажется ли вам, что мы с вами идем в одном направлении? И это есть и будет так, если вы будете преданы богу, в которого вы верите, а я тому делу — в которое я верю.

— Да,— сказала мисс Хэ.— Но дело не только в этом...

— Конечно,— прервал ее Бетьюн.— Но для моей цели, для того, о чем я хочу поговорить с вами, этого достаточно.

— Для вашей цели?

— Да.— Он наклонился к ней и быстро заговорил.— Нужно предпринять какие-то срочные меры, и в данный момент вы — единственный человек, который может помочь. Вы знаете, как катастрофически плохо обстоит у нас дело с медикаментами. Со всех сторон нас окружает блокада, хотя только здесь и идут настоящие сражения. Мне приходится оперировать без перчаток, а иногда и без наркоза, без антисептических средств. Сейчас положение стало поистине критическим. Мы должны достать медикаменты и нужное нам оборудование даже в том случае, если для этого придется прибегнуть к отчаянным средствам. В Яньань посылать бесполезно — там тоже ничего нет. Целыми неделями и месяцами пришлось бы ждать, пока представится случай переправить нам что-нибудь, и то это были бы какие-то жалкие крохи. А пока мы ждем, раненые будут напрасно мучиться и умирать. Вы можете нам помочь. В качестве миссионера вы можете пробраться в Пекин, и никто не остановит вас. Я скажу вам, куда обратиться, вы имеете право купить медикаменты и привезти их сюда... Вы сделаете это?

Кэтлин встала и подошла к окну. Было заметно, что она очень волнуется; она долго стояла молча, отвернувшись.

— Я не знаю, как объяснить вам свои чувства. Я не могу принимать никакого участия в войне. Я против убийства и против войны. Я не могу сделать то, о чем вы меня просите, уже в силу того, что я возглавляю эту миссию. Ведь я должна сохранять нейтралитет. Но дело не только в этом. Я знаю, что вам это покажется ужасным, но я не могу принимать никакого участия в войне.

— Я не прошу вас об этом, я лишь прошу вас сделать то, что может многим спасти жизнь.

Она повернулась к нему быстрым движением и предложила перейти в маленькую столовую, где служанка-китаянка поставила на стол чашки для кофе, молоко, бисквиты и бутылку вина. Кэтлин ела в неловком молчании, избегая пристального взгляда Бетьюна. Потом она внезапно посмотрела на него и улыбнулась:

— Тяжело говорить о таких вещах в воскресный день. У вас очень трудный характер. Давайте посидим спокойно... Не будем спорить...

На следующее утро она пришла к Бетьюну в деревню. На ней было все то же черное платье. Она села на стул, который он предложил ей, и сложила руки на коленях. Очень сдержанно и спокойно она сказала:

— Я решила поехать в Пекин.

* * *

Отряд Бетьюна прибыл в Цихуэй в самый разгар артиллерийской стрельбы, начатой японцами. На окраине города во дворе храма, прямо на земле лежало около двадцати раненых. Полковой врач Цин, низкорослый, плечистый молодой человек, был вне себя от радости, когда увидел Бетьюна.

— Мы сообщим на передовую, что вы здесь,— заявил он сразу.— Идут жестокие бои, и будет много раненых.

Внутренняя часть храма была превращена в импровизированную палату. Стены были затянуты полосами белой материи. С потолка свисала тусклая газовая лампа. Солоноватый запах крови смешивался с запахом гари и пороха, доносившимся со стороны деревушки, которую бомбили японцы. Санитары неслышно скользили в своих сандалиях по выложенному кафелем полу, перенося хирургические инструменты к единственной газовой лампе, освещавшей комнату.

Весь день прибывали раненые с фронта. Медсестры укладывали их во дворе и регистрировали. Затем раненых осматривал доктор Линь. Он делал временную перевязку и отбирал тех, кто нуждался в срочной операции. Врачи покидали операцион-

ную только для того, чтобы поесть или сделать пятиминутную передышку.

Наступило утро, а они все еще продолжали оперировать, и раненые все еще прибывали. От генерала Хэ поступило известие о том, что бой затягивается. Медсестра Цзя подошла к операционному столу и невнятно пробормотала несколько слов. Бетьюн не расслышал и переспросил ее.

— Больше нет бинтов... Больше нет антисептических средств, — произнесла она испуганно. Лицо у нее болезненно сморщилось, губы дрожали.

Бетьюн тотчас же спросил Цина, нельзя ли достать где-нибудь поблизости антисептические средства и бинты. Цин удрученно покачал головой.

Бетьюн продолжал оперировать без антисептических средств; тем временем сиделки собрали использованные бинты и выстирали их.

Наступил вечер, а операциям, казалось, не будет конца. Стоя на своем обычном месте у стола, Тун напряженно, как будто гипнотизируя, вглядывался в лица раненых. Доктор Линь сменил доктора Е, которому стало дурно от усталости. Спотыкаясь, он вышел из храма и прислонился к стене. Все работали в полном молчании, лишь изредка звучали краткие приказания Бетьюна, продолжавшего оперировать, стиснув зубы, и останавливавшегося только для того, чтобы коснуться воспаленных глаз и протереть очки.

На третий день вечером японцы снова начали обстреливать деревню. Пять часов подряд снаряды ложились рядом с храмом, и все время, пока Бетьюн и его ассистенты стояли, склонившись над операционным столом, пол колебался у них под ногами. Они вконец измучились, их мутило. В полночь, когда подходила к концу сложная операция в брюшной полости, снаряд упал около стены храма. Волна горячего воздуха ворвалась в храм, бумага, которой были заклеены окна, лопнула. Свет погас, слышно было, как шрапнель с глухим треском врезалась снаружи в стену.

Кто-то снова зажег лампу. Бетьюн быстро взглянул на лежащего под наркозом раненого и на всех остальных.

— Ни с кем ничего не случилось?

Первые мгновения все стояли неподвижно, как изваяния, потом стали медленно приходить в себя.

— Где Тун? — спросил Бетьюн. — Что с ним? — Он увидел Туна, который сидел в углу, склонившись над ящиками, где хранились медикаменты. — Тун, ты не ранен?

Тун медленно поднялся. Он держал в руках кусок марли и банку из-под хлороформа и, казалось, не верил своим глазам. Он подошел к столу.

— Это наша последняя банка, и в ней ничего больше нет... У нас нет больше анестезирующих средств... В ящиках ничего не осталось!..

Все были ошеломлены. Над их головой с визгом проносились снаряды. Было отчетливо слышно прерывистое дыхание раненого на операционном столе.

— Ты уверен в этом? — спросил Бетьюн.

Тун выпустил из рук пустую банку и она упала на кафельный пол.

— Ничего больше нет, — ответил он.

Бетьюн вернулся к операционному столу, он задумчиво глядел на заострившиеся черты лица раненого.

— Мы сможем закончить эту операцию, прежде чем прекратится действие хлороформа, — сказал он, — но остальным не так посчастливится.

Бетьюн быстро закончил операцию. Когда раненого выносили из комнаты, он впервые заметил, что Цин, повидимому, все время стоит у него за спиной.

— Чего вы ждете? — спросил он.

— Доктор Бай Чу-энь, — ответил Цин с особой торжественностью. — Я отвечаю за вашу жизнь. Если в вас попадет снаряд, то, стоя рядом с вами, я тоже погибну. Тогда меня будут справедливо ругать за то, что я не увел вас отсюда, но никто не сможет сказать, что я сам укрылся в надежном месте, оставив вас в опасности.

Бетьюн прислонился к Цину.

— Оставайтесь со мной товарищ, — сказа он с измученной улыбкой. — В меня еще ни разу не попадал ни один снаряд.

Следующим раненым оказался молодой боец лет двадцати, шрапнель попала ему в ногу и бедро. Пока его привязывали к столу, Бетьюн ласково разговаривал с ним; он искал слова, которые помогли бы ему подготовить раненого к предстоящему испытанию. Потом он предостерегающе взглянул на Туна, попрежнему стоявшего на обычном месте, удостоверился в том, что остальные крепко держат бойца за руки и за ноги, и сделал ему разрез на бедре. Солдат пронзительно вскрикнул и потерял сознание. Цзя, привыкшая ко всему за время своей работы в операционных, не выдержала и отвернулась.

Вслед за этим Бетьюн оперировал без наркоза еще четырнадцать раненых. Он работал бешеным темпом без перерыва десять часов под звуки пулеметной стрельбы, то приближавшейся, то замиравшей вдали, и под визг снарядов, которые, разрываясь, сотрясали здание храма. Наконец через разбитые оконца забрезжил рассвет.

Было уже позднее утро, когда Бетьюн сполоснул лицо холодной водой и вышел во двор. Он еле держался на ногах и зажмурился от яркого солнечного света. Бои шли на поле за милю от лазарета. Враг был отброшен. В течение шестидесяти девяти часов Бетьюн сделал сто пятнадцать операций.

Он постоял во дворе, глядя на дорогу, по которой двигался санитарный отряд, отвозивший раненых в военно-полевой госпиталь. Направо виднелась разрушенная деревня Цихуэй. Воздух был насыщен запахом паленого мяса, пороха и дыма. Мимо храма потянулись военные повозки с за-

хваченными у неприятеля трофеями. Окончился еще один бой.

Победа, одержанная в Цихуэй, подняла дух защитников Среднего Хэбэя и вывела из равновесия японцев. Однако японское командование снова подбросило подкрепления и начало окружение провинции Хэбэй. Пехота шла под мощным прикрытием танков и самолетов. Вражеские войска упорно продвигались вперед, миля за милей. Они захватывали один город за другим; большинство военно-полевых госпиталей было также захвачено японцами. К июлю Бетьюн и его отряд очутились в городе Сунцзячжуан, где в здании буддийского храма был снова организован госпиталь.

Однажды вечером, когда Бетьюн работал над своим медицинским справочником для партизанских отрядов, в комнату ворвался Тун с криком:

— Мисс Хэ приехала!

Бетьюн бросился к двери, выглянул на улицу и вернулся назад.

— Где она? Почему ты не привел ее сюда?

Тун весело ухмыльнулся:

— Ее самой здесь нет, но она прислала нам медикаменты с нашими бойцами. Вот письмо от нее.

Со двора доносились звуки возбужденных голосов. Врачи окружили двух мулов, на которых под особой охраной были доставлены медикаменты. Они сгружали тюки, сияя от удовольствия и похлопывая друг друга по спине, вынимали лекарства, анестезирующие и антисептические средства и бинты, раскладывали все это на столе у Бетьюна. Наконец Бетьюн вспомнил о письме и нетерпеливо разорвал конверт.

«Дорогой доктор Бетьюн!

Я отправилась в Пекин, как было решено, на другой же день после нашей встречи. Через два дня я приехала в этот изумительный древний город. Я пожалела, что вас нет рядом со мной, я могла бы быть вашим гидом и показала вам все его достопримечательности. Я уверена, что вы были бы в восторге.

В первый же день приезда, захватив с собой ваш список, я отправилась в большую аптеку на улице Моррисона. Так как все указанное в списке требовалось в очень больших дозах, мне ничего не продали. Совершенно очевидно, что японцы изо всех сил стараются не выпускать с оккупированной территории то, что представляет собою какую-то военную ценность, включая и лекарства. Я выяснила, что медикаменты можно приобрести, только имея на руках специальное разрешение японских властей. В розницу их можно купить без специального разрешения, но я поняла, что если начну покупать их в розницу, то мне понадобится более полугода, чтобы купить все, что вам нужно.

К счастью, в Пекине у меня есть друг — один из наших верующих, который работает начальником госпиталя. Он и достал мне нужное разрешение. Благодаря этой бумажке я смогла купить в аптеке на улице Моррисона все, что мне было нужно, за исключением того, чего у них просто не оказалось... Остальное я приобрела на следующий день в отделении немецкой фармацевтической фирмы «Байер»... Могу себе представить, как вы будете счастливы, когда узнаете, что я купила все, что вы просили. Хоть это оказалось очень трудным и утомительным, я рада, что смогла сделать это для вас.

Покончив с покупками, я занялась кое-какими делами для нашей церкви. Я знаю, что, читая эти строки, вы улыбаетесь. Я как будто слышу, как вы говорите, что покупка медикаментов, бесспорно, является тоже служением богу и церкви. Я не хочу спорить с вами и готова согласиться с тем, что сделать что-нибудь для вас — это значит в какой-то мере сделать что-то для церкви.

Я посетила всех ваших друзей, к которым вы просили меня зайти. Когда они услышали от меня о вашей работе, они сначала удивились, потом пришли в восторг и все выразили желание повидать вас. Д. даже осведомился, не может ли он поехать со мной, чтобы принять участие в том благородном деле, которым вы сейчас заняты. Не зная, как вы к этому отнесетесь, я могла только пообещать, что возьму его с собой, когда еще раз приеду в Пекин».

Далее в письме описывалось столкновение с японскими жандармами и с полицией марионеточного правительства на обратном пути из Пекина. Ей удалось убедить их, что медикаменты, которые она везет с собой, предназначаются для миссии; она писала об оккупированных городах, через которые ей пришлось проезжать и где она останавливалась, о своей встрече с представителями 8-й армии в свободном Китае.

«По дороге меня встретил представитель из Третьего подокруга. Он сообщил, что ему даны указания доставить вам все то, что я сумела приобрести. Я передала ему свои покупки, хотя предпочла бы передать их вам лично. Однако, зная о том, как много вы разъезжаете, я решила поступить так, как мне было предложено. Посылаю вам это письмо и список того, что я для вас купила...

Мне кажется, теперь я поняла, как важна ваша работа, и стремлюсь помочь вам. Это благородное дело, и я буду счастлива оказать вам любую помощь. Пусть бог накажет жестоких людей, которые являются причиной всех этих бедствий. Вы справедливо заметили, что это будет величайшая ми-

лость, которую господь может оказать своим чадам.

Я буду молиться за вас сегодня.

Искренне ваша, *Кэтлин Х.*»

Окончив чтение письма, Бетьюн обратился к Туну.

— Знаешь, Тун,— задумчиво сказал он,— христиане верят, что каждый раз, когда удается спасти душу человека на земле, на небесах царит ликование. Сегодня я ликую на земле, ибо ряды нашей армии пополнились новым чудесным борцом. Мисс Хэ приехала в Китай для того, чтобы обращать людей в христианскую веру, и, будучи христианкой, сама встала в наши ряды. Разве это не забавно,— спросил он улыбаясь,— что наши войска способствуют сближению неба и земли?

Неделю спустя японцы подошли к городу Сунцзячжуан. Партизанский отряд попытался задержать неприятеля в нескольких милях от города. Бетьюн оперировал раненых, доставленных в храм. Поступило известие, что китайские части отступают и город должен быть эвакуирован. В этот момент неприятельский снаряд попал прямо во двор храма: одна из стен рухнула, крыша осела. Когда дым рассеялся, оказалось, что чудом никто не пострадал. Через час санитарный отряд Бетьюна эвакуировался.

Теперь, когда неприятельские части двигались следом за ними, отряд начал отступать в западном направлении. По пути в деревнях санитары забирали раненых, которые были переброшены из военно-полевых госпиталей и эвакуированных населенных пунктов. В городах Западного Хэбэя раненые были бы в безопасности, но для того, чтобы доставить их туда, надо было пробраться через линию японской блокады.

Раненые, способные двигаться, были переодеты в крестьянское платье; тяжело больных везли в телегах под соломой. В общей сложности тысяча раненых бойцов была переправлена в Утайские горы через линию блокады, мимо занятых японцами городов и вражеских укрепленных пунктов. Когда последний раненый был благополучно переправлен через линию фронта, за ним последовал Бетьюн со своим подвижным отрядом.

...В августе Бетьюн отправился в штаб генерала Не Жун-чжэня и изложил ему свои соображения.

— За последние шесть месяцев,— начал он,— мне стало ясно, что в районе Шаньси-Чахар-Хэбэй нужна полная реорганизация медико-санитарной службы. Мы сумели доказать, что даже при помощи самых примитивных средств можно организовать образцовые госпитали, оперировать раненых в непосредственной близости от фронта, а значит, спасти жизнь многим бойцам. Однако теперь этого недостаточно. Сейчас обстановка такова, что не только один подвижной отряд, но даже и десяток таких отрядов уже не может справиться с задачами, которые стоят перед нами.

— Что же вы предлагаете? — спросил Не Жун-чжэнь.

— Я много думал над этим в течение последних месяцев,— сказал Бетьюн,— и пришел к заключению, что мы должны выработать программу, которая обеспечила бы удовлетворение наших ближайших и более отдаленных потребностей. Продолжая использовать на фронте подвижные отряды, мы должны также открыть новое училище для подготовки кадров медицинских работников, тщательно подготовив для него программу. Мы должны стремиться к тому, чтобы из стен этого училища вышло целое поколение квалифицированных китайских врачей и медсестер. Я твердо убежден в том, что сейчас самой важной задачей нашего подвижного отряда является спешная подготовка сотен квалифицированных врачей. Помимо этого, в течение ближайших месяцев нам необходимо найти какой-то способ прорвать блокаду и найти пути для доставки медикаментов и оборудования, а самим на месте организовать изготовление хотя бы самых простых медикаментов и основного медицинского оборудования.

— Весь вопрос в том, как достать деньги и материалы, которые дали бы нам возможность осуществить такую программу,— задумчиво сказал Не Жун-чжэнь.

— Для этого есть только один путь,— ответил Бетьюн.— Мне придется полететь в Америку. Мне стало ясно, что я должен сам достать и доставить сюда деньги, медикаменты и оборудование, которые нам понадобятся, и обеспечить себя помощниками. Это под силу только тому, кто сам работал в здешних условиях и сможет правильно описать сложившуюся обстановку, тому, кто сможет выехать отсюда и вновь пробраться сюда. Я составил пятилетнюю программу работы для нового госпиталя и нового медицинского училища, а также разработал программу для подготовки сотен врачей и сестер, которые нам необходимы. Я подсчитал, что для организации и субсидирования этих учреждений в течение пяти лет понадобится пятьдесят тысяч долларов. Когда я собирал средства для организации медицинской помощи в Испании, я раздобыл еще большую сумму. Я уверен, что за два месяца сумею собрать деньги в Америке. Мне представляется, что это именно и есть тот решительный шаг, который мы сейчас должны предпринять.

Не Жун-чжэнь долго сидел за столом, задумавшись. Потом он встал, начал ходить по комнате и наконец сказал:

— Мы обсудим это с командованием в Яньани... Мне трудно заставить себя согласиться с тем, чтобы вы уехали даже на несколько месяцев.

Окончательное решение было принято через несколько недель. Начались дожди, они шли без перерыва, затопили ущелье и долины и вызвали затишье на фронте. Было решено, что Бетьюн либо полетит через

Чунцин самолетом, если не будет препятствий со стороны правительства, либо поедет поездом через Индо-Китай. В течение двух месяцев пребывания в США и Канаде он будет выступать перед широкой общественностью с призывом оказать помощь китайскому народу. После этого он вернется, чтобы осуществить программу, о которой говорил генералу Не.

До отъезда оставалось еще много дел. Прежде всего необходимо было оказать врачебную помощь тем, кто был ранен во время сражения в Среднем Хэбэе. Раненых было около тысячи человек. Нужно было также организовать военно-полевые госпитали, обучить и подготовить медицинский персонал и позаботиться о том, чтобы работа подвижного отряда не прерывалась в его отсутствие. В дождливые дни, во время затишья на фронте он закончил свою книгу, которая называлась: «Организация военно-полевых госпиталей в условиях партизанской войны». Вслед за этой книгой он написал короткий очерк о специфике медицинского обслуживания в условиях партизанской войны. Кроме того, он занимался организацией мастерских по производству бинтов, лубков и протезов.

В середине сентября дата его отъезда была твердо зафиксирована: он должен был лететь в октябре.

Это случилось в операционной за две недели до отъезда и подтвердило опасения, которые Бетьюн долго от всех скрывал.

Он работал с пяти утра, борясь с усталостью и приступами головокружения. Со стороны можно было подумать, что он очень рассеян. Вечером, стоя за операционным столом, он часто останавливался и с удивленным видом оглядывался вокруг. Окончив перевязку, он внезапно отодвинулся от стола, приложил руку к ушам, сильно потряс головой, сорвал с себя халат, отбросил в сторону скальпель, крикнул доктору Линю, чтобы тот продолжал операции, повернулся кругом, как солдат на военном параде, и вышел из комнаты.

Он вышел во двор, не слыша восклицаний удивления, снова тряхнул головой, как выходящий из воды пловец, и отправился к себе домой.

Он долго стоял посреди комнаты, не зажигая лампы, испытывая странное ощущение. Было темно, и ему казалось, что он находится в каком-то безмолвном, пустом пространстве. Он снова надел шубу и вышел.

Он шел по улице, мимо маленьких домишек, глубоко вдыхая холодный воздух, держа голову совершенно неподвижно, вглядываясь в темноту. Деревня уже кончалась, а Бетьюн шел все дальше и дальше. Иногда он останавливался, смотрел на звездное небо и прислушивался, пытаясь уловить пение птиц, звук шагов, шум ветра. Но он не слышал ничего, кроме дьявольских ударов в ушах, казалось, вся кровь его бросилась в голову с ревом, подобным гулу далекой реки.

Он поднял ладонь вверх и сразу ощутил, как дует ветер. Но это был бесшумный ветер, не доносивший никаких звуков с гор. он был, как безмолвное, ледяное дыхание. Бетьюн набрал горсть камешков и бросил их. С напряженным вниманием он следил за тем, как они беззвучно падают на землю. Тогда он устало прислонился к дереву, и задумался среди окружавшего его безмолвия.

У него уже раньше были тревожные сигналы: чувство какой-то неловкости, по временам острая боль, звон в ушах после ночной работы, ангина с осложнением на правое ухо. Это началось еще в Шаньси и завершилось здесь, сегодня.

Неужели он никогда больше не услышит чудесных звуков жизни — музыки, голосов своих друзей, жужжанья насекомых в полях, цоканья копыт мчащихся коней, звуков рожка, криков и смеха?

Он медленно пошел назад в деревню. В окошке виднелся свет. Тун, поджидая его, дремал на стуле. Он взял Туна за плечо и увидел, как на его лице появилось выражение беспокойства и тревоги. Он смотрел на его губы, которые безмолвно двигались, словно они оказались в каком-то другом мире, где царила вечная тишина.

— Я ничего не слышу, товарищ. Я оглох,— произнес он печально.

Это была ночь полного одиночества. После того, как ушел обеспокоенный и огорченный Тун, он долго сидел за столом, глядя на мигающее пламя лампы, безучастно перелистывая свою рукопись, охваченный тяжелым и мрачным раздумьем.

Бетьюн старался представить себе, как будет жить в мире безмолвия; как сможет продолжать свою работу. Он не услышит вопросов, которые ему будут задавать. Мысленно он перенесся в операционную, и почувствовал себя, как птица в клетке. Он видел, как Тун, Фын и Линь стараются знаками объясниться с ним. Он видел себя в Америке. Как будет он обращаться со своими призывами к людям из пустоты, в которую никто не сможет проникнуть. Он видел свою мать, ее старое измученное лицо; она напрасно пытается донести до него слова своей любви. Знакомые лица друзей... Они проходят перед ним, как персонажи в немом кинофильме.

Более полутора лет прошло с тех пор, как он попал в самое сердце Китая. А сколько раз за это время он получал известия от своих друзей, с которыми сталкивала его судьба в течение всей его скитальческой жизни? Не более пяти раз! Пять писем за двадцать месяцев! Ирония судьбы... Еще недавно написал он в Яньань, в Канаду, всем, кто только ему вспомнился, прося прислать портативный радиоприемник, который помог бы наладить связь с внешним миром. Теперь это ни к чему. Даже здесь, в окружении таких замечательных товарищей, и как раз теперь, когда он уже начал понимать их язык, его одиночество будет все же безграничным.

Он поднялся и подошел к маленькому зеркалу, висевшему на противоположной

стене. На него глядело лицо старика лет семидесяти. Он не узнал себя — это было лицо чужого человека, которого он видел впервые. Лицо, иссушенное хэбэйским солнцем и горными ветрами, в морщинах, изможденное от голода, болезней и сверхчеловеческого напряжения.

Его лоб, казалось, стал у́же и выше, он выглядывал из-под совершенно седых волос, свисавших на исхудавшую шею. Под густыми, взлохмаченными бровями его глаза казались меньше. Правда, они так же блестели, как и раньше, их взгляд был открытым и смелым, но их окружала сеть морщин, свидетелей мудрости, купленной дорогой ценой. Под седеющей бородой дряблыми складками свисала кожа. Через щеки, от скул ко рту, шли резкие, глубокие складки, похожие на незалеченные раны.

Он потрогал свои тонкие губы. Его ослепительная улыбка исчезла, десны высохли, зубы пожелтели и испортились.

Он засучил рукава и вытянул руки; они были худы и жилисты, похожи на ветви деревьев Хэбэя. Его грудь, плечи и бедра высохли, всюду торчали кости, он весил немногим более пятидесяти килограммов. Это все, что осталось от его великолепного тела, от Бетьюна, который сумел победить туберкулез, поднимался на альпийские вершины, спускался на лыжах с гор и прошел пешком через Сьерры. Он прикусил губы, которые теперь часто синели от холода и малокровия, и закашлялся, прислушиваясь к резким хрипам в груди. Был ли это просто простудный кашель или что-нибудь посерьезнее? Он задумался о том, надолго ли хватит при такой нагрузке его здорового легкого.

...Бетьюн проснулся через несколько часов. Он так и заснул за столом, положив голову на руки. Рядом коптела лампа, было четыре часа утра. Он протер усталые глаза и вдруг услышал пение птички. Он вскочил на ноги. Неужели слух обманывает его, воспроизводя привычные звуки, так же как это бывает, когда человек после ампутации ноги ощущает зуд в пальцах. Он бросился к окну и просунул руку через бумажное «стекло». Пение сразу прекратилось, но он уловил слабый шорох крыльев испуганной птицы. Он высунулся из окна. Теперь голова его прояснилась, не так назойливо гудело в ушах. Он уловил поскрипывание калитки, завыванье ветра... Еще никогда утренние шумы не звучали так чудесно.

Бетьюн отошел от окна, тяжело ступая ногами. Он взял книгу, подержал ее, с силой швырнул на земляной пол и улыбнулся счастливой улыбкой: он услышал глухой звук ее падения. Сняв с руки часы, он подержал их сначала у правого, потом у левого уха. На правое ухо он был глух, но левым он услышал тиканье часов. Значит, частично слух вернулся к нему.

Он слышит достаточно хорошо, чтобы работать. О, этого вполне достаточно! Он повернется правым ухом к врагу, левым — к своим товарищам, а Тун довершит остальное...

Он в волнении расхаживал по комнате. Еще рано, можно отдохнуть часок, но ему не хотелось ложиться спать. Хорошо бы поговорить с кем-нибудь из старых товарищей.

Он вынул пишущую машинку, свой драгоценный запас копировальной бумаги и вставил в машинку сразу четыре листа. Повидимому, пройдет еще немало времени, прежде чем он будет иметь возможность писать снова, и поэтому он пошлет им, друзьям, как это бывало и раньше, по экземпляру одного и того же письма.

Он писал о своей работе, о своей полной оторванности от того мира, в котором живут они, писал о том, как гордится крестьянскими юношами и простыми рабочими, из которых готовит санитаров, медсестер и врачей. В осторожных выражениях он упомянул о своем плохом самочувствии, описал тяжелые условия работы, но тут же добавил:

> «Я понял, что могу с таким же успехом оперировать в грязном буддийском храме, с двадцатифутовым изваянием бесстрастного Будды за спиной, как и в отлично оборудованной операционной, с выложенными зеленым кафелем стенами, с раковиной, электричеством и тысячью разных приспособлений и удобств».

Он с уверенностью говорил о неизбежности военных успехов китайской армии. Исход войны не определяется размерами захваченной японцами территории. Враг держится за оккупированные районы, как охотник за хвост тигра.

> «Я думаю, что японцы никогда не победят Китай. Это физически невозможно. Слишком велика страна, слишком многочисленно население, слишком сильны народные страсти».

Затем он перешел к своим личным делам.

> «Мне кажется, что мы не виделись уже очень давно. Наверно, произошло так много нового. Что касается меня, то я имею много новостей. Все эти месяцы — почти два года — были так насыщены разными событиями, что я даже не знаю, с чего начинать. Мне так хочется, чтобы из всех тех писем, которые я уже написал вам, вы получили хоть это письмо...
>
> Почта здесь ходит очень нерегулярно. Уже после того, как письмо попадает в Китай, я получаю его не раньше, чем через пять месяцев. По моим подсчетам, я получаю только одно письмо из двадцати пяти. Я смирился с этим, ибо это тоже часть моей здешней жизни.
>
> Иногда я мечтаю о кофе, о хорошем ростбифе, о пироге с яблоками и о мороженом. Передо мной видения райской пищи. А книги!.. Неужели еще пишут книги? Неужели вы слушаете музыку,

танцуете, пьете пиво, ходите на выставки картин? Как спится на чистых простынях в мягкой постели? Неужели женщинам еще нравится, что их любят?

Как грустно, что все эти замечательные вещи воспринимаются, как нечто обычное, без удивления и восторга.

Я собираюсь ненадолго приехать домой. Думаю, что буду в Канаде к концу года. Я хочу привезти с собой сюда из Америки пятьдесят тысяч долларов. Эта сумма обеспечит наши госпитали, медицинские училища и тому подобное на пять лет. Я нужен здесь. Это моя страна, мой народ. Пока до свиданья, дорогой друг.

Всегда ваш *Бетьюн*».

...Наступил октябрь — срок отъезда Бетьюна, но количество военно-полевых госпиталей в районе вместе с вновь организованными разрослось до двадцати, и он написал генералу Не: «Я снова откладываю свой отъезд, для того чтобы объехать все госпитали. Некоторые из них только что открылись, в других я давно не был. Я не могу уехать, не сделав этого. Мне придется посвятить этому почти весь октябрь, и я решил выехать в начале ноября».

20 октября, когда Бетьюн и сопровождавшие его работники отряда уже заканчивали осмотр госпиталей, японцы внезапно бросили против района Шаньси-Чахар-Хэбэй пятидесятитысячную армию под небывало мощным прикрытием танков и авиации. Из штаба генерала Не Жун-чжэня поступило сообщение о том, что это наступление является началом массированного удара с целью уничтожить сопротивление во всем районе Шаньси-Чахар-Хэбэй. Генерал Люй Чжэн-цао потребовал, чтобы подвижной санитарный отряд следовал за его частями, так как именно они должны были принять на себя основной удар японцев.

— Но если мы отправимся на фронт,— сказал Тун,— вы не сможете выехать и в начале ноября.

...В конце октября отряд выехал на север; 2 ноября он добрался до маленькой деревушки, расположенной в непосредственной близости от фронта. Операционную устроили на сцене деревенского театра.

На второй день наступления часовой, войдя в операционную, сообщил, что в горах в северном направлении наблюдается какое-то движение. Доктор Е вышел, чтобы узнать, в чем дело. Он ясно различил группу около двадцати человек, которые спускались по склону горы. Они были одеты, как китайские крестьяне. Откуда они взялись и зачем идут сюда? Вскоре ему все стало ясно. Под видом крестьян шли солдаты китайских марионеточных войск, за ними — передовые части японцев, переодетых в гражданское платье, и, наконец, на расстоянии полумили от них — регулярные части в полной военной форме; солнце играло на их сверкающих касках.

Е бросился в операционную.

— Японцы! — закричал он. — Они подходят к нам с тыла! Мы, наверное, не успеем отступить!

Санитары бросились собирать инструменты. Тун, стоявший у операционного стола с наркозом для раненого, растерянно повторил:

— Неприятель у нас в тылу.... Нет, этого не может быть!

С улицы доносились возбужденные голоса:

— Неприятель наступает! Бейте тревогу!

На сцену театра вбежал санитар, отдернул занавеску, которая отделяла операционную от зала, и задыхаясь, закричал:

— Что нам делать с ранеными?

Резкий голос Бетьюна ворвался в этот шум и суету. Все обернулись к нему и сразу умолкли. Его глаза горели на худом бледном лице. Продолжая оперировать раненого, он спросил доктора Е:

— С какой стороны они движутся?

— Со стороны северных гор.

— Сколько их?

Е возбужденно ответил, что сначала идут предатели, потом японцы, переодетые крестьянами, и вслед за ними регулярные части.

Бетьюн оглянулся.

— Фын,— спросил он,— сколько у нас еще осталось неоперированных раненых?

— Десять человек; почти все с легкими ранениями...

Бетьюн стал быстро давать распоряжения:

— Фын, пусть немедленно эвакуируют оперированных. Е, сейчас же приготовьте здесь еще два операционных стола. Лин, распорядитесь, чтобы санитары приносили в операционную сразу по три человека. Тун, поставь часового с северной стороны театра и распорядись, чтобы в любой момент все было готово к немедленной эвакуации.

Присутствующие растерянно смотрели друг на друга. Е попытался возразить:

— Но ведь неприятель идет к нам с тыла, он отрезает нас от своих. Он так близко, что можно разглядеть форму солдат!

—Е,— спросил Бетьюн,— ты прикинул, на каком расстоянии от нас они находятся сейчас?

— На расстоянии не более десяти ли...

— Сколько времени им понадобится, чтобы дойти до деревни?

— Сорок минут форсированного марша.

— Значит, в нашем распоряжении еще, по крайней мере, тридцать минут.

Они работали быстро, в полном молчании. Вдруг зазвонил полевой телефон, доктор Линь, взявший трубку, сообщил:

— Звонят из полевого штаба. Неприятель в семи ли отсюда. Наши части высланы ему навстречу, чтобы удержать его. Нам приказано немедленно отступить.— Он

продезинфицировал руки и продолжал оперировать.

Через пять минут в операционную вбежал часовой, он остолбенел, увидев, что все спокойно продолжают заниматься своим делом.

— Неприятель — семьсот солдат — уже спустился с горы...

Бетьюн знаком приказал ему идти.

— Но у нас на всех только девять винтовок...

— Тем лучше,— сказал Бетьюн,— нам будет легче идти.

Внезапно в долине раздался оружейный залп.

— Очевидно, это подходят наши части,— заметил Тун.

— Проклятье! — громко выругался Бетьюн. Все вопросительно посмотрели на него.— Ерунда. Я просто порезал палец. Когда, черт возьми, будут у нас резиновые перчатки! — Он опустил левую руку в раствор иода и продолжал оперировать.

Через пятнадцать минут внесли последних раненых бойцов. Двоим операции сделали доктора Фын и Е. На столе Бетьюна лежал молодой боец с раздробленной ногой.

Снова послышалась стрельба, на этот раз еще ближе. Доктор Линь в сопровождении часового поспешно вошел в операционную.

— Бай Чу-энь, больше нельзя задерживаться ни минуты.

Спокойно, даже не подняв головы, Бетьюн ответил:

— Я оперирую. Сейчас же отправляйтесь, мы последуем за вами через несколько минут.

— Но, Бай Чу-энь,— молил Линь,— товарищ...

— Все должны отправиться немедленно,— резко приказал Бетьюн.— Мы догоним вас...— И он стал смывать запекшуюся кровь с ноги раненого.

— Нет! — воскликнул Линь с внезапной решимостью, схватив Бетьюна за руку.— Я не уеду, я буду оперировать. Если кто-нибудь должен остаться, пусть это буду я. А вам я не позволю продолжать операцию.

— Здесь я главный, товарищ Линь, и я приказываю всем, за исключением Туна и двух санитаров, немедленно отступать.

Раненый, лежавший на столе, поднял голову и умоляюще посмотрел на Бетьюна.

— Я не хочу, чтобы вы оставались из-за меня, дайфу, ранение у меня не такое тяжелое. Возьмите меня с собой или оставьте здесь, но, прошу вас, уходите немедленно.

— Мне понадобится всего лишь одна минута,— сказал Бетьюн.— Если я займусь твоей раной сейчас, потом я смогу ее вылечить. Если я этого сейчас не сделаю, ты потеряешь ногу.

Откуда-то с холмов застучал пулемет...

Впоследствии никто не мог вспомнить, сколько времени длилась эта операция. Когда она окончилась, санитары подхватили лежавшего без сознания раненого. Бетьюн крикнул:

— Берите только то, что вы сможете нести.— Минуту спустя они уже мчались галопом на лошадях по узкой тропинке в горы.

Достигнув вершины горы, они увидели в долине передовые японские части, входившие в опустевшую деревню...

Поздно ночью они добрались до поселка на реке Тан. Сюда доставляли раненых с фронта. Всю ночь их оперировали, затем отряд разделился на две группы. Одна, возглавляемая доктором Е и доктором Линем, должна была продолжать осмотр госпиталей. Другая, во главе с Бетьюном, доктором Фыном и Туном,— оставалась на фронте.

— Если все будет хорошо,— сказал Бетьюн Туну,— я, может быть, еще сумею выбраться отсюда во-время и провести рождественские праздники с моей матерью.

— Надеюсь, что больше ничто не помешает вам выехать,— сказал Тун.— Но что у вас с пальцем?

— Я порезал его, когда мы оперировали в этой безумной спешке. Должно быть, попала инфекция, ничего серьезного.

Весь вечер Бетьюн провел в постели, держа больной палец в соляном растворе.

— Ничего, пройдет,— повторял он, когда видел озабоченные лица окружающих. Все заметили, что он оперирует гораздо медленней, неловко отставляя больной палец. Обеспокоенный Фын посоветовал ему не оперировать, пока палец не заживет. Но Бетьюн ответил:

— Чушь, это случается со мной не в первый раз. Сегодня мы закончим операции здесь, а завтра утром отправимся на следующий пункт.

Но утром они не уехали. Бетьюн лежал на кане: у него были мутные глаза, и он все время облизывал пересохшие губы, впалые щеки горели. Рука распухла и напоминала огромный гнойник, готовый вот-вот прорваться.

— Все в порядке? — спросил он.

— Вы очень больны, дайфу,— сказал Фын ласково, кладя руку на горячий лоб Бетьюна.— Воспаление усилилось, у вас жар. Разрешите мне разрезать нарыв и выпустить гной?

Бетьюн лежал молча, с закрытыми глазами. Наконец он сказал:

— Ну что ж, это неплохая идея. Вскройте нарыв, а потом поедем.

Принесли нужные инструменты и позвали Цзя. Остальные работники отряда в мрачном безмолвии стояли у входа в домик. Фын сделал поперечный надрез, Цзя, державшая подносик с инструментами, расплакалась. Бетьюн с удивлением посмотрел на нее.

— О чем ты плачешь? Ведь это всего лишь пустяковый нарыв. Скоро все пройдет, мы уедем отсюда, и завтра ты снова будешь помогать мне.

Весь день Тун и Фын провели в маленькой комнатке, где Бетьюн метался в лихорадочном сне. Его лицо горело, рана гноилась, опухоль поползла вверх по руке.

Вечером к дверям комнаты подошел повар Чан и позвал Фына.

— Я видел, как он оживляет раненых своей кровью,— прошептал он.— Возьмите у меня кровь, чтобы помочь ему.

Фын отрицательно покачал головой:

— Это другая болезнь...

Наступило холодное серое утро, шел дождь. Бетьюн проснулся и долго прислушивался к тому, как завывает на улице ветер. Ему показалось, что где-то вдалеке слышится гул орудийных выстрелов, и он решил, что его слух снова обманывает его.

— Вы слышите артиллерийскую стрельбу? — спросил он у Туна и Фына, когда они пришли навестить его.— Разве идет бой?

Они переглянулись и отрицательно покачали головой. Он снова задремал, а проснувшись в полдень, услышал гул самолетов над головой.

Он заставил себя подняться с кана, открыл окно и громко позвал Туна. Когда Тун и Фын вбежали в комнату, он застегивал куртку. Он шатался, его лицо горело от жара; он был раздражен.

— Какие небылицы вы мне рассказываете! — вскричал он гневно.— Вы что, принимаете меня за дурака? Кто это придумал? Ну ничего, мы после разберемся в этом. Сейчас мне ясно, что к северу отсюда идет бой. Приготовьте все к отъезду, как можно скорее. Почему вы держите меня здесь как инвалида? У меня только палец нарывает, а сам я совершенно здоров...

Они ехали по направлению к фронту под мелким, моросящим дождем. Они умоляли Бетьюна остаться, предлагали доставить раненых в деревню, прибегали ко всяким уловкам и хитростям, но, сидя верхом на лошади, поджидая остальных, он упрямо твердил:

— Моя рука в порядке.

Он двигался впереди отряда, сгорбившись, еле держась в седле, запрятав больную руку под ватник.

Люди и ехали и брели пешком, скользя и падая на мокрой тропинке. Когда отряд вышел из леса, началась метель. Они заночевали в лесу, вокруг них бушевала вьюга. Бетьюн с трудом забрался в свой спальный мешок, отказавшись от всякой еды, и заснул прямо на мокрой земле.

Утром они продолжали путь и, сделав около семидесяти ли, приблизились к месту боев. Приехав в Ванцзячжуан, где находилось медицинское управление, Бетьюн потерял сознание прямо в седле. Придя в себя, он увидел, что лежит на кане, а Тун, Фын и другие врачи стоят вокруг, с тревогой глядя на него.

— Сообщите в штаб по полевому телефону, что мы находимся здесь,— сказал он Туну.— Скажите им, что всех раненых нужно направлять в Ванцзячжуан. Если не удастся связаться по телефону, пошлите специальных нарочных. Я смогу начать оперировать, как только прибудут первые раненые, мне просто нужно немного отдохнуть.— И он закрыл глаза.

Наутро из полевого штаба поступило известие о том, что к деревне приближаются японцы и нужно снова эвакуировать отряд. Сначала Бетьюн отказался ехать.

— Через несколько часов я буду в состоянии оперировать,— упрямо заявлял он в ответ на все уговоры. Он уступил только тогда, когда с фронта прибыл полковник Ци и приказал ему эвакуироваться.

Они двинулись по горам и долинам с Бетьюном на носилках.

...В маленьком деревенском домике его уложили на кан.

— Почему так холодно, Тун? — все время спрашивал он.— Разве в печке нет огня? Я ужасно замерз.

Он был укрыт меховыми одеялами, в печке весело трещал огонь, а он еле слышным голосом повторял:

— Мне холодно.

Фын вторично вскрыл ему руку, прижег рану и попытался теми скудными средствами, которые были в его распоряжении, приостановить заражение крови, но все было напрасно. Тогда, в отчаянии, он предложил ампутировать руку.

Бетьюн покачал головой.

— Нет, Фын,— сказал он слабым голосом.— Я отдал бы обе руки, чтобы жить, товарищ, но дело не в руке. Это общее заражение, и ничем нельзя помочь.

— Но разрешите мне попробовать,— молил Фын,— может быть...

— Ничего не выйдет,— повторил Бетьюн, пристально глядя на своего помощника.— Вы стали прекрасным хирургом, Фын. Вы оперируете искуснее многих врачей, окончивших лучшие университеты. Я горжусь вами... Именно вы должны были бы оперировать меня, если бы только стоило это делать. Однако я слишком хорошо понимаю, в чем дело. В Европе и в Америке сейчас изобретают новые средства, которые могли бы помочь, а у нас даже и старых почти нет...

Он остановился, и Фын подумал, что он задремал. Но вдруг он сказал чуть слышно, почти шепотом:

— Оставьте меня, пожалуйста, ненадолго, мне хочется побыть одному.

Фын и Тун нерешительно переглянулись.

— Я позову вас, когда вы мне понадобитесь.

Долго он лежал, с трудом переводя дыханье, потом сел, прислонившись к стене, вынул из кармана авторучку и начал писать, по временам останавливаясь, чтобы передохнуть.

Он писал свое завещание.

«Дорогой генерал Не Жун-чжэнь!

Я безнадежно болен и скоро умру. Прошу вас исполнить несколько моих просьб.

Пожалуйста, сообщите о моей смерти Т. Б. в Канаде и в «Комитет помощи Китаю» в Нью-Йорке. Передайте

им, что я был счастлив здесь и сожалею только о том, что не смог сделать большего.

Прошу передать мою коллекцию японских и китайских мечей Б. в Нью-Йорке...

Все фотографии, дневники, записки и кинопленка должны быть переданы Т. Б.

Я бы хотел, чтобы вы передали «Комитету помощи Китаю» мою просьбу перевести от моего имени сколько-нибудь денег моей бывшей жене. Мои обязательства по отношению к ней бесспорны, и я не хочу, чтобы ей ничего не досталось только потому, что у меня нет личных средств. Передайте ей, что я был очень счастлив.

Мои две походные кровати я оставляю вам и вашей жене. Вам же я оставляю две пары моих английских ботинок. Мои сапоги для верховой езды и бриджи я бы хотел оставить генералу Люю. Два ящика с моими инструментами нужно передать начальнику санитарного управления 8-й армии. Врачи Е, Фын и Линь должны получить по восьми из моих хирургических инструментов.

Мне бы хотелось оставить на память моему ординарцу Шоу и моему повару Чану по одеялу.

Нам нужно ежегодно иметь 250 фунтов хинина и 300 фунтов железистых препаратов. Это необходимо для больных, страдающих малярией и анемией. Никогда больше не покупайте медикаментов в Баодине, Тяньцзине и Пекине: цены там вдвое дороже, чем в Шанхае и Гонконге. Прошу вас передать мою самую горячую благодарность мисс Хэ за ту помощь, которую она нам оказала.

Передайте мою вечную любовь Т. Б. и всем моим друзьям в Канаде и Америке. Скажите им, что я был очень счастлив здесь и сожалею только о том, что мне не удалось сделать больше.

Последние два года были самыми содержательными и самыми значительными во всей моей жизни. Подчас я бывал одинок, но здесь, среди моих любимых товарищей, я сумел воплотить в жизнь свои самые высокие стремления.

У меня нет больше сил, чтобы писать. Тысячу раз благодарю вас и всех моих здешних товарищей.

Норман Бетьюн».

Окончив письмо, он упал на кан в полном изнеможении, и листки письма разлетелись по полу.

Прошел еще один день. Бетьюн уже не мог ничего есть, но его глаза попрежнему горели. Фын и Тун не отходили от него, зная, что надежды нет, и все-таки надеясь. Над деревней спустилась ночь, Бетьюн лежал на кане, стиснув зубы, его знобило, глаза у него совсем ввалились.

Рано утром он очнулся и необычайно звонким голосом сказал:

— Тун, там на шкафу мои бумаги, дай их мне, мои бумаги... Они мне нужны, Тун.

Бетьюн с трудом перебирал бумаги. Тут были его дневники, письма, рукописи, отчеты. Наконец он нашел то, что искал, и сказал Туну:

— Здесь мое письмо генералу Не и вот это... Здесь все, что я хочу сказать...

Тун взял листки из его дрожащих пальцев. Это была рукопись, написанная Бетьюном в Шаньси и озаглавленная «Раны»...

ЭПИЛОГ

В долине Восточной Шаньси ему воздвигли памятник. И, хотя со всех сторон наступали японские танки и летали вражеские самолеты, по постановлению правительства пограничного района Шаньси-Чахар-Хэбэй и командования 8-й армии долина была объявлена национальной святыней китайского народа.

Солдаты, художники, рабочие — все вместе сооружали этот памятник. Они создали его из драгоценного мрамора и своей беспредельной любви.

Война, разразившаяся на их родной земле, охватила уже весь мир. Гул неприятельских орудий раздавался все ближе и ближе, а они копали, обтесывали и вырубали террасы и уступы. У подножья гор они посадили деревья. С северной стороны они установили огромные плиты, начертав на них имена двадцати пяти тысяч павших бойцов, с западной стороны на могиле Бетьюна они установили надгробный камень. С южной стороны они построили открытый амфитеатр. Это была поэтическая трилогия, воспевающая героизм народа, великую ценность человеческой личности и священный долг оставшихся в живых.

Они трудились над сооружением памятника в течение целого года. Им приходилось за тридцать миль подвозить мрамор, пробираясь через линию японской блокады. Они работали только по ночам. Триста шестьдесят пять ночей они пробирались через неприятельские укрепленные пункты, неся свой драгоценный груз.

Когда наконец все было готово, японцы перешли в наступление и захватили весь район. В течение трех недель долина была их полигоном. 15 октября 1941 года, перед отступлением, они заложили динамит под каменные плиты с именами бойцов и расстреляли прямой наводкой памятник Бетьюну. Когда генерал Не Жун-чжэнь услышал об этом, он сказал:

— Клянусь, что я не вернусь в долину до тех пор, пока не останется никакого следа от этого святотатства.

* * *

В священную долину приходят толпы крестьян, рабочих, городских жителей и ве-

теранов двадцатипятилетней войны. Здесь, в открытом амфитеатре, они слушают рассказы о кровавых сражениях, о Бетьюне, с именем которого шли в бой китайские патриоты. Они идут к памятнику, окруженному высокой восьмиугольной стеной; проходят между двумя башенками, соединенными простой аркой. С гранитного пьедестала на них смотрит статуя Бетьюна. Позади нее, в центре большого огороженного стеной пространства, поднимаясь над огромной пятиконечной звездой, стоит гробница — простая белая мраморная плита на массивном фундаменте. На ней возвышается огромный земной шар, высеченный из целого камня.

По сторонам гробницы — черные панели с золотыми надписями на английском и китайском языках:

«Дух интернационализма товарища Нормана Бетьюна достоин того, чтобы о нем знали все китайские коммунисты и чтобы его чтил весь китайский народ.

Центральный Комитет Коммунистической партии Китая.

Ученому и революционеру-борцу.

Генерал Не Жун-чжэнь.

Славному борцу за освобождение человечества.

Генерал Люй Чжэн-цао.

Немеркнущему светилу.

Тун Юэ-цзянь».

Перевод с английского О. Сухаревич

В. Стеженский

ЖУРНАЛ НЕМЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕИ

Литературно-художественный и критический ежемесячник «Нейе дейче литератур», орган Союза немецких писателей, — один из самых молодых журналов, издающихся в Германской Демократической Республике. Но за три года журнал сумел приобрести прочную и широкую популярность в литературных и читательских кругах демократической Германии, стать известным среди читателей многих других стран. У этого журнала есть уже свои традиции, им накоплен немалый опыт борьбы за передовую немецкую литературу. В числе сотрудников и авторов «Нейе дейче литератур», главным редактором которого является Вилли Бредель, можно встретить имена наиболее видных современных немецких писателей и поэтов, публицистов и критиков, на его страницах печатаются новые интересные произведения, находят отражение большие и волнующие проблемы литературной и общественной жизни Германии.

Стремясь стать подлинной трибуной общенациональной демократической литературы, журнал привлекает к сотрудничеству не только писателей ГДР, но и Западной Германии. Через журнал свободное и правдивое слово немецких писателей, несмотря на все искусственные преграды и препятствия, становится слышным и на западе Германии.

В коротком обзоре невозможно хотя бы перечислить весь тот обширный и разнообразный круг вопросов современной немецкой литературы, проблем классического наследия, творчества писателей зарубежных стран, все книжные новинки, с которыми познакомил своих читателей журнал «Нейе дейче литератур». Остановимся поэтому лишь на том, что представляется нам наиболее важным и интересным из появившегося на страницах журнала за последнее время.

Почти в каждом номере журнала публикуются новые произведения немецких писателей, рассказы и повести, стихи и поэмы. Крупные по объему вещи — романы, пьесы — журнал печатает в отрывках, ставя перед собой задачу пробудить у читателя интерес к этим произведениям, вызвать у него желание познакомиться с ними в полном виде.

За последние месяцы в «Нейе дейче литератур» были напечатаны, наряду с другими, отрывки из новых романов Лиона Фейхтвангера «Испанская баллада»* и Отто Готше «Между ночью и утром», сцены из пьес Хейнара Киппхардта «Удивительный взлет Алоиза Пионтека» и Гаральда Хаузера «В конце ночи», главы из романов западногерманских писателей Генриха Бёля «Где ты был, Адам?» и Вольфганга Кёппена «Смерть в Риме», новые стихи, рассказы и очерки.

Коротко охарактеризуем некоторые из этих произведений.

Имя немецкого писателя Отто Готше знакомо советским читателям по роману «Глубокие борозды», изданному на русском языке несколько лет назад. Для творчества этого автора показательны поиски новых тем, живой интерес к острым проблемам недавнего прошлого и современной действительности Германии.

---

* Краткое изложение содержания этого романа см. в журнале «Иностранная литература», № 2 за 1956 год, раздел «Из месяца в месяц».

Новый роман писателя «Между ночью и утром» посвящен событиям первых недель после окончания второй мировой войны. Войска западных держав, занявшие промышленный город на территории Восточной Германии, отходят за Эльбу. Население готовится к встрече Советской армии. Враги германского народа, недобитые нацисты затевают провокации, пытаются осуществить диверсии на промышленных предприятиях. Заблаговременно бежавшие на Запад владельцы металлургического завода поручают своему ставленнику Шпорману вывезти с завода всю готовую продукцию и запасы сырья. Писатель показывает, как в этот трудный и острый момент пробуждается классовое самосознание немецких рабочих. Совместными действиями они срывают попытку разграбления завода, зная, что в Восточной Германии такие предприятия не останутся в руках монополистов, а перейдут в собственность народа.

Роман «Где ты был, Адам?», впервые опубликованный в Западной Германии, принадлежит перу известного немецкого писателя-католика Генриха Бёля. Участник западногерманского литературного объединения «Группа 47», Генрих Бёль завоевал известность своими романами, изданными в послевоенные годы: в них явственно отразились антифашистские взгляды автора, его отвращение к милитаризму.

В романе «Где ты был, Адам?» писатель ставит вопрос о виновности тех, кто был соучастником злодеяний фашизма. Один из персонажей романа, нацист Фильзкейт, становится в годы войны комендантом гитлеровского концлагеря. Этот тупой и ничтожный чиновник считает себя большим знатоком и ценителем музыки. Чтобы показать свою «либеральность» и приверженность к искусству, Фильзкейт организует хор из заключенных концлагеря. Но, как свидетельствует автор, фашизм и искусство несовместимы, как несовместимо служение фашизму с сохранением незапятнанной совести человека. «Приказы были для него священнее, чем музыка, — пишет Генрих Бёль, — и за последнее время пришло много приказов, которые уменьшили состав его хора».

С большой симпатией и теплотой описана в романе молодая еврейская женщина Илона, расстрелянная в концлагере Фильзкейтом.

Другой персонаж романа, немецкий солдат, погибает в конце войны на пороге своего дома. Нацистский фельдфебель приказал открыть по этому дому артиллерийский огонь, так как на нем был вывешен белый флаг. В последнюю минуту умирающий солдат, который всю войну безропотно выполнял приказы гитлеровского командования, почувствовал себя обманутым, понял всю преступность развязанной фашизмом войны. Автор показывает, как до последнего дня войны бессмысленно гибли на фронте простые солдаты, в то время как высшее офицерство торопилось «на Запад, где уже не было войны», чтобы сдаться в плен войскам западных держав и избежать ответственности за свои преступления.

Хотя Генрих Бёль не касается в своей книге социальной сущности фашизма и трактует проблемы вины за соучастие в преступлениях только с позиций христианской морали, роман «Где ты был, Адам?» представляет собой гневный приговор гитлеризму и развязанной им войне. Высокие художественные достоинства, живой и выразительный язык, умение автора создавать запоминающиеся образы ставят эту книгу в число интересных и значительных произведений, созданных писателями Германской Федеральной Республики.

Недавно в ГДР была поставлена новая пьеса Гаральда Хаузера «В конце ночи». Заключительный акт этой пьесы опубликован в журнале «Нейе дейче литератур».

Действие пьесы происходит летом 1953 года на одном из немецких заводов, принадлежащем советскому акционерному обществу, незадолго до передачи советских акций Германской Демократической Республике. Главный инженер завода Енссен, крупный специалист и хороший работник, готовится тайно покинуть предприятие и уехать за границу. Он боится разоблачения за совершенную во время войны подлость, которая едва не стоила жизни одному советскому военнопленному. Он подозревает, что работающий вместе с ним советский инженер Строгов и есть тот самый бывший военнопленный, который каким-то чудом сумел избежать расправы гитлеровцев. Проживающий в Западной Германии нацист Кальвейт шантажирует Енссена, пытаясь склонить его к бегству из Германской Демократической Республики. Невеста Енссена Ева отказывается уехать вместе с ним, особенно в такой мо-

мент, когда на заводе произошла авария, грозящая надолго остановить производство. После мучительных колебаний и раздумий Енссен остается. К сожалению, причины, побудившие его изменить свое первоначальное намерение, оказались в пьесе недостаточно раскрытыми. Не вполне удачным получился в пьесе образ советского инженера Строгова. Желая, видимо, сделать этот персонаж возможно более привлекательным, автор наделил своего героя таким количеством всяческих добродетелей, что Строгов во многом утратил реальные черты живого человека.

Большое внимание уделяет журнал творчеству молодых писателей и поэтов. Опубликованная в одном из номеров подборка рассказов молодых авторов свидетельствует о том, что в демократическую немецкую литературу вливаются новые таланты, говорит о широте творческих направлений, о разнообразии и богатстве тем, за которые берутся молодые писатели.

Двадцатидвухлетний прозаик Манфред Билер написал проникнутый теплым лиризмом рассказ «Птичий приют». Герои этого рассказа, молодые влюбленные Михаэль и Ингрид, отправляются на прогулку. Автор живо рисует картины немецкой природы, с тонкостью, присущей подлинному художнику, раскрывает всю глубину чувств Михаэля и его подруги. И резким контрастом этому является внезапное суровое напоминание о прошлом: один из жителей деревни, куда приехали Михаэль и Ингрид, рассказывает им о том, как в 1933 году фашисты арестовали и зверски избили отца Манфреда. «Мы должны знать об этом,— говорит Ингрид,— иначе можно забыть о многом». И читатель верит, что ни Ингрид, ни Михаэль никогда не забудут о прошлом, о тех, кто своей борьбой с фашизмом принес молодому поколению Германской Демократической Республики свободную и счастливую жизнь.

В совершенно иной форме написан рассказ молодого западногерманского автора Филиппа Вибе «Возможно, будет так». Это остро сатирическое произведение, разоблачающее подготовку к введению в Германской Федеральной Республике всеобщей воинской повинности.

Оба эти рассказа были отмечены премиями на литературном конкурсе Всемирного фестиваля молодежи в Варшаве.

Систематически освещает журнал проблемы классического наследия. Публикации, статьи, информационные заметки о творчестве выдающихся писателей прошлого можно найти почти в каждом номере «Нейе дейче литератур».

Недавно журнал опубликовал интересные материалы о творчестве замечательного немецкого сатирика XVIII века Кристиана Людвига Лискова. Одна из ярких фигур немецкого Просвещения, современник Лессинга, Лисков решительно выступал против суеверий и предрассудков своей эпохи, против католической реакции. Его страстные полемические произведения были направлены против духа раболепия и верноподданничества, защищали права и достоинства человека. Великолепным образцом его сатирического творчества является памфлет «Основательное доказательство превосходства и необходимости дрянных писателей», воспроизведенный в «Нейе дейче литератур». В этом памфлете, содержание которого актуально и для сегодняшнего дня немецкой литературы, Лисков бичует самодовольство и невежество писателей, служащих реакции.

Говоря о «Нейе дейче литератур», нельзя не отметить и той выдающейся роли, которую играет этот журнал в борьбе за чистоту немецкого языка.

Теоретические статьи по вопросам истории и развития национального языка, публикации высказываний о языке великих писателей и деятелей культуры прошлого, анализ языка новых произведений немецкой литературы — все эти материалы являются ценным подспорьем для творческой работы писателей современной Германии. В журнале существует специальный раздел, в котором подвергается критическому разбору язык газет и журналов, издающихся в Германской Демократической Республике и в Западной Германии.

В январе этого года в Берлине состоялся IV съезд немецких писателей, выдвинувший новые большие задачи перед современной демократической литературой Германии. В подготовку этого съезда немалый вклад внес и журнал «Нейе дейче литератур». В течение ряда месяцев, предшествовавших съезду, журнал регулярно публиковал дискуссионные статьи по важнейшим вопросам современной немецкой литературы, волнующим не только писателей, но и широкие круги читателей.

Эдуард Клаудиус посвятил свою статью общему анализу положения в литературе Германской Демократической Республики. «Все, что только было возможно в политическом, моральном и материальном отношении, — писал Э. Клаудиус, — республика дала нашим писателям как старшего, так и молодого поколения». Перед писателями ГДР открылись невиданные ранее горизонты, их творчество приобрело всенародное значение. В то же время, подчеркивал автор статьи, современная литература еще далеко не удовлетворяет тем высоким требованиям, которые ставит перед нею сама жизнь. Э. Клаудиус считает, что некоторые писатели еще не осознали своей ответственности перед народом, не представляют себе в полной мере, какое огромное значение имеет литература в борьбе за строительство новой Германии.

«Интуиция, дарование более или менее значительное, одна только вера и надежда, — пишет Э. Клаудиус, — всего этого теперь недостаточно. Чтобы быть писателем, быть на высоте задач современности, нужно большее. Если мы не готовы усвоить все современные знания, учиться упорно и повседневно, снова и снова проверять себя и свои силы, художественные произведения не появятся».

Писатель Эрвин Штриттматтер в своей статье резко критикует произведения, приукрашивающие и упрощающие действительность. Незнание жизни, отрыв от интересов и стремлений народа неизбежно влекут за собой появление хилых и бескровных произведений, бьющих мимо цели, не отражающих многообразия жизненных конфликтов. Э. Штриттматтер приводит в статье яркое описание собрания в одном сельскохозяйственном кооперативе, свидетельствующее о том, какие сложные и глубокие процессы происходят сейчас в немецкой деревне.

О недостатках в работе с молодыми авторами, об опасности схематизма в их творчестве с горячей взволнованностью пишет Юрий Брезан. Он напоминает о том, как важно бывает для молодого писателя чувствовать в своей творческой работе повседневную помощь со стороны более опытного собрата по перу. «Наши молодые таланты, — утверждает Ю. Брезан, — могут стать силой, формирующей будущее, лишь в том случае, если каждый писатель — чем он значительнее, тем в большей степени — будет чувствовать свою ответственность и не только чувствовать, а по-настоящему, действенно заботиться об одном или двух молодых авторах».

Горячие споры вызвала напечатанная в журнале статья Ганса Цибулки «Кто читает теперь стихи?» Автор этой статьи, ознакомившись с читательскими формулярами одной из библиотек, установил, что поэтические произведения, сборники стихов читаются крайне мало. Однако Г. Цибулка делает из этого слишком поспешный вывод, будто «у трудящихся нет никакого интереса к поэзии», будто «наши современники удовлетворенно скользят по поверхности жизни и не интересуются глубокими духовными проблемами».

Справедливо возражая Г. Цибулке, писатели Э. Грейлих, В. Зенке, Г. Дайке и другие отмечали, что недостаточный интерес читателей к поэзии в значительной мере объясняется тем, что библиотеки и книжные магазины не пропагандируют стихи, а газеты и журналы их почти не печатают. Стихи в газете, пишет В. Зенке, все еще продолжают быть случайным и редким явлением. Вкус к поэзии должен воспитываться со школьной скамьи, пишет Р. Штейнбах в статье «Поэзия на уроках немецкого языка».

В творческом разговоре перед съездом приняли участие и писатели Германской Федеральной Республики. Известный западногерманский писатель Гюнтер Вайзенборн в статье «О правдивости реализма» с глубоким беспокойством пишет о широком распространении абстрактной, мистической, вневременной литературы. Указывая на серьезную опасность такого рода литературы для молодого поколения, Г. Вайзенборн требует «ясности мысли, чистых контуров языка». Автор статьи напоминает своим западногерманским коллегам о том, что «быть писателем — значит побуждать людей изменить свою жизнь», призывает к «возрождению реализма... который отразит всю глубину человеческого бытия».

IV съезд немецких писателей помог разъяснению многих важных проблем, затронутых в предсъездовской дискуссии. «Наша литература, — указывалось в приветствии ЦК СЕПГ делегатам съезда, — становится настоящей народной литературой. Она помогает нашему мирному строительству, способствует пробуждению и развитию в со-

знании наших людей великих идей социализма. Она борется за гуманистические идеи мира, дружбы народов и равноправия наций. Она выступает за демократические идеи в борьбе против милитаристов, монополистов и юнкеров, за единую, миролюбивую, демократическую Германию, в которой рабочие и крестьяне прочно держат власть в своих руках».

Высокий авторитет журнала «Нейе дейче литератур» в вопросах немецкой культуры и литературы, его роль в объединении всех немецких писателей, выступающих за мир, за национальную независимость своей родины, не могут теперь отрицать даже его идейные противники. Так, выходящий в Штутгарте журнал «Ди культур» в статье, посвященной обзору «Нейе дейче литератур», писал недавно, что «западногерманские писатели могут испытывать чувство зависти уже при одном взгляде на этот журнал, ибо подобного печатного органа, который хотя бы приближался к такому освещению нашей жизни и творчества, наших писательских нужд и запросов, у нас нет».

Сплачивая прогрессивные силы немецких писателей, борясь за национальную демократическую литературу, журнал «Нейе дейче литератур» с честью выполняет свой благородный долг перед народом.

Аркадий Первенцев

Выдающийся писатель, борец, друг мира

Халлдору Кильяну Лакснессу присуждена Нобелевская премия 1955 года. Это — выдающееся событие в современной культурно-общественной жизни и добрый признак дальнейшей разрядки международной атмосферы. В прошлом Нобелевская премия не всегда присуждалась тем людям, чьи симпатии были на стороне мира и прогресса, людям, которые пользовались признанием и поддержкой международной прогрессивной общественности. Имя Халлдора Лакснесса хорошо известно всему прогрессивному человечеству не только как имя талантливого писателя, но и как пламенного патриота своей родины, верного сына исландского народа, прославленного борца за дело мира.

Популярность Лакснесса велика. Международное значение деятельности Лакснесса сделало его имя известным во многих странах мира. Книги Лакснесса переводятся, распространяются и читаются с неослабевающим интересом. Пожалуй, это тот писатель, который сумел завоевать признательность и интерес к своему творчеству у самых разнообразных читателей. Его книги оригинальны по форме, интересны по содержанию, наполнены мягким юмором и злой сатирой, лиричны по обрисовке внутреннего мира героев, беспощадны к уродливым явлениям наблюдаемой жизни, и, в конце концов, очень оптимистичны, ибо они, как правило, утверждают лучшее, что есть в живом существе, именуемом человеком.

Надо быть очень крупным писателем, чтобы своими книгами привлечь внимание всего мира к маленькому по численности народу, населяющему вулканический остров, расположенный в предверии полярных морей. Большое счастье для исландского народа, что он имеет своего славного барда. Лакснесс всегда, в любой строке своих произведений, по-сыновьи влюблен в свою землю, в природу своей чудесной страны, в свой трудолюбивый, мужественный народ. Его тонкий и точный анализ событий, уменье в небольшом явлении уловить главное, его страстный темперамент и несгибаемая воля могут служить высоким примером для многих писателей.

С каким наслаждением мы знакомились с его романом «Салка Валка» по краткому пересказу, так как роман не переведен на русский язык. Даже те немногие страницы, которые нам дословно переводили с незнакомого древнего языка, заставили представить себе незабываемый образ девушки. Салки Валки, ее жизнь, мечты и страдания; увидеть весь исландский народ с его трудами, чаяниями и невзгодами. Плыли по морю рыбачьи шхуны, волновался океан

и, как мрачное видение, вставала над базальтовыми черными скалами мрачная тень купца Богесена.

Правдив, беспощаден и страстен Лакснесс в своей «Салке Валке». Ему было неполных тридцать лет, когда этот роман, написанный на острове, облетел мир с быстротой молнии. Его мужественная, боевая проза, смелое выступление против социального неравенства и эксплуатации, вера в простого человека, в рабочего помогли читателям найти в молодом Лакснессе знакомые черты прославленного буревестника России, обнаружить горьковские традиции. Преемственность народных, демократических традиций лучших писателей-предшественников помогла найти Лакснессу путь к сердцам миллионов простых людей.

Вслед за «Салкой Валкой» писатель издает роман «Самостоятельные люди» (в русском переводе он вышел в 1954 году). Свой роман Лакснесс называет героической сагой. Мы знакомы с древнейшей формой исландского народного творчества — сагами. История народа встает в этих сагах, созданных неизвестными творцами, Гомерами Исландии. Пленительно по своему звучанию и напевности, замечательно по изображаемым характерам удивительное произведение средневековой Исландии «Эдда», песнь о Сигурде.

Когда поднимаешься на темный холм, господствующий над заливом Рейкьявика, и смотришь на бронзовый памятник первооткрывателя «Страны льдов» Ингольфура Арнарсона, вспоминаешь древнюю сагу о Сигурде. Вот таким представляется мне Сигурд, бежавший из Скандинавии от гнева короля на утлой ладье, вот в таком шлеме и кольчуге, напоминающей кольчугу Ермака, с таким широким мечом на бедре, с таким смелым взглядом, устремленным в бесконечные просторы дымящейся от туманов Атлантики.

И Лакснесс, описывая бедного крестьянина Бьяртура с его неистощимым желанием выбиться в люди, с его верой в свои силы, с его трагедией мелкого собственника, не случайно именует свою повесть о Бьяртуре героической сагой.

Вот кто подлинные герои Исландии! Вот о ком его страстная, убежденная песня! Они — простые, честные люди из глубины народа, со своими нуждами, тревогами и заботами, со своими желаниями, зачастую несбыточными мечтами привлекают внимание писателя. Они близки и дороги Лакснессу, человеку, пришедшему в литературу от земли, от крестьянской родительской фермы, расположенной в лавовой долине.

Лакснесс полон глубоких чувств к своим героям, так как они — народ его маленькой, но гордой страны. Он показывает, как постепенно пробуждается сознание, проясняется разум у этих людей, как приходит видение будущего. Неистребимая вера в силы своего народа, в его светлое будущее, в его счастье помогает писателю пропеть песнь своим героям в заплатах.

Лакснесс идет в дома бедноты, в них ищет материал для своих произведений, к бедным, маленьким, но великим людям (так говорил Горький) обращается со словами мужества и понимания.

Вспомним, какой привлекательный образ женщины из народа вырастает перед нашими глазами, когда мы видим на сцене Лоа из «Проданной колыбельной». Какими яркими красками рисует писатель образ Лоа, раздавленной, но не сломленной несчастьями, подлостью людей из страшного, казалось, такого заманчивого мира, где много красивых одежд, денег, хорошей пищи, но не меньше и гнусности.

Лакснесс бесстрашно смотрит правде в глаза и черпает силы в том человеке, к которому он обращается со страниц своих произведений.

Книги Лакснесса популярны. Лакснессом гордятся и у него на родине, и за рубежом. Это чувство естественно и понятно. Писатель является гордостью нации, ее славой, ее певцом. Но меня особенно трогало, когда я видел книги Лакснесса на полках в простых домах крестьян и рыбаков; каждая строка его произведения перечитывается и обсуждается, и простые люди гордятся своим художником.

Лакснесс называет Бьяртура представителем тридцати поколений исландских тружеников. Тридцать поколений — это история Исландии с времен первых поселенцев, с времен, когда на базальтовые скалы высадились люди с челнов и принялись осваивать остров, рожденный подводными извержениями вулканов, остров со скудной растительностью, с шумными водопадами и горячими гейзерами.

С 874 года начинается история тридцати поколений. С какими же результатами пришел к современности герой саги Халлдора Лакснесса? Да, его герой пришел с вполне сложившимся национальным характером: он хочет добиться самостоятельности, но рассчитывает лишь на свои собственные силы. Герой-одиночка борется с ростовщиком-старостой, борется с природой, борется фактически с самим собой, чтобы в конце концов осознать свое рабство, чтобы в русской революции, вести о которой пришли на остров, в хутор, увидеть то светлое будущее, которое должен открыть и завоевать уже не сам Бьяртур, а его сын Гвендур, представитель тридцать первого поколения.

Лакснесс не упрощает жизненные конфликты и не подчиняет сюжет и развитие образов заранее придуманной схеме. Он подлинный реалист и, описывая события, не подтасовывает и не заменяет истину надуманными положениями или фантазиями. Тогда бы потерялось значение творчества Лакснесса, его убедительность, искренность, тогда бы народ не мог так внимательно читать его книги, не доверял бы им. Лакснесс в праве прямо смотреть в глаза всему прогрессивному человечеству.

Лакснесс одним из первых среди литераторов задумался над трагедией будущих

войн, связанных с применением ядерного оружия. Его разум патриота и гуманиста возмутился, и в его послевоенном произведении «Атомная станция» со всей остротой прозвучала тревога за нынешнее положение в мире, за судьбу родной страны в могущей разыграться трагедии. Сатира, гротеск — это форма накипевшего в душе писателя гнева против продажного политиканства, против иноземного диктата и использования Исландии в чуждых для нее целях. Лакснесс тревожно вглядывался в события, присматривался к людям всех лагерей и определил свое место в стане борющихся за прогресс и мир.

Он увидел в колоннах демонстрантов, осадивших альтинг, в черных фигурах полицейских, в клубах слезоточивого газа, в вынутых из желтых кобур пистолетах признаки грозы. Весть о его романе «Атомная станция» мгновенно облетела мир, и всюду роман пробуждал мысль.

Когда видный политик в этом романе заявляет: «Мы живем во имя Запада, мы умираем во имя Запада. Малые государства — навоз. Восток должен быть уничтожен, доллар должен господствовать»,— становится понятной тревога писателя. Как должен возмутиться любой любящий свое отечество, услышав эту чудовищную по цинизму фразу! Каким мудрым и смелым должен быть писатель, не стесняющийся бросить в глаза резкую правду и предупредить свой народ об опасности. Литературные критики «Атомной станции» иногда слишком пространно разбирали формальные, чисто литературные качества произведения. Возможно, это и необходимо, чтобы разобраться в стиле писателя, но нам сегодня, говоря о творчестве Лакснесса, хочется подчеркнуть главное в этом произведении, то, что заставляет любить его автора как борца за дело мира и гуманизма.

Лакснесс никогда не теряет связи с современностью. Он всегда в «буче, боевой, кипучей», как говорил Владимир Маяковский, имея в виду постоянное место истинного литератора. Лакснесс пользуется широчайшей популярностью и любовью в странах Скандинавии. Он часто выступает в печати этих стран, и к его мнению прислушиваются, по нему определяют свои позиции простые люди.

— А что по этому делу сказал Лакснесс?.. Минуточку, сегодня в газете я прочитал его интервью, — так говорят и в Швеции, и в Дании. Лакснесс всегда высказывается по актуальным вопросам...

Вскоре после закрытия сессии Бюро Всемирного Совета мира, проходившей в Стокгольме в конце 1954 г., Халлдор Лакснесс, принимавший участие в сессии, по приезде в Копенгаген заявил корреспонденту газеты «Ланд ог фольк»: «Всегда очень интересно принимать участие в мероприятиях Всемирного Совета мира. Здесь рождаются значительные решения, и в этом нет ничего удивительного, так как лучшие умы человечества принимают участие в его работе».

По поводу германского вопроса, стоявшего на сессии, Лакснесс заявил: «Мысль возродить немецкий милитаризм путем «холодной войны» представляется в такой степени лишенной здравого смысла, что даже поклонники возрождения немецкого милитаризма не могут привести логичных аргументов, оправдывающих эти планы. Выдвигаемые в пользу вооружения доводы до того никчемны, а мысль сама по себе до того безумна, что всякие попытки аргументировать неизбежно обречены на провал. Идея расчленения страны на неопределенное время и противодействие объединению, к которому так стремится население Восточной и Западной Германии, представляется зловещей шуткой.

Из истории известно, что с немецким народом происходило нечто неладное — уж очень легко он дал себя вовлечь в азартную игру авантюристов. Но сегодня ситуация иная. Сегодня немцы сами страшатся мысли о ремилитаризации и возрождении нацизма. Поэтому я не думаю, что осуществление этих планов пойдет так гладко, как это казалось вначале. В Западной Германии, которую я недавно посетил, очень силен дух протеста. Немецкий народ не так глуп, чтобы еще раз позволить вовлечь себя в военную авантюру. У него есть печальный опыт. Правильно выразил мысль простых людей один парикмахер из Западной Германии, с которым мне пришлось разговаривать: «Ведь расплачиваться всегда приходится маленьким людям».

Что остается сказать еще? Многие государственные деятели капиталистических стран могут позавидовать ясности мысли писателя, его дальновидности и острому политическому чутью.

Надо отметить потрясающую работоспособность Лакснесса. Это писатель-труженик. Помню, при посещении его дома, расположенного примерно в двадцати милях от Рейкьявика, мы попросили хозяина «Глюфрастен» («Каменное ущелье» — так назвал писатель свой дом) поделиться с нами своими творческими планами. Лакснесс оживился, глаза его заблестели. Он провел нас на второй этаж, в свой кабинет и показал много книг, из которых возьмет разнообразные сведения по истории родной страны, необходимые ему для нескольких томов его будущего романа.

— Я задумал написать большую эпическую книгу об Исландии,— сказал Лакснесс,— но все, что можно найти в этих фолиантах, следует переосмыслить, добраться до подлинной истины, рассказать правду, нужную моему народу сегодня в его борьбе за национальную независимость...

Мы уже знали, что Лакснессом написаны в 1937—1940 годах четыре части саги о скальде Олафуре Карасоне, посвященной судьбе поэта и художника в капиталистическом мире; мы знали хозяина «Глюфрастен» как автора большой трилогии

«Исландский колокол», «Светловолосая девушка», «Пожар в Копенгагене», трилогии, рассказывающей со свойственными Лакснессу темпераментом, мастерством и политической зрелостью о событиях XVI—XVII веков. Поэтому мы были уверены, что следующая эпопея Лакснесса будет написана и явится новым этапом в его творчестве.

Халлдор Лакснесс — большой и верный друг советского народа. Лакснесс бывал в нашей стране, и его книги, написанные в результате посещения Советского Союза, «Путь на Восток» и «Русская сказка», так же, как и многие публицистические статьи и очерки, наполнены живыми, цельными впечатлениями о знакомстве с социальной системой страны Советов, с ее людьми, думами и надеждами.

Я видел Лакснесса и у него на родине. Когда самолет, в котором советская делегация летела в Исландию, приземлился на рейкьявикском аэродроме, я сразу узнал его и сердечно обнял нашего бескорыстного друга. Лакснесс и его товарищи по возглавляемому им обществу «Исландия — СССР» сделали наше пребывание в стране очень приятным и полезным. Знакомство со страной, с ее людьми служило хорошей иллюстрацией к ранее прочитанным книгам Лакснесса, а позже очень помогало при чтении новых произведений писателя.

Сравнительно недавно, вернувшись из поездки по нашей стране и зайдя в редакцию журнала «Октябрь», я был приятно обрадован.

— Вы знаете,— сказали мне,— мы получили перевод пьесы Лакснесса и думаем опубликовать ее на страницах нашего журнала.

С волнением взял я в руки рукопись пьесы «Проданная колыбельная» и в ту же ночь, не отрываясь, прочитал ее. Снова пришло ко мне дыхание далекого острова. Встали как живые образы пьесы, снова увидел я острый, иронический взгляд писателя, его глаза, иногда темнеющие от затаенной, большой думы, связанной с решением не только литературных проблем, но и судеб человека. К пленительным образам женщин, созданным Лакснессом, к его Салке Валке, Аусте Соуллилье и Угле, простой крестьянской девушке из дома органиста, прибавился трагический образ Лоа. Этот образ произвел на меня огромнейшее впечатление. Я почувствовал в нем судьбу чудесной, тихой страны, с ее звонкоголосой песней и дымящимися вулканами, с ее верой в устойчивое, не скоро проходящее счастье. Эта пьеса написана в лучших традициях писателя.

Страшно продать колыбельную песню циничной публике, страшна и безысходна судьба проданной женщины. Символична эта пьеса. При чтении «Проданной колыбельной» мне невольно вспоминался один эпизод. В Исландии при посещении туберкулезного санатория «Рекялундур» мы обратили внимание на фотографию красивой девушки, стоявшую на рояле в холле санатория. Нам объяснили, что это известная исландская певица Марна Маркаи, которая вышла замуж за американца и покинула страну. Она живет в Нью-Йорке и выступает в «Метрополитен-опере». Я протянул нити от этой фотографии к пьесе Лакснесса и понял, откуда рождаются столь правдивые образы в творчестве Лакснесса, почему они так волнуют людей.

Еще раз приезжал Лакснесс в нашу страну в прошлом году на премьеру «Проданной колыбельной» в старейшем русском театре — Малом театре. Он передал свое творение советским зрителям из рук в руки. И мы с благодарностью приняли это подлинное произведение искусства как большой и очень дорогой подарок.

Лакснесс — член Всемирного Совета мира. Ему присуждена Международная премия мира, он лауреат премии имени Нексе, теперь он лауреат Нобелевской премии.

Пожелаем дальнейших успехов и здоровья верному сыну исландского народа, прославленному писателю, другу нашей родины, другу мира Халлдору Кильяну Лакснессу.

Пусть попрежнему каждый патриот, каждый честный человек будет находить в его произведениях и его активной деятельности во имя мира и справедливости те же неувядаемые, могучие черты лакснессовского характера, которые могут служить примером для тех, кто посвятил себя борьбе за священные принципы мира и гуманизма.

Датский карикатурист Херлуф Бидструп

Почти ежедневно в центральном органе Коммунистической партии Дании, газете „Ланд ог фольк“, появляется острая политическая карикатура Херлуфа Бидструпа. В газете имеется постоянная рубрика „Dagens Bidstrup“, то есть „сегодняшняя карикатура Бидструпа“. Под таким же названием из года в год издаются альбомы его рисунков.

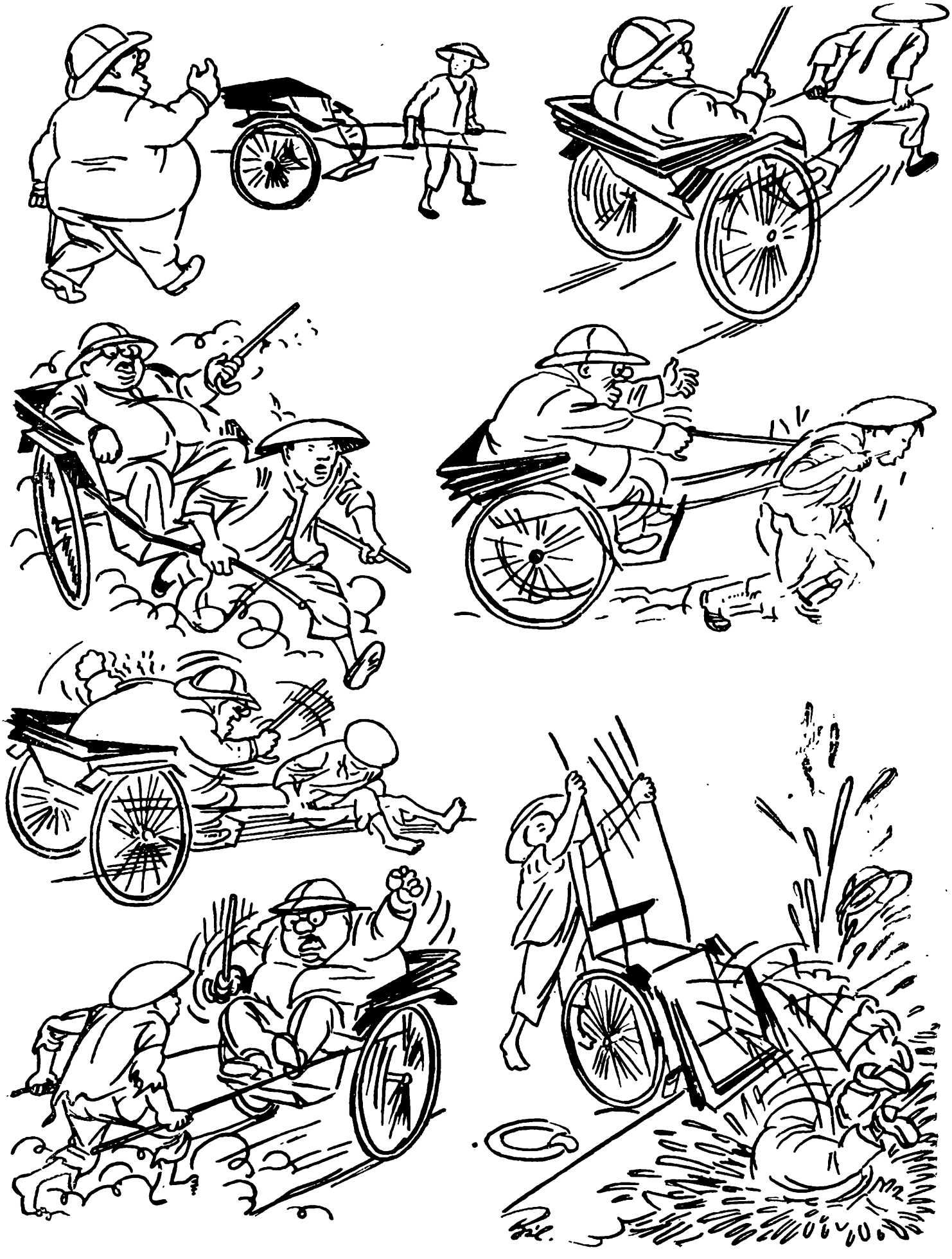
Известный датский писатель и художник Ханс Шерфиг писал как-то по поводу политической карикатуры Бидструпа: „Порой она заменяет целую передовую статью“. Эта высокая оценка работы художника вполне заслуженна. Недаром многие читатели газеты „Ланд ог фольк“ начинают знакомиться с ней со второй страницы, где в нижнем правом углу печатаются карикатуры Херлуфа Бидструпа. Читатель знает, что художник коснется самой злободневной темы и раскроет ее сущность. Острый заголовок и лаконичная подпись или пара реплик „действующих лиц“ превращают карикатуру в законченное публицистическое произведение.

В „Ланд ог фольк“ читатель находит не только „Dagens Bidstrup“, но и иллюстрации к печатаемому рассказу или театральной рецензии, зарисовку или портрет. В воскресных номерах газеты помещаются знаменитые „серии“ Бидструпа — своеобразные рассказы в рисунках, обычно на бытовые темы. Но часто и в эти рисунки врывается острая политическая тема. Такова, например, серия о китайском рикше.

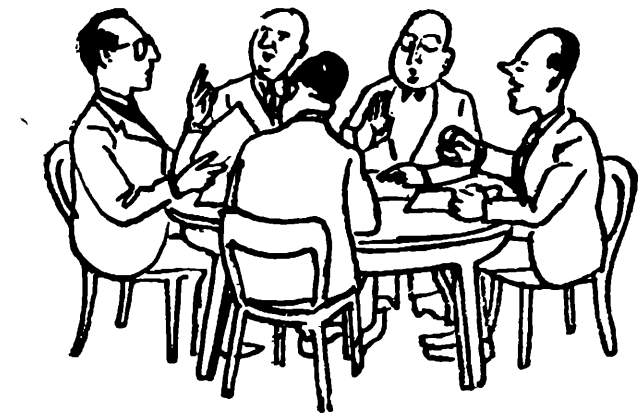
Читателям газеты знакомы также зарисовки Бидструпа, сделанные в Москве, Пекине, Праге, Париже или Марселе, где он побывал в качестве гостя своих коллег художников и журналистов.

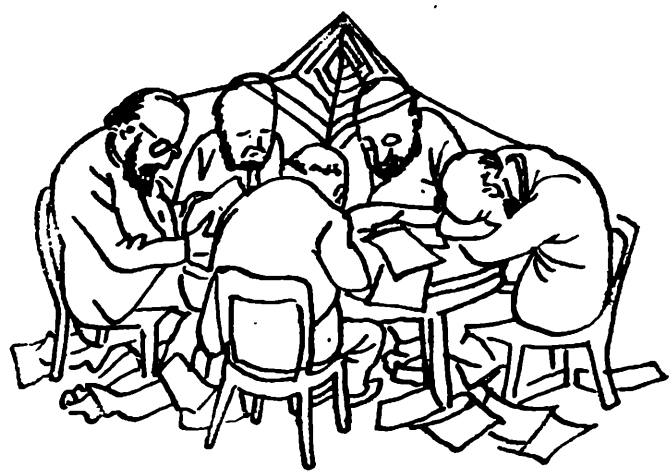
В 1953 году Мартин Андерсен Нексе в предисловии к одному из альбомов рисунков Бидструпа писал, что художнику принадлежит немалая заслуга в том, что „Ланд ог фольк“ стала лучшей газетой Дании. „Неудивительно,— писал Нексе,— что мы, прогрессивные датчане, любим Бидструпа, мы видим в нем одного из лучших среди лучших и твердо уверены в том, что он один из самых выдающихся карикатуристов... Его серии рисунков, полные юмора, пользуются всемирной известностью, они излучают человеческое тепло...“

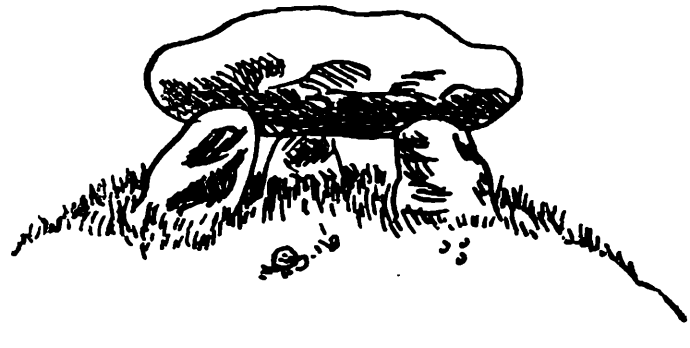
Рикша



Прозаседавшиеся



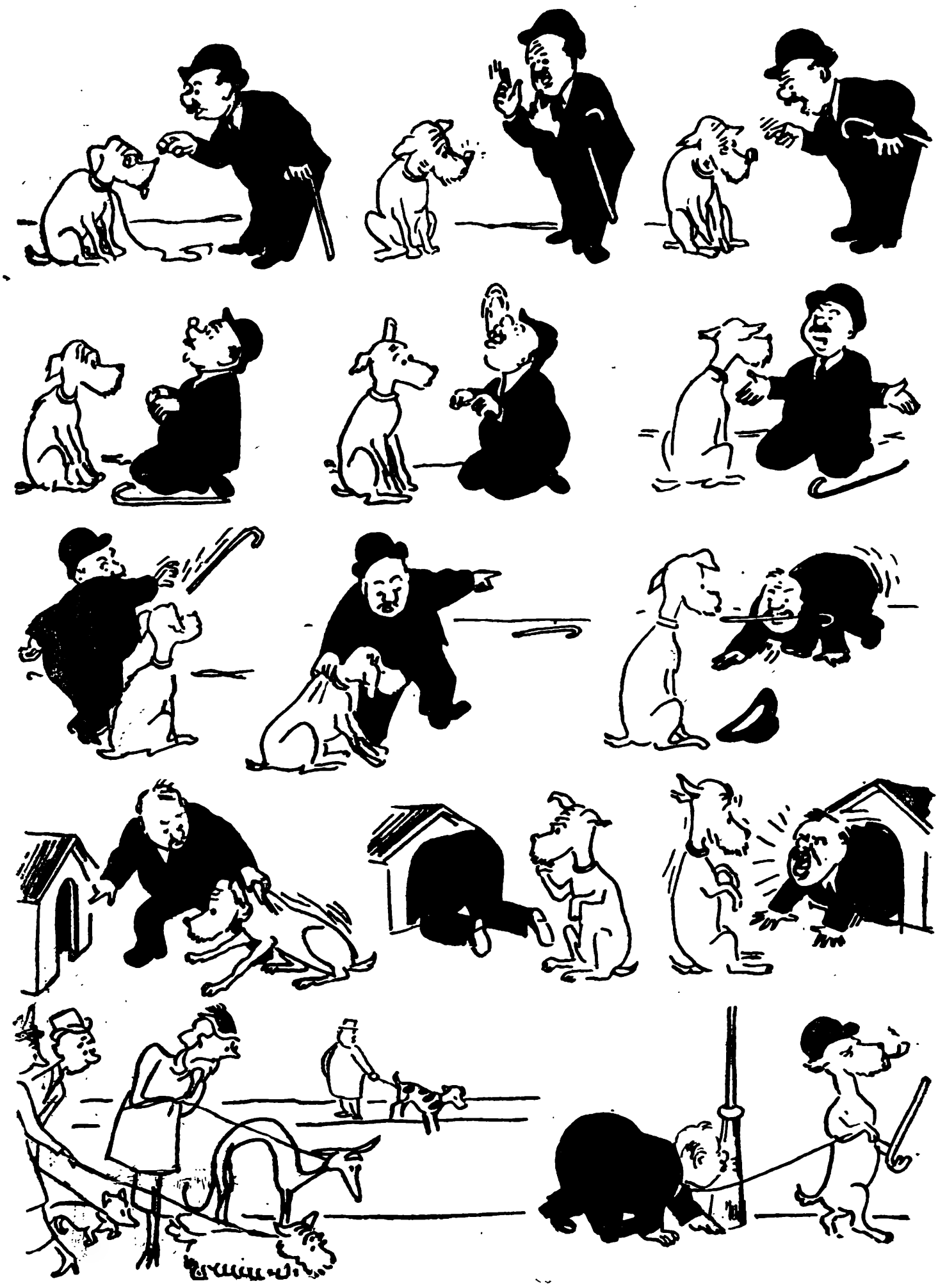




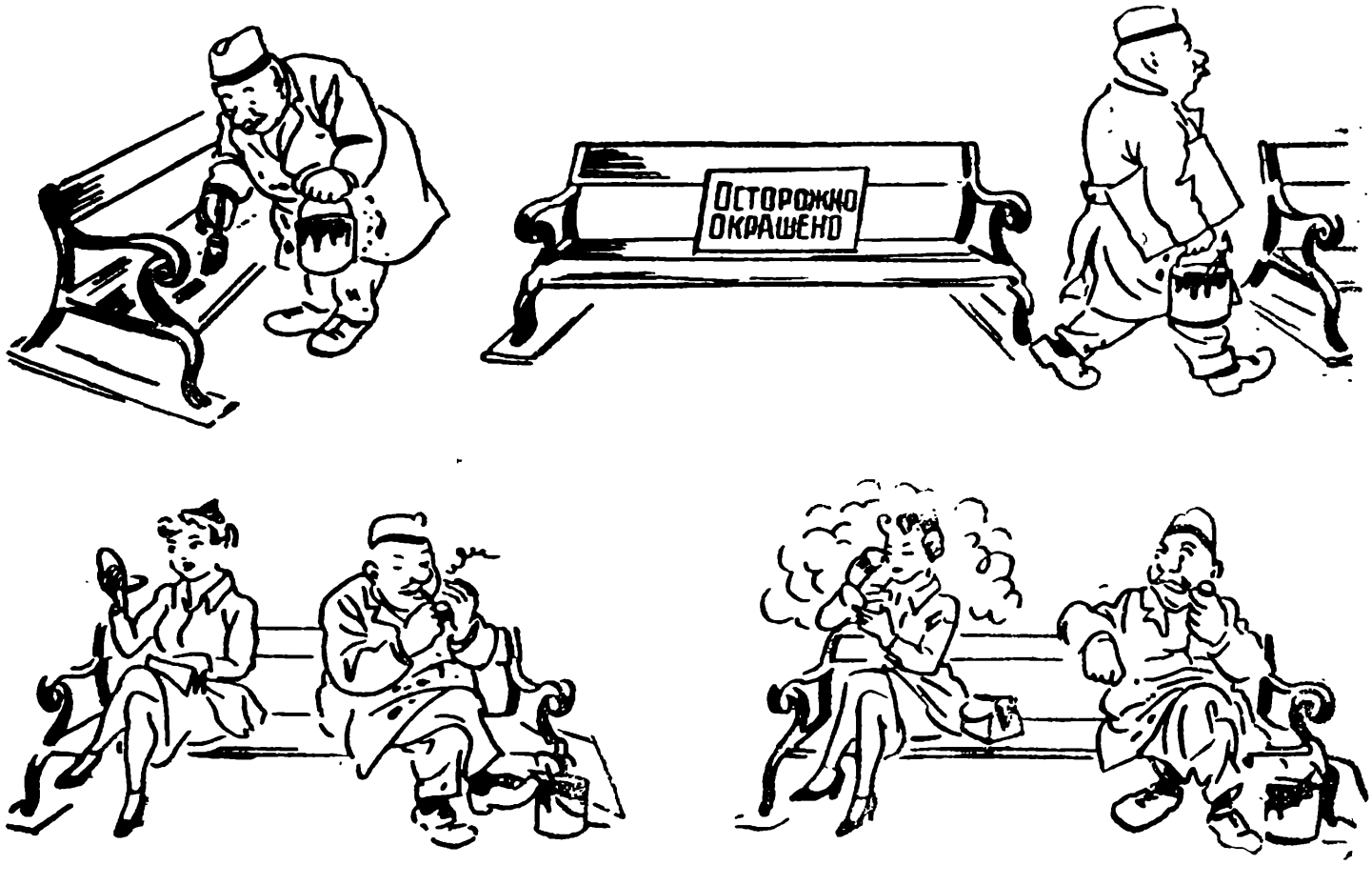
Сенсация

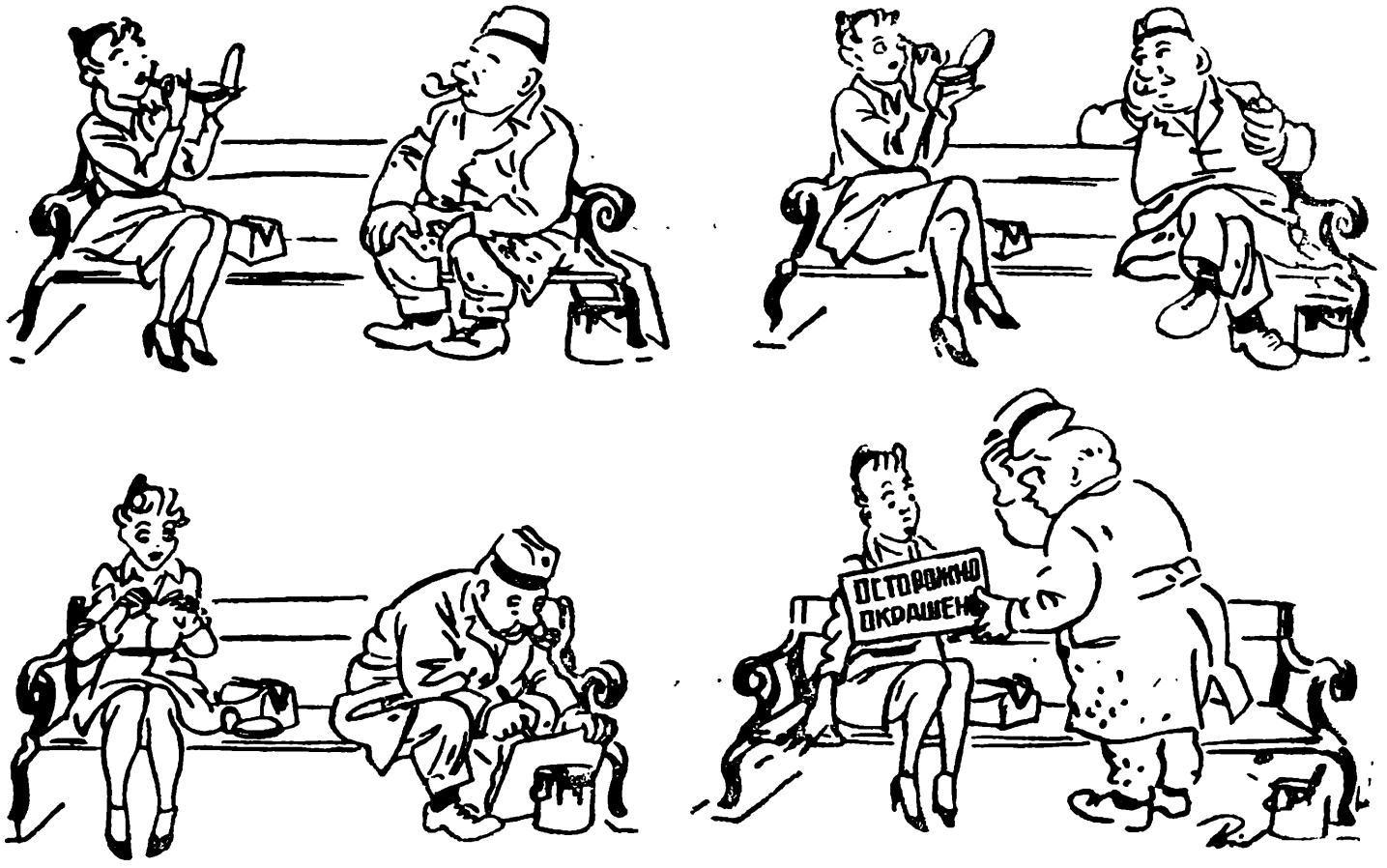
Дед-мороз

Дрессировка



Осторожно, окрашено!





„АШИМА"

阿詩瑪

雲南人民文工團工作組搜集

黃鐵　楊知勇　劉綺　公劉整理

人民文學出版社

一九五五年·北京

В одном из отдаленных уголков Китая, в провинции Юньнань, живет мужественный и трудолюбивый народ сани. Этот народ перенес в прошлом много горя и страданий, а теперь, изгнав феодалов-помещиков и чиновников, зажил новой, свободной жизнью в братской семье народов, населяющих Китайскую Народную Республику.

Как и другие национальные меньшинства Китая, народность сани создала немало замечательных произведений устного творчества: легенд и преданий, сказок и песен.

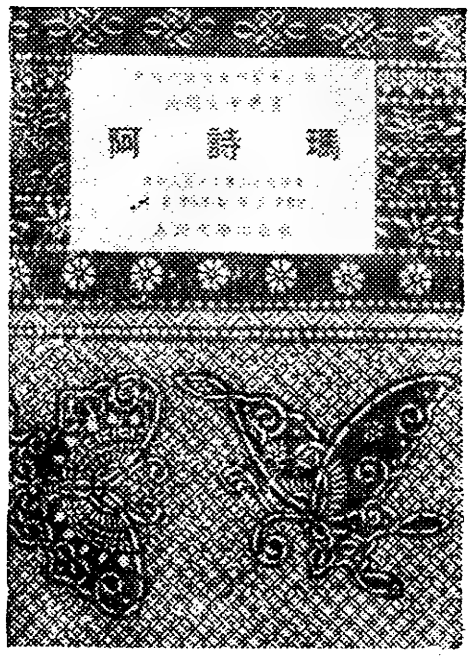
В прошлом они мало кому были известны. В старом Китае сбором устного народного творчества занимались лишь отдельные энтузиасты. После освобождения страны было организовано Общество по изучению народного творчества; фольклористы начали собирать и записывать народные сказки, легенды, пословицы, поговорки, песни, загадки. Уже изданы десятки сборников устного народного творчества.

В 1955 году вышла отдельным изданием эпическая поэма народности сани «Ашима», ранее опубликованная на страницах журнала «Жэньминь вэньсюэ» («Народная литература»). Различные варианты поэмы были собраны бригадой культработников провинции Юньнань и приведены в систему и отредактированы затем Хуан Те, Ян Чжиюном, Лю Ци и Гун Лю.

Герои этой эпической поэмы — девушка Ашима и ее старший брат Ахэй; поэма прославляет их борьбу за справедливость и свободу, против темных сил феодализма.

В первой части поэмы говорится о родителях девушки и о ее мужественном брате, о том, как родилась и росла Ашима. Повествование развивается в эпическом тоне, неторопливо; подробно описываются ловкость и одаренность Ахэя: он может стрелой сбить летящую птицу, а когда заиграет на свирели, то даже олени останавливают свой бег. Столь же подробно рассказывается о том, как растет Ашима, как она из ребенка превращается в красивую и умную девушку. Она очень трудолюбива: в семь лет она уже помогает матери ткать, в десять — с ножом и бамбуковой плетенкой за плечами ходит собирать траву, в четырнадцать лет пасет овец.

К семнадцати годам Ашима становится красавицей и первой певуньей среди девушек. Ачжи, сын местного богатея, хочет взять девушку в жены, но гордая Ашима отказывается от богатых даров глупого жениха. Ее насильно увозят в дом Ачжи, избивают и бросают в темницу. В горе Ашима призывает на помощь своего брата Ахэя, ушедшего далеко со стадом овец. Ахэй мчится на по-



мощь сестре и после долгих испытаний, посрамив и перехитрив жениха и его родственников, вызволяет сестру. Но счастливых Ахэя и Ашиму все же настигает подлая месть богачей — они пускают воду, и ручеек, через который надо переходить брату и сестре, становится вдруг многоводной рекой. Ашима тонет. После смерти она превращается в эхо и откликается на зов своих родных и подруг.

В поэме широко использованы пословицы и поговорки, песни народа сани, подробно описаны его быт, нравы и обычаи. В ней много прекрасных лирических отступлений, картин природы, много юмора и издевки, когда речь идет о незадачливом женихе и его родственниках.

В книге помещены также статьи Ян Чжи-юна и Гун Лю, в которых они рассказывают о том, как шла работа по сбору материалов, легших в основу первой публикации этой эпической поэмы.

А. Тишков.

ПЕРЕПИСКА СЕМЬИ БРОНТЕ

О

„The Brontë Letters", Selected and with an introduction by M. Spark, London, P. Nevill, 1954.

О

В марте 1837 года Роберт Саути писал своей безвестной соотечественнице, приславшей ему на отзыв свои стихи: «Литература не может быть, да и не должна быть для женщины делом жизни. Чем усерднее будет занята она исполнением истинных своих обязанностей, тем меньше досуга останется у нее для занятий литературой, даже в целях самоусовершенствования и развлечения...».

В ответ молодая поэтесса пишет письмо, не соглашаясь со сложившимся у Саути представлением о ней, как об изнеженной барышне-фантазерке: «...пожалуй, меня нельзя назвать праздным, мечтательным существом. Мой отец — священник со скромным, хотя и удовлетворительным доходом, а я — старшая из его детей... Я сочла своим долгом, закончив школу, сделаться гувернанткой. В этой должности я бываю достаточно занята целый день — и головой и руками.— ни минуты свободной не остается у меня для каких-нибудь фантастических мечтаний. Вечерами, признаюсь, я действительно размышляю, но никогда никого не беспокою своими думами... порой в то время, когда я учу детей или шью, мне хочется читать или писать, но я стараюсь подавлять в себе эти желания...».

Корреспонденткой Роберта Саути была Шарлотта Бронте. К счастью для английской литературы, она продолжала настойчиво заниматься «не женским делом», создав через десять лет свой знаменитый роман «Джен Эйр», за которым последовали «Шерли» и «Вийетт».

Новое издание писем семьи Бронте, вышедшее в 1954 году в Англии,— наиболее полное однотомное собрание корреспонденции всех членов этой интересной литературной семьи, и в первую очередь Шарлотты. Образуя своего рода биографическую канву, эти письма раскрывают перипетии очень как будто бы будничной, но полной незаурядного упорства и мужества борьбы, которую вели Шарлотта Бронте и ее талантливые сестры, борьбы за право женщины на творческий труд и духовную независимость. Вместе с тем письма эти выразительно

свидетельствуют о быте и нравах провинциальной Англии тридцатых и сороковых годов прошлого века. Многие наблюдения и характеристики Шарлотты Бронте, сделанные ею еще в бытность гувернанткой, нашли потом свое место в романах писательницы. Очень интересна переписка Ш. Бронте с Э. Гаскелл, известным критиком Дж. Льюисом и издателями. В этих письмах Бронте высказывает свои мнения о Теккерее, Бальзаке, Жорж Санд, Джейн Остин, излагает свои взгляды на цели и методы писательской работы.

И. Левидова.

ПОВЕСТЬ О СТАРОЙ БОЛГАРСКОЙ ДЕРЕВНЕ

О

Крум Григоров, Сред народа, София, Народна младеж, 1955.

О

Сын деревенского портного Крум после смерти отца и разорения хозяйства уходит из деревни на заработки — так кончалась автобиографическая повесть Крума Григорова «Мое детство», рассказывающая о болгарской деревне времен первой мировой войны. Мы снова встречаемся с ее героем в новом произведении К. Григорова, продолжении его автобиографии — «Сред народа». Прошло несколько лет, он окончил педагогическое училище, вернулся в родное село, затерянное среди гор и оторванное от всего мира, и работает там учителем.

В руководствах по педагогике не были предусмотрены те трудности, ко-

торые встретились на его пути. Ему пришлось учить детей в тесной комнатке, где собирались школьники четырех классов, где не хватало воздуха, где не было даже доски и мела и писать приходилось углем на стене.

Как и в повести «Мое детство», писатель рисует широкую картину жизни болгарского села тех лет. В селе все та же нищета, та же борьба за кусок хлеба, непомерные налоги и штрафы за малейшую провинность. И все же в чем-то жизнь села изменилась. В повести хорошо передана атмосфера политической жизни болгарской деревни начала тридцатых годов: напряженная предвыборная борьба, заманчивые обещания членов буржуазных партий, надежды крестьян в связи с приходом к власти так называемого «Народного блока», их разочарование, когда они увидели, что новые правители озабочены только дележом теплых местечек и не собираются улучшать положение народа. Крестьяне постепенно осознают, что только коммунисты — истинные защитники прав народа и борцы за лучшую жизнь бедняков. В селе создается ячейка Рабочего молодежного союза. Сельская молодежь ведет горячие споры о жизни, о путях борьбы за светлое будущее. Герой повести — в центре политической жизни села. Он активно участвует в деятельности РМС, распространяет среди крестьян прогрессивные газеты и журналы, создает в деревне читальню.

Действие повести оканчивается 1934 годом — годом фашистского переворота в Болгарии. Молодого учителя увольняют с работы, он снова покидает родное село. В селе идут аресты, начинается полоса кровавого террора.

В повести нет захватывающей интриги, эффектных сюжетных поворотов. Но почти хроникальное повествование о жизни простых людей проникнуто подлинной поэтичностью. Автору удалось передать и поэзию тяжелого крестьянского труда, и мечты крестьян о лучшей доле, и красоту родной природы.

Герой книги верит в будущее своего народа. «Как весенние потоки, что шумят в ущельях Балкан и сметают все на своем пути, заклокочет месть народа и очистит родной край от ростовщиков и торговцев, фашистских кметов и полицаев...»

Книга написана образным языком, в нем много от народной, крестьянской речи. Надо сказать, что недостатки, свойственные прежним произведениям Крума Григорова (некоторая сухость изложения, схематизм, упрощенность, а не простота языка), во многом преодолены писателем в последних повестях.

Т. Елисеева.

ПРОШЛОЕ ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ

О

Maria Dąbrowska, Ludzie stamtąd, Warszawa, Czytelnik, 1955.

О

Недавно в Варшаве шестым изданием вышел сборник рассказов М. Домбровской «Люди оттуда», впервые опубликованный в 1925 году. Сборник состоит из восьми рассказов, действие которых, как указывает автор в предисловии к сборнику, происходит примерно в первом десятилетии XX века.

Герои М. Домбровской — простые деревенские труженики, батраки; писательница повествует об их жизни и тяжком труде в панской Польше. И со страниц ее рассказов встают страшные, но всегда правдивые картины невежества, дикости, беспросветной нужды — всего того, что Маркс называл «идиотизмом деревенской жизни». Гниет заживо Никодим, герой рассказа «Ночь над миром», доверившийся знахарям и на десять лет опоздавший обратиться к врачам. Слепнет и умирает от пьянства кучер Игнацы Патерка, а его сын идет по стопам отца (рассказ «Стеклянные кони»). Умное и страстное перо художника-реалиста возвращает читателя к недоброму старому времени, к мрачному прошлому польской деревни (которое было еще ее настоящим, когда писались эти рассказы) и делает особенно наглядной всю огромность перемен, происходящих ныне в народной Польше.

И все же пафос книги определяют не эти ее страницы, которым подчас свойственен известный налет натурализма. Главное в ней то, с какой любовью

выписаны образы деревенских пролетариев-батраков. Придавленные непосильной работой, нищетой, невежеством, они оказываются способными на самые возвышенные и тонкие человеческие чувства. Герои книги — люди большой и щедрой души. Богатство вну-

тренней жизни, резко контрастируя с нищенским, полуголодным существованием этих людей, утверждает их право на иную, лучшую долю. Об этой доле мечтают и сами герои книги, написанной тридцать лет тому назад:

«Я так хочу, чтобы иначе на свете было. Чтобы так было, как никогда еще не было. Потому что здесь, на земле, ад. Плохо тут бедному человеку. Чтобы все, все было иначе»,— говорит юноша Шатан (рассказ «Триумф Дионисия»). А старый Качмарек, всю жизнь мыкающийся с семьей в батраках, мечтающий, как о самом большом счастье, о клочке собственной земли и своей крыше над головой, повторяет — даже тогда, когда снова, в который уже раз, рухнули его надежды,— что «...жить бы не стоило, если бы не верить, что здесь настанут для людей лучшие времена» (рассказ «Самая дальняя дорога»).

Навсегда ушла в прошлое старая Польша, с такой суровой и горькой правдивостью запечатленная в «Людях оттуда». Явью становится лучшая доля, о которой мечтали герои Домбровской, их дети и внуки претворяют мечту в действительность. Но рассказы Марии Домбровской волнуют и долго еще будут волновать читателя большими и благородными раздумьями о судьбах простых тружеников Польши.

Г. Рабинович.

ВЕЛИКИЙ СЫН СВОЕГО НАРОДА

О

The Life and Writings of Frederick Douglass, v. I—IV, New York, International Publishers, 1950—1955.

О

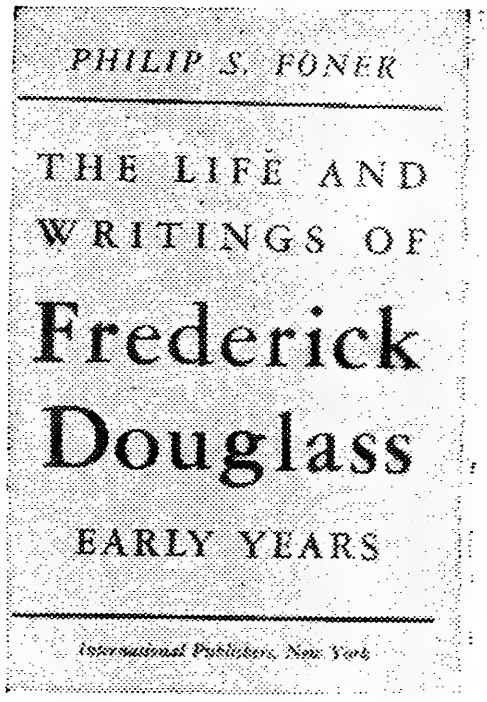
Вышел из печати последний, четвертый, том сочинений Фредерика Дугласа, издающегося под редакцией Филипа Фонера, известного нашему читателю своей книгой «История рабочего движения в США».

Фредерик Дуглас (1817—1895) родился рабом в одном из южных штатов. Голод, тяжелый подневольный труд, избиения и убийства чернокожих невольников с детства заставили его возненавидеть рабство и рабовладельцев. Тайком от хозяев Дуглас выучился грамоте. Книги пробудили в нем стремление к свободе. С той поры никакие унижения и истязания не могли сломить гордый дух свободолюбивого юноши.

В 1838 году Дугласу удалось бежать в северные штаты, где он познакомился с аболиционистами и вступил в антирабовладельческое общество. Дуглас начал ездить по стране, выступая с рассказами о своей жизни в неволе. В 1845 году аболиционисты помогли Дугласу издать небольшую автобиографическую повесть «Рассказ о жизни Фредерика Дугласа», которая впоследствии много раз переиздавалась под разными названиями; она послужила одним из источников знаменитой «Хижины дяди Тома» Бичер Стоу. Пребывание Дугласа в Америке становится опасным; он уезжает в Англию, завязывает связи с чартистами, выступает в защиту ирландского народа, принимает участие в работе английских антирабовладельческих обществ. Английские друзья собрали деньги, необходимые для выкупа Дугласа из рабства, и в 1847 году он возвратился в Америку свободным человеком.

В этом же году Дуглас начал издавать негритянскую антирабовладельческую газету «Полярная звезда» — одну из самых замечательных американских газет того времени.

С высоты «сторожевой башни свободы», как называл Дуглас свою газету, он внимательно следил за всеми прогрессивными движениями своего времени, и все они находили с его стороны сочувствие и поддержку. «Я не только американский раб, но и человек, и как таковой обязан употребить свои силы на благо всего человечества»,— писал он. Дуглас с возмущением говорил об истреблении индейцев в Америке, о страданиях крепостных крестьян в России, приветствовал революцию 1848 года во Франции и Венгрии, выступал в защиту прав женщин, требовал земельной реформы, добивался запрещения войны. Несмотря на большие трудности и постоянный недостаток средств, газета Дугласа выходила без перерыва в течение шестнадцати лет.



С первых же дней войны Севера и Юга Дуглас, в отличие от многих нерешительных аболиционистов, подчеркивал ее революционный характер. Отвергая все компромиссы, он требовал: «Никакой войны, кроме войны за освобождение; никакого мира, кроме свободного мира; свобо-

да — всем, цепи — никому».

Мы не знаем, читал ли Дуглас статьи Карла Маркса о гражданской войне в США в «Нью-Йорк дейли трибюн» и в венской «Ди прессе», но его анализ событий нередко совпадает с положениями Маркса.

Одним из самых ярких документов, которые помещены в собрании сочинений Дугласа, является его знаменитое воззвание «Негры, к оружию!», написанное в марте 1863 года, когда американское правительство под давлением народных масс решилось наконец освободить рабов и призвать их в армию. Напоминая неграм о героях, павших в неравной борьбе за дело освобождения,— о вождях восстаний рабов Денмарке Везее и Нате Тернере, о соратниках Джона Брауна — Шилдзе Грине и Коупленде,— Дуглас заклинал своих сограждан всем, что у них есть святого, немедленно взяться за оружие и нанести сокрушительный удар рабству: «Сейчас не время медлить. С востока до запада и с севера до юга на небесах начертано: *ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА*... Лучше умереть свободным, чем жить рабом,— таково убеждение каждого мужественного негра». Дуглас не понял классового характера компромисса буржуазии Севера и рабовладельцев Юга и продолжал после окончания войны поддерживать республиканскую партию, которую до конца продолжал считать партией освобождения рабов. Однако ограниченность воззрений Дугласа не помешала ему в обстановке реакции и террора, установившейся в восьмидесятые годы на Юге, смело выступать в защиту прав негритянского народа, требовать уничтожения расовой дискриминации, запрещения Ку-клукс-клана и суда Линча.

Полное собрание статей и речей Дугласа, которого Уильям Фостер назвал одним из величайших революционных борцов Америки, издается в США впервые. Его обширное литературное наследство, по существу, до сих пор оставалось совершенно неизвестным. Единственный полный комплект «Полярной звезды» погиб при пожаре дома Дугласа, и он не смог его восстановить. В результате долголетней кропотливой работы Ф. Фонеру удалось разыскать и собрать почти все произведения Дугласа, имеющиеся в настоящее время в Америке. Каждому тому Ф. Фонер предпослал большую вступительную статью. Вместе они составляют подробную, солидно документированную монографию (около 400 страниц) о жизни и деятельности Дугласа.

Собрание сочинений Фредерика Дугласа занимает достойное место среди других изданий Филипа Фонера, собравшего и опубликовавшего произведения многих общественных деятелей, связанных с демократическими традициями американской истории, в том числе Томаса Пейна, Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна.

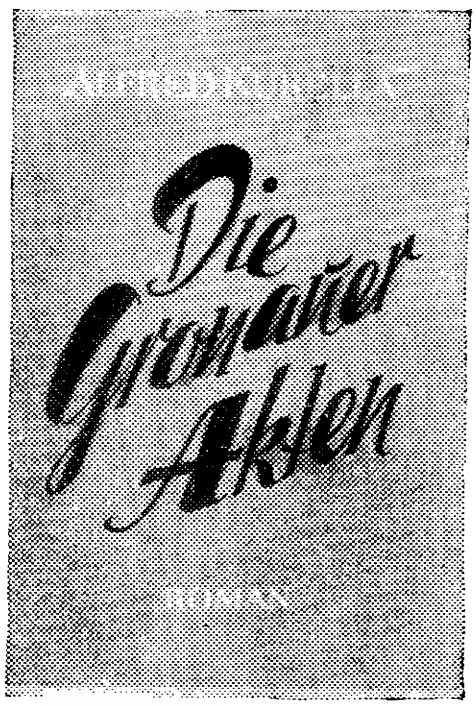
М. Беккер.

РОМАН А. КУРЕЛЛЫ „ДОКУМЕНТЫ ГРОНАУ"

Alfred Kurella, Die Gronauer Akten, Berlin, Aufbau-Verlag, 1954.

21 июня 1936 года в поместье Гронау был убит штурмовик Кейт. По обвинению в убийстве полиция арестовала батрака Ганса Мозера. В Гронау прибывает особоуполномоченный из Берлина Гюнтер Гейзмар. Он ведет допросы и убеждается, что арестованный неповинен в приписываемом ему преступлении и что убийство совершено из личной мести самим помещиком. Однако, когда Гейзмару становится известно, что обвиняемый Ганс Мозер — коммунист, он дает тайное распоряжение подвергнуть арестованного пыткам и убить его без суда и следствия.

Покуда ведется дело, Гюнтер Гейзмар, удовлетворяя свою страсть к старине, изучает найденные документы о процессе ведьмы, происходившем в этой же местности в 1641 году. События почти трехсотлетней давности поразительно напоминают то, что происходит в фашистской Германии XX века. Словно темные силы, притаившиеся во мраке веков, вышли наружу и торжествуют победу. Но торжество их временное. Глухо кипит недовольство среди батраков и крестьян. Подпольщик-коммунист Бергер ведет смелую разведку и похищает секретные документы, хранящиеся у



Гейзмара. Эти документы, преданные гласности за границей, становятся актом обвинения против фашистской юстиции.

Роман Куреллы, который рассказывает об этих событиях, сложен по своей композиции. Он построен вокруг острой детективной интриги и во многом напоминает киносценарий со стремительно развивающимся действием и быстрой сменой отдельных кадров. Повествование здесь все время перебивается то отрывками из дневника, то выдержками из старинной хроники, то целыми страницами писем, причудливо переплетаются эпизоды из близкого и далекого прошлого.

Но не этот детективный элемент составляет содержание романа. Главное в нем — изображение фашистской Германии и изобличение врага. Роман Куреллы в своем первом варианте был написан еще в 1936 году, когда писатели-антифашисты рисовали врага несколько плоско, показывая только те явления фашизма, которые лежали на поверхности. Курелла одним из первых сумел раскрыть образ врага изнутри. Создавая портрет эстета, историка и «законника» Гейзмара с его любовью к изящному, к музыке, поэзии и природе, Курелла обнаружил под этой маской отвратительного преступника и убийцу, который таится даже от самого себя, но который действует как кровавый палач народа.

Недавно общественность Германской Демократической Республики отмечала шестидесятилетие Альфреда Куреллы. Активный участник революции 1918 года, Альфред Курелла создал много книг, где в острой публицистической форме запечатлел крупнейшие явления нашей эпохи. Еще в 1931 году он опубликовал гневный памфлет «Муссолини без маски», показав в нем подлинное лицо итальянского фашизма. Публицистика Куреллы разнообразна по своей тематике. Он пишет о самых жгучих событиях своего времени, разрабатывает ряд теоретических вопросов искусства и философии, эстетики и культуры. Вопросам культуры посвящена книга Альфреда Куреллы «Восток и Запад», вышедшая в 1948 году.

Вопросам культуры посвящена в большей мере и книга «Я живу в Москве», выдержавшая несколько изданий в Германской Демократической Республике.

А. Курелла — один из талантливейших немецких переводчиков зарубежной поэзии. Он познакомил немецкого читателя с произведениями русских революционных демократов, с современной советской литературой. Он перевел отрывки из Давида Сасунского и Алишера Навои, стихи Шевченко и Тихонова, «Страну Муравию» Твардовского.

Свой богатый литературный опыт А. Курелла — директор первого в Германии Литературного института — стремится передать сейчас новому, молодому поколению немецких писателей.

Е. Елагина.

ФРИДРИХ ВОЛЬФ — ПОЭТ

○

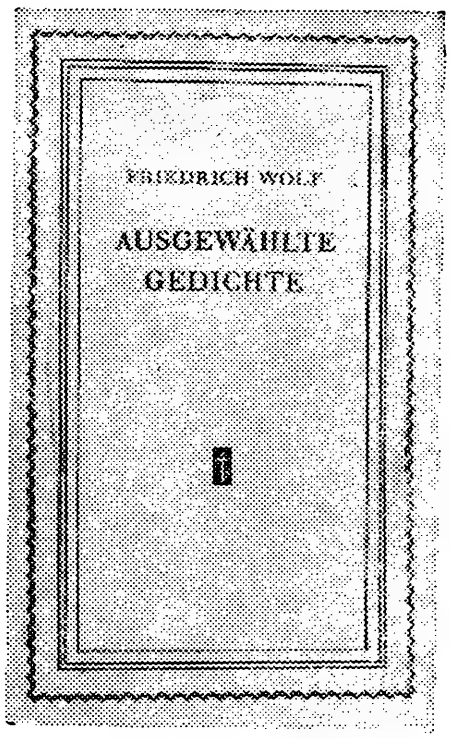
Friedrich Wolf, Ausgewählte Gedichte, Berlin, Aufbau-Verlag, 1954.

○

Известный немецкий драматург Фридрих Вольф — автор «Флорисдорфа», «Матросов из Катарро», «Профессора Мамлока» — был также талантливым поэтом. Сборник избранных его стихотворений, составленный Вальтером Поллачеком и выпущенный издательством «Ауфбау», знакомит с этой до сих пор мало известной стороной его творчества.

Фридрих Вольф — живописец в лирике. В стихах его — серо-свинцовые воды осеннего Рейна, тихие улочки Праги в предрассветном сумраке, одинокий ворон на кроне сосны. И тут же буйное торжество красок: зеленое свечение листьев старого тополя, солнечные стрелы, прорезающие толщу туч, серебряный мост над Москвой-рекой, озаренный вспышками праздничного салюта. Мир богат и прекрасен — так учись защищать его, улучшай и совершенствуй этот мир! — вот неизменный вывод, к которому поэт подводит своего читателя. Эстетическая программа Вольфа определена им в стихотворении, название которого говорит само за себя: «Искусство — оружие!».

Нельзя без волнения читать стихи, объединенные в цикл «Строки борьбы». В сжатых, но точных по мысли и выражению строках проходит полная трагизма и героики история борьбы рабочего класса Германии против войны и



фашизма. Одно из сильнейших в сборнике произведений — поэма «Лило Герман», поэтический рассказ о жизни и гибели отважной коммунистки, первой не-

мецкой женщины, казненной гитлеровцами. Эта поэма по праву может быть названа поэтическим памятником национальной героине германского народа.

Послевоенная лирика Фридриха Вольфа проникнута тревогой за будущее родной страны. Такие стихи, как «Наш вклад», «На Рейне», «И ты», «Слово за тобой», «Томас Мюнцер в стране», «Колокол», воссоздают живую картину нынешней Германии, где в сложной обстановке решается вопрос: война или мир? Неужели немецкий народ вновь даст обмануть себя и снова — в какой уж раз! — согласится проливать свою кровь за интересы милитаристов-захватчиков? Фридрих Вольф обращается к своим соотечественникам с взволнованным словом, призывая их встать в ряды борцов за мир.

В сборнике есть несколько прекрасных стихотворений о советской стране и ее людях; полны проникновенного лиризма стихи о юношеских мечтах поэта, который с детских лет всем сердцем стремился «в страну Стеньки Разина, Тараса Бульбы», в страну героев революционного подполья, к народу, в душе которого «живут сила и нежность, свободолюбие и великое мужество».

Л. Гинзбург.

„ГЕНИЙ И БОГИНЯ" — НОВЫЙ РОМАН ОЛДОСА ХАКСЛИ

О

Aldous Huxley, The Genius and the Goddess, London, Chatto & Windus, 1955.

О

Американец Джон Риверс — герой нового романа Олдоса Хаксли «Гений и богиня» — старый ученый-физик. Он вспоминает поучительный для него жизненный эпизод. В двадцатые годы, работая ассистентом у профессора, он пережил глубокую трагедию: Риверс, целомудренный пасторский сын, обманул гениального чудака, своего учителя, став любовником его жены Кэти. Развязка — гибель под автомобилем Кэти и ее пятнадцатилетней дочери Рут, влюбленной в Риверса.

Эпизод этот, составляющий содержание книги, анализируется с точки зрения Риверса наших дней. Хаксли хочет, чтобы анализ был предельно современным и усложненным... Но не становится ли он лишь модным и претенциозным? Как это ни печально для Хаксли, рассуждения его героя тривиальны. Он утверждает, что жизнь нелогична и бессмысленна: «В литературе слишком много смысла. В реальной действительности его никогда нет». Чувство замкнутости и бесперспективности ведет его к признанию: только в текущей минуте есть жизнь. «Если вы хотите жить в данное мгновение, вы должны умереть для всех остальных». Традиционный декадентский комплекс смерти и пола в их неразрывной связи раскрывается и в циничных рассуждениях Риверса о смерти, и в разговорах влюбленной девочки Рут, и в сюжетных ситуациях романа: умирает мать Кэти, и это бросает Кэти в объятия Риверса, ее муж на грани смерти от ревности, соперницы мать и дочь погибают и т. д.

«Почувствовать смерть, предпочтительно насильственную, предпочтительно с гниением,— одна из потребностей детства, почти такая же сильная, как сексуальные влечения, как желание иметь кукол и лакомиться сладостями». Так говорит Хаксли. Он обращается к Эдгару По, к его рассказу «Падение дома Эшеров», который с особым наслаждением смакует Рут и с помощью которого роман еще сильнее насыщается «ароматом тления».

В книге много высказываний в духе столь модной в США «семантической» философии: «Мы нуждаемся в новом наборе слов... Мораль — это просто систематическое употребление несовершенных слов: «подлый», «низкий», «грязный» — это лишь лингвистические основы современной этики». Относительность моральных норм, мысль «о сексе, который движет миром», приводят Риверса к нелестному для человека размышлению, знакомому нам уже по нашумевшей книге Хаксли «Обезьяна и сущность»: «Люди — это различные вариации гориллы». И это «физиологическое» мировоззрение Риверса приводит его к мистическому умозаключению: «В конечном счете наши жизненные пути определяют Провидение и Милосердие...».

Все эти рассуждения противоречивы, но противоречивость их отражает не искания и внутреннюю борьбу героя, а привычную для автора и здесь несколько небрежную игру мыслью и словом.

То там, то здесь в книге мелькают ходячие слова наших дней, упоминания модных проблем. Здесь и сульфамиды, и пенициллин, и Фрейд, и атомная бомба, и рак, и семантическая философия, и детский паралич... Но ведь рассказчик — физик и ученик гениального физика, а Хаксли проходит мимо самых волнующих и важных для ученых всего мира проблем. Правда, очередное упоминание и об этом можно найти: «Это было время (речь идет о двадцатых годах нашего века), когда вы могли быть физиком, не чувствуя за собой вины... В 1921 году адские машины еще были

в будущем. Мы наслаждались и забавлялись чистой наукой». Вот и все.

В книге часто встречается любимое словечко всяческой пресыщенности: «забава», «разного рода забавы — забавы пола, еды, силы, комфорта, обладания, жестокости»...

В конце концов оказывается, что бессмысленна не только жизнь, но и искусство. Человек неспособен полноценно творить: «Мы алхимики наизнанку: дотрагиваемся до золота и превращаем его в свинец; чистую лирику жизни превращаем в требуху и помои».

Философия Риверса не опровергается автором. И хотя воспоминания Риверса отнесены ко времени его молодости, его духовного целомудрия, это сделано именно для того, чтобы показать «воспитание чувств» героя и раскрыть с высоты старческой умудренности несостоятельность и наивность его морально-этических устоев тех лет.

Жизненная теплота и человечность есть в эпизодах, связанных с Рут и ее любовью к Риверсу, но и они задавлены гипертрофированной сексуальностью. Нельзя не видеть замкнутость и ограниченность этой книги, нас замораживает поток холодной, «забавляющейся» мысли. Ни писательское умение, ни эрудиция, ни остроумие не могли придать ей подлинной жизненной глубины.

Новый роман Хаксли неудачен. Он мертв. Интеллектуальный блеск, ирония, парадоксы, горечь разочарования и скепсиса — все то, что стяжало автору «Шутовского хоровода» и «Контрапункта» репутацию «английского Франса»,— все это, лишенное теплоты жизни, превратилось в новой книге Олдоса Хаксли в обыгранные литературные приемы.

Н Эйшискина.

КНИГИ ЯПОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

○

藤森成吉　悲しき愛
東京　一九五五年
江馬修氷の河　東京
一九五五年

○

Один из старейших демократических писателей Японии Накаси Эма закончил недавно новый роман «Ледяная река». Действие его разворачивается в годы второй мировой войны. В центре романа молодая девушка, дочь разорившегося помещика, которая всецело находится под влиянием реакционной идеологии. Другой центральный образ романа — прогрессивно настроенный интеллигент, профессор истории, который хотя и понимает всю гибельность агрессии, затеянной правителями Японии, но не находит в себе мужества активно протестовать против существующего порядка. Далекий от народа, от его жизни, он в конце концов кончает жизнь самоубийством. Девушка тоже начинает постепенно понимать, что ее сотрудничество с теми, кто готовит войну, было жизненной ошибкой; единственная открывавшаяся перед ней возможность найти свое место в жизни — любовь — тоже утрачена со смертью профессора. Охваченная отчаянием, она постепенно опускается все ниже и ниже и в итоге тоже лишает себя жизни.

В романе «Ледяная река» затронуты две проблемы. Одна из них сводится к утверждению того, что даже прогрессивно настроенный интеллигент, ненавидящий войну, обрекает себя, свою личность на уничтожение, если пытается строить жизнь вдалеке от народа, в узком мирке личных чувств; другая проблема, поднятая писателем, сводится к утверждению того, как искалечила война судьбы многих простых, рядовых женщин, воспитанных в духе милитаризма.

Роман «Ледяная река» показывает, что даже прогрессивно настроенный человек не в состоянии успешно разрешить свои личные вопросы, если он далек от народа. Эти произведения, в сущности, повествуют о том, что народ творит не только историю общества в целом, но и формирует личные судьбы людей.

В связи с этой книгой надо отметить новое произведение другого старейшего японского писателя Сэйкити Фудзимори «Печальная любовь», написанное на сходную тему. Это история любви немолодого уже писателя, женатого человека к молодой блестящей артистке. Любовь эта не встречает взаимности, и писатель в конце концов вынужден отказаться от нее.

В своей книге Фудзимори не стремился нарисовать идеальной картину любви; он хотел показать противоречивость чувства, возникшего в очень сложной обстановке. Нельзя сказать, что противоречия, показанные в романе, получили достаточное разрешение, и это, несомненно, является его недостатком. Но автору удалось показать, что его герой находит в своей неустанной общественной деятельности душевные силы, помогающие ему преодолеть тяжелые переживания, помогающие ему вновь окрепнуть душой. Образ

такого героя — явление, редко встречавшееся до сих пор в японской прогрессивной литературе.

Обе эти книги не свободны от недостатков, но, тем не менее, они открывают перед прогрессивной литературой Японии новую область — показ неразрывной связи личной судьбы человека с жизнью и борьбой народа как решающего фактора, определяющего личную судьбу.

Дзюнити Иваками

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ КОНСТАНТИНА БИБЛА

О

Konstantin Biebl, Dílo, Praha, Československy Spisovatel, 1950-1954.

О

В 1954 году издательство «Чехословацкий писатель» закончило печатание пятитомного собрания сочинений Константина Библа (1898—1952) — одного из наиболее известных и талантливых поэтов современной Чехословакии. Это первое собрание его сочинений содержит все известные поэтические и прозаические произведения Библа, а также стихотворения, не включавшиеся им в сборники и частью вообще не публиковавшиеся при жизни поэта.

Пять томов сочинений К. Библа, впервые с такой полнотой представляющие его творчество, раскрывают перед читателем необычайно привлекательный облик этого большого чешского поэта.

К. Библ вступил в литературу в начале двадцатых годов нашего века. Он принадлежал к тому группировавшемуся вокруг Иржи Волькера поколению чешских поэтов, которые выбирали свой путь под влиянием идей Октябрьской революции. Как и Волькер, К. Библ не только сочувствовал революционной борьбе пролетариата, но и стремился принять в ней участие. Уже в 1922 году он вступил в ряды коммунистической партии Чехословакии.

Стихи Библа первой половины двадцатых годов ярко отражают революционные идеалы молодого поэта. Он создает поэтические образы тружеников: швеи, рабочего, служанки, деревенских бедняков. И сегодня читателя не перестают волновать своим гуманистическим пафосом стихи Библа о профессии врача, проникнутые верой в победу науки над болезнями и смертью, глубоким уважением к людям труда. Молодой Библ много пишет о человеческом горе, о тяжелой бедности, но он убежден, что будущее народа будет счастливым. Он мечтает о революции («Ружье», «Строфы»), он мечтает о «сотне тысяч ножей» в руках сильных и ненавидящих горняков из Кладно («Перелом»).

Уже в раннем творчестве обнаружилось большое лирическое дарование Библа, которого отличало тонкое понимание прекрасного в жизни. Так, в необычайно поэтичном рассказе о любви — стихотворении «Тихонечко» — поэт сумел передать глубокую печаль бедного юноши, который видит, как, надрываясь на работе, «теряет розы со щек» его возлюбленная.

Вдохновение Библа питали земные радости и земные печали:

Не седлай, поэт, крылатого коня,
нам летать нельзя за облака:
на землю нас тянет
любовь, гнев и горе —
останемся здесь, на земле!

На протяжении двадцатых и тридцатых годов рождающееся чешское искусство социалистического реализма вело жестокую борьбу с формалистическими и эстетскими направлениями, буржуазными по своей сущности, но зачастую маскировавшимися левой фразой. Под влияние этих направлений в середине двадцатых годов попали многие талантливые представители чешской поэзии, искренне сочувствовавшие пролетариату. К. Библ был одним из тех, кого это влияние коснулось сравнительно мало, но полностью избежать его он не смог. Увлечение ложными эстетскими теориями отчетливо сказалось на многих стихах Библа, вошедших во второй и третий тома собрания его сочинений.

Но понимание «любви, гнева и горя народа» не дали поэту «улететь за облака»: своими корнями он остается «на земле», в мире реальной действительности.

С наибольшей полнотой талант К. Библа раскрылся в годы народно-демократической Чехословакии. В своем творчестве после 1945 года в собрании сочинений, представленном в четвертом томе, Библ окончательно порывает с эстетской поэзией. Всю силу своего поэтического дарования он отдает воспеванию грандиозных преобразований в жизни народа. Библ выступает за активное вторжение поэзии в жизнь. «Мы должны писать такие стихи,— говорил он,— чтобы за них диверсанты стреляли в нас на улице».

И он не только мечтает о действенной поэзии, он ее создает. Вместе со Ст. Нейманом, В. Незвалом, М. Пуймановой К. Библ был одним из тех поэтов, кто своим творчеством пробуждал любовь к молодой народно-демократической республике и ненависть к ее врагам. Антивоенная тема прежнего творчества Библа перерастает теперь в его стихах в страстное осуждение империалистических поджигателей войны, в мощный призыв к миру («Песня

труда и мира», «Корейская баллада» и другие). И в то же время никогда прежде не было в стихах Библа такой светлой радости, такой непоколебимой уверенности в счастливое завтра, в победе прекрасного в жизни.

Есть еще одно качество, которое особенно привлекает и подкупает в Библе-поэте: исключительная взыскательность художника, исключительная требовательность к себе. Еще юношей он считал поэзию делом «серьезным», которому нужно отдавать «и кровь свою и мозг». Он подолгу и тщательно работал над своими произведениями. Стихи Библа, как правило, очень лаконичные, привлекают законченностью мысли и формы. Очень строго подходил он к отбору своих стихотворений для печати. Характерно, что пятый том собрания его сочинений, в который вошли произведения, не включенные им в сборники или вообще не опубликованные, по своему объему почти равен всем предыдущим томам, вместе взятым. Многие произведения этого тома не уступают по силе стихотворениям в других томах. Пятый том, таким образом, существенно пополняет представление читателя о творчестве К. Библа.

Собрание сочинений К. Библа сопровождено содержательным послесловием З. Слабого. Можно только пожалеть, что произведения К. Библа почти совсем не снабжены комментариями, которые, несомненно, помогли бы читателю лучше понять этого интересного поэта.

С. Шерлаимова.

Наша почта

Каждый день в адрес редакции журнала „Иностранная литература" и Союза писателей СССР приходит многочисленная почта. Писатели, деятели культуры зарубежных стран делятся в письмах своими мыслями о судьбах литературы и искусства, своими творческими планами.

Начиная с этого номера, наш журнал будет публиковать представляющие интерес для широкого круга читателей отрывки из этих писем.

* * *

Английский писатель Джек Линдсей в своем интересном письме рассказывает о литературно-общественной обстановке в сегодняшней Англии.

«Когда я сел за пишущую машинку, — говорится в письме, — мне хотелось написать прежде всего о некоторых явлениях в жизни народа той части Англии, где живу я сам. Ведь, в конечном итоге, именно как писатель я в течение долгого времени стараюсь осмыслить окружающую меня действительность, дать оценку переменам во взглядах и жизни моего народа.

Для того чтобы рассказать правду о человеке, его надо видеть теми же глазами, какими он смотрит на себя, в противном случае получатся выдуманные персонажи, далекие от действительной жизни. Но в то же время нужно воспринимать человека в более широком плане, нежели он сам видит себя, воспринимать его как часть общества, к которому он принадлежит, общества, где сталкиваются взаимно противодействующие силы и где существуют многообразные формы борьбы.

Современная действительность не может не порождать резкие контрасты в мировоззрении людей, в их подходе к явлениям. На одном полюсе мы сталкиваемся с реакционерами, которые считают, что все шло бы хорошо, если бы не «безответственные агитаторы». Заблуждения таких близоруких людей относительно современной обстановки, повидимому, усугубляются также страхом перед США. На другом полюсе находятся активные сторонники мира — сознательные участники рабочего движения, члены коммунистической партии, профсоюзные деятели, представители левого крыла лейбористской партии.

Между этими двумя полюсами находится большая масса людей с самыми различными оттенками взглядов, представляющих сочетание и переплетение разнообразных идей, верных и ложных.

Многие из этих людей не хотят расстаться с определенными убеждениями и взглядами, хотя их убеждения и взгляды повседневно терпят крушение от столкновения с действительностью. Другие же никак не могут выйти из узкого круга своих привычных представлений, принимают за правду нелепую и искаженную картину мира, создаваемую газетой, которую они читают, и находят утешение, уединяясь в узком семейном мирке, отдавая весь свой досуг разведению кроликов и голубей, выращиванию георгин, коллекционированию марок, заключению футбольных пари или же собиранию сведений о спортивной форме собак, участвующих в столь популярных в Англии собачьих гонках. Я сам слышал, как рабочие в пивной обсуждали, стоит ли заключать футбольные пари, если все равно ничего не выигрываешь. Один доказывал, что на это он тратит четыре или пять свободных вечеров в неделю; если бы не футбольные пари, он вынужден был бы ходить в пивную и тратил бы гораздо больше денег на пиво. Выходит, что экономнее проигрывать деньги на футбольных пари. Никто ему не возражал. Получалось, что существует лишь две возможности проводить время: ходить в пивную или ставить на футбольные команды.

У нас тратят в год на футбольные пари сумму, достаточную для того, чтобы, скажем, перестроить всю систему народного образования в стране. А эти футбольные пари — лишь одна из многочисленных уловок, изобретенных для того, чтобы отвлекать народ от всяких попыток осмыслить действительность.

Этой же цели — развращению вкусов широкой публики — служит и соответственная литература: множество произведений, воспевающих насилие и даже садизм. Наиболее авторитетные издатели стараются противодействовать этому снижению уровня литературы, но детективная халтура продолжает издаваться огромными тиражами.

Надо отметить, что в последнее время был с успехом возбужден ряд судебных дел против издателей за опубликование порнографических и проповедующих садизм произведений. Давление общественного мнения заставило правительство предпринять эффективные меры против издания «комиксов».

Далее Линдсей указывает, что «многие писатели, которые не могут понять окружающий их мир, ушли в мирок безделушек, буржуазной гостиной и детской, стали изображать в радужных тонах отдельно выхваченные куски жизни прошлого, рисуя его, как время легкой, радостной, комфортабельной и свободной жизни, забывая о безработице и недоедании — уделе широких народных масс.

Неудивительны в связи с этим многочисленные сетования по поводу того, что читателю надоел роман. Критики говорят о кризисе романа как литературного жанра, а на самом деле речь идет о кризисе так называемого эскейпистского романа *.

И все же, несмотря на то, что в литературе моден эскейпизм, у нас нет недостатка в книгах, авторы которых стремятся дать правдивую картину пробуждающегося сознания. Прекрасным примером подобных произведений является книга С. П. Сноу «Новые люди». Сноу всегда был умным писателем, который сопротивлялся худшим тенденциям послевоенного периода; но в своих предыдущих романах он боялся пойти до конца и сделать все выводы, вытекающие из поднятых им вопросов. Он хорошо знает провинциальную буржуазию, а также быт Кембриджского университета и крупных государственных учреждений. В своих книгах, написанных до «Новых людей», Сноу с большой проницательностью показал ломку буржуазной жизни, но в то же время узость подхода автора к жизни ограничивала художественную силу его произведений. В «Новых людях», рассказывая об ученых, работающих в области расщепления атомного ядра, Сноу преодолевает этот недостаток: он берется за важную социальную тему и разрабатывает ее последовательно и честно, хотя можно и не соглашаться с его отдельными формулировками. Сноу настаивает на том, что научные открытия и устройство современного общества могут быть обращены на благо человечества — и это является резким выступлением против пессимизма и эскейпизма. Именно такие моменты конфликта, столкновения с действительностью и представляют наибольший интерес для писателя...»

К числу заслуживающих внимания произведений последнего времени Линдсей относит книги о жизни в колониях. «С одной стороны, — пишет он, — Грэхем Грин в своем романе «Существо вопроса» пытается растворить все проблемы колониализма в личных треволнениях чиновника, изменившего своей жене. С другой стороны, Дорис Лессинг в серии романов и рассказов о Родезии дает правдивую картину действительного положения населения этой страны; личные переживания героев ее произведений органически связаны с картиной общественной жизни. Она показывает отвратительную пошлость и грубость хозяев колониального мира, падение нравов, вытекающее из самой сущности колониализма; и на этом фоне показана жизнь ограбленных и обездоленных африканцев».

Линдсей отмечает далее, что в английской художественной литературе в последние годы появилась новая тема: отношение рядовых англичан к американским войскам, расквартированным в Англии. «Возьмите местность, где живу я. Вначале прибытие американцев прошло почти незамеченным. В первое время многие, вспоминая войну с фашизмом, старались относиться к ним дружелюбно. Но вскоре англичане почувствовали, что между ними и прибывшими в их страну американцами существует какая-то стена.

Хотя многие испытывали лишь чувство личной враждебности к американцам, нашлись и такие, кто с большей ясностью сознавал, почему у народа возникает чувство вражды. Люди начали понимать, что американцы, разместившиеся на наших аэродромах, вызывают неприязнь потому, что их грубое поведение определяется не личными особенностями, а характером задачи, которую они выполняют на нашем острове.

У нас пишутся книги, дающие реалистическую картину английской действительности в связи с пребыванием в стране американских войск, но их еще мало. В некоторой степени это объясняется нежеланием издателей печатать такие произведения. Я знаю двух писателей, написавших интересные книги на эту тему. Однако они не смогли найти издателя.

У. С. Адамсу удалось опубликовать свою несколько легковесную, но веселую сатиру «Четвертая программа». В ней изображается ученый, открывший способ глушить одни радиопередачи и заменять их другими. И вот в радиопередаче, которую он ведет от имени Би-би-си, раздается голос, призывающий к миру, причем утверждается, что это голос самого господа бога. Среди реакционеров паника. Наконец ученого выслеживают, и американцы решают тоже использовать «бога», но уже с другими политическими целями. В сатире много забавных моментов».

Отмечая растущее стремление английского народа к миру, Линдсей пишет: «В позапрошлом году мы стали свидетелями по-настоящему общенационального, массового выступления против двух проявлений подго-

* То есть романа, уводящего читателя от действительности.

товки к войне — водородной бомбы и ремилитаризации Германии.

Весьма сильной в нашей местности была реакция рядовых членов лейбористской партии на попытки правого руководства навязать им политику поддержки ремилитаризации Германии. Возмущенные отказом правого крыла прислушаться к голосу масс, они вышли из партии, и местная организация распалась. Два руководителя организации — секретарь и председатель — вступили в коммунистическую партию. Другие колеблются, желая и в то же время не решаясь последовать их примеру. Третьи вообще отказались от борьбы. В конце концов в организации остался один человек. В других местах результаты не были столь катастрофичны, но приведенный пример весьма характерен.

Такого рода явления оказали известное влияние и на литературный мир. Например, на леволейбористских позициях стоят писатели Наоми Митчисон и Сесиль Дей Льюис. Настроение рядовых членов лейбористской партии выражает также роман Эдит Парджетер «Солдат у двери». В романе повествуется о гибели в Корее одного из призванных в армию юношей и о том, какое воздействие это оказывает на его близких.

Роман можно критиковать за то, что Парджетер не показывает, какую роль могут сыграть коллективные и индивидуальные выступления против войны, она совсем не говорит о причинах войн в Корее или во Вьетнаме. Но эти недостатки компенсируются глубиной чувств, тем, что книга с большой силой показывает необходимость выбора для каждого человека. Ненависть к колониальным войнам проходит красной нитью через всю книгу.

Однако иные писатели, которые в свое время постарались бы под влиянием таких событий сделать все, чтобы поддержать боевой дух рядовых членов лейбористской партии, стоят в стороне, например Дж. Б. Пристли.

Нет необходимости разбирать всю путаницу и неправильность заявлений, с которыми выступает Пристли в последнее время, называя патриотов «сторонниками железного занавеса». Но следует подчеркнуть, что Пристли уже давно не выражает настроений и надежд своих соотечественников. Очень часто гораздо более прогрессивными по сравнению с ним оказываются авторы комических передач Би-би-си. Дело дошло до того, что в одной из них даже рассказывалось о городе, восставшем против размещенных в нем американских войск. Несколько раз предавались осмеянию закон Маккарена и бредовые высказывания Маккарти. Нет никакого сомнения в популярности таких передач среди радиослушателей. Но из-за строгой цензуры подобных сатирических передач не так уж много, да и уровень сатиры таков, что не может оказать решительного политического воздействия».

В заключение письма Линдсей указывает, что он хотел дать в нем «хотя бы общее представление о том, с какими проблемами сталкивается писатель, когда он берется за изображение сегодняшней английской действительности, когда он ставит себе целью внести свой вклад в освещение проблем, решение которых поможет людям достичь мирной, счастливой жизни на земле».

* * *

В своем письме в редакцию журнала «Иностранная литература» известный польский писатель Игорь Неверли сообщает о работе над новым романом.

«Его название,— пишет Неверли,— «Шухай», что означает «Лесное море». Так называют китайцы маньчжурскую тайгу, где происходит действие романа. Время действия — годы войны, с 1939 по август 1945, до взрыва первой атомной бомбы...

Мне просто хочется подумать (совместно с читателями) над некоторыми проблемами, возникшими перед человечеством и имеющими, на мой взгляд, принципиальное значение. Это дело не простое, трудное. Но чем труднее проблема, тем легче должна быть форма ее изложения. Именно поэтому я избрал местом действия маньчжурскую тайгу и вывел в сенсационном сюжете романа представителей разных классов и народов, с тем, чтобы они могли свободно поспорить, взглянув на проблемы глазами одной и другой стороны.

Боюсь, что эта задача превышает мои силы. И все же берусь за нее, так как это задача захватывающая и кому-то надо, наконец, взяться за нее.

Я уже сдал в издательство первую и вторую части «Шухай» (350 стр.). В настоящее время я работаю над последней частью. В общем, в романе будет около 500 страниц. В начале 1956 года роман будет печататься в варшавской прессе. Одновременно я буду читать его по радио. Отдельным изданием книга должна выйти в конце 1956 года».

* * *

Известная австралийская писательница Катарина Сусанна Причард прислала ответ нескольким советским читателям, поделившимся с ней своими впечатлениями о ее книгах. «Мне всегда доставляют большое удовольствие письма советских читателей о моих произведениях, — пишет К. С. Причард. — Я считаю для себя большой честью, что мои книги вышли на русском языке, что советские читатели могут познакомиться с жизнью трудящихся Австралии, с их борьбой за мир и дружбу между народами всех стран.

...Как замечательно быть инженером, участником великих работ по социалистическому строительству в Советском Союзе! Я преклоняюсь перед каждым человеком в Советском Союзе, перед всеми людьми, которые в малых и больших делах помогают поддерживать и укреплять престиж Советского Союза. В хаосе международных событий Советский Союз сверкает, как путеводная звезда».

* * *

В своих письмах, адресованных Иностранной комиссии Союза писателей СССР, индийские писатели Бхабани Бхаттачария и Мулк Радж Ананд пишут о своей литературной работе и творческих планах.

«Я задумал новый роман под названием «Богиня золота», — пишет Бхабани Бхаттачария, автор переведенного на русский язык романа «Голод». — Действие моего нового романа будет происходить в провинции Мадхья Прадеш, столицей которой является город Нагпур. Этой провинции выпало счастье: там с помощью советских специалистов будет сооружен металлургический завод. Я как писатель буду следить с величайшим интересом за ростом этого города стали. Я надеюсь, что почерпну там много ценного материала для моей работы. Город стали явится новым звеном крепнущей дружбы между моей страной и вашей».

Писатель Мулк Радж Ананд выражает горячую благодарность за прием, оказанный ему советскими писателями во время пребывания в СССР. «Прежде чем снова окунуться в повседневную работу, — пишет он, — хочу высказать вам свое чувство горячей дружбы и глубокой благодарности.

...В ближайшее время, — продолжает Ананд, — рассчитываю начать новую книгу, а также буду продолжать работу над рукописью романа «Старуха и корова».

* * *

Австралийский писатель Фрэнк Харди, автор переведенных на русский язык и вышедших в Советском Союзе романа «Власть без славы» и многих рассказов, сообщает в своем письме, что группа прогрессивных киноработников Австралии снимала по его рассказу «Вязанка дров» цветной фильм.

«Моя литературная работа, — пишет Харди, — идет успешно, и я надеюсь в скором времени закончить несколько произведений, над которыми работаю».

* * *

Финляндское общество переводчиков обратилось в секцию переводчиков литератур народов СССР с письмом, в котором, в частности, говорится: «Цель настоящего письма — установление связи и сотрудничества с советскими организациями переводчиков. Нам известно о существовании секции переводчиков литератур народов Советского Союза при Союзе писателей СССР. Учитывая ту важную роль, которую ваша секция играет в особых условиях многонационального советского государства, мы были бы рады сотрудничать с вами и, в частности, будем глубоко благодарны вам, если вы сочтете возможным поделиться с нами вашим богатым опытом.

...Мы надеемся, что этот первый наш контакт будет началом тесного взаимно полезного сотрудничества между нашими организациями».

* * *

Известный французский актер и певец Ив Монтан просит редакцию передать читателям журнала «Иностранная литература» горячий привет и выражает надежду на то, что он сможет в 1956 году приехать в Советский Союз на гастроли.

АВСТРИЯ

КРУПНОЕ СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Торжественное открытие вновь восстановленных театров — Венской оперы и Бургтеатра — явилось крупнейшим событием в культурной жизни Австрии. Существующий более двухсот лет Бургтеатр был широко известен во всех европейских странах. Здание, в котором он и сейчас находится, было построено в 1888 г. В 1944 г. театр был закрыт гитлеровцами, а в марте 1945 г. здание было разрушено в результате налета американской авиации. После освобождения Вены советскими войсками труппа Бургтеатра возобновила спектакли в другом помещении. Ныне здание полностью восстановлено и модернизировано.

В день открытия сезона в восстановленном здании шла драма австрийского классика Грильпарцера «Счастье и конец короля Оттокара». На торжественную церемонию прибыли президент Австрии Кернер, члены правительства, дипломатический корпус, многочисленные деятели австрийской и зарубежной культуры, в том числе и представители СССР — директор Малого театра Царев и режиссер Художественного театра Станицын. Они передали театру подарки — эскизы декораций к «Свадьбе Фигаро» Бомарше в постановке Станиславского (художник Головин) и к пьесе «Сердце не камень» Островского (художник Мешков).

Еще более торжественно прошло открытие Венской государственной оперы. Ее здание, считавшееся одним из лучших в Европе, также было сильно повреждено в марте 1945 г. Командование советских войск отпустило для его восстановления значительные денежные суммы и большое количество строительных материалов.

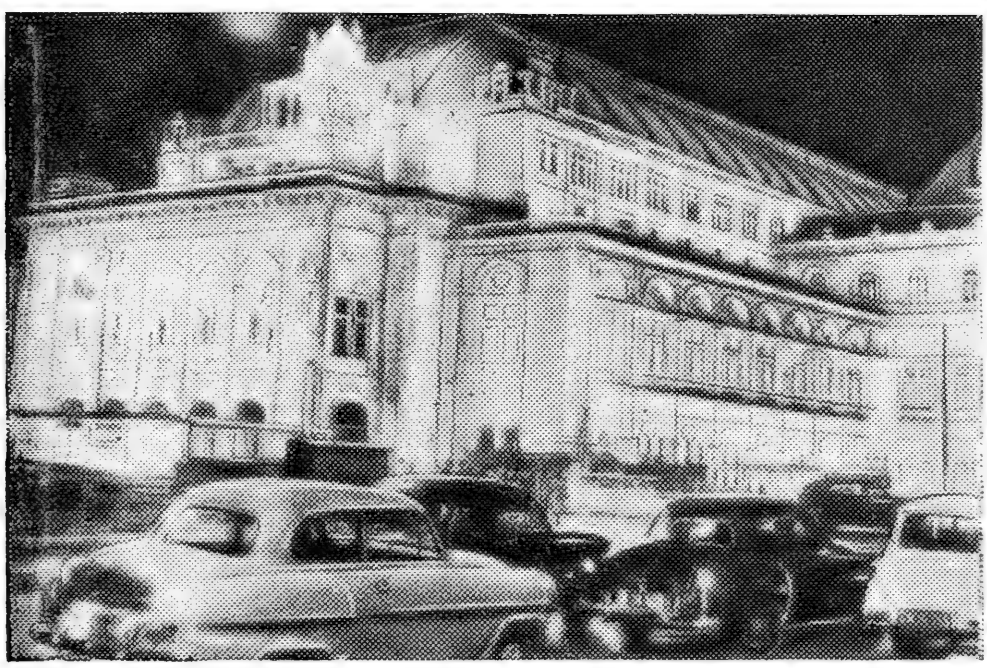
Восстановленное здание оборудовано по последнему слову театральной техники. По отзывам печати, в нем созданы весьма благоприятные условия для творческой работы.

Открытие оперного театра сопровождалось торжественной церемонией, превратившейся в подлинный национальный праздник. Печать посвятила этому событию обширные статьи. Среди почетных гостей были композитор Д. Шостакович и директор ГАБТ М. Чулаки.

К моменту открытия на площади перед театром собрались десятки тысяч жителей столицы. Несмотря на дождь, они простояли здесь весь вечер, слушая спектакль, передававшийся через радиорепродукторы в сопровождении диктторского текста. Тысячи людей собирались также у витрин магазинов, где были выставлены телевизоры.

Здание восстановленного театра Государственной оперы в Вене.

(Газета „Ди тат")



В день открытия шла опера «Фиделио» Бетховена, на следующий день — «Дон Жуан» Моцарта.

АЛБАНИЯ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

В конце 1955 года Союз писателей Албании отметил десятилетие своего существования. В Тиране состоялся торжественный вечер, в котором приняли участие писатели, журналисты, студенты высших учебных заведений и трудящиеся столицы. На вечере присутствовали руководители партии и правительства, а также представители дипломатического корпуса и иностранной печати.

Вечер открыл писатель Зини Сако. «Албанские писатели, — сказал он, — руководствуясь указаниями Партии Труда, следуя традициям великих писателей Возрождения Наими, Самиу, Кристофориди, Чаюпи, Мьеда, Мидьени, используя опыт великой советской литературы, сумели создать произведения высокого достоинства и овладеть единственно плодотворным творческим методом социалистического реализма».

Затем слово было предоставлено Димитру Шутеричи, председателю Союза писателей Албании. Он отметил, что в народно-демократической Албании за десять лет ее существования издано больше книг, чем за весь период, начиная с выхода в свет первой албанской книги (1555) и вплоть до освобождения страны (1944).

Далее тов. Шутеричи охарактеризовал целую плеяду новых писателей, пришедших в литературу сразу после освобождения страны; он говорил о том, что ими создан ряд литературных произведений, которые пользуются известностью и заслужили симпатии албанского читателя. Вместе с тем, отметил докладчик, образы представителей рабочего класса занимают еще слишком мало места в творчестве этих писателей. Им еще предстоит создать образ положительного героя, этой основы литературы социалистического реализма, — героя, в котором воплощены наши идеалы и заключена великая воспитательная сила нашего искусства.

Говоря о подъеме, достигнутом за последние пять-шесть лет в таких жанрах, как роман и повесть, драма и поэма, либретто, сценарий и книги для детей, тов. Шутеричи в то же время подчеркнул: «Пока мы все еще, можно сказать, находимся на этапе смелых экспериментов, на этапе накопления необходимого литературного опыта». Он напомнил собравшимся о постановлении пленума ЦК Партии Труда Албании по идеологическим вопросам, которое обязывает писателей и работников искусства еще более настойчиво изучать жизнь, всесторонне отражать ее в своих книгах.

В заключение вечера после ряда приветствий были исполнены отрывки из различных произведений албанской классической и современной литературы.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ТИРАНЕ

Состоявшийся в Тиране фестиваль театров страны продолжался десять дней. В программу показа были включены как оригинальные, так и переводные пьесы. Тиранский Народный театр показал драму албанского писателя Джемаля Бройя «Схватка» — о войне народа против фашистских захватчиков и о том, насколько война обострила классовую борьбу в деревне.

Театр имени Мидьени из города Шкодера показал пьесу «Наша земля» драматурга Коль Якова. Эта пьеса, отмеченная премией республики за 1954 г., посвящена отображению революционных преобразований в албанской деревне непосредственно после освобождения страны.

Театр города Дурреса, носящий имя всемирно известного актера Александра Моисси, албанца по происхождению, показал на фестивале комедию Фатмира Дьята «Девушка из села».

В ходе фестиваля выдвинулись на первый план многие важные и насущные задачи. К наиболее существенным из них албанская печать относила дальнейшее обогащение репертуара произведениями национальной драматургии. Отчетливо выявилась необходимость повышения художественного уровня драматических произведений; драматурги особенно остро ощутили потребность изучать и осваивать законы сцены, работать в более тесном, дружеском контакте с театрами.

Перед театрами встала задача более глубокого, вдумчивого воплощения произведений драматургии с тем, чтобы отчетливей воплощать их основную идею. Театры поняли всю важность мастерского владения интонацией, дикцией, сценическим языком, пластикой — в особенности при постановке классических произведений.

Вместе с тем фестиваль показал, что в области театрального искусства налицо все возможности для движения вперед еще более быстрыми темпами и создания спектаклей, отмеченных художественным мастерством.

АНГЛИЯ

ЕЩЕ РАЗ О „ФИЛАНТРОПАХ В РВАНЫХ ШТАНАХ"

«Вы должны во что бы то ни стало достать эту книгу; в первую очередь я обращаюсь к старикам, которые должны добиться, чтобы молодежь прочла

ее». Эти слова принадлежат Гарри Поллиту. А книга, о которой идет речь, — «Филантропы в рваных штанах» Роберта Трессела. В прошлом номере мы уже сообщали о необычайной судьбе этой книги и обстоятельствах ее «второго рождения». Сейчас мы вновь возвращаемся к ней, поскольку она попрежнему остается в центре внимания прогрессивной английской общественности. Выражая точку зрения этих кругов, известный писатель Джон Соммерфилд в статье «Наконец-то появилась подлинная повесть Трессела» пишет об особой любви, с какой относятся к этой книге английские рабочие. И чувство это не случайно, ибо, как указывает Соммерфилд,— «это единственная подлинно реалистическая английская книга о рабочем классе, написанная рабочим для рабочих с воинствующих пролетарских позиций».

Соммерфилд подчеркивает, что в этой книге легко обнаружить недостатки: она могла бы быть более совершенна в художественном отношении, а политические идеи высказаны в ней подчас слишком прямолинейно и упрощенно. Но это искренняя книга, полная симпатии и сочувствия к людям, проникнутая ненавистью к «двуногим врагам человечества».

Пролетарии, измученные непосильным трудом, заморенные голодом и в то же время послушно работающие на эксплуататоров и с недоверием относящиеся к борцам за дело рабочего класса, за переустройство общества, — вот кого автор именует «филантропами в рваных штанах».

Соммерфилд указывает на глубокую актуальность книги Трессела, хотя она и была написана почти полвека назад. Ее политический смысл злободневен и сегодня, ибо «миллионы обманутых «филантропов» живут вокруг нас». Пусть они не ходят в лохмотьях и не умирают с голоду, пусть у некоторых из них даже есть телевизоры, пусть их опекают титулованные вожди тред-юнионов, но «богатые попрежнему стоят у власти».

За 50 лет условия изменились, но, пишет Соммерфилд, книга Трессела не устарела, ибо угнетение и обман рабочих остались, только обман стал более тонким, а угнетение более жестоким.

В заключение Соммерфилд выражает удовлетворение тем, что последние главы нового издания глубоко оптимистичны. В них утверждается неизбежность перемен в мире и уверенность в том, что жизнь «может быть прекрасной, если мы будем бороться за то, чтобы сделать ее такой».

ПЬЕСА САРТРА В ТЕАТРЕ „ЮНИТИ"

Право первой постановки в Англии сатирической пьесы Жан-Поля Сартра «Только правда» («Некрасов») предоставлено автором лондонскому театру «Юнити». Джордж Лисон, руководитель театра «Юнити», сообщил по этому поводу в беседе с представителем газеты «Дейли уоркер»:

«Я обратился непосредственно к Сартру за разрешением поставить его пьесу и объяснил ему, что мы — рабочий театр. Он немедленно ответил, что дает нам безоговорочное право на постановку, не ставя при этом никаких условий.

Мы надеемся сделать его пьесу одной из лучших постановок нашего театра».

В том же театре «Юнити» с успехом идет инсценировка книги Макаренко «Флаги на башнях».

НОВАЯ ПЬЕСА ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА

На огромной открытой сцене Ассэмбли холла в Эдинбурге была поставлена новая пьеса американского драматурга Торнтона Уайлдера «Жизнь под солнцем». Она привлекла внимание публики. Однако печать выразила общее разочарование этой новинкой.

Пьеса написана на античный сюжет. В основу положен миф об Альцесте, согласившейся умереть вместо своего мужа Адмета. Только вмешательство Геракла, спустившегося в ад и отнявшего Альцесту у смерти, возвращает ее на землю.

Уайлдер дает теме свою трактовку. Он заменяет основной мотив самоотверженной любви мотивом нерассуждающей покорности богу, стремясь, по его собственным словам, показать «несоизмеримость человеческого и божественного».

Юная принцесса — в первом акте счастливая избранница Адмета, затем становится игрушкой жестокого бога Аполлона, который на протяжении тридцати лет подвергает ее мучительным испытаниям. В третьем акте она — жалкая рабыня при дворе тирана, старая и больная, тоскует, узнав о том, что на родине повесть о ее самопожертвовании стала прекрасной легендой.

Такое изменение сюжета понадобилось Уайлдеру для того, чтобы показать полную покорность Альцесты и устами Аполлона провозгласить: тот, кто страдает, не должен умереть.

Несмотря на отдельные удачные сцены, пьеса вызвала недоумение и отрицательную оценку критики.

Еженедельник «Обзёрвер» писал: «Пьеса несовершенна как драматургическое произведение и неудобоварима с философской точки зрения». Прославление слепой веры и беспрекословного повиновения настолько пронизывают всю пьесу, что, по словам рецензента, «неверующего нельзя даже винить, если он истолкует пьесу как призыв к закрепощению».

САТИРА НА НРАВЫ БУРЖУАЗНОЙ ПЕЧАТИ

В новой сатирической повести английской писательницы Наоми Митчисон в

качестве сюжетного стержня использованы типичные и стандартные приключения героев средневековых романов о короле Артуре и рыцарях «Круглого стола».

Повесть Наоми Митчисон называется «Опасная часовня». Труден путь искателей приключений, стремящихся найти мистическую чашу св. Граля. Неведомые и грозные опасности подстерегают смельчаков на пути к «таинственной часовне».

Однако вся «соль» сатиры заключается в том, что приключения и опасности описаны в повести репортерами двух конкурирующих газет — «Камлотской хроники» и «Северного Пикта». Во главе одной из газет, поддерживаемой церковью, стоит волшебник Мерлин, другая принадлежит зловещему лорду Хорни. Репортаж о поисках чаши св. Граля подается в соответствии с духом каждой из этих двух газет, что позволяет автору повести сатирически изобразить нравы современной буржуазной прессы. Обозреватель газеты «Дейли уоркер», положительно отзываясь об этой книге, отмечает ее острую злободневность.

Еженедельник «Обзёрвер» считает, что применяемый автором сатирический прием отличается некоторым однообразием и потому несколько утомляет к концу книги.

АКТ МЕСТИ ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?

В монографию французского литературоведа Армана Лану «Золя», вышедшую в переводе на английский язык, включена интересная глава, отсутствующая во французском издании той же книги. В этой главе Лану приводит не известные до сих пор данные, позволяющие по-новому взглянуть на причину смерти Золя.

До сих пор принято было считать, что автор памфлета «Я обвиняю» умер в результате роковой случайности. «Смерть от угара», — так квалифицировали ее печать и полицейские власти, производившие расследование. Между тем Арман Лану приводит в своей книге ряд новых фактов и ссылается на обнаруженные им неизвестные и малоизвестные материалы, на основании которых он приходит к выводу, что речь должна в данном случае идти не о несчастном случае, а о террористическом акте, совершенном реакцией против Золя. Лану доказывает, что дымоход в спальне был тщательно закупорен и что это было сделано с заранее обдуманным намерением наемными агентами реакционных кругов, стремившихся расправиться с Золя и отомстить за вмешательство в «дело Дрейфуса» и за всю его общественную и литературную деятельность.

Как отмечает «Дейли уоркер», книга Лану резко контрастирует с недавно вышедшей книгой английского литературоведа профессора Чэпмена «Дело Дрейфуса», в которой он старается всячески обелить представителей французской реакции и одновременно очернить память Золя.

ПИСЬМА ЧЕХОВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В Лондоне вышли избранные письма Чехова в одном томе. Вступительная статья и редакция принадлежат Лилиан Хеллман.

Письма Чехова не впервые выходят на английском языке. Еще в 20-х годах, напоминает журнал «Лиснер», вышло не менее четырех однотомных изданий писем Чехова. Все они очень быстро разошлись и стали своего рода библиографической редкостью.

Как отмечает «Лиснер», вновь изданный сборник писем Чехова «не только освещает личность самого писателя, но имеет особую ценность как документ, раскрывающий эпоху». Новое издание составлено в основном по русскому изданию 1951 г., вышедшему в Москве.

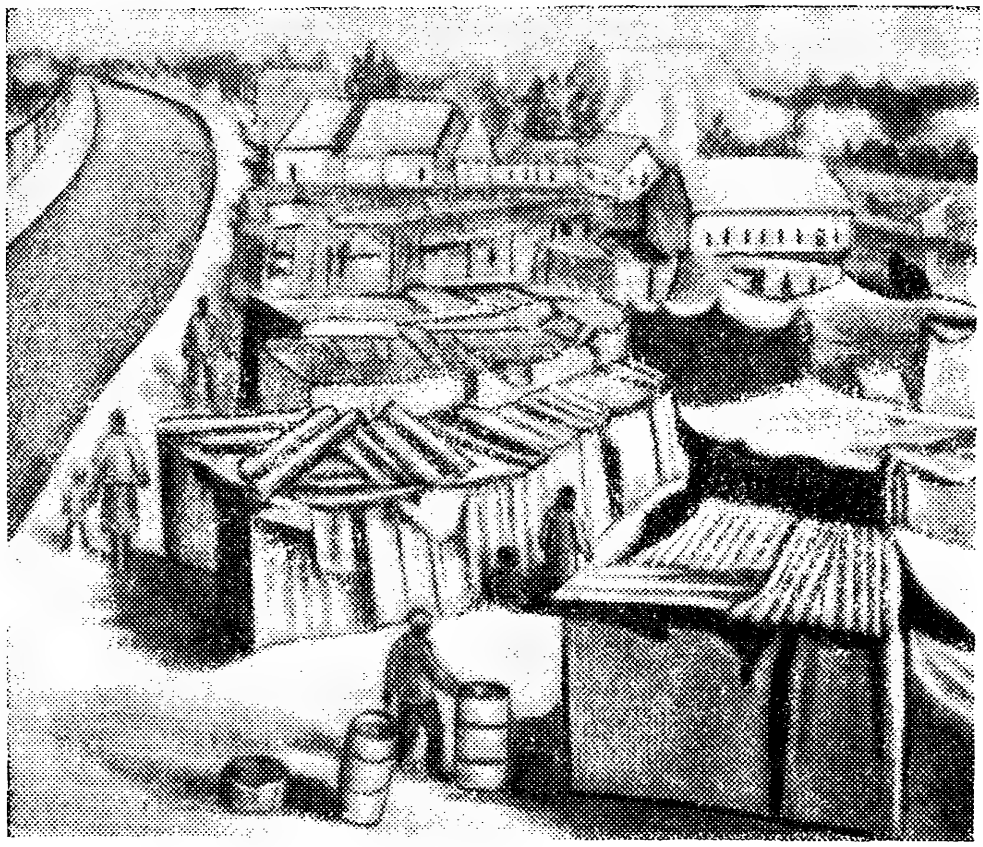
Анализируя подбор материала для английского издания, «Лиснер» приходит к выводу, что в общем он сделан удовлетворительно, но высказывает сомнение в том, следует ли содержащиеся в письмах юмористические места передавать в стиле американских журналов типа «Нью-Йоркер». Во многом неудачен также и перевод, сделанный, как подчеркивает тот же «Лиснер», зачастую недостаточно тщательно, без необходимого знания русского языка.

С понятным возмущением журнал приводит примеры ляпсусов, допущенных переводчиком. Так, например, слово «испитой» переведено «сильно пьющий» (!!). Выражение «пошла писать губерния» также дано в совершенно искаженном виде. Во многих местах не понят самый смысл текста; так, на стр. 81 английского издания Чехову приписывается утверждение, будто он иногда пишет за одну ночь «единым махом» 50—60 страниц, тогда как в подлиннике Чехов высказывает прямо противоположные мысли. Санкт-Петербург почему-то фамильярно называется Санкт-Питом и т. д. и т. п.

В заключение журнал «Лиснер» высказывает пожелание, чтобы переводы с русского языка поручались более квалифицированным и опытным переводчикам.

ВЫСТАВКА КАРТИН ЮЖНОАФРИКАНСКОГО ХУДОЖНИКА

Выставка произведений южноафриканского художника Дезсоу Конига была организована в Южном Кензингтоне (Лондон). На приведенном здесь фотоснимке — одна из его картин, изображающая типичный для Южной Африки «шэнти таун» — городок, состоящий из жалких лачуг, в которых ютятся трудящиеся. Эти жалкие хибарки построены из кусков ржавого железа, консерв-



Одна из картин Дезсоу Конига, изображающая «шэнти таун» — город лачуг в Южной Африке.
(Газета „Дейли уоркер")

ных банок, фанеры, соломы и старых тряпок. Как подчеркивает газета «Дейли уоркер», правдивая кисть художника, хотел он этого или не хотел, зафиксировала картины чудовищной нищеты и создала своеобразный обвинительный акт против расизма и колониализма.

БРАЗИЛИЯ

ПОЧЕМУ ТАК НИЗОК СПРОС НА КНИГУ?

Журнал «Сул» посвятил редакционную статью «проблеме книги» и наблюдаемому в стране кризису сбыта книги.

«Мы постоянно слышим, — пишет журнал, — что книжный кризис разрастается, что число читателей непрерывно падает, а книга становится все дороже».

Различные «теоретики» и «эксперты» по книжным вопросам тщетно пытаются найти объяснение этим явлениям. Но,— утверждает журнал,— создавшееся положение «не нуждается в замысловатых теориях и объясняется, как нам кажется, очень просто. Невозможно продавать книги народу, бóльшая часть которого неграмотна, нельзя продавать книги голодному человеку». Развивая эту мысль, журнал продолжает: «Одного желания еще недостаточно для того, чтобы человек, лишенный предметов первой необходимости, стал думать о покупке книг, о приобщении к культуре. Нам скажут, что книга —тоже предмет первой необходимости. Да, мы этого не отрицаем. Но все это лишь теория. Практически же командует господин желудок. Только тогда, когда человек сыт и имеет кров над головой, он может думать о книге и интересоваться ею...

Народ не покупает книг! Об этом непрерывно твердят, об этом пишут в периодической печати, то же можно услышать и по радио и на собраниях. ...Но тот, кто ответственен за это, должен изучать, анализировать причины и проверить, действительно ли повинен в этом народ...»

В заключение журнал подчеркивает: «Вся эта проблема очень сложна. Нельзя рассматривать положение с книгой оторванно от остальных проблем. Было бы нелепо стремиться разрешить одну только эту проблему, тесно связанную с другими. При таком подходе все сведется к пустым разговорам и кризис, о котором мы столько твердим, будет лишь углубляться».

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АРТУРО АСЕВЕДО

Прогрессивная общественность Бразилии отметила столетие со дня рождения выдающегося бразильского драматурга Артуро Асеведо (1855—1908). Артуро Асеведо был также крупнейшим театральным критиком, журналистом, переводчиком, руководителем Муниципального театра в Рио-де-Жанейро.

Особенной известностью пользуются его комедии «Приданое», «Бадежо», «Мамбембе». Как отмечает критик Антонио Бульоэнс, в них воссозданы национальные характеры и народные обычаи; вместе с тем Асеведо смело высказывает в своих произведениях критическое отношение к отрицательным сторонам бразильской действительности.

Не так давно группа артистов во главе с Сиди Кабралем поставила комедию «Мамбембе», до сих пор пользующуюся большим успехом.

ПЕРВЫЙ КОНГРЕСС НАРОДНЫХ ПЕВЦОВ

На севере и северо-востоке Бразилии, в штатах Гояс и Минас-Жераис, а также во многих районах юга на каждом народном празднике можно увидеть маленькую палатку, окруженную толпой. Здесь народные певцы в острых куплетах комментируют последние политические события, поют то веселые, то грустные народные песни. Многие из этих песен выпускаются в виде листовок. Народ охотно покупает эти, как их называют, фольетос с текстами популярных песен.

Недавно выпущенные фольетос с репертуаром известного народного певца Родольфо Кавальканти разошлись пятидесятитысячным тиражом.

Вместе с тем, как сообщает газета «Импренса популар», народных певцов до сих пор не признают профессиональными работниками искусства. Они лишены материальной поддержки, и потому им трудно разъезжать по стране и печатать свои произведения. Не защищены они также от произвола крупных латифундистов, преследующих певцов за их смелые разоблачения.

Для того чтобы изменить существующее положение, и был не так давно созван Первый конгресс народных певцов и виолейро (певцы, поющие под аккомпанемент гитары). В организации конгресса принимали участие представители прогрессивной общественности Бразилии. В Рио-де-Жанейро была создана Национальная комиссия поддержки, куда вошли видные писатели и фольклористы. Конгресс получил приветственное послание от Жоржи Амаду, в котором указывалось на художественное значение творчества народных певцов, облекающих в ритм и кладущих на музыку поэтический и мудрый голос самого народа.

В течение нескольких дней певцы, съехавшиеся со всех концов страны в город Сальвадор (Баия), обсуждали важнейшие проблемы своей деятельности. Они приняли решение о создании Национальной ассоциации народных певцов и виолейро, о выпуске печатного органа ассоциации.

Следующий конгресс намечено провести летом этого года в Ресифе.

ВЕНГРИЯ

НОВЫЕ КНИГИ

Вышла книга рассказов писателя Андора Габора, умершего в 1953 г. Рассказы представляют собой один из томов собрания его сочинений. В остальные тома войдут его стихи (до сих пор Габор был известен в Венгрии прежде всего как поэт) и публицистика.

Творческая деятельность Габора-новеллиста развернулась в период между двумя войнами. Большинство его рассказов посвящено разоблачению германского фашизма.

Отмечая, что читатели теперь впервые смогут широко ознакомиться с творчеством Габора-прозаика (как известно, Габор жил в эмиграции, и рассказы его лишь от случая к случаю «пробивались» в Венгрию), газета «Сабад неп» дает высокую оценку художественному мастерству писателя. В статье говорится о реалистичности рассказов Габора, о страстном, воинствующем отношении автора к жизни, отмечается сочетание сатиры и юмора с драматическими моментами во многих его рассказах, что придает им живой и острый характер. Рассказы Габора «учат новое поколение ненавидеть врага и страстно любить общее дело трудящихся всех стран — мир», — пишет «Сабад неп».

* * *

Венгерская печать сообщала, что во время «Недели книги» 1955 г. большим успехом пользовался новый роман писательницы Бориш Палотаи «Торжественный ужин». Темой романа является конфликт между людьми, отстаивающими принципы социалистической морали, и носителями буржуазных, мещанских взглядов.

Называя эту тему «интересной и волнующей», венгерская критика отмечает наряду с некоторыми недостатками и большие достоинства вещи: правдивое изображение повседневной жизни простых людей; метко очерченные, запоминающиеся положительные и отрицательные образы; тонко подмеченные детали; живость диалога и т. д. Критик Тамаш Унгвари (в газете «Иродалми уйшаг») и писатель Лайош Мештерхази (в журнале «Чиллаг») отзываются о новом романе Палотаи как об одной из лучших книг 1955 г.

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ОДНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книгоиздательство «Уй мадьяр кёньвкиадо» выпускает произведения зарубежных писателей — классических и современных — в переводах на венгерский язык. В печати появились сообщения о новом перспективном (четырехлетнем) плане этого издательства. План включает произведения многих литератур мира, в том числе французской (А. Франс, Р. Роллан), английской (Шекспир, Диккенс), немецкой (Шиллер, Г. Манн, Эгон Эрвин Киш, В. Бредель).

Издательство предполагает в течение ближайших лет выпустить значительное количество книг писателей стран народной демократии (будут изданы, в частности, сатирические рассказы Ольбрахта, рассказы Думитриу). Выйдут также «Крымские сонеты» Мицкевича, избранные стихи Ю. Словацкого. Значительное место в плане издательства занимают произведения русской классической литературы (избранные повести Пушкина, романы Тургенева, «Война и мир» Толстого) и советской литературы (предполагается издать сказы Бажова, стихи Есенина, «Русский лес» Леонова, «Города и годы» Федина, «Степан Кольчугин» Гроссмана, «Искры» Соколова и другие произведения).

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЕРВАЯ ПОВЕСТЬ ФРАНЦА ФЮМАНА

Франц Фюман — автор многих лирических произведений, стихов о Сталин-

граде, патетической поэмы о Белоянисе; недавно Фюман опубликовал свое первое прозаическое произведение — повесть «Товарищи».

Как отмечает критика, очень высоко оценившая дебют Фюмана в новом жанре, повесть эта оставляет большое впечатление. Место действия — Франция в период оккупации гитлеровскими войсками. Тему разоблачения солдатчины и всей милитаристской идеологии автор, по мнению журнала «Ауфбау», раскрывает убедительно и по-новому; вместе с тем он показывает не только этическое содержание понятия товарищества, но и то, как участие в грабительской войне искажает, разрушает святое чувство дружбы, связывающее людей.

Журнал «Ауфбау» отмечает подлинное мастерство, с каким автор изображает характеры своих героев, а также превосходный язык повести.

ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ В ДЕРЕВНЕ

Об интересной форме пропаганды литературы среди сельского населения рассказывает еженедельная газета «Вохенпост»: в ряде сельских местностей ГДР библиотекари организуют постоянные встречи писателей с крестьянами. Самое активное участие в таких вечерах принимают очеркист Петер Нелль, автор приключенческих романов Людвиг Турек, писатель Вернер Райновский, поэт Петер Хухель. Литераторы делятся своими творческими планами, выступают с докладами на общие темы, читают свои произведения и участвуют в их обсуждении. Одновременно происходит продажа книг с автографами. В результате этих встреч многие крестьяне уже имеют личные библиотеки. «Книги научили меня лучше понимать нашу сегодняшнюю жизнь»,— пишет на страницах «Вохенпост» один из постоянных участников таких встреч.

ПАМЯТНИКИ ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА

Ведущие скульпторы и архитекторы ГДР работают над созданием памятников жертвам фашизма, томившимся в концентрационных лагерях Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.

Лауреату Национальной премии профессору Фрицу Кремеру поручено сооружение памятника узникам концлагеря Бухенвальд. Он работает в тесном содружестве с коллективом молодых архитекторов.

Проект предусматривает сооружение большой площади с форумом, могущим вместить 35 тысяч человек. Там будут ежегодно устраивать торжественно-траурные собрания памяти жертв фашизма.

На одном конце площади будет находиться башня высотой в 60 метров, на другом — широкая лестница, ведущая к самому монументу.

СОТРУДНИЧЕСТВО МУЗЫКОВЕДОВ ГДР И ГФР

На родине Баха — в Лейпциге — состоялась традиционная конференция немецких музыковедов, посвященная творчеству Баха и Генделя. В развернувшейся на конференции дискуссии об установлении более тесного контакта между учеными Востока и Запада приняли активное участие представители ГФР, составлявшие почти половину всех участников конференции. Президентом общегерманского общества Баха избран проф. Блюме из Киля, вице-президентом — проф. Феттер из Берлинского университета им. Гумбольдта. Очередную конференцию решено провести в Гамбурге.

Недавно в Лейпциге и Кассселе одновременно вышли первые тома полных собраний сочинений Баха, Генделя и Моцарта — плод совместной работы музыковедов ГДР и ГФР. Эти издания, как утверждает газета «Фрейес фольк», будут самыми полными из всех существующих.

ГЕРМАНСКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

„ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА"

В гамбургском издательстве «Ровольт ферлаг» вышел в свет новый роман Лиона Фейхтвангера «Испанская баллада». Газета «Фрейес фольк» в связи с этим пишет: «Лион Фейхтвангер обратился к испанскому средневековью с тем, чтобы оттуда перекинуть мост к современности. Очень приятно среди вавилонского смешения языков, столь характерного для нынешней литературы буржуазного декаданса, услышать ясный, спокойный голос».

Сюжетную основу романа составляет исторически достоверный эпизод — любовь «еврейки из Толедо», девушки Рахили, и испанского короля Альфонса VIII.

Излагая содержание романа, газета «Фрейес фольк» далее пишет: «Но в действительности Фейхтвангер никогда не сочинял таких исторических романов, в которых можно было бы попотчевать современников непрерывным потоком «злободневных картин» или сентиментальных историй, наклеенных на исторический фон.

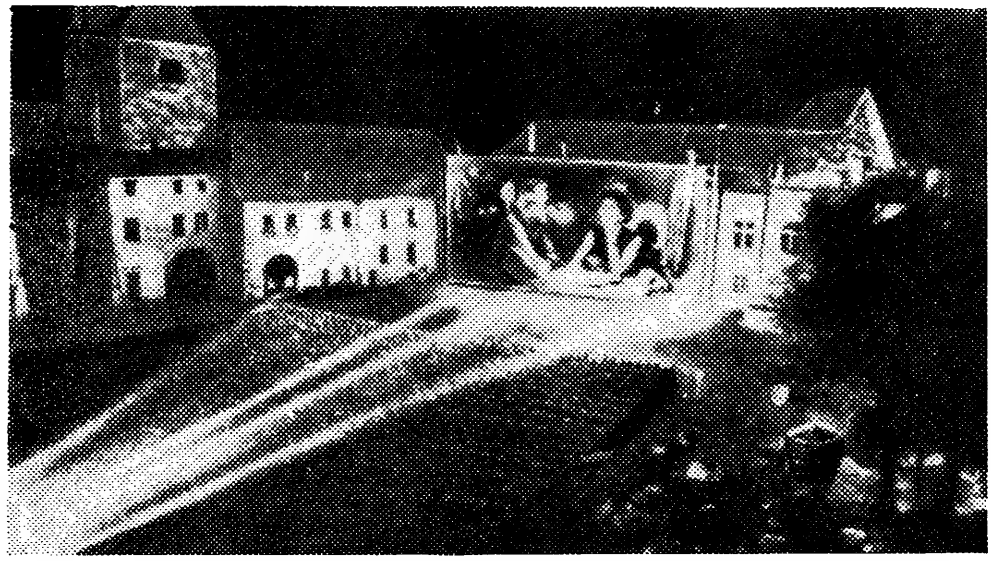
Фейхтвангер владеет искусством выхватывать людей из их среды с тем, чтобы помочь читателю увидеть и ощутить всю сложность взаимоотношений, которая определяет и формирует этих людей...

Мастерство Фейхтвангера, близкое мастерству Генриха и Томаса Манна, состоит в том, что у него сквозь обилие поэтических образов видна духовная структура того человеческого пейзажа, контуры которого он рисует. При этом Фейхтвангер прежде всего поэт, а потом уже историк».

Говоря о многогранности содержания нового романа Фейхтвангера, та же газета

подчеркивает, что основной его конфликт заключается отнюдь не в «любовной истории»; это «стократно повторяемый конфликт, то завуалированный, то обнаженный, конфликт исторически правдивый, скрытый смысл которого обращен к современности: война или мир. Война как крестовый поход, как варварское служение мнимому богу или мир как естественное стремление человека сделать страну цветущей, мир, чтобы строить мастерские и закладывать шахты...»

Высоко оценивает новый роман Фейхтвангера также и западногерманский литературно-критический журнал «Вельт унд ворт»: «Крупнейший мастер исторического романа»,— так характеризуется автор в издательской рекламе, и это не громкая фраза, а лишь констатация действительного факта. Указывая далее на то, что Фейхтвангер в данном случае воспользовался сюжетом, к которому до него «прикасались» Лопе де Вега и Грильпарцер, журнал называет роман «подлинной эпической поэмой» и замечает: «Читаешь

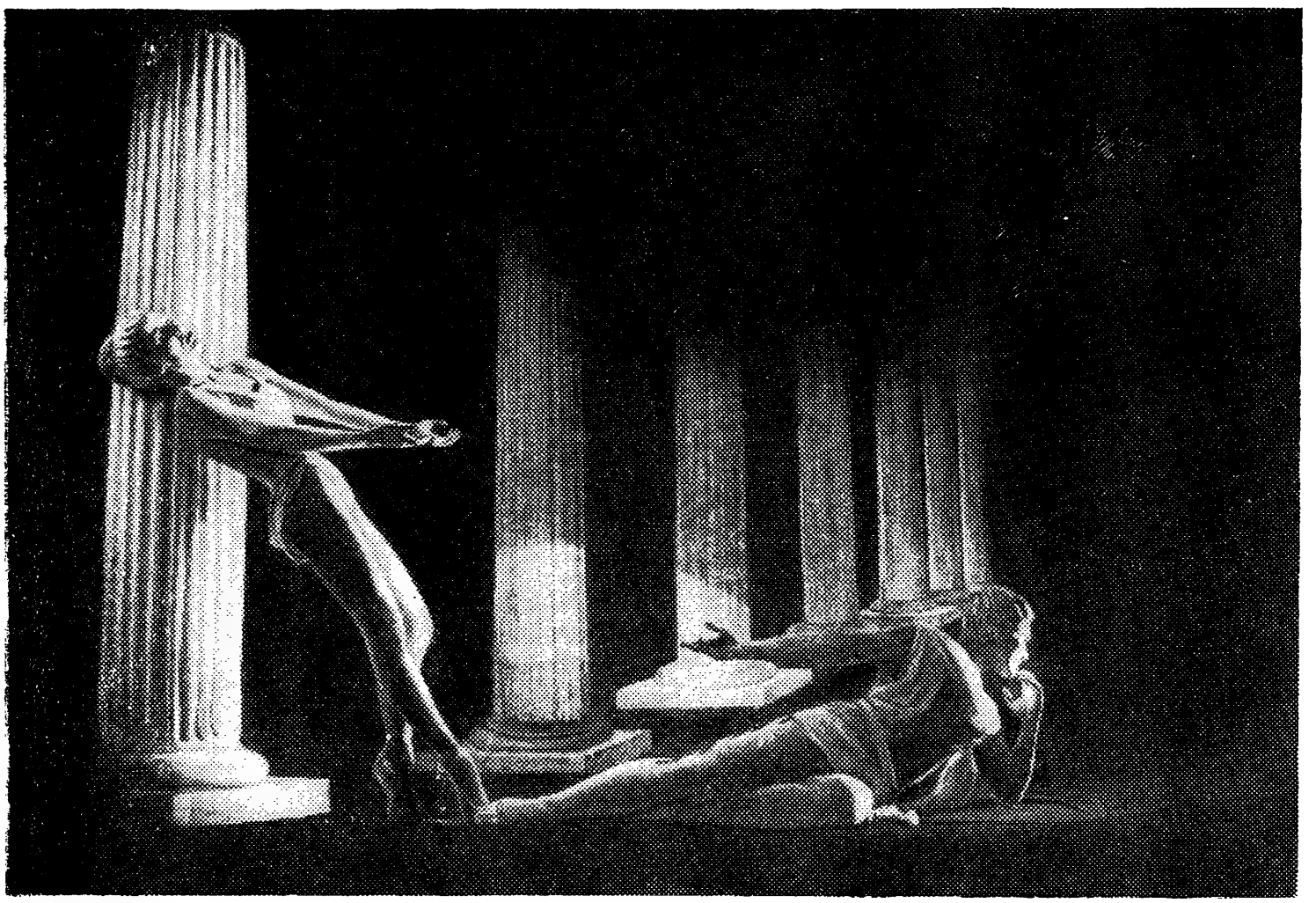


Во время европейского кинофестиваля двор крепости Оберхауз, близ Пассау, был превращен в огромный временный кинотеатр, рассчитанный на 30—40 тысяч зрителей и оборудованный для показа широкоэкранных цветных фильмов. Сорок пять громкоговорителей обеспечили хорошую слышимость в этом своеобразном «зрительном зале» под открытым небом.

(Журнал „Иллюстрейтид Лондон ньюс")

«Скандальная история с берлинским балетом» — под таким заголовком помещена информация в западногерманском журнале «Ревю». Речь идет о гастролях в США балетной труппы из Западного Берлина. Условия, на которых выступает эта труппа, журнал называет жалкими, поскольку получаемый ею гонорар примерно в три раза меньше того, какой обычно получают американские артисты той же квалификации. «Нельзя же в конце концов посылать танцовщиц на улицу, чтобы они заработали себе на пару чулок...», — говорится по этому поводу на страницах журнала «Ревю».
На снимке: танец из балета «Орфей» на музыку Ференца Листа в исполнении артистов западноберлинской балетной труппы.

(Журнал „Ревю")



эту историческую поэму залпом и испытываешь очарование ее красотой».

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ТОМАСА МАННА

В творческом наследии, оставленном Томасом Манном, обнаружены многочисленные наброски, представляющие собой эпизоды из задуманной писателем пьесы «Свадьба Лютера».

Как сообщает западногерманский журнал «Вельт унд ворт», в последние месяцы жизни писатель работал над этой пьесой.

ВЫХОД НОВОГО ЖУРНАЛА

«Юношеская литература» — так называется выходящий в ГФР новый журнал, на страницах которого выступают немецкие, австрийские и швейцарские писатели и педагоги, объединяющие свои усилия в борьбе против бульварной литературы, отравляющей сознание молодежи.

Нетерпимым называет автор статьи, опубликованной в первом номере журнала, нынешнее состояние литературы для молодежи в Западной Германии, где большинство издательств выпускает бульварное и откровенно эротическое чтиво, вроде «Маленького Дон Жуана» или «99 рецептов для соблазнителя» («продукция» боннского издательства «Иероним»).

Пропаганда доброкачественной литературы, обмен опытом по организации специальных библиотек, критический разбор новых произведений — таковы задачи, которые ставит перед собой новый журнал.

В ПОИСКАХ СРЕДСТВ

Как сообщает газета «Зоннтаг», в Мюнхене создано новое и несколько необычное Общество друзей восстановления мюнхенской оперы. Его организация вызвана тем обстоятельством, что из-за отсутствия средств приостановлено не только строительство оперы, но и несение службы по охране воздвигаемого здания.

Общество сделало гражданам Мюнхена практическое предложение — вносить средства на строительство и, в частности, на приобретение кресел для зрительного зала; на каждом кресле, купленном на деньги частного лица, будет прикреплена табличка с его именем.

ГРЕЦИЯ

ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ ПОЭТА СОЛОМОСА

По сообщению газеты «Авги», общественность Греции готовится широко отметить столетие со дня смерти поэта Дионисиоса Соломоса (умер в феврале 1857 г.). Соломос — автор широко известных поэм и стихотворений, из которых, в первую очередь, следует назвать «Гимн свободе», являющийся ныне национальным гимном греческого государства, и поэму «Свободные осажденные»; в ней описывается один из наиболее драматических эпизодов национально-освободительной борьбы греческого народа — прорыв турецкой осады Месолонгиона в апреле 1826 г.

На родине Соломоса — в Закинтосе — состоялось собрание, в котором приняло участие около ста представителей различных организаций и учреждений. На собрании были избраны местный и центральный комитеты по проведению юбилейных торжеств.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА В ПИРЕЕ

Значительным событием в театральной жизни страны является открытие в Пирее Греческого Народного театра, работающего под руководством выдающегося актера Маноса Катракиса. Впервые этот большой рабочий город имеет постоянную труппу.

Народный театр намерен отдавать предпочтение греческим пьесам, содействуя таким образом развитию национальной драматургии. Вместе с тем, как сообщает газета «Авги», в его репертуар включены «Дон Карлос» Шиллера и «Анна Каренина» Льва Толстого в инсценировке М. Скулудиса.

ЧЕХОВ НА ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

В издательстве «Пиксида» («Компас») вышел однотомник рассказов Чехова. По отзыву газеты «Авги», этот сборник, снабженный пространным предисловием, является лучшим (в смысле перевода) и наиболее полным из всех, когда-либо изданных в Греции.

ДАНИЯ

„ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПРОТИВ КОМИКСОВ"

Под таким заголовком газета «Ланд ог фольк» публикует рецензию на книгу датского писателя Т. Хакстхаузена «Воспитание в духе террора». На обширном материале датских и заграничных изданий комиксов автор показывает их тлетворное влияние на подрастающее поколение. Возражая противникам цензурного законодательства, автор пишет: «Вводя законы против комиксов, законодательные органы отнюдь не грешат против свободы слова; зато фабриканты комиксов злоупотребляют этой свободой и, по существу, подрывают ее тем, что выпускают в свет откровенно вредоносные книги».

Автор рецензии добавляет, что принцип рассказа в картинках, на котором основаны комиксы, может быть с успехом использован для создания полноценных художественных изданий. В качестве примера он приводит китайские рассказы в картинках и «Маленький Клаус и Большой Клаус» — серию иллюстраций известного датского художника Кюн-Нильсена к сказке Андерсена. Такого рода иллюстрированный пересказ,

верно передающий характер произведения, может, по мнению автора рецензии, способствовать пропаганде классических произведений.

ЕГИПЕТ

РАДИОСТАНЦИЯ АРАБСКОЙ ЛИГИ

По сообщению газеты «Аль-Гумхурия», культурный комитет Арабской лиги обсуждает вопрос об организации мощной радиостанции, которая находилась бы под ее непосредственным руководством.

Назначение этой радиостанции, по мнению газеты «Аль-Гумхурия», будет заключаться в защите общеарабских интересов и разоблачении лживой пропаганды некоторых иностранных станций, ведущих передачи на арабском языке. Передачи новой радиостанции будут транслироваться на различных языках и для разных стран.

ВЫСТАВКА ИСКУССТВА СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

Как известно, на Бандунгской конференции было принято решение об укреплении культурного сотрудничества между странами Азии и Африки. Газета «Аль-Гумхурия» сообщает, что в осуществление этого решения министерство просвещения Египта отпустило средства для организации весной нынешнего года в Каире выставки искусства стран Азии и Африки. На выставке будут представлены образцы искусства Индии, Китая, Японии и других стран.

ИЗРАИЛЬ

КРИЗИС ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Журнал «Аль-Джадид» сообщает о кризисе образования в Израиле и приводит цифры, свидетельствующие об уменьшении числа учащихся в школах по сравнению с предшествующими годами. В маабаротах (поселках для иммигрантов) до 35% еврейских детей школьного возраста нигде не учатся. Среди арабских детей этот процент еще выше. Из окончивших начальную школу в этом году только 8% продолжают учиться в средней школе.

Все это объясняется тем, что плата за обучение в средней школе непомерно высока. Лишь за последние два года она возросла на 250%.

ИНДИЯ

ПАМЯТНИК ИНДИЙСКОГО ИСКУССТВА

Индийские искусствоведы, литераторы и широкие круги общественности отмечают знаменательную дату — полторы тысячи лет существования пещерных храмов Аджанты. Эти храмы являются гордостью индийского искусства. Они представляют собой комплекс обширных помещений, высеченных в толще скалистого массива на берегу реки Вагхоры (северный Хайдарабад). Древнеиндийские мастера высекали их в течение четырех столетий. Некогда в Аджанте были буддийские монастыри и молитвенные залы — чайтьи, но теперь это только памятники искусства.

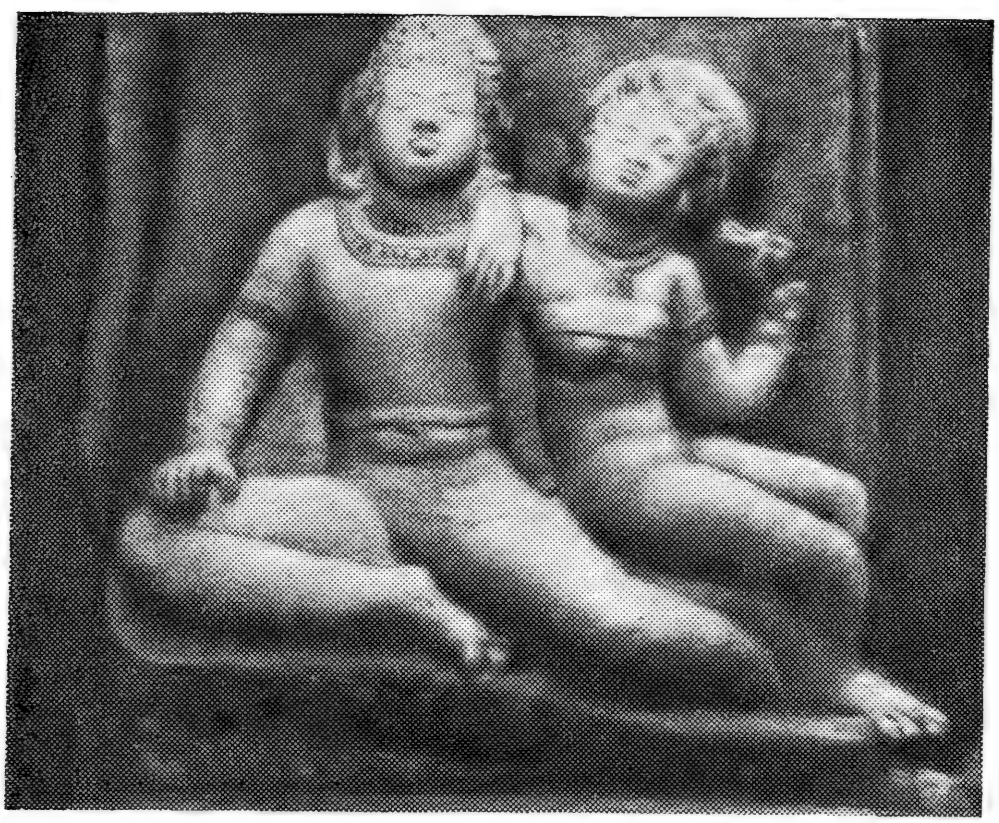
Не все храмы Аджанты одинаковы. Более древние отличаются простотой и некоторой суровостью стиля, созданные позднее богато украшены скульптурой и фресками. Живопись Аджанты пользуется мировой славой. На этих фресках изображены различные сцены из жизни Будды, они иллюстрируют также всевозможные легенды, которые народная фантазия связывает с его именем. Манера этой живописи, равно как и составы красок, были восприняты последующими поколениями индийских художников и сохраняются вплоть до наших дней.

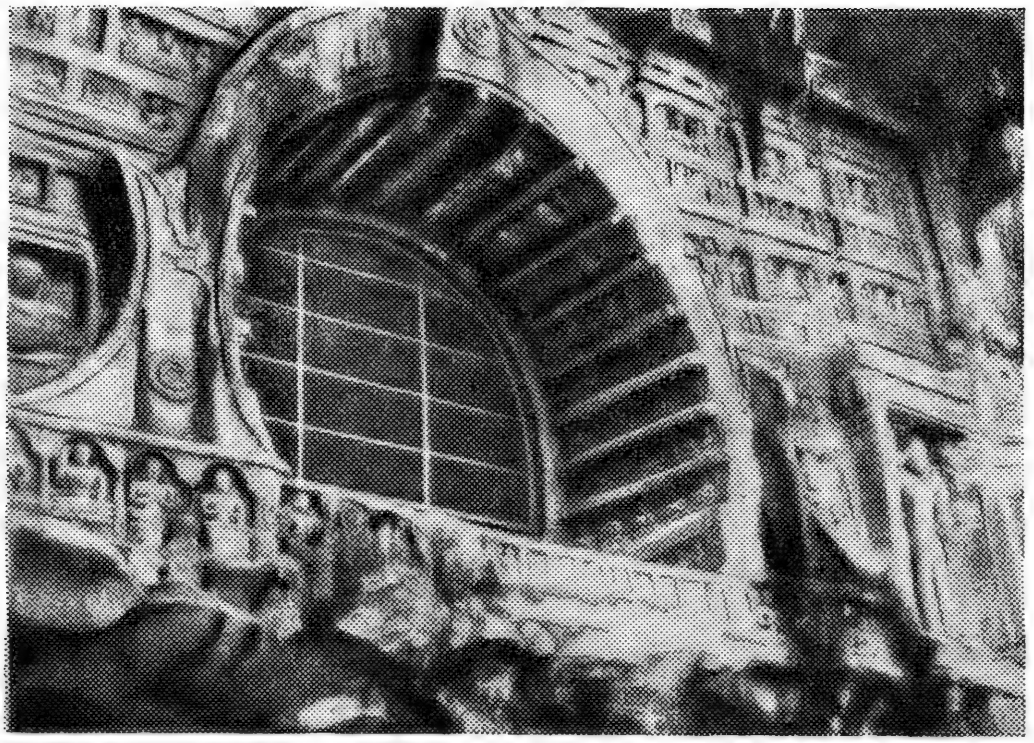
Индийский народ бережно хранит великие памятники своего искусства. По решению правительства Индии проводятся также работы и по реставрации замечательных фресок Аджанты.

ИЗДАНИЕ КНИГ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

За последнее время на бенгальский язык переведено несколько книг советских писателей, в том числе: «Счастье» П. Павленко, «Сестры» А. Н. Толстого, «Жатва» Г. Николаевой.

Одна из скульптур, украшающих пещеры Аджанты.
(Журнал „Иллюстрейтид уикли оф Индиа")





Арка над входом в одну из пещер Аджанты.
(Журнал „Иллюстрейтид уикли оф Индиа")

В рецензии, помещенной в журнале «Натун сахитья», издание романа П. Павленко, вышедшего под названием «Гимн жизни», расценивается как большое событие в культурной жизни Бенгалии. «Несомненно, что «Гимн жизни» привлечет читателей не только гуманизмом, характерным для творчества советских писателей, но и высокой художественностью»,— пишет автор рецензии.

В рецензии о романе «Жатва» подчеркивается, что образы людей отличаются в нем простотой и правдивостью и что автор дает широкое изображение личной и общественной жизни героев.

Готовится к печати «1918 год» и «Хмурое утро» А. Н. Толстого.

ИНДОНЕЗИЯ

„ЗАМАН БАРУ" ИЗДАЕТСЯ СНОВА

После некоторого перерыва в Индонезии начал снова выходить ежемесячный журнал «Заман бару» («Новое время»), освещающий вопросы международной жизни, культуры и литературы. Журнал этот тесно связан с организацией, широко известной в стране под названием «Лембага кебудаяан ракьят» (Общество народной культуры) или сокращенно «Лекра».

«Лекра», объединяющая в своих рядах многих прогрессивных деятелей искусства и литературы, была основана в Джакарте в августе 1950 года — в день пятой годовщины провозглашения независимости Индонезии. Летом 1951 г. филиалы этой организации были созданы в Сурабае, Джокьякарте и Медане, а весной 1952 г.— в Бандунге.

В те годы журнал «Заман бару» выходил в Сурабае. Сразу же после основания «Лекры» в журнале появился постоянный отдел, в котором из номера в номер печатались стихи и рассказы на актуальные темы. Редактировали этот отдел три видных писателя: Ирамани, К. Акустиа и М. С. Асхар. Деятельное участие в работе отдела принимал молодой сурабайский поэт Хади, автор сборника «Те, кто пали, и те, кто растут». (В настоящее время он является секретарем литературно-художественного журнала «Суропати».)

Года два назад «Заман бару» в связи с некоторыми трудностями перестал выходить. В 1955 г. индонезийская общественность с удовлетворением встретила сообщение о том, что «Заман бару» снова начинает регулярно издаваться — теперь уже в Джакарте и под редакцией К. Акустиа.

В редакционной статье первого номера «Заман бару» говорится: «Мы хотим способствовать взаимопониманию между всеми народами... Читатели найдут на страницах нашего журнала много материалов о самых различных странах. Мы публикуем их для того, чтобы разрушить стену предубеждений, отделяющих людей друг от друга и порождающих вражду между ними... Путь к миру только один — это установление дружбы между народами».

В первом и втором номерах журнала помещены статьи, призывающие к укреплению дружественных отношений с Советским Союзом, Китайской Народной Республикой, Индией.

Специальная статья посвящена Дипонегоро, яванскому народному герою, возглавлявшему в 1825—1830 гг. крупное восстание против голландских колонизаторов. (В ноябре 1955 года в Индонезии отмечалась 170 годовщина со дня рождения Дипонегоро.)

Журнал широко освещает также жизнь Советского Союза и стран народной демократии, печатает стихи и рассказы на актуальные темы.

КИТАЙ

ЯПОНСКИЙ ТЕАТР В ПЕКИНЕ

В Пекине с успехом прошли гастроли японского театра кабуки. Всего было показано восемь спектаклей, на которых присутствовало двенадцать тысяч зрителей. Один из спектаклей посетили тт. Мао Цзэ-дун, Лю Шао-ци и Чжоу Энь-лай.

Как подчеркнул один из ведущих актеров театра, Энносукэ Итикава, в беседе, помещенной на страницах «Жэньминьжибао», «театр кабуки возник в народе и своими корнями уходит в народ...» Сейчас, когда национальная культура Японии в условиях оккупации страны переживает тяжелый кризис, деятельность театра кабуки, воплотившего в своем творчестве лучшие народные традиции, играет большую роль.

Что касается гастрольной поездки театра в Китай, то она, как указывает китайская печать, имеет важное значение для развития дружественных связей между двумя соседними странами. Кроме того, как говорится в письме из Японии, помещенном в газете «Жэньминьжибао», эта поездка является значительным событием еще и потому, что китайская национальная культура, проникнутая народностью и непрерывно развивающаяся в ходе социалистического строительства, внимательно изучается деятелями японского искусства.

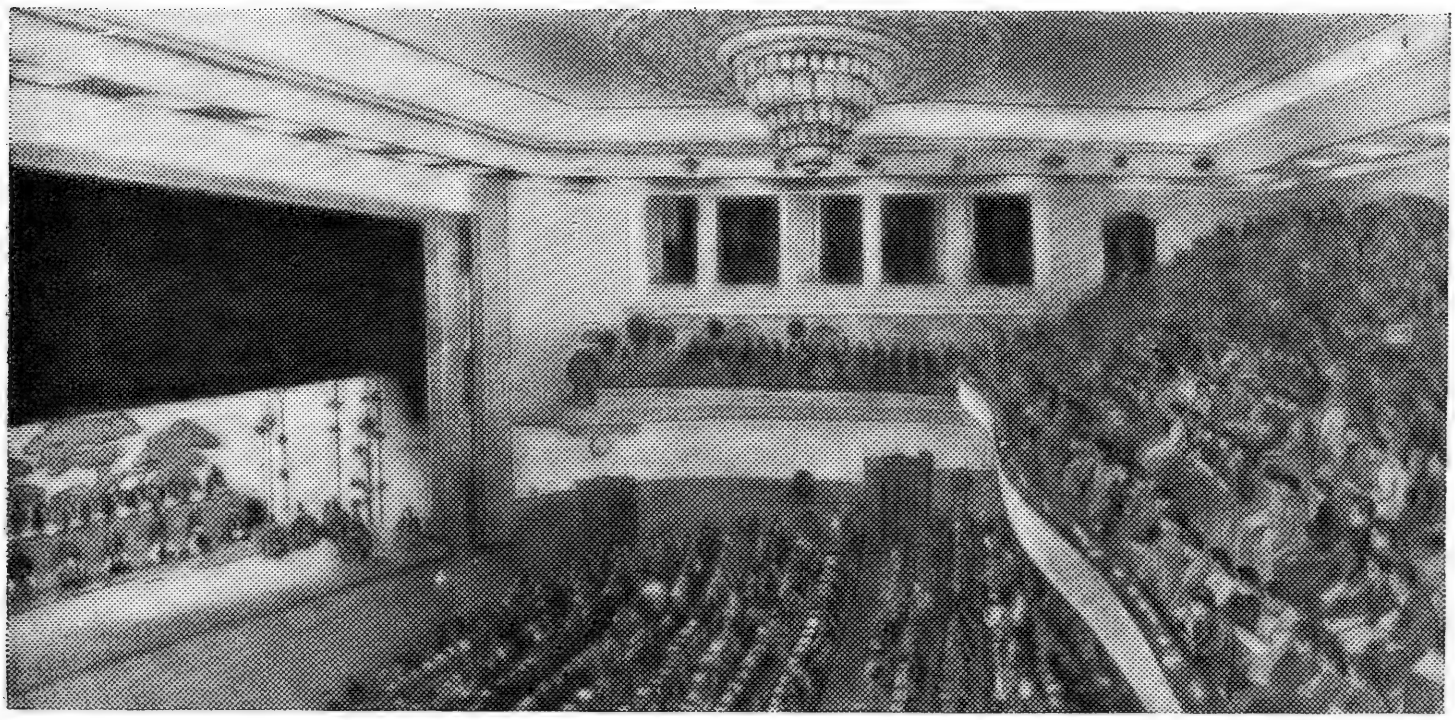
Театр кабуки был с большим интересом встречен китайской общественностью и китайским зрителем, а игра актеров и режиссура получили очень высокую оценку в печати. «Театр кабуки,— писал в газете «Жэньминьжибао» Мэй Лань-фан,— традиционный классический театр японского народа, театр прекрасного самобытного стиля и красок... В творчестве многочисленных актеров доведены до совершенства каждый жест, каждая фраза, каждое проявление чувств, каждая песня. В традиционных классических спектаклях можно очень легко потерять глубину, если лишь поверхностно следовать традиционной форме. Но актеры кабуки воспроизводят эту форму, глубоко постигнув сущность роли».

Высоко оценивая мимическое искусство актеров, Мэй Лань-фан указывает, что «все эти мельчайшие движения взяты из реальной, повседневной жизни и, подвергнутые художественной обработке, органически входят в спектакль».

Подчеркивая историческую связь японского народного искусства с китайским, председатель Всекитайской ассоциации театральных работников Тянь Хань пишет в газете «Жэньминьжибао»: «Спектакли театра кабуки хотя и были новым явлением для китайского зрителя, но все же явлением понятным. Методы кабуки находятся в кровной связи с китайским театром; мы легко понимаем их танцы, жесты и т. д. Китай, как и Япония, в течение длительного периода находился под феодальным гнетом, и поэтому выраженные в пьесах мысли и чувства угнетенных вполне доходчивы».

Китайская печать, подводя итоги гастролям театра кабуки, считает, что чем шире будет культурный обмен между китайским и японским народами, тем быстрее будет расти и крепнуть взаимопонимание между ними. «Искусство лучше войны,— говорит Энносукэ Итикава.— Все человечество

«Не забудем жертв Хиросимы!» — работа китайских скульпторов Сяо Чуань-цзю, Су Хуэй, Фу Тянь-чоу.
(Журнал „Жэньминь вэньсюэ")



Выступление театра кабуки в зале Государственного совета в Пекине.
(Газета „Жэньминьжибао")

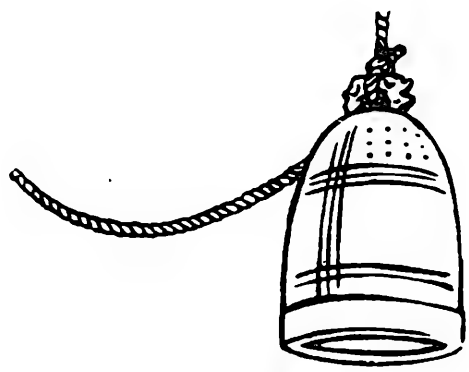
требует мира, приветствует обмен произведениями искусства».

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ

Албания. Проходившие здесь выступления народного музыкального ансамбля Китая пользовались большим успехом и вызвали огромный интерес. Китайские артисты дали ряд концертов; они выступали также перед рабочими текстильной фабрики имени Сталина, студентами Тиранского университета, слушателями Военной академии. Китайские артисты посетили тиранскую кинофабрику и культурные организации страны.

Англия. Поверенный в делах КНР в Великобритании Хуань Сян устроил прием в честь находившейся в Англии делегации деятелей китайской культуры. На приеме присутствовали Гарри Поллит, члены английского парламента, сотрудники министерства иностранных дел, работники культуры и искусства.

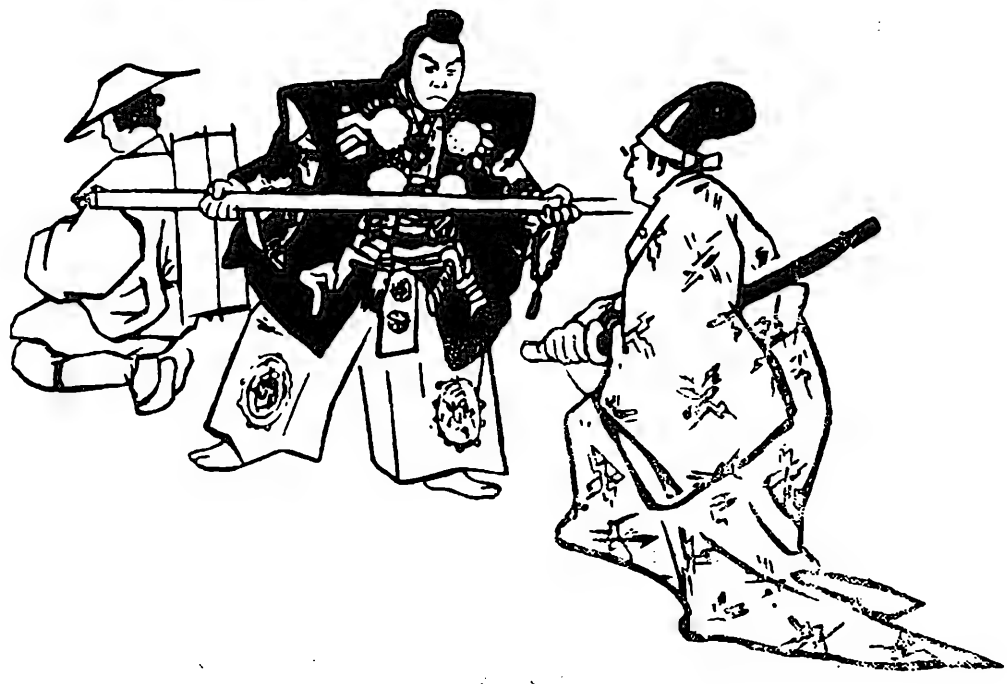
Демократическая Республика Вьетнам. Китайские артисты совершили большую поездку по Вьетнаму. По неполным данным, их выступления посетило около 250 тысяч человек.



Дания. В Копенгагене прошли гастроли китайской классической оперы. Печать публиковала восторженные отзывы о спектаклях и поместила множество фотоснимков.

Италия. Выступления деятелей китайского искусства состоялись в Риме, Турине и Флоренции. Каждый спектакль проходил при

Зарисовки китайского художника Ин Тао, сделанные на спектаклях японского театра кабуки.
(Газета „Жэньминьжибао")



переполненном зале; администрация театров была вынуждена продавать огромное количество входных билетов. На приеме, устроенном делегацией в римском отеле «Эксцельсиор», присутствовали руководители коммунистической партии во главе с Тольятти, руководящие работники социалистической партии, а также другие видные политические и общественные деятели страны.

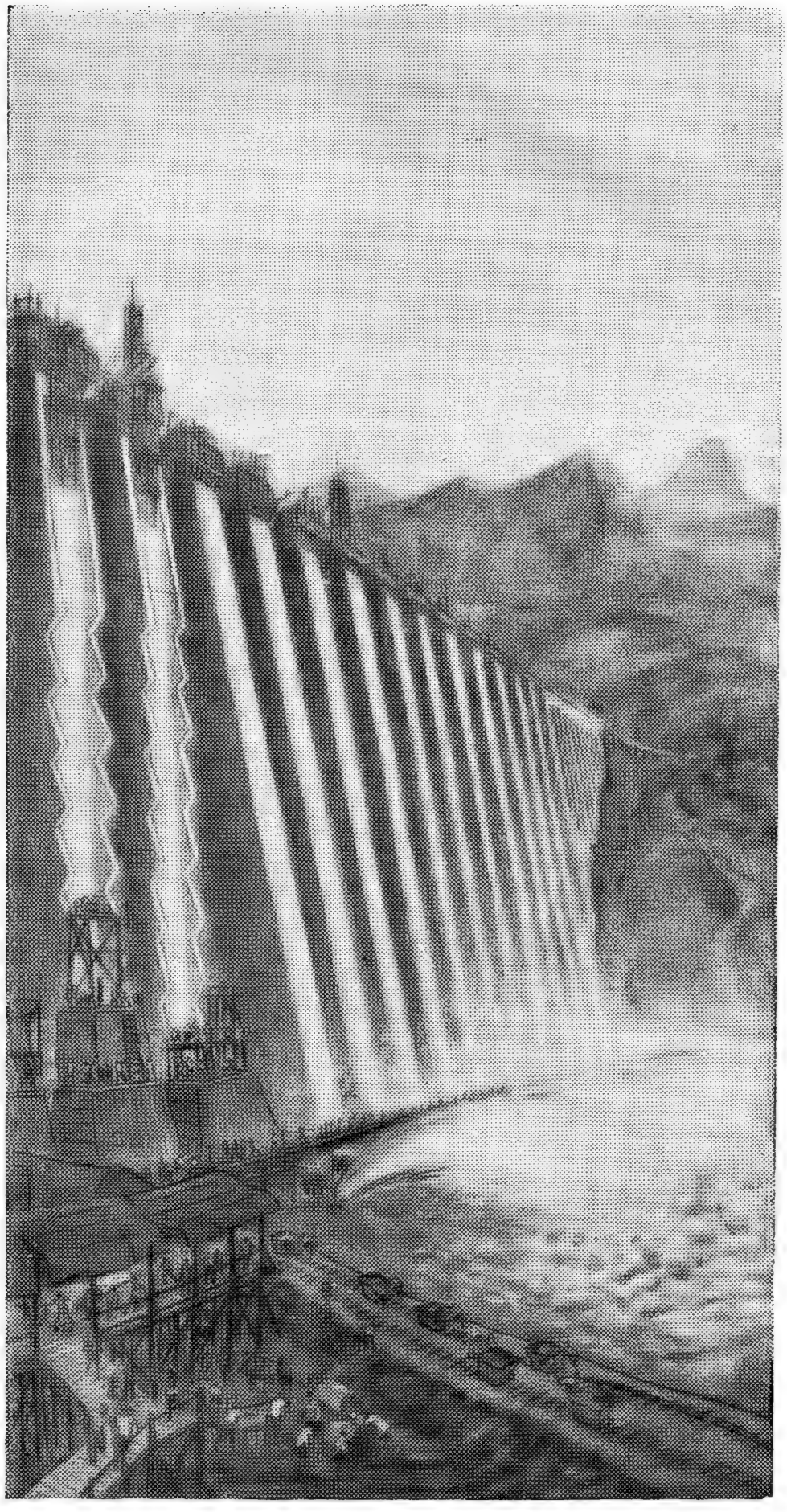
Ш в е ц и я. Спектаклями в Гетеборге закончила свои гастроли в Швеции китайская классическая опера. Шведская печать отметила, что выступления китайских артистов явились выдающимся событием в культурной жизни страны. На одном из спектаклей присутствовал шведский король Густав-Адольф VI. По окончании гастролей шведский Королевский театр устроил большой прием в честь китайских артистов.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

В издательстве «Синь вэньи» вышел новый перевод книги М. Горького «Мать», сделанный известным драматургом Ся Янем. Новое издание иллюстрировано более чем тридцатью рисунками.

* * *

По сообщению агентства Синьхуа, чанкайшисты включили в число «запрещенных книг» на Тайване все книги писателей, редакторов, переводчиков, проживающих в континентальном Китае. В числе запрещенных книг даже известные толковые словари «Цыюань» и «Цыхай».



Акварель китайского художника Чжан Сюэ-фу «На строительстве Фоцзылинского водохранилища».

(Из альбома „Современная китайская живопись")

МЕКСИКА

ЦЕННЫЙ ДАР

Президент Мексикано-Русского института культурного обмена известный писатель и общественный деятель Мексики Хосе Мансисидор прислал в ВОКС для передачи Государственной библиотеке имени В. И. Ленина ценный дар — две коллекции книг.

Первая из них представляет собой серию из 21 тома под названием «Мексиканская литература», изданную крупнейшим издательством «Фондо де культура экономика».

В нее входят: антологии мексиканской поэзии, составленные Антонио Кастро Леалем; сборники произве-

Картина монгольского художника Д. Дамбинсурена «Лошади», удостоенная премии на Всемирном фестивале молодежи в Бухаресте.

дений недавно умерших крупнейших писателей Энрике Гонсалеса Мартинеса и Ксавьера Виллауритиа; роман Хосе Мансисидора «Граница у моря», посвященный патриотической борьбе мексиканцев против американских колонизаторов; две книги молодого писателя Хуана Рульфо; посмертно опубликованный роман крупнейшего мастера прозы Мариано Асуэла; роман Рикардо Посаса «Хуан Перес Холоте» о жизни индейцев и ряд других произведений современной мексиканской литературы.

Вторая коллекция из 72 книг под названием «Писатели Мексики» дает богатый материал по истории мексиканской общественной мысли и литературы прошлого столетия. Она вышла в издательстве «Порруа».

В своем письме в ВОКС Х. Мансисидор выражает надежду на то, что посылка этих книг «укрепит культурные связи между мексиканским народом и великим советским народом».

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ХУДОЖНИКОВ

В Улан-Баторе состоялся первый съезд монгольских художников.

В работе съезда принял участие 101 делегат. Съезд принял резолюцию по докладу о современном состоянии изобразительного искусства МНР; одобрил Устав Союза художников, избрал Комитет Союза и секретариат.

Было принято решение об организации каждые два года республиканских художественных выставок.

ГАЗЕТА МОНГОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

С августа прошлого года начала выходить новая газета «Утга зохиол» («Литература»), орган Союза монгольских писателей.

Как отметила «Унэн», издание газеты «Утга зохиол» «является еще одним проявлением большой заботы партии и правительства о дальнейшем развитии молодой монгольской литературы». «Нет сомнения,— писала далее газета «Унэн»,— что «Утга зохиол» будет способствовать успешной подготовке монгольских писателей к своему второму съезду; широко развертывать литературную критику; оказывать серьезную творческую помощь молодым писателям... распространять опыт советских писателей и писателей стран народной демократии».

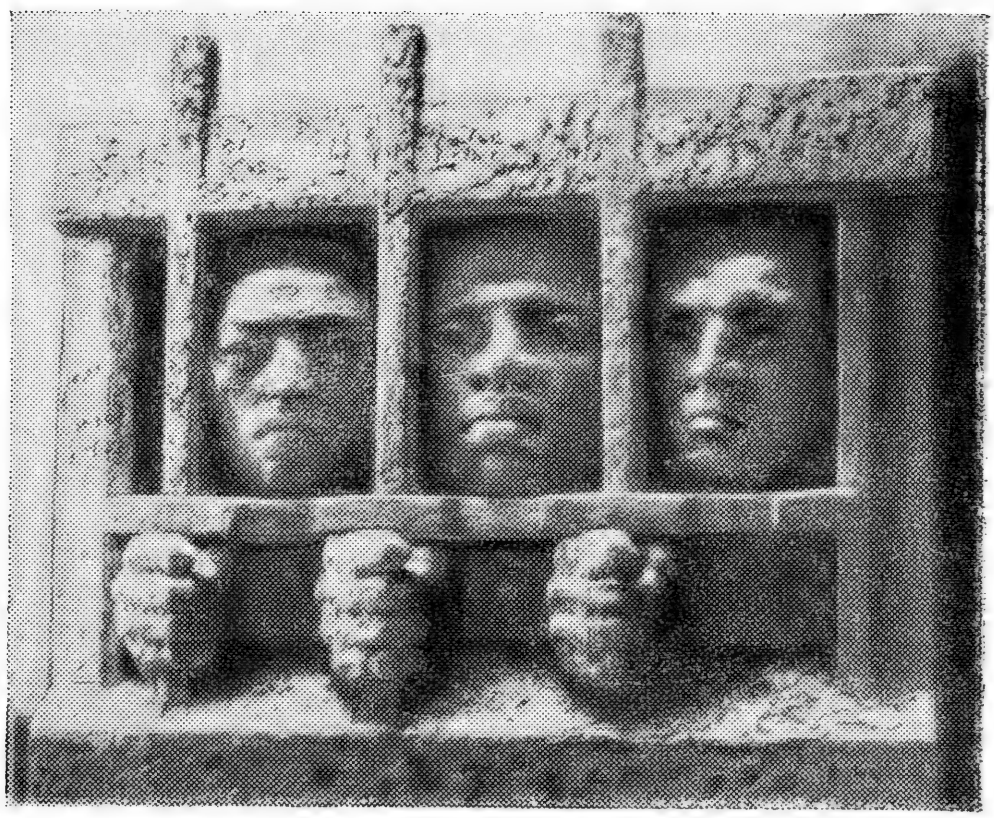
«Утга зохиол» выходит два раза в месяц.

ПОЛЬША

РАБОТЫ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

В связи с проходившим в Варшаве V всемирным фестивалем молодежи и студентов состоялась выставка молодых художников Польши. На выставке было экспонировано около двухсот пятидесяти произведений живописи, скульптуры и графики, в том числе и работы, воспроизведенные нами в этом номере: П. Войтины «Бандунг» и А. Смоляны «Кения».

П. Войтина. «Бандунг».



Скульптура А. Самоляны „Кения".

СБОРНИК РАССКАЗОВ МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ

Вышел сборник новых произведений Марии Домбровской под названием «Утренняя звезда».

В сборник вошли прозаические произведения, отображающие жизнь в народно-демократической Польше. В него включен рассказ «Ночная встреча», в котором с большой теплотой изображены два советских бойца, рядовых представителя великой армии-освободительницы. Значительное место в сборнике занимают две вещи: «Третья осень» и «На деревне свадьба» *.

Польская критика горячо откликнулась на выход сборника Домбровской и расценила его как значительное литературное явление.

---

* Перевод этой повести помещен в № 5 «Иностранной литературы».

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ К. БРАНДЫСА

Казимеж Брандыс, автор книги «Граждане», изданной на русском языке в 1955 году, работает над двумя новыми повестями, которые составят одну книгу. По сообщению газеты «Трибуна люду», события, описываемые в этих повестях, происходят на протяжении последней четверти века, включая вторую мировую войну и 10 лет существования Народной Польши.

Сам автор — Казимеж Брандыс, характеризуя основную проблему, затрагиваемую в этих повестях, подчеркивает, что речь идет о человеческой жизни и, прежде всего, о том, как человек решает свою судьбу. «Этот вопрос меня до сих пор больше всего интересовал,— подчеркнул Брандыс,— и, по-моему, еще довольно долго будет интересовать».

НОВОСТИ ПОЛЬСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

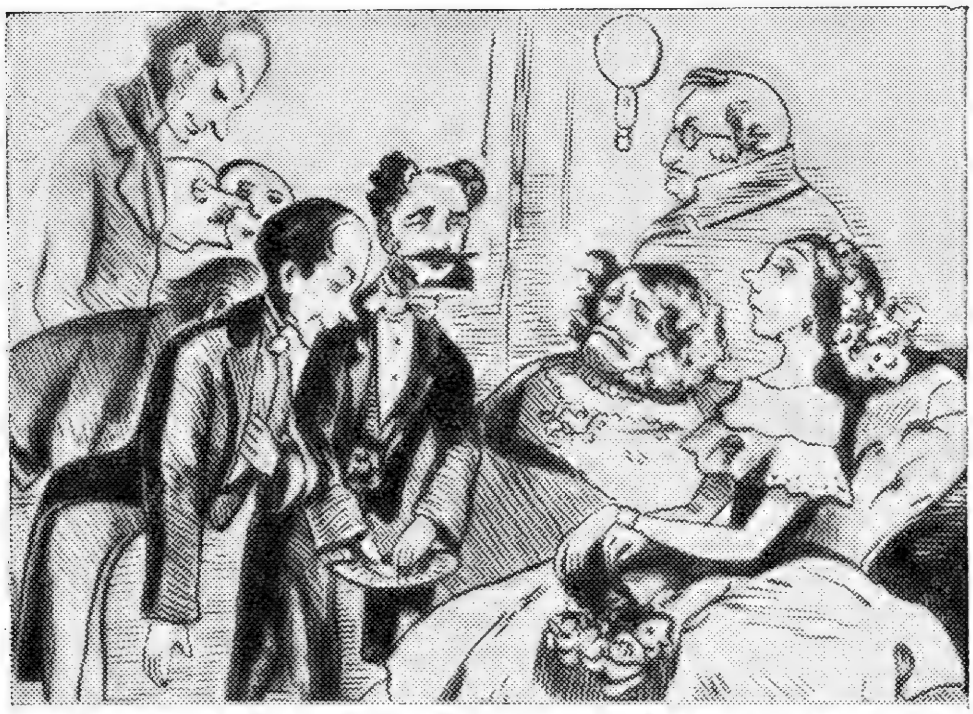
Известный кинорежиссер Александр Форд, постановщик фильмов «Улица Граничная», «Юность Шопена», «Пятеро с улицы Барской», работает над цветным широкоэкранным фильмом «Ондрашек». Ондрашек — легендарный силезский разбойник, принимавший участие в борьбе польских горцев против гнета феодальной шляхты. Посвященный ему роман Густава Морцинека, по которому сделан сценарий фильма, пользуется широкой популярностью в Польше.

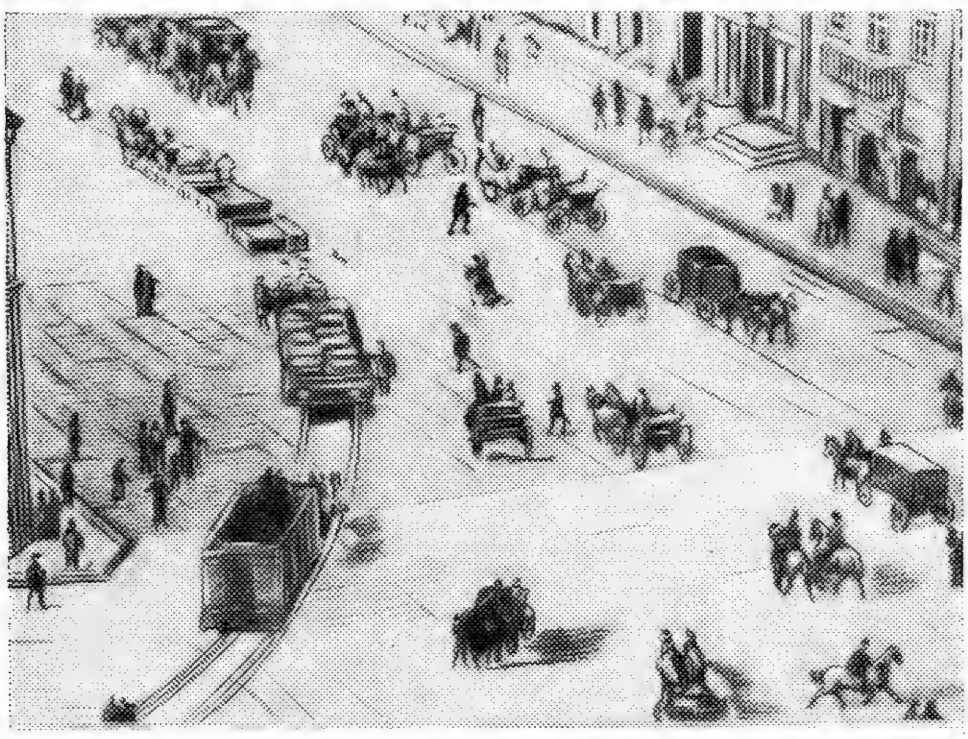
Артисты В. Михниковский и А. Янковская в одном из эпизодов кинофильма «Варшавская сирена».

(Журнал „Фильм")

Кадры из фильма «Варшава Францишека Костжевского»: (сверху вниз): Богатая невеста и претенденты на ее приданое. Одна из улиц Варшавы 70-х годов XIX века. «Золотая молодежь» Варшавы XIX века — предки нынешних «стиляг».

(Журнал „Фильм")





Интересно отметить, что мысль о создании фильма на основе романа Морцинека (переведенного на немецкий язык) появилась также у работников немецкой студии «ДЕФА». Однако, в соответствии с международным соглашением, преимущественное право имеет страна, где создано литературное произведение, составившее основу фильма.

* * *

«Варшавская сирена» — это фильм-сказка, в легкой, шутливой форме рассказывающий об основании Варшавы. Действие происходит в деревне Рыбаки, где, по преданию, жили предки нынешних варшавян. Главные герои — Варш и Сава, а также Сирена (герб Варшавы). По отзыву журнала «Фильм» картина весьма остроумна и в известной мере даже злободневна.

Она снималась на берегу Мазурских озер, где пейзаж как бы напоминает древнюю, легендарную Варшаву.

* * *

«Варшава Францишека Костжевского» — так называется фильм, сделанный по рисункам Францишека Костжевского, замечательного иллюстратора быта Варшавы второй половины прошлого столетия. Его иллюстрации, карикатуры и рисунки печатались в журналах того времени — «Клосы» («Колосья») и «Тыгодник илюстрованы» («Иллюстрированный еженедельник).

Юмористические рисунки потребовали соответствующего текста. Его написал писатель Казимеж Рудский, сотрудник сатирического журнала «Шпильки».

ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Осенью этого года в Варшаве будет впервые организован международ-

ный фестиваль современной музыки. Для участия в нем приглашаются известные симфонические оркестры, камерные ансамбли, а также солисты из разных стран.

НОВЫЕ ПОРТРЕТЫ МИЦКЕВИЧА

Ряд выдающихся польских графиков работает над новыми портретами автора «Пана Тадеуша». В 1956 г. в издательстве «Штука» выйдут альбомы «Адам Мицкевич», «Мицкевич в Веймаре» и «Мицкевич в России».

РУМЫНИЯ

АНТОЛОГИЯ ПОЭЗИИ

По сообщению газеты «Ла Румани нувель», вышел первый том «Антологии румынской поэзии». Он открывается разделом, посвященным фольклору, куда включены шедевры румынского народного творчества: баллады «Миорица», «Иован Иоргован», «Мастер Маноле», «Тома Алимош» и др. Антология широко иллюстрирует пути развития румынской поэзии с XVII века до первой мировой войны.

Зачинателями румынской поэзии были наиболее просвещенные люди своего времени. В «Антологии» представлены образцы поэтического творчества митрополитов Молдовы Варлаама и Дософтея и стихи летописца Мирона Костина. Поэзия XVIII века представлена стихотворениями поэтов из семьи Вэкэреску.

В творчестве румынских поэтов XIX века — Григоре Александреску, Василе Александри, Чезаря Болиака, Михаила Эминеску, Александру Влахуцэ, Георге Кошбука — выражены глубокие патриотические чувства; эти поэты являются создателями румынского литературного языка.. Первый том «Антологии» завершается произведениями поэтов, чье творчество было связано с румынским рабочим движением, зародившимся в конце XIX века. В стихах Думитру Некулуцэ, Николае Белдичану, Иона Пэуна-Пинчио впервые в румынской литературе зазвучали мотивы борьбы пролетариата за новый, справедливый социальный строй.

Газета «Ла Румани нувель» поместила статью об «Антологии», в которой говорится: «Благодаря выходу «Антологии румынской поэзии» в Государственном издательстве литературы и искусства румынская литература обогатилась монументальным изданием».

ПРОЗА МИХАЯ БЕНЮКА

Михай Бенюк, один из наиболее видных румынских поэтов, недавно опубликовал сборник рассказов «Личная ненависть». В сборник вошло шесть рассказов: «Пойма Варшавы», «Личная ненависть», «Иксплататор», «Однокашники», «Дым», «Мертвый пленный». Главная тема рассказов — становление новой жизни и та острая классовая борьба, в процессе которой и происходит ее утверждение.

«В прозе Бенюка,— пишет «Газета литерарэ»,— враги новой жизни предстают большей частью замаскированными, выступают под личиной благожелательства и дружелюбия или прикидываются жертвами в тех случаях, когда они не присваивают себе права руководящих работников».

Рассказы Бенюка при всей привлекательности содержащихся в них лирических отступлений полны действия, динамизма, событий, которые развертываются с живостью, присущей настоящим прозаикам. «Появление сборника «Личная ненависть», — заключает «Газета литерарэ»,— знаменует собой значительный успех нашей прозы в области рассказа и очерка».

ИЗДАНИЕ КЛАССИКОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Для любителей книги,— пишет «Газета литерарэ»,— стало обычным явлением каждую неделю находить в книжных магазинах новые произведения классиков мировой литературы на румынском языке». Вышли и уже распроданы даже в скромных сельских магазинах первые тома собраний сочинений Шекспира, Мольера, Шиллера, Гете. Издана на румынском языке «Илиада» Гомера. Перевод этого шедевра мировой литературы явился результатом многолетней работы академика Джордже Мурну; как отмечает «Газета литерарэ», его перевод «входит в ряд лучших переводов греческой эпопеи на иностранные языки».

В новом переводе, сделанном Лучианом Блага, вышел «Фауст» Гете. Книга снабжена комментариями академика Тудора Виану, одного из тонких знатоков творчества великого немецкого поэта.

В серии «Библиотека для всех» вышел «Гамлет» Шекспира в переводе писателя Петру Думитриу. Государственное издательство литературы и искусства выпустило избранные произведения Шолом Алейхема в переводе на румынский язык писателя Лудо.

В скором времени румынский читатель сможет познакомиться с «Тилем Уленшпигелем» Шарля де Костера в переводе Иоакима Ботеза, со стихами Франсуа Вийона, переведенными Даном Ботта, и многими другими произведениями мировой классической литературы.

НА СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

Тимишоара — центр области, граничащей с Югославией. В городе организован специальный магазин «Наша книга», где сербы, живущие в этой области, могут приобрести книги на родном языке. В магазине есть богато иллюстрированные издания стихов Эминеску и Кошбука, произве-

дения Иона Крянгэ, роман Захарии Станку «Псы», произведения Жебеляну, Баранга, Преда и других румынских писателей. В магазине есть и произведения сербских писателей, например роман Сенева «Крестьянское восстание». В Тимишоаре выходят на сербском языке и периодические издания: двухнедельник «Правда» и журнал «Народная культура».

ВЫСТАВКА ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАВЮРЫ

В Бухаресте, в залах Музея искусств, открылась выставка французской гравюры. Как сообщил парижский еженедельник «Ар», на этой выставке представлены работы французских художников за сто лет (1820—1920). Специальный зал выставки посвящен гравюрам Оноре Домье. «Ар» указывает, что Румыния имеет наиболее полное собрание работ этого выдающегося французского художника.

США

АНКЕТА О СОСТОЯНИИ СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

Американский журнал «Сатердей ревью» провел анкету среди ряда известных драматургов США. Приводим текст анкеты с некоторым сокращением числа опрошенных.

Вопросы:

I. Что бы вы посоветовали человеку, который хочет стать профессиональным драматургом?

II. Какие меры следует предпринять, чтобы наша драматургия стала лучше?

III. Ваша любимая пьеса (собственная)?

IV. Ваш любимый драматург?

V. В чем заключаются, по вашему мнению, наиболее важные тенденции современной американской драматургии и в какой мере вы связываете с ними свою собственную работу?

Ответы:

□

ПЕРСИ МАККЕЙ (80 лет)

I. Собственный совет ценнее, чем совет со стороны. Спросите себя: «Есть ли у меня веские причины стать драматургом?» А затем действуйте согласно своему ответу.

II. Появление хороших пьес зависит от воли самого драматурга. Если эта воля у него налицо, то общество может помочь ему — а кстати и себе,— создав театры, где мотивы финансовой выгоды не играют роли.

III. «Гирлянда для Сильвии».

IV. Торнтон Уайлдер и Кристофер Фрай.

V. По моему мнению, за редкими исключениями, внешние тенденции американской драматургии ведут к распаду и хаосу, а внутренние — в противоположном направлении. Я не знаю, связана ли моя собственная работа с какими-либо тенденциями. Я пишу так, как получается, и не могу иначе.

□

МАКСУЭЛЛ АНДЕРСОН (67 лет)

I. Если хотите писать, то пишите, но только не болтайте об этом. Будьте безумно уверены в себе и разумно критичны по отношению ко всему, что вы делаете.

II. Эра великой драматургии, по всей видимости, наступает в стране лишь тогда, когда страна эта верит в то, что она стоит во главе мира,— как верили Афины после Марафона, Англия — после разгрома Армады и Ирландия, получившая надежду на освобождение.

III. После всех репетиций, прогонов и премьер не люблю ни одной из своих пьес.

IV. Роберт Шервуд.

V. Я никогда не видел в глаза ни одной тенденции и сомневаюсь, что узнал бы таковую при встрече. Постановка пьесы на Бродвее — такое же отчаянное предприятие, как путешествие на дощечке по Снейк-Ривер для съемки водопадов. Если люди достаточно безумны, чтобы решиться на это, они слишком безумны и для того, чтобы внимать советам. Если кому-нибудь удается достичь успеха, то никто не может сказать, каким образом это произошло, даже сам счастливчик. Во всяком случае, как свидетельствует книга Уолтера Керра, лучше, прежде чем приступить к пьесе, написать труд по технике драматургии. Тогда вы разберетесь в этом гораздо легче.

□

ЭЛМЕР РАЙС (63 года)

I. Пишите честно о том, что вы знаете и во что верите. Помните, что драматургия — искусство, а Бродвей — бизнес и что не существует никакой определяющей связи между художественными достоинствами и коммерческим успехом. Будьте готовы к отчаянию. Постарайтесь получить наследство или жениться на деньгах.

II. Установить мир во всем мире и создать эффективное мировое правительство.

III. «Судный день».

IV. Любой ответ был бы кому-нибудь обиден.

V. Театр обычно отражает дух своего времени. Современная тенденция изображать в пьесах садизм и насилие, показывать детей и ставить проблемы, связанные с детством, или заниматься чистым эскепизмом указывает на то, что в мире царит атмосфера разрушения и отчаяния, что люди не хотят или не могут заниматься проблемами, достойными взрослого человека. Я делал попытки, вполне безуспешные, бороться

против этих тенденций. Вероятно, я буду эти попытки продолжать.

□

ТОРНТОН УАЙЛДЕР
(58 лет)

I. Поработайте в театре — актером, режиссером, рабочим сцены. Час такой работы стоит сотни часов, проведенных в зрительном зале.

II. Всячески поддерживать театры вне Бродвея.

III. «Счастливое путешествие в Камден и Трентон».

IV. Эдуардо де Филиппо.

V. Разрушить «сценическую коробку», упразднить занавес, отказаться от просцениума, который наводит зрителя на мысль, что он находится в музее.

□

ЭДВАРД ЧОДОРОВ
(51 год)

I. Убедитесь в том, что у вас действительно есть умение писать пьесы, потому что это требует подлинного умения, так же как профессия актера и фокусника, а не просто интеллектуальных усилий. Я знаю одного критика, который пытается стать драматургом путем переделок иностранных пьес. Результаты у него самые плачевные, хотя он выбирает пьесы, которые имели огромный успех за рубежом. У него совсем не получается даже самого обыкновенного буквального перевода, потому что он просто-напросто антитеатрален в своем творчестве. А как умно, тонко и красиво пишет он о театре!

II. Критики из нью-йоркских газет и таких журналов, как «Сатердей ревью» и «Нью-Йоркер», оказывают слишком большое влияние на творческие замыслы драматургов. Большинство из нас знает, что по крайней мере два значительных критика поднимут возмущенный визг по поводу любой пьесы, где будет сделана попытка серьезно отнестись к проблемам брака и сексуальным проблемам вообще (не в свойственной Теннесси Уильямсу манере безумного мелодраматического бормотанья à la *grand Guignol*: эта манера модна, а значит — безопасна). Прочие критики тоже поражены какими-нибудь проклятьями, распространенными неврозами. Всех их не пересчитаешь, как обнаружил бедный Уильямс, когда он написал свой великолепный гуманистический трактат под названием «*Camino real*» («Подлинный путь»). Упраздните критику, и пусть буржуазия рискует своими деньгами, покупая театральное представление, как рискует она, покупая ботинки или пищу.

III. «Общая почва».

IV. Великий, единственный О'Кейси.

V. Самая значительная тенденция заключается в какой-то бессмысленной ярости и жестокости, в склонности не к пьесам идей, а к унылой, на что-то намекающей атмосфере настроений и грязноватой, непристойной ребячливости; все это, за очень небольшими исключениями, доминирует на нашей сцене со времени «Странной интерлюдии» *. В тот вечер, когда состоялась премьера спектакля «Траур идет Электре» * и я увидел, что эта чепуха превозносится как нестареющее творение гения, я понял, что передо мной долгий, тяжкий и тернистый путь. Так оно и оказалось. Моим неизменным героем является Уильям Конгрив, и мне кажется, что именно такого типа мышление и отношение к обществу больше всего полезны театру. Дутые трагедии и претенциозные мелодрамы всегда будут удостаиваться похвал и наград. Но честный, трудолюбивый драматург постарается избегать психопатического угла зрения в своей работе (как в «Трамвае, именуемом Желание» **); он постарается избегать таких проблем, которые могут быть разрешены только при помощи самоубийства или убийства,— это никак не может быть выходом. Он будет стараться говорить правду о мире, в котором живет, так, как он ее видит,— и быть при этом настолько гуманистичным, остроумным и жизненно опытным, насколько это в его силах.

□

ЛИЛИАН ХЕЛЛМАН
(50 лет)

I. Читайте.

II. . . . . .

III. «Осенний сад».

IV. О'Кейси.

V. Я не знаю.

□

КЛИФФОРД ОДЕТС
(49 лет)

1. Пусть он как следует разберется в том, кто он, что он и чего хочет. Пусть читает и смотрит как можно больше пьес, обсуждает и перечитывает эти пьесы — сам и вместе с другими. Пусть довольствуется скромными доходами, хотя бы на первых порах. Пусть поработает на сцене.

II. Ставить больше «непостановочных» пьес. Создать больше таких театров, каким был «Груп тиэтр».

III. Люблю каждую свою пьесу, пока она пишется. Человеческий организм борется за дитя, которое он вынашивает.

V. Игорь Стравинский. Прислушайтесь к музыке, написанной им для «Царя Эдипа».

VI. Я не различаю никаких особых тенденций, за исключением того, что большинство молодых писателей стремится обнаружить, что́ имеет «рыночную цену», и поставить свои паруса по этому «коммерческому ветру»: Идеализм, кажется мне, снова ценится в нашем мире очень низко; жажда успеха совершенно устрашающа. Я знаю только двух современных американских драматургов с темой: Теннесси Уильямса и себя.

---

* Пьеса О'Нила.

** Пьеса Теннесси Уильямса.

□

РОБЕРТ АРДРИ (47 лет)

I. Закалите свой организм трехлетним пребыванием в Арктике.

II. Шире практиковать постановку спектаклей, не требующих очень больших затрат. Пока экономика театра превращает драматурга (за очень небольшими исключениями) в человека, ищущего дополнительных заработков, весьма мало надежды на появление лучших пьес.

III. «Скала грома».

IV. Торнтон Уайлдер.

V. Театр от Аристофана до Шоу всегда был средством выражения, черпающим свои жизненные силы, главным образом в окружающем его современном мире. Самая опасная тенденция сегодняшнего дня — это стремление игнорировать окружающую действительность. Я не могу отнести свою работу к этой тенденции и не собираюсь этого делать.

□

УИЛЬЯМ САРОЯН (47 лет)

I. Я бы ему посоветовал: не делайте этого. Потому что, если он драматург, то все равно будет им, а если нет — я избавлю его от массы огорчений и тревог.

II. Надо засесть за пишущую машинку. Вся суть — в самом театре, который является у нас свирепо охраняемым недвижимым имуществом. Постановщик, который занят главным образом деньгами; гильдия драматургов, которая прямо ведет свою линию во имя денег; режиссеры и актеры, которые ошибочно принимают вопли, прыжки, бормотание и непрерывную «остроту и интенсивность» за театральную действенность, потому что все это действует; зритель, которому следовало бы до наступления совершеннолетия посидеть дома, и, наконец, критики, которым надо держаться за свои места, что они и делают. Вот в чем надо разобраться.

III. Любимых пьес нет, но если уж меня припрут к стенке, то — «Воображаемый характер по фамилии Сароян».

IV. Тоже нет любимцев; люблю вообще настоящие пьесы, кем бы они ни были написаны. Насколько мне известно, я пишу настоящие пьесы в большей степени, чем кто-либо из драматургов.

V. Погоня за деньгами. Мои пьесы связаны с этой тенденцией в том смысле, что они тоже приносили мне деньги и могли бы приносить еще больше, если бы мне это не наскучило. «Успех», а не «провал» мешает всему театральному делу, а оно лопается от успеха. Драматурги, которым следовало бы работать вовсю и гордиться этим, загребают деньгу и застенчиво играют в знаменитость. Я пишу пьесы, потому что это моя работа. Мне нравится писать пьесы. Мне нравится переделывать их, когда они готовы. Если после этого с ними ничего особенного не происходит, то, значит, я к этому стремился.

□

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС (41 год)

Я отказался отвечать на вопросы этой анкеты, так как считаю, что в любом творческом процессе, даже в работе для такого общественного учреждения, как театр, надо защищать свое право на одиночество и неприкосновенность со всей страстью и беззаветностью Дон Кихота. Можете расценить это заявление как мой слабенький голос протеста против любых попыток приклеить ярлыки, классифицировать и документировать вещи, успех которых зависит в очень большой степени от уединения писателя до полного завершения им своей работы.

□

АРТУР МИЛЛЕР (39 лет)

I. Не становитесь драматургом. Держитесь подальше от театра. Держитесь подальше от актеров. Пишите — и ничем другим не занимайтесь. А самое главное — выработайте себе крепкий зад и спрашивайте себя снова и снова, действительно ли вы верите в свой труд. Когда вы дойдете до изнеможения, бросьте свою пьесу, отнесите ее в театр и будьте готовы с радостным удовлетворением отказаться от нее навеки.

II. Надо стараться, чтобы драматурги, как и все прочие, лучше знали себя. В то же время не помешало бы субсидировать для начала 6—10 театров, интересующихся художественными произведениями. Таким образом удалось бы снизить цены на билеты до 75 центов и привести в театр «чумазых», которые немедленно потребуют новых форм, нового смысла, новых драматургов и нового, гуманистического и энергичного проникновения в жизнь и подлинную действительность. Хорошая пьеса должна быть еще более осмысленна, чем даже бюджетный отчет.

III. Каждая пьеса является частью меня самого, даже самая незначительная; ни одну я не могу обидеть. Хороший отец не имеет любимцев.

IV. Не смогу ответить еще лет 20, потому что все становились ими. Кроме того, многие из них — мои личные друзья. Все драматурги хороши.

V. Есть только одно достойное внимания явление, и оно не американского происхождения. Это — Бертольд Брехт. Единственным стимулом для возникновения новых тенденций в американской драматургии может быть только новое понимание социальных и психологических явлений, а затем — оригинальная интерпретация этих явлений; из сочетания этих двух моментов и вырастут новые формы. В своей работе я не связан ничем, кроме этих соображений и проблемы их полного эстетического выражения. Короче говоря, когда в пьесе значительным и оригинальным образом сочетается «я» и «мы», ме-

ня это интересует. Я не вижу сейчас почти ничего, что могло бы добавить что-нибудь новое к уже известным театральным «смесям». Театральный билет в 75 центов революционизирует нашу драматургию и прибавит нам небывалой до сих пор страстности. Большие пьесы пишутся в ответ на большие запросы, то есть для разнородной, здоровой, даже буйной аудитории, а не для провинциальных коммерсантов, которые приехали по делам в Нью-Йорк и не знают, где бы им убить два часа времени. Самая главная тенденция современного американского театра — это места стоимостью до 8 долларов каждое и зрительный зал, полный скучающей публики.

АВТОБИОГРАФИЯ ЭЛИЗАБЕТ ГЭРЛИ ФЛИНН

«Я говорю сама за себя» — так озаглавлена недавно вышедшая в Нью-Йорке автобиография Элизабет Гэрли Флинн, одного из старейших членов американской компартии, ветерана классовой борьбы, верной дочери американского народа.

Как подчеркивает прогрессивная печать США, автобиография Элизабет Гэрли Флинн неотделима от истории американского рабочего движения и является частью этой истории. Задолго до первой мировой войны, с того самого дня, когда замечательный поэт Джо Хилл посвятил вдохновенные стихи Элизабет Гэрли Флинн — «Девушке-бунтарке», и по сегодняшний день она ведет неустанную борьбу за лучшее будущее американского народа.

В книге «Я говорю сама за себя» более девяноста глав; по их заголовкам можно составить представление о ее содержании. Приведем здесь некоторые из заголовков отдельных глав: «Мое первое выступление, 1906 год», «Мой первый судебный процесс: обвинение в заговоре, 1910 год», «Уильям Фостер и Том Манн — синдикалисты», «Джо Хилл — замученный трубадур рабочего класса», «Когда американцы впервые услыхали о Ленине», «1919 год и грандиозная стачка сталелитейщиков», «Сакко и Ванцетти».

ПИСЬМО ПОЭТА УОЛТЕРА ЛОУЭНФЕЛСА

Поэт Уолтер Лоуэнфелс опубликовал в «Дейли уоркер» письмо с протестом против дискриминации латиноамериканской культуры в США.

В этом письме Лоуэнфелс разоблачает стремление некоторых американских кругов изолировать народы Латинской Америки от остального мира, преуменьшить их вклад в развитие мировой культуры. Он считает это одним из проявлений американского шовинизма.

«США не являются больше центром мировой культуры, как и не являются центром мирового прогресса,— пишет Лоуэнфелс.— Мы должны знакомиться с великими певцами, художниками, поэтами южных соседей и учиться у них».

О РОМАНЕ, ПОЛУЧИВШЕМ ПРЕМИЮ ХАРПЕРА

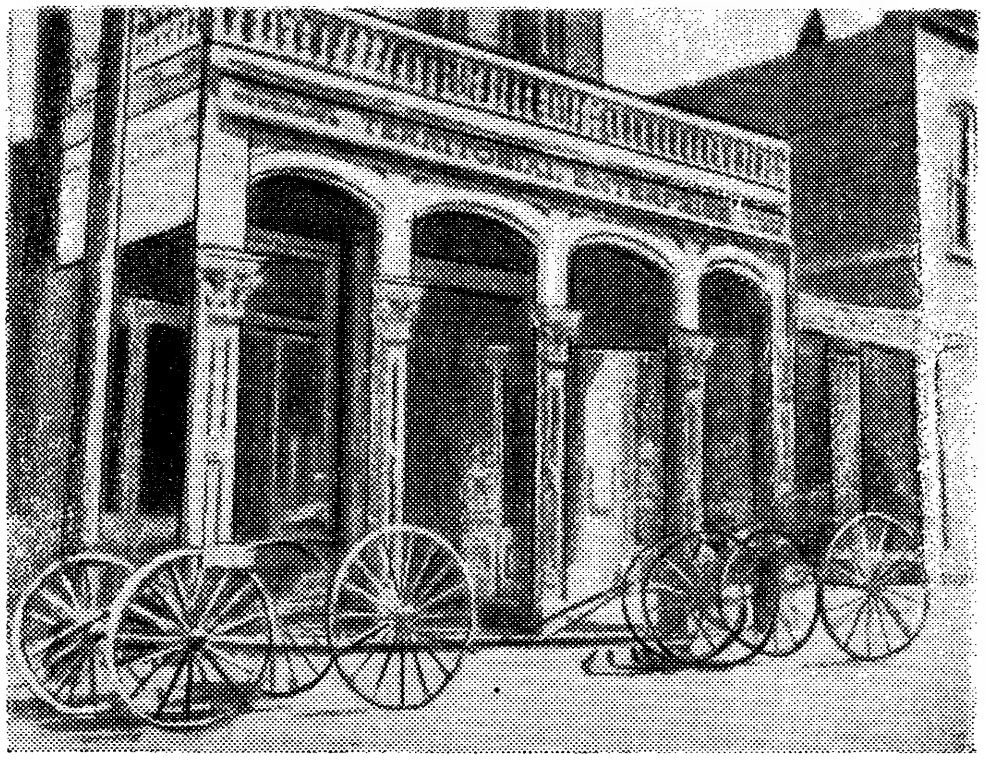
Каждые два года в США присуждается премия Харпера за лучшее литературное произведение. Награждение этой премией в 10 тысяч долларов считается своего рода событием в литературной жизни страны. В 1953 году жюри объявило, что ввиду отсутствия достойных претендентов премия вообще присуждена не будет. Таким образом, очередное присуждение премии в 1955 г. вызвало повышенный интерес. На ком же остановили свой выбор члены жюри? Их избранником оказался некий Дон Манкевич, написавший роман «Судебное разбирательство». Его роман и был отобран как лучший из 886 книг, подвергнутых рассмотрению.

Приведем некоторые отзывы американской буржуазной печати, характеризующие роман Манкевича с литературной стороны.

Орвилл Прескотт, критик «Нью-Йорк таймс» и член жюри, писал на страницах этой газеты: «Манкевич не пытался написать произве-

Виргиния-сити в штате Невада называют «городом — призраком». Точнее было бы именовать его своеобразным городом-музеем. Здесь все сохранилось в том самом виде, в каком было во времена «золотой лихорадки» (60-е годы прошлого века), когда Виргиния-сити переживал период бурного расцвета. В числе достопримечательностей города — изображенное на снимке здание, где издавалась газета «Территориал энтерпрайз», которую редактировал Марк Твен.

(Журнал „Сфир")



дение, отличающееся художественностью. Он не пытался ни проникнуть в глубину характеров, ни дать анализ переживаний своих героев... Вместо всего этого он написал обычную мелодраму...» Тот же критик считает, что книга Манкевича «ограниченна в интеллектуальном отношении, в ней нет ни глубины, ни художественности...»

Журнал «Тайм» пренебрежительно отзывается о произведении Манкевича как об «еще одном антикоммунистическом романе», к тому же достаточно неубедительном «даже в качестве антикоммунистической пропаганды», так как сюжет его мало правдоподобен и книга «вообще плохо написана».

Из этих отнюдь не лестных отзывов буржуазной печати становится совершенно ясным, что роман был премирован вовсе не за его литературно-художественные достоинства, а по совершенно иным соображениям. О том, каковы эти соображения, нетрудно догадаться даже при беглом ознакомлении с содержанием «Судебного разбирательства».

Мексиканского юношу Чавеса обвиняют в изнасиловании американской девушки. Начинается судебное разбирательство. Подсудимого защищает адвокат Касл, который отправляется в поездку по стране, чтобы собрать деньги на ведение процесса. Выясняется, что Касл — коммунист, а его помощник Дэвид Блейк — либерал, «обманутый коммунистами».

Касл собирает необходимые средства и использует их якобы в интересах коммунистов; все его поведение на процессе направлено к тому, чтобы способствовать вынесению обвинительного приговора Чавесу. С какой целью? Дело, видите ли, в том, что для ведения кампании против расовой дискриминации нужен повод, и этим поводом как раз должен стать «свежий» обвинительный приговор. Иначе говоря, по мнению Манкевича, расовой дискриминации в США не существует, ее «делают» коммунисты в своих «подрывных целях».

Американская демократическая печать справедливо расценивает «Судебное разбирательство» как псевдолитературный пасквиль на прогрессивное движение. Вся его «ценность» для определенных кругов состоит в том, что автор пишет в «новом духе», то есть уснащает свою стряпню модными ныне нападками на Маккарти; тем самым он пытается успокоить тех либералов, которые могут возражать против содержащейся в романе слишком уж откровенной клеветы на прогрессивные силы США.

Давая политическую оценку такому факту, как присуждение премии Харпера псевдолитературной стряпне Манкевича, газета «Дейли уоркер» подчеркивает: можно было надеяться, что в наши дни мерилом оценки окажутся совсем иные требования, действительно отвечающие духу времени и подлинным стремлениям американского народа.

Сцена из третьего акта оперы Бедржиха Сметаны «Проданная невеста» в постановке Симфонического общества Манилы.

(Журнал „Филиппинс фри пресс")

ФИЛИППИНЫ

„ПРОДАННАЯ НЕВЕСТА" В МАНИЛЕ

В Маниле была впервые поставлена опера Бедржиха Сметаны «Проданная невеста». Постановка осуществлена двумя режиссерами — Гербертом Зиппером и Трудл Дубской-Зиппер.

В опере заняты лучшие певцы и артисты балета. В первых двух актах показаны чешские народные танцы.

Выходящий в Маниле на английском языке иллюстрированный журнал «Филиппинс фри пресс» поместил в тексте и на обложке ряд снимков, посвященных этой постановке.

ФРАНЦИЯ

ТЯГА К СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

«Какова главная тенденция в творчестве молодых французских писателей?» — таков смысл вопроса, который был в различной форме задан газетой «Леттр франсез» руководителям нескольких крупных парижских издательств.

Представитель прогрессивного издательства «Эдитер франсе реюни» Франсуа Моно следующим образом охарактеризовал на страницах «Леттр франсез» последние литературные новинки: «Эти романы могли бы быть объединены под прекрасным названием «Реальный мир». Они написаны романистами, живущими в 1955 году. Из этого вовсе не следует, что действие этих романов раз-

вертывается обязательно в 1955 году или что романы похожи друг на друга. Молодых романистов объединяет то, что они живут, размышляют, волнуются и мечтают, как люди сегодняшнего дня... Но нет ничего более непохожего, чем «Записки г. Ипсиланта» Андре Кедроса и «Школьный учитель» Пьера Гамарра. «Записки г. Ипсиланта» — очень оригинальный роман, где величайшая точность и подлинность умело сочетаются с фантастикой... Что касается «Школьного учителя», то это очень простая и волнующая история о жизни некоего учителя из Лангедока в период между двумя войнами».

Г. Сабатье, руководитель издательства «Альбен Мишель», предупредив о том, как трудно давать общие оценки, заявил: «Создается впечатление, что преобладающим является стремление говорить о мире так, как он есть. И, однако, я обнаруживаю в то же время как среди писателей, так и среди читателей определенную склонность к «литературе бегства», скажем лучше — стремление к миру более поэтическому».

Г-жа Бесси, руководящая литературной частью издательства «Деноэль», отмечает тяготение писателей к большей простоте и доступности литературной формы, что является оборотной стороной стремления сблизиться с реальной действительностью. Приходит конец «герметизму», этому странному культу непонятного в искусстве.

О том же говорит и редактор издательства «Кальманн-Леви» г. Сиго: «С течением времени я наблюдаю как некоторые авторы освобождаются от формы «чистого романа». Их стиль становится более скупым... Чувствуется потребность в простоте».

«Я заметил у писателей в возрасте от 35 до 40 лет, — продолжает г. Сиго, — почти навязчивое возвращение к тем годам, которые определили их социальное и политическое формирование: во-первых, возвращение к периоду Сопротивления и последней войне, затем к войне в Испании, к 1936—1937 годам. Представляется, что роман проникает все глубже и все более сознательно в реальную жизнь».

Фронтиспис к новой книге Андре Стиля, сделанный Фернаном Леже.

(Газета „Юманите")

НОВЕЛЛЫ АНДРЕ СТИЛЯ

Героями нового сборника новелл Андре Стиля, как и всего его творчества, являются рабочие, простые люди современной Франции.

На страницах «Леттр франсез» Андре Стиль рассказал о том, как он работал над своей новой книгой. Писатель провел некоторое время на металлургических заводах департамента Нор, внимательно изучая жизнь, труд, быт рабочих. Жизненные впечатления («человеческий материал», как говорит Андре Стиль) оказались настолько интересными и богатыми, что писатель решил использовать их для создания большого романа, который им уже начат.

В своих новеллах Андре Стиль показывает, как доменщики, литейщики, прокатчики участвуют в политической жизни страны, как они добиваются осуществления единства своих рядов. Писатель раскрывает психологию этих людей, изображает их личную жизнь, а также то, как они борются за счастье и как понимают счастье трудящегося человека. Сборник так и называется: «На повестке дня вопрос о счастье».

Над иллюстрированием сборника новелл Стиля до последних дней своей жизни работал Фернан Леже; книга вышла с рисунками этого выдающегося французского художника.

РОМАН О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В Париже вышел в свет роман Жоржа Коншона «Почести войны» — первая книга молодого писателя. В интервью, помещенном на страницах еженедельника «Леттр франсез», Жорж Коншон рассказывает: «Я не собирался говорить о фронте, о сражениях. Я хотел изобразить тыл — образ мыслей людей в тылу, их настроения, совсем не такие ура-патриотические, как старались представить газеты того времени... Наконец, меня интересовала еще одна сторона: забастовки 1917 года. Мой дед, который был шахтером, участвовал в этих забастовках. Он часто рассказывал мне о них. Эти воспоминания стали своего рода неумирающей семейной традицией. И я захотел — и смог — об этом рассказать. Я хотел также показать пропасть между настроениями молодого американца, выходца из среды богатых дельцов, добровольно отправившегося защищать Францию, знакомую ему только по книгам, — и настроениями француза, измотанного тремя годами страшной войны, которой не видно было конца. Я хотел показать и то, как волна глупости может захлестнуть собой все честное и справедливое и натравить людей друг против друга... Не забывайте, что года полтора назад, когда я начинал работу над романом, такого рода кампания свирепствовала в Соединенных Штатах...»

„ДИПЛОДОКУС“ ЭЛЕН ПАРМЕЛЕН

«Леттр франсез» поместил интервью, которое писательница Элен Пармелен дала корреспонденту еженедельника в связи с выходом в свет ее нового романа «Диплодокус».

Книга Э. Пармелен написана в форме авантюрного, или, как принято говорить во Франции, «полицейского» романа. Некий незнакомец интригует полицию своими письмами, разоблачающими закулисную сторону деятельности торговцев картинами и посвященными жизни парижских художников и критиков. В качестве героев, по сообщению автора, в романе действует Пикассо, Матисс, Леже и ряд других художников. По словам Э. Пармелен, ее целью было ознакомить самые широкие читательские круги с жизнью представителей современного изобразительного искусства Франции.

ПРОТЕСТ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Французская общественность выразила свое возмущение решением суда штата Миссисипи (США), оправдавшего двух убийц, которые 29 августа 1955 года линчевали в городе Самнере ни в чем неповинного негритянского мальчика Эммета Луиса Тилла.

Газета «Юманите» опубликовала в связи с этим заявления нескольких видных деятелей французской культуры.

«Всякий, кто оскорбляет чужую расу, позорит тем самым свою, но здесь дело еще серьезнее: не наказывать этих двух мерзких негодяев — значит стать соучастниками их преступления», — пишет на страницах «Юманите» Жан Кокто.

«Когда преступление не вызывает реакции, достойной человека, — на это страшно смотреть», — заявляет Пьер Мак-Орлан.

«Как не негодовать, не возмущаться? — спрашивает Пьер Гаскар. — Было время, когда точно такой же расизм, узаконенный и торжествующий, опозорил страну, которая является нашим соседом. Можно ли терпеть, чтобы у нацистских палачей ныне оказались последователи? В час, когда над земным шаром восходит надежда на мир, в этот час беспримерное преступление и скандальный инсценированный процесс, состоявшийся в штате Миссисипи, представляются возвратом к ночному мраку».

«Таково правосудие новой расы господ. Нам довелось узнать правосудие нацистов. Оно ведет цивилизованный мир к пропасти. И мы прекрасно знаем, что нам нужно делать в таких случаях», — подчеркивает Жан Эффель.

„БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ ИЛИ БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА?“

Под таким названием журналист Тома Серк напечатал в еженедельнике «Ар» статью. В форме остроумного памфлета автор высмеивает стремление некоторых французских буржуазных писателей ограничить свою литературную деятельность всякого рода письмами, обращенными к своим же собратьям по перу, личными дневниками, предисловиями к книгам своих друзей и т. д. Подобная литературная продукция, по мнению Серка, не представляет никакого интереса для массового читателя.

В этой же статье указывается, что многие французские писатели находятся в тяжелом материальном и моральном положении. Написав интересную, подлинно художественную вещь, одаренный писатель внезапно обнаруживает, что его книга не находит сбыта, лежит на складе издателя. Очутившись в столь трудном положении, он подчас вынужден изменить своему таланту, приспособиться ко вкусам буржуазной публики и к требованиям издателей, он начинает стряпать бульварные вещи. «Типичное убежище современного писателя, — подчеркивает Серк, — может быть изображено как «башня из слоновой кости», в нижнем этаже которой помещается оптовая бакалейная лавка».

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ КИНОСТУДИЙ

Известный кинорежиссер Клод Отан-Лара, являющийся президентом Национальной театральной федерации, выступил с рядом заявлений о тяжелом материальном положении, в котором оказались киностудии Франции. Газета «Монд» помещает заявление Отан-Лара под заголовком «Жалкое положение французских киностудий». Как указывает газета «Юманите», поместившая обзор статьи Отан-Лара, напечатанной в журнале «Ле текнисьен дю фильм», киностудии Франции смогут нормально работать лишь при одном условии — если государство выделит для них сумму в 2 миллиарда франков. Оборудование студий устарело, они плохо оснащены в техническом отношении. «Если положение не изменится, — пишет Клод Отан-Лара, — можно будет считать, что во Франции больше нет киностудий».

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Некоторые из французских туристов, посетивших СССР на пароходе «Баторий», произвели в Москве и Ленинграде любительские киносъемки. По прибытии во Францию они решили создать на основе этих фрагментов документальный фильм о Советском Союзе и приобщить таким образом тысячи французов к своим путевым впечатлениям.

«Показать Советский Союз, его достижения, дать почувствовать биение сердца советского народа, — таково было наше величайшее желание, — пояснил один из авторов фильма доктор Брюмберг. — Мы запечатлели на кинопленке жизнь

этой страны в том виде, как она развертывалась перед нашими глазами. Мы пришли к заключению, что парижской публике будет интересно посмотреть этот фильм и таким образом лучше понять советский народ, столь отличный от нас и столь нам близкий. На нас произвели большое впечатление уровень культуры советских людей и их любовь к Франции. Этот фильм может способствовать необходимому пониманию между Францией и СССР».

Фильм о Советском Союзе демонстрировался в зале Плейель, одном из самых больших залов Парижа.

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ В МОНТРЕ

На торжественном собрании, проходившем, как сообщила «Юманите», под председательством Жака Дюкло, Исторический музей в Монтре продемонстрировал свои новые приобретения. Среди них подлинное знамя Парижской Коммуны. Оно украшено изображением Марианны (символ Франции) во фригийском колпаке. На знамени надпись: «Демократическая и Социальная Республика, Федеральная Национальная Гвардия, 19 округ».

Музей получил также в подарок картину, написанную правнуком Карла Маркса художником Фредериком Лонге к семидесятилетию со дня смерти Карла Маркса.

Среди новых экспонатов музея обращают на себя внимание литографии Манэ «Баррикада», «Гражданская война» и др.

В зале Сопротивления выставлен этюд Бориса Таслицкого «Смерть Даниэль», посвященный героине французского народа Даниэль Казанова.

„ПОТЕРЯННОЕ ПИСЬМО" НА ПАРИЖСКОЙ СЦЕНЕ

В Париже, на сцене театра Пош, впервые во Франции поставлена пьеса классика румынской литературы Иона Луки Караджале «Потерянное письмо». Газета «Юманите» отмечает, что Караджале принадлежит к плеяде писателей-реалистов XIX века; хотя он жил в эпоху подъема буржуазного общества, но все же сумел разглядеть его пороки и заклеймил их в произведении, исполненном блестящей иронии.

Пьеса Караджале вышла также отдельной книгой в переводе Андре Кедроса.

ПОЛЬСКИЕ ОРДЕНА ФРАНЦУЗСКИМ ХУДОЖНИКАМ

Как сообщила газета «Юманите», французским художникам Жану Эффелю и Мишелю де Галлару вручены ордена «Возрожденной Польши» за популяризацию во Франции культурных достижений польского народа и за содействие укреплению польско-французской дружбы.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДИСКУССИИ

В связи с предстоящим съездом писателей, созыв которого намечен на апрель 1956 года проводятся предварительные конференции литераторов, пишущих в самых различных жанрах. Отчеты и сообщения об этих конференциях помещают «Руде право», «Литерарни новины», «Культурный живот» и другие органы печати.

Удельный вес детской литературы и важность задач, стоящих перед ней, определяются хотя бы тем, что в Чехословакии издается ежегодно около двухсот названий книг для детей общим тиражом свыше трех с половиной миллионов экземпляров, а спрос остается неудовлетворенным.

Об этом упоминалось на конференции, посвященной детской и юношеской литературе, созыву которой предшествовала дискуссия в прессе, длившаяся в течение четырех месяцев. Выступавшие отмечали, что писатели и издательства в целом правильно понимают стоящие перед ними идеологические и творческие задачи. Наряду с этим в докладах Тихого о чешской литературе, Яну о чешской поэзии и Полляка о словацкой литературе подверглись критике основные недостатки, свойственные некоторым книгам для детей и юношества: менторский тон, схематизм, сухая и скучная манера изложения.

В дискуссии приняло участие около сорока писателей и редакторов издательств; они говорили о темах, ждущих своего воплощения, и подчеркивали воспитательную роль детской литературы. Ряд выступавших призывал следовать примеру чешских классиков — Божены Немцовой и Алоиса Ирасека, которые создавали свои произведения для детей на высоком художественном уровне.

Большой интерес вызвала конференция, посвященная современному состоянию словацкой поэзии. Участники конференции подчеркивали в своих выступлениях, что творчество словацких поэтов — политически целеустремленное, смелое и искреннее — действительно дает основание считать их выразителями «молодости своего народа»; вместе с тем они предъявляли большие и серьезные требования. Словацкий писатель В. Мигалик в своем докладе говорил: «Многие поэты словно стыдятся выражать свою чисто человеческую радость, вызванную теми благами, какие приносит нам каждый день, стесняются развернуть перед читателем конкретную, вдохновляющую картину грядущего социализма и коммунизма», они уклоняются от решения политических задач в поэзии и уходят в область сентиментализма.

О малой содержательности, отсутствии значительных мыслей, недостаточной

идейной вооруженности поэзии, о слабости поисков изобразительных средств говорил В. Минач. Перед лирикой, напомнил он, стоит та же задача, что и перед всей литературой. И отрыв ее от жизни приводит к тому, что поэзия не занимает того большого и важного места, какое она призвана занимать. Это не означает, что нам не нужна интимная поэзия, лирика. Но уровень ее должен быть гораздо выше, подчеркивал Я. Петрмихль, и она должна быть ареной борьбы за новые человеческие качества.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕЛЬСКОГО ТЕАТРА

Общественность Чехословакии отметила десятилетие Государственного сельского театра.

Десять лет назад начала свою деятельность небольшая группа артистов, решившая приобщить деревню к новому искусству. На первых порах приходилось преодолевать большие творческие, организационные и материальные трудности, а также упорное сопротивление в ту пору еще действовавших сил реакции.

Коллектив театра, разбившись на три небольшие группы, давал свои представления в деревнях, расположенных вдали от железной дороги, где вообще имели очень слабое представление об искусстве. Артисты театра не только показывали свои спектакли сельским зрителям, но и помогали им в создании драмкружков, коллективов художественной самодеятельности и кукольного театра, который издавна очень популярен в Чехословакии.

За прошедшие десять лет Государственный сельский театр превратился в один из крупнейших драматических театров республики. Сейчас в его составе одиннадцать художественных коллективов, в том числе труппа для немецкого национального меньшинства в Чехословакии. В течение десяти лет коллективы сельского театра посетили около восьми тысяч селений, в которых было дано более двадцати тысяч спектаклей. На них побывало около трех с половиной миллионов зрителей; иначе говоря, примерно каждый четвертый гражданин страны или каждый второй сельский житель смотрели хотя бы один спектакль этого театра.

За десять лет своего существования театр поставил свыше четырехсот пьес для взрослых и детей.

В его репертуаре классические произведения чешских и словацких драматургов, пьесы Гоголя, Островского, Горького, а также Шекспира, Мольера и других классиков. Большим успехом у сельского зрителя пользуются произведения современных чехословацких драматургов — В. Чеха, В. Кани, М. Стеглика, — а также ряда советских драматургов и прогрессивных писателей Запада.

ШВЕЦИЯ

„ПРЕОБРАЖЕННЫЙ ДРАКОН“

«Большим, значительным, положительным явлением» называет шведский критик Г. Юхансон в газете «Ню даг» книгу Артура Лундквиста «Преображенный дракон», вышедшую в издательстве шведской социал-демократической партии «Тиден». Книга представляет собой путевые очерки писателя, четыре месяца проведшего в Китайской Народной Республике. Указывая на некоторые ошибочные суждения автора, в частности, на недооценку им роли рабочего класса в народном Китае, критик подчеркивает, что, несмотря на это, Лундквист в своей книге сумел показать главное — преображенный Китай, строящий новую жизнь, и роль коммунистов в этом строительстве.

Критик отмечает большие художественные достоинства книги. «Мастерство А. Лундквиста как автора путевых очерков известно давно. Он — один из наших крупнейших лириков, и это проявляется в его восприимчивости к деталям и оттенкам, в его умении живописать словом так, что читатель как бы путешествует вместе с ним».

Без колебаний Лундквист критикует в своей книге эгоистическую политику некоторых великих держав на Дальнем Востоке; у него нет ни тени сомнений в великой будущности Китайской Народной Республики.

Реакционная печать во главе с газетой «Дагенс нюхетер» встретила книгу Лундквиста очень враждебно. Она даже расценивает ее как... нарушение шведского нейтралитета, а самого автора, разумеется, обвинила в коммунизме.

А. Лундквист дал на страницах газеты «Моргон тиднинген» отповедь всем этим злопыхателям.

«Я не коммунист, им не был и никогда не буду, — писал Лундквист, — для этого у меня нет предпосылок...

Но когда я вижу в действительной жизни коммунизм, который внес неоценимый вклад в дело улучшения материального положения многих сотен миллионов людей, то я не хочу быть трусом или лжецом, чтобы отрицать это, и меня же упрекают в том, что я не прибегаю ко лжи!

Нет, не я, а мои критики прибегают к сознательной лжи и отрицают действительные явления жизни.

Подобно другим путешественникам, я поражен преобразованиями в Китае и восторгаюсь многим из того, что видел и слышал в этой стране с ее великим будущим и целеустремленностью к прогрессу».

«Дело Лундквиста» вышло за рамки дискуссии о его книге. Характеризуя отношение реакции к ней, газета «Вермландс фолькблад» приходит к следующим выводам:

«Если спор дошел до такой остроты, то ясно, что свобода слова находится у нас, можно сказать, на острие ножа и многие ее терпят лишь до тех пор,

пока она совпадает с их собственными мнениями. Мы воздержимся от того, чтобы сказать, как следует называть такую демократию».

ВЯЙНЕ ЛИННА О СВОЕМ РОМАНЕ

Шведский еженедельник «ФИБ» публикует перевод романа финского писателя Вяйне Линна «Неизвестный солдат» *. Прогрессивная скандинавская критика высоко оценивает роман Линна за его художественные достоинства и антимилитаристскую направленность. В письме к читателям еженедельника «ФИБ», опубликованном на его страницах, Линна пишет: «Говорят, что моя книга тенденциозна и направлена против войны. По-моему, это вполне естественно, потому что только сумасшедший может выступать в защиту войны. Но я вовсе не стремился к тенденциозности, зная, что насилие и жестокость сами свидетельствуют против себя. Писателю достаточно нарисовать живую, правдивую картину войны — в этом изображении уже заложена тенденция».

ЮГОСЛАВИЯ

ВТОРОЙ СЪЕЗД СОЮЗА ПЕРЕВОДЧИКОВ

В Загребе состоялся второй съезд Союза переводчиков Югославии. В докладе о работе Союза подчеркивалось, что переводческая деятельность в Югославии за истекшие десять лет была исключительно плодотворной. Переводные произведения составляют около $^2/_3$ всех изданий, вышедших в стране.

Газета «Политика» писала по этому поводу: «В отношении переводов Югославия занимает видное место в ряду других стран мира. За последние три года переведено с иностранных языков 1040 литературных произведений, в том числе 521 роман, 357 рассказов, 57 пьес, 43 сборника стихов».

Союз переводчиков Югославии объединяет в настоящее время 380 человек. В конце 1954 года Союз переводчиков вступил в Международную организацию переводчиков.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Республиканский совет по вопросам просвещения, науки и культуры организовал в Сараево выставку «Десят лет просвещения, науки и культуры в Боснии и Герцеговине».

«Экспонаты выставки говорят сами за себя, — писала по этому поводу газета «Борба».— Еще совсем недавно, в 1945 году, в Боснии и Герцеговине число неграмотных составляло 72% всего населения, в 60% населенных пунктов не было начальных школ. Гимназии и педагогические училища можно было пересчитать по пальцам. Высших учебных заведений почти не было».

Тяжелое наследие прошлого трудно было ликвидировать за одно десятилетие. Но выставка, как указывается в газете «Борба», наглядно подтверждает те усилия, какие были приложены, и те значительные результаты, каких удалось добиться.

Лишь на строительство начальных и восьмилетних школ в Боснии и Герцеговине было израсходовано за прошедшие десять лет более 5 млрд. динаров.

Одним из наиболее значительных завоеваний за истекший период, указывает «Борба», является образование Сараевского университета. В настоящее время на всех факультетах университета обучается более 3 тысяч студентов.

Большой стенд выставки посвящен Сараевской Народной библиотеке. В ней насчитывается почти 200 тысяч книг и 300 тысяч брошюр. Библиотека получает 407 журналов, брошюр и газет, издаваемых в стране и за границей.

Данные о музеях и галереях, о числе театров и кинотеатров дополняют общую картину культурных преобразований в Боснии и Герцеговине за истекшие десять лет.

ЮГОСЛАВСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ В 1955 ГОДУ

По сообщению агентства Юго-пресс, из 14 художественных кинокартин, запланированных на 1955 год, за 10 месяцев было выпущено 11.

В том же сообщении указывается, что на первом месте по количеству выпущенных фильмов находится сербская киностудия «УФУС».

---

* См. журнал «Иностранная литература», № 4, раздел «Из месяца в месяц».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Катарина Сусанна Причард (род. в 1884 году) — одна из старейших австралийских писательниц и общественных деятелей. Автор многих романов, поэм, пьес, рассказов, политических памфлетов. Первый роман Причард «Пионеры» вышел в 1915 году и получил первую премию на Всебританском литературном конкурсе. Крупнейшее произведение писательницы — трилогия «Девяностые годы» (1946), «Золотые мили» (1948) и «Крылатые семена» (1950) — переведено на русский язык.

К. С. Причард принимала активное участие в создании Коммунистической партии Австралии, в течение многих лет возглавляла Лигу австралийских писателей, является неутомимым борцом за мир.

Алан Маршалл (род. в 1902 году) — австралийский писатель, автор нескольких сборников рассказов и очерков. Много путешествует по родной стране, собирая народные легенды и предания, а также мифы австралийских аборигенов.

Алан Маршалл вошел в литературу сравнительно недавно, в 40-е годы. На русском языке публикуется впервые.

Митчел Уилсон (род. в 1913 году) — американский романист, по специальности ученый-физик. На русский язык был переведен его роман «Live with Lightning», вышедший под заглавием «Жизнь во мгле». Роман «Брат мой, враг мой» был опубликован в 1952 году. В нашем журнале будет помещена статья о творчестве Уилсона.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт,

С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),

Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».
Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. М. Королев.*

А—00633. Сдано в производство 14/XII 1955 г. Подписано к печати 17/I 1956 г. Учетно-изд. листов 28,9. Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9,1 бум. л., в том ч. 1 вкл. 24,7 печ. л. Зак. 581. Изд. № 19/3121. Цена 10 руб.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 13-я типография, Москва, Гарднеровский пер., 1а.

Цена 10 руб.